

ЖЕ О В Ы И
М И Р

2

ЖЕ О В Ы И
М И Р

1961

2

1961

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 2

Февраль, 1964 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Я. СМЕЛЯКОВ — Из новых стихотворений	3
В. ПАНОВА — Проводы белых ночей, пьеса	7
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Верблюжий глаз, рассказ. Перевели с киргизского автор и А. Дмитриева	54
Н. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга вторая. Окончание	75
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Тут и солнце... Стихотворение	122
ГЕВОРК ЭМИН — Короче слов, чем «да» и «нет»... Стихотворение. Перевела с армянского Вера Потанова	123
ИРВИН ШОУ — Ставка на мертвого жокея, рассказ. Перевел с английского Д. Соловьев	124
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВ — Родники живой воды	147
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВАСИЛИЙ ГАЛАКТИОНОВ — Плотина Асуана	168
ПУБЛИЦИСТИКА	
А. ТАЛАНОВ — Три города	194
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	202
И. Берштейн. Живое чувство современности. — Вл. Рубин. «Младшие партнеры» на Парнасе	
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
К. Селезнев. Штрихи из жизни К. Маркса и его семьи	208
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
К. АЛЕКСЕЕВ — В семье единой (К семидесятилетнюю со дня рождения П. Г. Тычины)	216
И. ДЕМЕНТЬЕВА — Приглашение к пугешеству	222
ВЕРА СМИРНОВА — Как была написана «Военная тайна»	227

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	242
В. Гоффеншефер. Глазами народа. — А. Кондратович. «Лобастые мальчики революции». — Е. Калмановский. Рассказы о природе. — С. Бабенышева. Обыкновенное и необыкновенное чудо. — Г. Владимов. Три дня из жизни Холдена. — Н. Вильмонт. Интересная книга.	
<i>Политика и наука</i>	262
Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. История гражданской войны завершена. — А. Марьямов. Североморец. — И. Лунин. Печать Советской Армии. — В. Кспылов, кандидат исторических наук. Под знаменем пролетарского интернационализма. — Виктор Шкловский. Что видит «Вокруг света». — В. Базыкин. Путеводитель по Луне.	
Трибуна Читателя	
«Рабочий быт и коммунизм»	276
Коротко о книгах	283
Книжные новинки	287

Я. СМЕЛЯКОВ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

ВЫ НЕ ИСЧЕЗЛИ

Внезапно кончив путь короткий
(винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки:
полузнакомые, друзья.

И я на грустной той дороге,
судьбу предчувствуя свою,
подписываю некрологи,
у гроба красного стою.

И, как ведется, по старинке,
когда за окнами темно,
справляя шумные поминки,
пью вместе с вдовами вино.

Но в окруженьи слез и шума,
среди тех, кто жадно хочет жить,
мне не уйти от гордой думы,
ничем ее не заглушить.

Вы не исчезли, словно тени,
и не истаяли, как дым,
все рядовые поколения,
что называю я своим.

Вы пронеслись объединенно,
оставив длинный светлый след —
боюсь красот! — как миллионы
мобилизованных комет.

Но восхваления такие
чужды и вовсе не нужны
начальникам цехов России,
политработникам страны.

Не прививалось преклоненье,
всегда претил кадильный дым
тебе, большое поколение,
к какому мы принадлежим.

В скрижали родины Советов
врубило, как зубилом, ты
свой идеал, свои приметы,
свои духовные черты.

И их не только наши дети,
а люди разных стран земли
уже почти по всей планете,
как в половодье, понесли.

РОМАШКА

Из всей земли исполинской
взаправду, а не рисуясь,
Америкою Латинской
все больше интересуюсь.

Журналы всю ночь листая,
вычитывая газеты,
старательно собираю
подробности и приметы.

С мальчишеским прилежаньем,
с монашеской верой в чудо
далекие очертанья
рассматриваю отсюда.

При свете настольной лампы
ты кажешься очень странной,
чужая ночная пампа,
таинственная саванна.

Но вот я узнал впервые,
что там по границам вспашки
растут, как у нас в России,
подсолнечник и ромашки.

Мне выразить это трудно,
но есть у земли желанье,
чтоб сблизилась обоюдно
гражданские расстоянья.

Поэтому эти строки
тебе посвящаю смело,
рязанский цветок далекий,
ромашка Венесуэлы.

КУБИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Средь плантаций и нив
весела гуахира¹,
в этот день получив
ключ от новой квартиры.

Растерявшись, стоит,
на глазах хорошея,
и блистает-блестит
светлый ключик на шее.

Не таскать же в руке
тот подарок артельный —
пусть висит на шнурке,
словно крестик натсельный.

Хватит спать на полах,
по каморкам тесниться,
копошиться в углах,
на задворках ютиться!

Не пришлось мне бывать
там, где правили янки,
но пришлось повидать
чердаки и землянки.

Он повсюду таков
и везде одинаков,
нищий быт батраков
и ночлежных барачков.

Обозлясь в тесноте,
мы отчаянно сами
все клоповники те
сокрушали ломами.

Мы развеяли стиль
чердака и подвала.
Только мелкая пыль,
постояв, оседала.

И умом и душой
принимаю сугубо
этот ключ небольшой —
символ нынешней Кубы.

Будто месяц из туч,
тускло смазанный жиром,
серебрящийся ключ
от отдельной квартиры.

¹ Гуахира - кубинская крестьянка.

САПЕРЫ

Уже в Истории все даты,
какие та дала война,
а для саперного солдата
еще не кончилась она.

То вдалеке, то чуть не рядом,
а то совсем под боком, тут,
они немецкие снаряды
из подземелий достают.

И бережно, дыша помалу,
с нерасторопностью своей
несут их утром к самосвалу,
как носят бомбы и детей.

Мы оценить их подвиг тяжкий
по справедливости должны.
Снимайте шляпы и фуражки
перед саперами страны.



В. ПАНОВА

★

ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

НИНКА	РЭМ
ЖАННА	МАХРОВЫЙ
КИРА	БЕССЛОВЕСНЫЙ СПУТНИК
ТАМАРА	МАХРОВОГО
ЗИНА	МАТЬ ВАЛЕРИКА
КОСТЯ	СЛЕДОВАТЕЛЬ
ВИКТОР	ПРОДАВЩИЦА ЦВЕТОВ
ВАЛЕРИК	ПРОДАВЕЦ ШАРОВ
ГЕРМАН	ОФИЦИАНТКА

*Молодежь в парке, прохожие на улице, люди, пришедшие с обыском,
люди на вокзале и в поезде.*

1

Луч прожектора бродит по залу, нащупывает, ищет... Высоко под крышей какого-то ленинградского дома он высветил простенькую комнату.

В комнате девушка Нинка. Она собирается в путь. Укладывает в рюкзак последние мелочи — мыльницу, книгу. Чемодан уже уложен и стянут ремнем.

Лампа горит неярко. Белая ночь смотрит в окно поверх крыш с антеннами и трубами.

Нинка закончила сборы, прилегла на оттоманку. Усталая, потянулась, свернулась клубочком и уснула вмиг. Уснула так крепко, что ее не может разбудить телефон, заливающийся за дверью.

Кто-то стучит в дверь:

— Нинка!

Спит Нинка.

Стучат и зовут громче:

— Нинка!

Это как зов судьбы. Но не слышит Нинка.

Стучат изо всех сил:

— Нинка!! К телефону!!!

Нинка проснулась. Вскочила, выбежала за дверь, где на стене телефон

Н и н к а. Я слушаю.— А кто это? — Кто? — Ой! Да не может быть! Жанночка! Здравствуй, Жанночка! Наконец-то появилась! Жива-здоро-

Право первой постановки в Москве принадлежит Театру имени Маяковского, в Ленинграде — Театру имени Ленинского комсомола, в Киеве — Театру имени Леси Украинки, в Латвии — Рижскому театру русской драмы.

ва? А мы думаем-думаем, — где ты есть, почему исчезла, никому даже не сказала... Ой, ну надо же, чтоб именно сегодня ты позвонила! Вот совпадение! — Потому что я уезжаю. — Утром. — Да вот ночь пройдет, и уеду. — Нет, не в дом отдыха, нет, не по туристской путевке, нет, не в отпуск... — Ой, даже не знаю, Жанночка, на сколько. Надолго! Может быть — навсегда, неизвестно. *(Напевает.)* «Прощай, дорогая, вернусь ли, не знаю...» Никакая не шутка, правда. — Далекое в город Рудный. — Рудный. Не слышала? А его еще строят, этот город. При Соколовско-Сарбайском комбинате. — Как тебе объяснить? Это почти на границе Казахской ССР и Зауралья. Тургайская степь. Да, Жанночка, такие дела. Поезд отходит *(смотрит на часы)* через десять часов. К половине восьмого собираемся на Московском вокзале. Целым эшелоном едем, всё комсомольцы. Организация будет провожать, с музыкой, торжественно... Но ты расскажи о себе.

Из будки телефона-автомата отвечает Жанна: стильно одетая девушка с слегка отвислой губой, многозначительная, без юмора. Иногда она теряет свою многозначительность и вескость и становится простушкой, сбптой с толку неудачными жизненными обстоятельствами.

Жанна. Обо мне по телефону не расскажешь.

Нинка. Где ты пропадала?

Жанна. Это целая эпопея.

Нинка. Сумасшедшая. Взяла вдруг и исчезла, надо же.

Жанна. Я хотела выиграть сто тысяч по трамвайному билету.

Нинка. Что ты говоришь, я не поняла.

Жанна. Неважно. В общем, не выиграла. А заплатила за билет дорого. Того и не стоит билет, что я за него заплатила.

Нинка. Жанка, бедная, я чувствую, с тобой исхорошее что-то случилось!

Жанна. В общем, конечно, хорошего мало.

Нинка. Приходи ко мне! Ты далеко?

Жанна. Порядочно.

Нинка. Все равно приходи. Сейчас же! Садись на что-нибудь и приезжай.

Жанна. Не могу, Ниночка.

Нинка. Я одна, Кости дома нет, славненько поговорим с тобой.

Жанна. Нинка, знаешь что? Пойдем на бал.

Нинка. Куда?

Жанна. На бал, в Це-пе-ка-о. Ты что, на афиши не смотришь? Сегодня проводы белых ночей.

Нинка. Ах верно, проводы белых ночей.

Жанна. Пошли!

Нинка. Ну что ты, Жанночка.

Жанна. Почему?

Нинка. Я же утром уезжаю.

Жанна. До утра еще далеко.

Нинка. Платья упакованы...

Жанна. Что, трудно распаковать?

Нинка. Смялись в чемоданс...

Жанна. Трудно прогладить?

Нинка. Да ну тебя, Жанка. Я эти дни замоталась.

Жанна. А если друг тебя просит?

Нинка. Ну не хочется мне!

Жанна. Нинка. В минуту жизни трудную — протяни руку. Не полепись ради человека прогладить платье.

Нинка. Как ты ставишь вопрос.

Жанна. Отнесись чутко.

Нинка. Неужели так важно, чтобы я пошла?

Жанна. Исключительно.

Нинка. Пришла бы ко мне, поговорили бы... Ты кого-то хочешь увидеть в Це-не-ка-о?

Жанна. Всё при встрече.

Нинка. Тебе необходимо?

Жанна. Последний акт чудовищной драмы.

Нинка. Жанка, ты ужасная.

Жанна. Я буду ждать на остановке двенадцатого номера.

Нинка. Ужас, ужас. Ты пойми, я всё-всё в Ленинграде покончила. Целый список был разных дел,— все до одного покончила. Сижу на чемоданах.

Жанна. Смешно. Как будто я тебя на какую-нибудь скуку тащу. Исключительный бал. Подумаешь, веселье — десять часов сидеть на чемоданах. В Рудном есть белые ночи?

Нинка. Я не знаю...

Жанна. Наверно, нет.

Нинка. Возможно — нет.

Жанна. Вот видишь.

Нинка. Ну, что-нибудь другое там есть, чего нет у нас.

Жанна. Но не белые ночи и не проводы белых ночей. Слушай, мне пришло в голову — если у тебя, может быть, нет подходящего платья, я с удовольствием...

Нинка. У меня есть очень даже подходящее платье, я к Первому мая сшила, ты не видела... Ладно, уговорила. Ладно, сейчас одеваюсь и еду.

Жанна. Молодчина. Ты всегда была настоящий человек. Последняя остановка двенадцатого, на кольце.

Она выходит из телефонной будки. Парамн, стайками, толпами спешит молодежь к мосту, ведущему с Крестовского острова в Центральный парк культуры и отдыха. Музыка доносится из парка. Фонари не горят, все залито прозрачным обесцвечивающим свегом белой ночи.

У моста пожилой человек продает воздушные шары.

Продавец шаров. Покупайте, ребята, покупайте! Купите, девочки, по шарiku, будете еще симпатичней!

У себя в комнате Нинка переделалась для бала. Стоит раскрытый чемодан. На гладильной доске уют.

Нинка (*смотрится в зеркало, веселая, сна уже ни в одном глазу*).
Ничего себе? Ничего себе!

Уже готова уйти, но входит Костя, ее брат. Он годами двумя старше Нинки. В его фигуре, в манере держаться — уверенность и основательность. Он нагружен покупками.

Костя (*ставит авоську на стул*). Разгружай! Это на дорогу.

Нинка. Косточка, да ты что?

Костя. Тут уже что-то потекло. Надо уложить получше. Дай какую-нибудь баночку. Ничего страшного: это мед.

Нинка (*помогает ему*). С ума сойти! Ты соображаешь?!

Костя. Перехватил, думаешь?

Нинка. Я за всю жизнь столько не съем.

Костя. Ребята помогут. Ехать долго. Колбасу тоже надо завернуть как следует. А это ешь сейчас. (*Достает коробочку*.)

Нинка. Эклер!.. Ой, Косточка,— вспомнил, что я обожаю больше всего на свете!

Костя. Ешь.

Нинка (*ест*). Свежий какой! Я тебе сварила борщ, целую кастрюлю. у Катерины Ивановны в холодильнике. Все-таки хоть первые дни — приедешь домой, поешь домашнего. Катерина Ивановна будет пускать тебя в свой холодильник, я договорилась.

Костя. Да: перед заводом выставили портреты. Тех, кто едет.

Нинка. И мой?!

Костя. Твой лучше всех получился. Прямо — живая. А ты чего нарядилась, идешь куда?

Нинка. На бал. Проводы белых ночей.

Костя. А стоит на ночь глядя, перед самым отъездом — на бал?

Нинка. Балы, Косточка, всегда бывают на ночь глядя, днем не бывают. А портреты выставлены на проспекте или в сквере?

Костя. Ну да, еще на проспекте захотела. В сквере, около клумбы с этими большими цветами, как их?

Нинка. Пионы.

Костя. С кем ты идешь?

Нинка. С Жанной. Помнишь Жанну, на втором конвейере работала?

Костя. Зачем тебе эта Жанна?

Нинка. Разве она плохая? Жанна хорошая девочка.

Костя. Пустоголовая, по-моему.

Нинка. Ну, разве? Косточка, я ключ беру, так что ты ложись, спи себе.

Костя. И тебе бы выспаться перед дорогой.

Нинка. Я в дороге выплюсь. Заберусь на верхнюю полку и ка-ак выплюсь! А проснусь, — подумай, — уже кто его знает где! Совсем другие места за окошком! Паровоз гудит, ребята песни поют...

Костя. Молодец ты, Нинка.

Нинка. Тебе приятно было, когда ты увидел мой портрет? Около клумбы с пионами. Около клумбы с белыми пионами.

Костя. Ладно, хватит задаваться. Ладно, потанцуй бегн.

Нинка. Ну пока, Косточка!

Она сбегает по маршам высокой лестницы. Ей навстречу взлетают огни фейерверка.

В белой ночи они неярки, жемчужны.

Бледные их отражения рассыпаются в прудах Центрального парка культуры и отдыха.

Музыка. По аллеям парка гуляет молодежь. Появляются и уходят танцующие пары.

В ларьке женщина продает цветы. Проходит продавец шаров.

Три молодых человека — Виктор, Валерик и Герман — купили себе по шару и, погрывая ими, сидят на скамейке.

Виктор. Что привлекательно? Привлекательна легкость, с которой к этому относятся. Мудрая, человечная легкость. Легкость призыва, легкость расставания. Люди дали друг другу красивые минуты...

Валерик. И никто по этому поводу не поднимает шума.

Виктор. И расстанутся благодарные.

Герман (*он слегка заикается*). К-кому благодарные?

Виктор. Друг другу, конечно.

Валерик. И судьбе, которая о них позаботилась.

Герман. А!

Виктор. Ни малейшего ханжества. Школьница, совсем девочка, с портфельчиком идет, — а губы и ресницы накрашены.

Герман. З-зачем?

Виктор. Что зачем?

Герман. Зачем она накружилась, школьница?

Валерик. Ну, у них так принято. Не притворяйся, Герман.

Герман. Я не притворяюсь. Я правда подумал: з-зачем?

Валерик. Вообще-то — приятней свежее личико, ничем не испачканное.

Виктор. Зависит от общего стиля. Знаешь, какой бывает грим, — с ног сшибает.

Валерик. У нас не умеют.

Виктор. Но где еще непринужденней — это в Париже. По улице идут обнявшись.

Герман. И у нас. Я часто вижу — идут обнявшись. Честное слово.

Виктор. Прощаются — целуются.

Герман. И это видел. Честное слово.

Валерик. Но у нас это вызывает косые взгляды, когда целуются на улице.

Герман. Почему ты знаешь, м-может — и там вызывает чьи-нибудь косые взгляды.

Виктор. Вот ослиный скептицизм, что ни расскажешь — он всё подвергает сомнению.

Герман. Нет, п-почему же. Я просто хочу в каждом случае разобраться как следует. Продолжай, Виктор, пожалуйста. Мне очень нравится, как ты к-компетентно рисуешь развернутую картину европейских нравов.

Рэм (*подходит*). Кто рисует развернутую картину европейских нравов? Здравствуйте, ребята.

Герман. Здравствуй, Рэм. Вот он рисует.

Рэм (*подсаживается*). Ты ходок по европейским нравам, Витя?

Герман. Да, он ходок. Он был в Европе в общей сложности почти месяц.

Виктор. Рэм, где твой шар?

Рэм. Я тоже, возможно, скоро поеду за границу. У нас предвидится целая серия научных командировок, и так как я в нашем институте не из последних...

Виктор. Рэм, купи шар.

Рэм. Хотелось бы в Англию. Там по нашей части интереснейшие...

Виктор. Рэм, купи шар.

Рэм. Это что, обязательно?

Виктор. Если хочешь с нами сидеть, — обязательно.

Герман. Так задумано. Видишь, мне тоже велели купить. Видишь, мы так выглядим гораздо п-привлекательней.

Виктор. Тебе что, рубля жалко?

Рэм. Господи, Витя, пожалуйста, если это нужно для твоего самочувствия...

Виктор. Жизнь, друзья, надо украшать.

Валерик. По возможности, чем бог послал.

Рэм покупает шар и возвращается.

Виктор. Жизнь надо разнообразить. Не пренебрегая в том числе и малостями. По всей жизни расставить вехи: большие вехи, маленькие вехи... чтоб было что вспоминать. Что я видел? Ну, что я видел? А ты что видел? А ты?.. А отгрохали уже по четверть века.

Валерик. Ну, почему ты так уж...

Рэм. Лично я надеюсь повидать еще порядочно.

Валерик. Я тоже.

Виктор. Страшное дело, как подумаешь... Вот, вчера хоронили Елену Артемьевну...

Рэм. Кто такая Елена Артемьевна?

Виктор. Это была когда-то у нас с Германом классная воспитательница, она же преподавала математику. Вчера похоронили — с венками, речами...

Герман. Ты был на похоронах?

Виктор. Представь.

Герман. П-почему я тебя не видел?

Виктор. Я спрятался за чьим-то памятником. Не переноси похорон, брр!

Валерик. Я тоже, абсолютно. Не понимаю, зачем люди ходят на похороны.

Виктор. Черт его знает, вдруг взял и пошел. Она в нашем доме жила. Вдруг вспомнилось, как я приходил в школу... таким умытым, старательным мальчишкой. И она всегда была уже там. Бежит из учительской со своим портфелем... Худенькая, не старая еще... Всех наизусть знала — кто что собой представляет... А как она сердилась, если мы не понимали, помнишь, Герман? Учила нас, обормотов, учила...

Рэм (*вежливо удивляясь*). Вот уж от кого не ожидал таких чувствований, это от Вити.

Виктор. Что, друзья, ужасно. Нет, вы скажите: так жить, как она жила, — ведь ничего, кроме хорошего, не сделал человек, — и все равно, пожалуйте...

Герман. А ты что п-предлагаешь?

Рэм. Ты хочешь для праведных высшей награды — чтобы они жили вечно?

Виктор. Над чем иронизируете? Элементарное свинство: безразлично — праведник ты или скотина...

Рэм. Награду, какая нам причитается, мы только до тех пор получаем, пока нам не скажут «пожалуйте».

Валерик. Или не получаем.

Рэм. Бывает и так.

Валерик. Сплошь и рядом.

Рэм. Что поделаешь, — поскольку мир устроен еще не совершенно...

Виктор. А тогда, если вдуматься, — какого черта?.. Раз все равно скажут «пожалуйте».

Валерик. Именно, — какого черта ты завел эту пластинку? Ты считаешь — ты этой проблематикой украшаешь жизнь?

Герман. Это он п-подводит базу под свою теорию украшения жизни. Не мешай ему.

Валерик. Можно подумать — что-нибудь изменится, если мы начнем эти вопросы обсуждать. Глупо, как не знаю что.

Рэм. В самом деле, ребята, замаяли. Темочка, прямо сказать, старомодная и бесплодная.

Валерик. Я и говорю. Какой смысл трепаться о вещах, которые от нас не зависят?

Рэм. Ты где сейчас, Валерик?

Валерик. То есть как — где? Здесь.

Рэм. В отпуску или в командировке?

Валерик. Почему? Я живу в Ленинграде постоянно.

Рэм. Я слышал — ты уехал по распределению на Сахалин.

Валерик. Я был на Сахалине.

Рэм. А теперь?

Валерик. Вот, в Ленинграде.

Рэм. Я в смысле работы.

Валерик. Видимо, буду работать в редакции «Смены».

Рэм. Ты отделение журналистики окончил?

Валерик. Журналистики.

Рэм. Интересная профессия.

Валерик. Не особенно. Что, собственно, интересного? Гонять за материалом? В университете я не думал, что это так однообразно. На практике не очень загружали. — не успел заметить, какая всё это, в сущности, серятина.

Рэм. Работа есть работа, я тебе скажу. Элемент повторности, единообразия есть везде. Триста рабочих дней в году: как они могут капитально друг от друга отличаться, что ни возьми — редакцию, или лабораторию, или завод? У нас то же самое. Разница в точке зрения. Мне, наоборот, нравится, что когда я утром иду в лабораторию — я твердо знаю, что я там найду и где что стоит. Я взыскиваю с лаборантов, если что-нибудь окажется не на месте. Уверяю тебя, в том, что ты называешь серятиной, есть своя прелесть. Прелесть положительности. Прелесть прочности бытия, я бы сказал.

Герман. Я люблю устойчивость вещей. В п-прошлом году наш дом присоединили к теплоэлектроцентрали. Как я огорчился! Я понимаю, что так дешевле, удобней, чище, всё что хотите. Но я привык, чтобы дрова трещали в печке.

Рэм. Это было мило. Но экономически невыгодно. И пожаров было больше.

Герман. Но это было мило, ты с-согласен. Не люблю, когда уходит милота.

Виктор. Какая может быть милота, когда в мире существует водородная бомба и так далее.

Герман. Нет, Виктор. Все равно может быть милота. Вот я сюда пришел — п-почему я пришел? Потому что это мило, провода белых ночей. Милая чья-то выдумка. Милая ленинградская традиция. Да здравствуют милые человеческие традиции, п-плюющие на водородную бомбу.

Рэм. Да, если бы так просто было на нее наплевать...

Валерик. А не потанцевать ли нам? А? Не потанцевать ли, говорю? Вон, кажется, ничего девочки.

Герман. Вот з-завидная неугомонность, честное слово.

Валерик. Пошли, а? Виктор, пошли? Чур мне беленькая.

Виктор. А ну их, беленьких, черненьких.

Герман. Виктор делает вид, что у него беленькие и черненькие уже сидят в п-печенках.

Рэм. Как ты терпишь, Витя, этого разоблачителя?

Виктор. А пусть разоблачает на здоровье. Мы к разоблачениям привычные.

Валерик. Ну обратите же внимание: сколько девочек жаждет с нами танцевать. Ведь как готовились. Стояли в очереди на завивку. Мечтали с нами познакомиться. Мечтали нас полюбить.

Рэм. Ты поэт, Валерик, оказывается.

Герман. Да, бывают минуты, когда он п-поэт.

Валерик. Не будьте снобами. Надо входить в положение. Крутят друг с другом, бедные мотыльки. Сердчишки замирают, — неужели не будет ничего? Ночь пройдет, и ничего? Неужели зря стояла в очереди на завивку? А мы сидим не при деле, просто негуманно.

Рэм. Bravo, Валерик!.. Я прощаюсь, ребята. Мы приехали компанией, я вас увидел — отстал от своих. Меня ждут в ресторанчике. До свиданья. Всех благ. *(Пожимает руки и уходит.)*

Валерик. Ну — а я нырнул в эту стихию! Пока! *(Подхватывает одну из двух чинно топтавшихся в паре девушек и удаляется с нею, танцуя.)*

Виктор (*вслед лениво*). Желаю успеха!

Девушка, оставленная подругой (*кричит вслед*). Оля! Я тебя тут подожду на лавочке! (*Садится на свободный конец скамьи, поглядывая на Виктора и Германа. Но тем надоело сидеть, и это знакомство не входит в их планы. Они встают и уходят. Огорченная девушка достает из сумочки пудреницу и пудрит нос.*)

Продавщица цветов (*продавцу шаров*). Ваш товар идет хорошо. Которую связку начали?

Продавец шаров. Уже пятую. Народ любит шары.

Продавщица цветов. Вот, понимаете, а цветы неважно идут. На Невском идут хорошо, а здесь неважно. Нет того воспитания, чтоб девушке букетик подарить. Ведь вот пион либо гвоздичка, они ведь больше, я думаю, украшают женщину, чем эти цапки на ушах.

Продавец шаров. Видите, они шарик напетляют на пуговицу или на браслетку, у них руки свободны, и танцуют. А букет, куда его? При танцах руки заняты.

Продавщица цветов. В цветке зато поэзия. Цветок зато природой пахнет, не то что ваш шар.

Продавец шаров (*проходящей паре*). Шарик для барышни, товарищ лейтенант.

Продавщица цветов (*потрясая букетом*). Товарищ лейтенант, букетик возьмите, свежий букет, замечательный букет!

Лейтенант покупает шар. Пара проходит. Входят Нинка и Жанна.

Нинка. Вон свободная скамеечка. Посидим немножко. Ты уверена, что он здесь?

Жанна. Мне сказали, он определенно собирается быть здесь.

Нинка. Ну посидим. Не обязательно мы с ним встретимся, если будем бегать по всему парку. Вдруг он как раз по этой аллее пройдет. (*Садятся.*) Рассказывай, Жанночка, дальше. И ты, значит, за ним поехала?

Жанна. Я за ним поехала.

Нинка. Как же ты поехала?

Жанна. Очень просто. Села в поезд и поехала.

Нинка. Он тебе говорил, приглашал тебя?

Жанна. Жить без него не могу. (*Заплакала.*)

Нинка. Где это Красная поляна?

Жанна. На Кавказе. Жутко красиво.

Нинка. И, наверно, жутко дорого стоило?

Жанна (*сморкается*). Не говори. Одна дорога сколько.

Нинка. Как же тебе хватило?

Жанна. Когда я уволялась, мне отпускные дали, раз. Потом — у меня на пальто куплено было, такое, знаешь, вроде букле, — отнесла в скучный.

Нинка. Жанка ты, Жанка.

Жанна. Конечно, не хватило, где там хватить. Обрато ехала — даже на хлеб не было, в вагоне студенты какие-то кормили. Да и там... почти что на одном хлебе, последнее время черешни иногда покупала, черешня недорогая была (*сморкается*), два рубля кило.

Нинка. И сколько ты там пробыла?

Жанна. Почти полтора месяца, пока шли съемки.

Нинка. Он артист?

Жанна. Еще нет. Еще он учится на артиста. Но уже несколько раз снимался в кино. Жутко талантливый.

Нинка. Как фамилия?

Жанна. Фамилия ничего не скажет. Он еще не в самых ведущих ролях снимается.

Нинка Жанночка, сумасшедшая. И что теперь?

Жанна. Почему я знаю?

Нинка. На завод не вернулась.

Жанна. Я бы вернулась. Так мое место занято, а в разнорабочие — спасибо. Сейчас знаешь как трудно устроиться на хороший завод. С десятиклассным образованием поприходили... Я пока приткнулась на одну тут фабричку, панамки шить.

Нинка. Что шить?

Жанна. Ну, эти шапочки. Дети носят и старые бабки. Мы их шьем кошмарное количество. Фабрика там, три окна на улицу... Одна я молодая, а то все старухи. Про поликлинику разговаривают, про болезни. У кого почки, у кого что. Что ни наденешь, всё обсуждают, всё им не нравится.

Нинка. Что-то надо придумать. Чего ради тебе там сидеть? После такого коллектива, как наш! Ты зря боишься в разнорабочие. При нашей технике — ничего страшного. Даже маникюр не испортишь: рукавицы.

Жанна. Не много наработаешь в рукавицах.

Нинка. Ну и попортишь руки — беда небольшая. Зато свой завод. Поработаешь разнорабочей, потом что-нибудь подвернется более подходящее. Досада, что позвонила ты, когда мне уезжать, я уже ничего не смогу сделать.

Жанна. Что ты вообще могла?

Нинка. Я бы пошла в комитет комсомола.

Жанна. Я не комсомолка.

Нинка. Неважно. Я бы объяснила... Слушай! Ты зайди к Косте.

Жанна. Он ко мне относится не особенно.

Нинка. Ничего не значит. Костя не тот человек, чтобы из-за личного отношения не помочь товарищу. Я ему скажу. Непременно придешь к нему, слышишь? Вернешься, успокоишься, и будет эта твоя Красная поляна — как сон. И все заживет понемножку.

Жанна. Ты понимаешь: я из больницы записку послала, — хоть бы две строчки ответил... Я, честное слово, Нинка, не жадная; но хоть бы яблочко, шоколадку, — просто как внимание. Все, ну все в палате записки получали, передачи; я одна ничего. *(Сморкается.)*

Нинка *(тоже сморкается)*. Ты ресницы размазала, вытри... И после всего этого ты еще за ним бегаешь! Надо же! Сама жалуется, а сама бегаешь! Да я бы видеть его не могла! И врешь ты, что последний акт драмы! Ничего не последний! Прибежала посмотреть на него! И будешь бегать, хоть бы что! Потому что у тебя ни капельки самслюбия!

Жанна. Что ты знаешь об этих вещах?

Нинка. Должна быть женская гордость!

Жанна. Это в художественной литературе.

Нинка. Художественная литература отражает жизнь. Возьми! какой угодно положительный образ, — все имеют женскую гордость!

Жанна. Не знаю. Когда он меня поцеловал, — ну, всё... Ты не поймешь.

Нинка. Ладно, Жанка. Хватит. На нас уже смотрят. Поплакали, и хватит. *(Показывает на продавщицу цветов.)* Вот тетенька смотрит.

Жанна. Расскажи теперь о себе.

Нинка. А у меня что. Я тебе по телефону все рассказала. Со мной ничего такого не было. Еду в Рудный строить семилетку.

Жанна. Я все-таки не понимаю, как это бросить Ленинград и уехать в какой-то Рудный. Неужели не жалко?

Нинка *(весело)*. Что ты. Конечно, жалко. Уезжать, наверно, всегда жалко. Я из деревни уезжала, когда на картошку, помнишь, посылали, — и то было жалко. А Ленинград!.. Ты права, что этого уже нигде не будет.

Где еще такие дома? Столько речек, каналов? Где еще бывают белые ночи? Где их провожают?

Каскады фейерверка.

Знаешь, куда мне понравилось ходить? В филармонию. Мы с Клавой стали ходить в филармонию. Клавка на все хорошие концерты доставала билеты. Стоячие. На хорах стоим и слушаем. Ты когда-нибудь была в филармонии?

Жанна. Это на Бродского? Нет, не была.

Нинка. Ах, Жанка, ты схожи! Какой зал! Весь белый, сияет, весь такой (*приподняла руки*), — не могу объяснить, какой! Он сам как музыка. Стоишь наверху и слушаешь, и такое счастье!.. Это нас тетя Маня, из завкома, надоумила — сходили бы, говорит, девочки. Она очень культурная.

Жанна. А мне говорили — там можно подохнуть от скуки.

Нинка. Ничего подобного. (*Полна желания приобщить подругу к своим радостям*). Ты попробуй сходи, Жанночка! Вдруг тебе тоже...

Валерик с девушкой возвращаются, танцуют.

Жанна (*метнулась*). Валерик!

Валерик. А, Жанночка, привет...

Жанна. А где Витя? (*Идет за ним.*) Валерик, где Витя?

Валерик (*продолжает танцевать, пытается избежать разговора с Жанной; партнерше*). Темп, темп, деточка!

Жанна (*останавливает его*). Постой!.. Витя здесь?

Валерик. Жанночка, ты же видишь, что здесь его нет!

Жанна (*держит его за локоть*). Он в Це-пе-ка-о.

Валерик. По-моему, нет.

Жанна. Мне сказали, что он будет в Це-пе-ка-о. Не ври.

Валерик. Может, и будет, я не знаю...

Нинка (*зовет*). Жанна!

Жанна. Не ври! Он где-то здесь! Раз ты тут — он тоже где-то здесь!

Валерик. Жанночка, ну смешно. Ну только давай не психовать. Ну успокойся. Ей-богу, пора понять, что отношения выяснены окончательно.

Жанна. А тебе что? Твое какое дело?

Валерик. Просто жалею тебя. Ну к чему эта трепка нервов?

Жанна. Это ты на него влияешь, что он от меня прячется!

Нинка. Жанна! Жанна! Жанка, иди сюда!

Жанна. Он ко мне хорошо относился, а ты на него повлиял! Все из-за тебя!

Валерик. Бедная деточка, ну ей-богу, ну что мне, действительно?

Жанна. Это ты ему сказал, что я примитив!

Валерик. Только не кричи! Я тебя умоляю!

Нинка. Жанна! Иди сюда! Жанна!

Жанна. Это ты ему сказал!

Валерик (*рассердился*). Клянусь, он лучше меня в этом разбирается. Ну вот клянусь — он до этого дошел своим умом. Без моего влияния.

Кругом приостановилось несколько пар. Вскочила и стоит в растерянности Нинка. Испуганная отчаянным видом Жанны, покинула Валерика его партнерша, к ней присоединилась ожидавшая ее подруга, и они торопливо удалились.

Нинка (*подходит к Жанне и берет ее за руку*). Жанка! Пойдем! Правда же, не нужно!.. Правда же, ужасно как-то нехорошо...

Но Жанна разом стихла и оцепенела — она увидела Виктора, который приближается вместе с Германом, подпрыгивая воздушным шаром.

Жанна. Витя...

Виктор (*остановился*). Боже мой.

Жанна (*робко*). Здравствуй, Витя.

Виктор. Привет.

Жанна. Вот совпадение — и ты, оказывается, тут. А мы с подружкой тоже решили пойти, потанцевать немножко... Знакомьтесь: моя подружка Нина. Виктор. Валерик. А это не знаю...

Герман (*здоровается*). Герман.

Всеобщая скованность.

Жанна. Ну, как ты живешь, Витя?

Виктор. Спасибо, нормально.

Валерик. Пошли, Жанночка, — вальс.

Жанна (*Виктору*). У тебя загар уже немножко сошел.

Валерик. Алло, Жанна! Ты слышала?

Жанна. Ты был — прямо как бронза. А сейчас уже посветлей.

Валерик. Жанна! Я тебя приглашаю на вальс!

Жанна. Не хочу, Валерик. Мы с Нинкой уже танцевали, танцевали... (*Упирается.*) Не хочу.

Валерик. Что значит «не хочу», на бал пришла и «не хочу».

Жанна. Витя, слушай, мне с тобой нужно поговорить.

Валерик. Если не хочешь танцевать со мной — вот, Герман тоже тебя приглашает.

Герман. П-простите, Жанна, нет. Очень прошу меня извинить, но я не приглашаю. Он шутит. Я не танцую. Не умею. И мне вообще пора. Я должен п-простаться.

Виктор. Какого черта! Почему тебе пора?

Герман. Спать пора. Меня мама приучила рано ложиться спать. До свиданья.

Валерик (*тихо*). Слушай, не будь ренегатом, нельзя же бросить Витьку в беде.

Герман. Мне неизвестно, кто тут в беде. Есть вещи, которых я — ну, не п-переношу. Органически. Будьте з-здоровы, Нина.

Нинка. До свиданья...

Герман уходит.

Виктор. Нам тоже пора. Уже давным-давно.

Валерик (*кричит*). Герман, подожди, мы с тобой!

Герман не оборачивается.

Жанна (*Виктору*). Обожди. Минуточку. Не уходи. Мне обязательно надо сказать одну вещь.

Виктор. Еще не все сказано?

Жанна. Просто пару слов.

Виктор. Нет. Не при всех. Пройдемся немножко.

Валерик (*Виктору*). Слушай, в самом деле. Поговори еще раз. Попробуйся объяснить.

Виктор. Да, объясни попробуй.

Валерик. Но как-то всё же, я не знаю. А заявления вздумает писать — лучше тебе будет? Зачем до этого доводить? Надо успокоить...

Виктор (*с яростной выдержкой*). Да, Жанна. Слушаю тебя.

Они уходят. Нинка и Валерик остаются вдвоем.

Нинка (*ей мучительно неловко*). Вот попала я... Надо же! Я и не хотела идти. Я утром уезжаю. Совсем не хотела идти.

Валерик (*небрежно-ласково*). Ничего. Что ж делать.

Нинка. Даже не сказала — ждать ее?..

Валерик. Подождем.

Нинка. Я думаю, мне кажется — она скоро придет.

Валерик. Придет!

Нинка. Какая-то ерунда получилась. Жди ее теперь.

Валерик. А, деточка. Все ждут.

Нинка. Кто ждет?

Валерик. Все. Видите (*показывает*): он ждет, она ждет. Вы ждете, я жду. Все, все ждут. Всю жизнь.

Нинка. Чего ждут?

Валерик. Кого-то. Чего-то. Чего-нибудь. Всю жизнь ждут, а вам десять минут трудно подождать.

Нинка (*улыбнулась, взглянула на него*). Я не сразу поняла... А верно — все всю жизнь чего-нибудь ждут.

Валерик. Сейчас они еще раз выяснят отношения, и она придет. Потанцуем пока, хотите?

Нинка. Лучше походим тут. (*Скамья уже занята, и присесть негде*.) А то вдруг мы с ней потеряем друг друга. Совсем чепуха получится.

Валерик. Если ее долго не будет, я вас провожу домой. Вы далеко живете?

Нинка (*торопливо*). Да! Далеко! Спасибо! Нет, я подожду Жанну.

Они удаляются.

Продавщица цветов (*продавцу шаров, который распродал свой товар и считает выручку*). Не могу я на этих девчонок смотреть! Так вот наблюдаешь, — сколько их мучается!

Продавец шаров сосредоточенно рассовывает деньги по карманам.

Он ей говорит: «Неужели не все сказано», а она его умоляет — «еще пару слов». Поможет твоя пара слов, как мертвому припарки. Несчастные дуры. Ведь она чего за ним бежит? Ей хочется с ним гнездо вить. Поскольку природа ее сделала женщиной, — ей надо вить гнездо.

Продавец шаров. У него на вывеске всеми буквами написано, что с ним гнезда не совьешь. Просто есть девицы, которые много себе позволяют. (*Уходит*.)

Продавщица цветов (*скороговоркой ему вслед, ей хочется поговорить и не с кем*). Эх, скажу я вам, кроме разных соображений есть еще девичья любовь, увлечение, куда ж вы это денете! А мы себе в молодости не позволяли? Еще как позволяли! (*Одна*.) Как люди свою молодость скоро забывают!

Проходят Нинка и Валерик.

Валерик. Он мировой парень. Зверски способный. Думающий. Зря ваша эта Жанна его мучает. Вы бы ей сказали.

Нинка. Вы думаете — она о нем плохо отзывалась? Она о нем очень хорошо отзывалась. Что он талантливый...

Валерик. Тем более — зачем мучить? Талант надо щадить, оберегать.

Нинка. Она себя мучает в тысячу раз больше.

Валерик. Есть же, ей-богу, люди, которые из самых прекрасных вещей способны сделать каторгу. Деточка! Любовь должна быть радостью, нежностью, сияньем, музыкой... праздником, балом! — или пусть ее совсем не будет. А в принудительном порядке, — ну, знаете!

Нинка (*робко*). Я тоже считаю, что любовь должна быть праздником, но разве не бывает в жизни, что... (*Прошли*.)

Сцена заполняется танцующими. Громче музыка. Бродят и скрещиваются разноцветные прожектора. Время от времени через сцену проходят Нинка и Валерик.

Валерик. Я люблю Ленинград! Я одно время жил на Сахалине, и забавно — ни разу мне Сахалин не приснился, пока я там жил. Всегда снился Ленинград.

Нинка. Вот, должно быть, и мне будет сниться.

Валерик. Хорош красавец, ничего не скажешь. Где еще у нас такие архитектурные ансамбли? А набережные, а эти драгоценные решетки... с копиями, лилиями, русалками...

Нинка. Где русалки?

Валерик. На Литейном мосту.

Нинка. Что вы говорите, я не заметила.

Валерик. А где еще такие белые ночи? Посмотрите на это небо! А где еще бывают проводы белых ночей?

Нинка (*поражена словно чудом*). Вы подумайте, я только что, ну вот только что — это самое, ну в точности то же самое сказала Жанне!

Валерик (*снисходительно*). Да?..

Прошли и возвращаются снова.

Нинка. А вы бываете в филармонии?

Валерик. В филармонии? Ну как же, конечно. Конечно, бываю в филармонии.

Нинка (*смущена*). Что вы смотрите?..

Валерик. Смотрю — какая вы тоненькая, горячая... как цветочек на стебельке. Вот так должен нарисовать вас художник: как вы идете, вся озаренная.

Нинка (*слабо пытается отразить пугающие ее похвалы*). Действительно, — нечего, что ли, им рисовать, художникам, что за меня возьмутся..

Валерик. Пускай отложат всё и рисуют тебя! Давай на ты, хорошо?

Нинка (*послушно*). Хорошо.

Валерик. Нарисуют, будь уверена. Я устрою. У меня знакомых художников полон Ленинград. Я тебя познакомлю.

Нинка. Я же утром уезжаю. (*Прошли.*)

Продавщица цветов (*подошедшему к ларьку покупателю*). Нет, вы посмотрите, что делается! Что делается!

Покупатель (*оглядывается*). Что делается?

Продавщица цветов. Прямо хоть криком кричи. Они уже на ты, понимаете?

Нинка и Валерик вернулись.

Валерик. Куда-нибудь, где нет толкотни. Куда-нибудь под Рошино, например. Или можно в Ушково, там у одного нашего парня дача, родители уехали, он полным хозяином. Волшебный можно провести денек.

Нинка. Но я же утром уезжаю! Вы всё время забываете!

Валерик. Деточка, не порти мне настроение, брось эти выдумки.

Нинка. Какие выдумки? Сегодня утром, в Рудный.

Валерик. Ну-ну, брось.

Нинка. Я же вам сто раз сказала!

Валерик. Нет, в самом деле?

Нинка. Конечно.

Валерик. Зачем же мы тогда друг друга узнали, а? Скажи. Ты не знаешь, зачем? Ужасно странно, а?.. Значит — всё? Не встретимся больше?

Нинка. Вы разве хотите?

Валерик. А ты не знаешь? Нет, ты скажи, — ты не почувствовала? Тебе слова нужны, да? Слова?.. Слушай, поедem в Ушково!

Прошли и вернулись. Держатся за руки.

Нинка. Вы же сами сказали: все ждут, правда? Я напишу вам из Рудного, хорошо? Пришлю адрес... И вы мне напишете, хорошо?
Валерик (*показывает на небо*). Вот и утро.

Заря розовеет.

Нинка. Да. Утро. (*Взглянула на ручные часы, завела их привычным движением.*) Подарите мне на память какой-нибудь цветок.

Подошли к цветочному ларьку.

Валерик. Выбирай. Какой хочешь?

Продавщица цветов. Возьмите вот свеженький букет, молодой человек.

Нинка. Нет, нет! Один! Один цветок! (*Взяла из кувшина.*) Вот этот... Спасибо. Вложу в книгу, он засушится. Увезу с собой... на память... о проходах белых ночей.

Прошли. Входит Жанна.

Жанна (*зовет*). Нинка!

Ее окружили танцующие. Затертая среди них, озираясь, медленно проходит Жанна через сцену, выкликая беспомощно:

Нинка! Ты где? Нинка! Нинка!..

2

Нинка ждет в проходной завода.

Она то ходит — мечется по обширной проходной, то останавливается, делая вид, что читает газету на стене.

Стучится в окошечко дежурного.

Нинка. Василий Иванович! Это я... Будьте добры, позвоните еще разочек.

Дежурный. Я вам сказал — он выйдет.

Нинка. Да где ж он? Скоро перерыв кончится.

Дежурный. Говорил с ним лично, он пообещал — будет ему послободней, выйдет.

Нинка. Василий Иванович, ну пожалуйста, позвоните еще! Последний раз!

Дежурный. Сказал — выйдет. Вот, ей-богу. Дома не наговорились? (*Звонит по телефону.*) Механический? Веретенников там далеко? Напомните ему — сестра дожидается. Да, та самая... (*Нинке.*) Нету его. Обедает.

Но она уже увидела входящего Костю и бросилась к нему.

Нинка. Косточка! В чем дело, я не понимаю.

Костя. А что такое?

Нинка. Они со мной даже разговаривать не хотят. Даже не дали разового пропуска в цех.

Костя. Правильно, какой пропуск? Ты здесь не работаешь.

Нинка. Но я же работала!

Костя. Но в данное время не работаешь. Зачем пропуск? Что тебе делать в цехе?

Нинка. Я хотела повидать... поговорить с ребятами. С бригадиром...

Костя. О чем поговорить?

Нинка. Чтобы меня оформили... обратно. Чтобы мне вернуться на работу.

Костя. Оформляет отдел кадров.

Нинка. Они говорят — набора нет, все укомплектовано.

К о с т я. Наверно, так. Кого-то ведь взяли на твое место, когда ты собралась уезжать.

Н и н к а. Лизу Коничеву взяли.

К о с т я. Так что же, прикажешь теперь уволить Лизу Коничеву?

Н и н к а. Лиза Коничева согласна вернуться опять на конвейер. Она сказала.

К о с т я. Но на Лизином месте на конвейере тоже поставлен другой человек! Ты что — маленькая, не смыслить? Тебе же сказали — все укомплектовано. Ты будешь прыгать туда-сюда, а людей гонять из-за твоих фокусов?

Н и н к а. Косточка, это не фокусы, вот чем хочешь тебе клянусь!

К о с т я. Не хочу слушать! Иди объясняйся в комитет комсомола.

Н и н к а. Я ходила... Костя, ведь я же неплохо работала, даже в многотиражке писали... А они даже не хотят разговаривать!

Через проходную проходят рабочие.

К о с т я. Пошли на улицу.

Они вышли в сквер перед заводом. Огромный щит висит над сквером, на щите портреты: молодые лица, над ними надпись: «Они поехали на новостройки коммунизма».

Один из портретов снят, черный квадрат зияет на его месте.

А ты рассчитывала, что можешь безнаказанно проделывать такие штуки? Что тебя, после всего, примут с распростертыми объятиями?

Н и н к а. Ничего я не рассчитывала.

К о с т я. Хорошенькое дело — дать обязательство и сбежать. Тебе это игрушки?

Н и н к а. Косточка, я знаю, это ужас, ужас, что я сделала! Просто невыносимо думать!

К о с т я. Теперь невыносимо? А тогда почему не подумала?

Н и н к а. А что я могла сделать? Если бы ты полюбил очень сильно, — ты бы поверил, что я ничего не могла сделать! (*Схватившись за голову.*) Как я только не умерла в тот час, когда уходил эшелон!

К о с т я. Когда уходил эшелон... Я приволок твои вещи на вокзал. Загулялась, думаю; примчится из Це-пе-ка-о прямо к поезду. Все глаза проглядел — ждал. И не я один... Ребята ходили звонить в милицию — решили, несчастный случай. А я ничего даже не слышал, не видел, что делалось... Поезд ушел, — я все стою, как идиот, на перроне. Ребята уговорили — едем домой, может она там... Где мы не были! По всем больницам ездили. С милицией разругались, что плохо работает — не знает, куда ты девалась... Пока не пришло твое письмо из этого, из Ушкава.

Долго закуривает.

Не в том дело, что о тебе писали в многотиражке, и не в том дело, что была ты на этой доске, а в том дело, что была перед тобой жизнь ясная и прямая... а сейчас и не разберешь, что ты с собой наделала.

Н и н к а (*печально и кротко*). Я догадалась, что здесь был мой портрет.

К о с т я. Нетрудно догадаться.

Н и н к а. Почему ты не приходишь домой? Я пришла, Катерина Ивановна говорит — он в общежитии ночует, только за бельем заходил. Катерина Ивановна говорит — я тебя выжила.

К о с т я. Я приду... когда мне будет не так неприятно видеть тебя... находиться с тобой в одной комнате.

Н и н к а (*вдруг посветлев*). Вот разница между тобой и Валериком: Валерик рад, что я не поехала. А ты сердисься — родной брат! (*Счастли-*

во улыбнулась.) И опять разница между тобой и Валериком: Валерику на меня смотреть приятно.

К о с т я. Я ничего не желаю слышать об этом прохвосте!

Н и н к а. Почему он прохвост?

К о с т я. Шпана!

Н и н к а. Что ты о нем знаешь, чтобы так называть его?!

К о с т я. Потому что хороший парень не будет так сбивать с пути другого человека, как он тебя сбил!

Н и н к а. Он полюбил меня. Он захотел, чтобы я была с ним. Почему это нехорошо?

К о с т я. Когда он успел полюбить? С первого взгляда?

Н и н к а. Разве не бывает с первого взгляда? Ах, ты смеешься! Зачем ты смеешься? Мало понимаешь в этих вещах, вот и смеешься. Если бы ты его видел! Даже не верится, что такой, такой — и полюбил — меня... И что еще удивительно: он высококультурный, а я ведь не очень культурная, я среднекультурная, я считаю, — но сколько у нас, ты бы знал, общих интересов, и вкусов, и мыслей, и слов...

К о с т я. Ну и ехал бы вслед за тобой, на здоровье, а зачем же твою жизнь ломать, это любовь называется?

Н и н к а. Как же он поедет, если он здесь на работу устраивается? Он будет работать в редакции «Смены». Он любит Ленинград. Что, у него нет права жить в Ленинграде?

К о с т я. Пускай пожертвует Ленинградом, когда такое дело. Если человек любит, он связывает свою жизнь с жизнью другого человека. Сплошь и рядом чем-то жертвуя, да. Так я привык считать.

Н и н к а. Я тоже так привыкла считать. Но почему ты ставишь вопрос однобоко? А моя судьба не привязана к его судьбе? Я не должна, что ли, быть с ним, когда он этого хочет и я хочу?

К о с т я. Ты мне скажи: ты замуж за него выходишь? Он тебе это предлагал, или так обойдетесь?

Н и н к а. Просто у нас еще не было об этом разговора. Мы поженимся. Конечно, поженимся. Не волнуйся.

К о с т я. В голове не укладывается... Это ты или не ты? Какая была... как стеклышко чистая! Как к тебе люди относились, — а ты, оказывается, вот что такое! Под спудом где-то, значит, таилось — и вот оно, обнаружилось... Любовь! Какая к черту любовь! Познакомились, станцевали там что-то в обнимку...

Н и н к а. Мы не танцевали!

К о с т я. ...и вот вам любовь. И всё пустить по ветру — честь, долг... Что ты о нем знаешь? Тебе есть за что его уважать? Распушенность это, а не любовь!

Н и н к а. Ты все это говоришь напрасно. Это неправда. Я не обижаюсь: ты за меня переживаешь, потому и говоришь. Познакомимся с Валериком и увидишь, что нечего тебе переживать. Где угодно я могу сказать о нашей любви и буду гордиться. (*Костя делает движение уйти.*) Постой! Костя! Значит, ты считаешь — меня не примут обратно на завод?

К о с т я. Смеешься? Я первый буду против.

Н и н к а. Что же мне делать?

К о с т я. Найдешь какую-нибудь работу.

Н и н к а. Мне хочется на наш завод!

К о с т я. Тебя кто-нибудь за язык тянул, когда ты давала обязательство? Кто-нибудь тебя специально агитировал? Я уговаривал — подумай хорошенько! Обдумай все! Не торопись! Нет, выскочила, целую речь на собрании сказала... как та синица, что хвалилась море сжечь. Так было или не так?

Нинка *(тихо)*. Я не хвалилась. Я искренно... Но ведь, Косточка, что-то в жизни меняется, и планы у человека меняются...

Костя. Планы могут меняться. Но изменять человек не имеет права. И нам не нужны дезертиры.

Нинка. Никогда! Ни к кому ты не был таким безжалостным! А я ведь сестра тебе!

Костя. Да? Ты считаешь, мне легче, когда нашу фамилию склоняют по всему заводу?

Нинка *(опять схватывается за голову)*. Не говори!

Костя. Ты вот тут мне вкручивала разное. А ведь нет, чтоб подумать — как это заглядить.

Нинка. Косточка, я что хочешь сделаю, ты скажи — что!

Костя. В два счета все можно исправить. Побеседуют с тобой по душам, и утрясется. Мало чего бывает: заболела, не могла выехать со всеми... Укладывай чемодан, хватит валять дурака.

Нинка. Это — чтоб я ехала?

Костя. А как иначе?

Нинка. Но мне нельзя. Я ведь тебе объяснила. Я хочу обратно на завод. Сначала, конечно, ужасно будет трудно: будут возмущаться, спрашивать... Но это недолго. Вот увидишь, недолго. Люди не злые, и у каждого своих забот хватает, не станут они долго сердиться. Поймут, что я не трудностей побоялась или там чего-то; что просто мне шккак, ну никак не уехать... от счастья.

Костя. Твое так называемое счастье — для тебя единственно важное. Выше нашей цели, выше всего, чем живет народ.

Нинка. Что ты! Зачем ты это ставишь рядом! Наша цель такая громадная, — а мое счастье даже не заметно никому. Я постараюсь как можно, как можно лучше работать! — чтобы вы скорей забыли... Мне не хочется на другой завод. Косточка! Здесь я всех знаю, и так мне было легко со всеми. Пускай здесь на меня и посердятся, ничего не поделаешь, заработала... Помоги мне вернуться! Я согласна хоть не на станок, я согласна разнорабочей...

Костя. Чего ради мы будем принимать людей, которых мы же сами исключили из комсомола?

Нинка. Меня исключили из комсомола?

Костя. В ближайшие дни исключим, если не одумаешься. *(Уходит.)*

Нинка. Костя! Подожди! Костя! Ну подумай, как же я могу...

3

Сентябрь, вечер, туман. Ленинградские улицы: скрещение Невского и канала Грибоедова. Огни светофора сквозь туман. Давно кончились белые ночи.

Вдоль канала идет Валерик. Его окликает Махровый:

— Валерочка!

Валерик вздрогнул. Приостановился было, но сейчас же сделал вид, что не слышал, что торопится, что крайне чем-то озабочен... Тихо, без суеты Махровый преграждает ему дорогу:

— Здравствуй, Валерочка!

Валерик останавливается.

— А! — говорит он приветливо, словно не удирал только что от Махрового, как заяц. — Добрый вечер. — И пожимает Махровому руку.

Махровый обладает счастливой наружностью, внушающей людям доверие и симпатию. На его худощавом, правильном, уже немолодом

лице с мужественными морщинами вдоль щек — выражение открытости и спокойствия. У него такая выправка, будто он всю жизнь занимался главным образом тем, что воевал; будто дисциплина и организованность вошли ему в плоть и кровь. Эта выправка подчеркнута костюмом: на Махровом высокие ладные сапоги и серый, аккуратно застегнутый плащ. Голова ничем не покрыта. У него приятный, мягкий и в то же время мужественный баритон. Он добродушен, Махровый, — что бы он ни говорил, добродушное спокойствие ему не изменяет. И зорко поблескивают холодные, ко всему готовые глаза.

Махровый. Куда бежишь, Валерочка?

Валерик. Да по делу тут одному.

Махровый. Да ну? По делу? И как, в гору идут делишки?

Валерик. Да так себе...

Махровый. Я тебя поздравляю.

Валерик. С чем это?

Махровый. Статьёчку твою читал в «Смене». Твоя ведь была статейка?

Валерик. Моя, увы.

Махровый. Почему же увы? Нормальная статейка. Бывают лучше, — ну, впоследствии достигнешь... Ты что, постоянно там устроился? В штате?

Валерик. Да нет еще пока...

Махровый. Как вообще жизнь молодая?

Валерик. Понемножку.

Махровый. Течет?

Валерик. Течет.

Махровый. Упиваешься блаженством после Сахалина?

Валерик. Ну, насчет того, чтобы упиваться блаженством...

Махровый. А что? Я бы с твоими данными только и делал, что упивался блаженством.

Валерик. Чтобы упиваться блаженством, Алексей Аркадьич, кроме этих данных нужны еще другие данные.

Махровый. Это какие же?

Валерик. Ну, как будто вы не знаете.

Махровый. Деньги, что ли? Да ну? Это материализм. Это даже, по-моему, называется — вульгарный материализм?

Валерик (*его слегка передернуло*). Не слышал, чтобы это так называлось.

Махровый (*не обратил внимания на его слова*). С чего это ты такой вульгарный материалист? В твоём возрасте еще рано. В твоём возрасте я был, как говорится, гол и бос, и морда не такая была, как у тебя, и тем не менее, однако, неплохо проводил время... Да, гол и бос, ни туфельки таких, ни плащика, ничего не было... (*Щупает плащ на Валерике*.) Где достал?

Валерик (*небрежно*). Не помню, кто-то из ребят купил у иностранца, уступил мне.

Махровый. Фе-ер-ге. Западная Германия.

Валерик. Возможно.

Махровый. Фе-ер-ге, точно. А сколько дал, не помнишь?

Валерик. Ерунду какую-то...

Махровый. Оно все ерунда. Туда ерунда, сюда ерунда, а рублешек расшвыриваешь порядочно, а, Валерочка? Прожиточный-то минимум твой — на культурном уровне всё же?

Валерик. Алексей Аркадьич, я вам буквально завтра-послезавтра, скорей всего даже завтра, вы не беспокойтесь...

Махровый. Это ты о чем?

Валерик. Отдам вам еще часть долга.

Махровый. Верно, ты же мне должен что-то, я и забыл. Где-то у меня и расписка твоя лежит, верно?

Валерик (*нервно*). Очевидно, где-то лежит.

Махровый. Да-да-да. Должна где-то лежать.

Валерик. Я вам уже два раза вносил. Вы... помните?

Махровый. Да-да-да. Вспоминаю. Только не помню, какие суммы. Незначительные как будто были суммы?

Валерик. Алексей Аркадьич, в этот раз я постараюсь...

Махровый. Ты отмечай где-нибудь, сколько вносишь. На мою память особенно не полагайся. Дырявая стала память: вот знаю ведь, что где-то должна быть твоя расписка, а где — хоть убей... А в общем пустяки, Валерочка. Пускай это тебя не беспокоит. Я могу подождать. Это ведь не бюджетные мои деньги. Это — я тебе говорил, кажется, — жена в прошлом году домик продала.

Валерик. Да, вы говорили...

Махровый (*словоохотно*). От тестя в наследство домик остался в Орлине — так, незавидный; хибарка просто. Думали мы, думали, — оно бы и неплохо в летнее время, в сельской местности, свой домик; но — и от Ленинграда все же далековато, — далековато, верно?

Валерик. Далековато.

Махровый. И от железной дороги не близко, — и решили продать... на твое счастье.

Валерик. Алексей Аркадьич, я чувствую себя отвратительно, что я...

Махровый. А ты не чувствуй себя отвратительно. Ты чувствуй себя как следует. Как следует. Человек человеку должен помогать, верно? На том свет стоит. Все равно мы другого домика не присмотрели, так что я уж и остаток этих дачных деньжат, откровенно говоря, спустил, — посмотри, какую оторвал штучку.

Он вынимает левую руку из кармана и протягивает перед собой. И в свете фонаря с руки срывается, как огонь, сверканье крупного брильянта.

Видал когда-нибудь такое, Валерочка?

Валерик. Это что, настоящее?

Махровый. А ты думал? Это не то что те побрякушки, что девчата носят. Печатает по Невскому среди бела дня в босопожках, в ситчике, а на шее брильянтовое кольцо, понимаешь... стоимостью в пятнадцать рублей. Это колечко настоящее, старина-матушка, камушек четыре карата, чистейшей воды.

Валерик. Я в этом совсем не разбираюсь.

Махровый. Да, твое поколение не разбирается. Но уж поверь мне, что — это вещь.

Валерик. И сколько же это может стоить?

Махровый. Видишь ли, цены на подобные штучки в наше время, в нашем государстве — условные. Колеблются в зависимости от много-различных причин. Я заплатил дешево... сравнительно с валютной ценностью. Больше-то деньги у меня откуда?..

Идет прохожий: Махровый опустил руку в карман и ждет, пока прохожий отойдет подальше.

Подвернулось случайно, по средствам, — а, говорю жене, была не была! Что у нас там на книжке, — двинем на хорошую вещь. (*Опять вынул руку из кармана, полюбовался кольцом.*) А насчет долга не спеши,

экстренности нет. Даже могу еще немножко подкинуть, если у тебя это самое...

Валерик. Спасибо...

Махровый. Сотняшки две-три.

Валерик. Нет, сейчас мне...

Махровый. Не нужно денег? Да ну? Неужели за статью так дорого заплатили?

Валерик. Я бы все-таки предпочел...

Махровый. Всё как ты хочешь, Валерочка.

Валерик. Я бы предпочел поскорей расплатиться с долгом.

Махровый. Давай так. Тоже неплохо.

Валерик. Вы мне разрешите зайти завтра, самое позднее -- послезавтра...

Махровый. Заходи, когда тебе удобно. Так хорош камушек?

Валерик (*напряженно*). Хорош камушек.

Махровый. Стоило хибарку променять на камушек?

Валерик. Вероятно...

Махровый. Ну, бывай! (*Помахал на прощанье рукой. Разошлись.*)

Идут, разговаривая, Герман и Рэм.

Рэм. Ты прав, безусловно.

Герман. П-понимаешь: там я сразу — личность. А здесь минимум до тридцати лет буду ходить хвостиком за каким-нибудь п-профессором.

Рэм. В нашем деле иначе нельзя.

Герман. Понимаю. А в нашем можно. И я хочу воспользоваться этой возможностью.

Рэм. Я за моим академиком буду ходить минимум до сорока, это в лучшем случае. И всё, что я сделаю в лаборатории, будет приписано ему. Пока у меня не вырастет вот такая седая борода, — только тогда поверят, что я тоже что-то могу самостоятельно.

Герман. В-видишь, у вас это так. Потому что вне института, без всей этой черт его знает какой головоломной техники тебе действительно никак. А мне что надо: маленькую больницу. Чтобы я мог ее п-поставить, как мне хочется. Я еще на первом курсе спланировал, как я ее миленько поставлю. Кто мне в Ленинграде даст больницу? Именно — жди до седой бороды, да и то еще б-бабушка надвое гадала...

Рэм. Ты прав, прав! Будь у меня другая профессия, — я бы тоже начинал оттуда... с окраины к центру!

Герман. Ты честолюбец, тебе непременно п-подавай центр, хотя бы к финишу. А мне не обязательно. Я просто считая, — если что-то делать в жизни, так делать без дураков, в-всерьез, иначе скучно. Кретин Валерик, что удрал с Сахалина. Черта с два он чего-нибудь стоящего добьется в Ленинграде. Здесь т-такими Валериками пруд пруди, а там его держали за высшую интеллигенцию.

Рэм. Ты говоришь, я честолюбец. Неужели лучше без честолюбия — как Валерик?

Герман. Нет, с-совсем без честолюбия — ничего не получится.

Рэм. Ничего не получится! (*Прошли.*)

Идут Нинка и Жанна.

Нинка. Ничего не получится! Можешь не стараться!

Жанна. Но я узнала точно!

Нинка. Очередная ваша клевета!

Жанна. Увидишь.

Нинка. Он бы мне давно сказал.

Жанна. Скажет он, как же.
 Нинка. Вы все ненормальные.
 Жанна. Ты от правды отмахиваешься.

Они приостановились возле витрины Дома книги. На выступе оконной амбразуры сидит продавщица цветов с корзиной лохматых осенних астр.

Лучше обсудим давай, как тебе реагировать.

Нинка. Ненормальные. Непременно щете в человеке плохое. Как можно больше плохого! Хорошее видеть не хотите, только плохое вам подавай! Как вы такие на свете живете? Вы же несчастные!

Жанна. Я больше тебя знаю жизнь.

Нинка. Ты знаешь жизнь? Ты испугалась жизни! Один человек с тобой нехорошо поступил — ты сразу перепугалась. И все у тебя стали плохие. Это называется знать жизнь?! Мне не надо такого знания! И оставь меня, пожалуйста!

Жанна. Я тебя предупредила по-товарищески. Поскольку я узнала такую вещь, я чувствую ответственность...

Нинка. Я сама за себя отвечаю!

Жанна. Ты стала чересчур гордая.

Нинка. За всё отвечаю. И хватит. И дальше не ходи за мной. И вот что я тебе скажу на твои сплетни: мы с Валериком женимся! *(Уходит. Остановилась в красном свете светофора.)*

Продавщица цветов. И всего-то он ей купил один цветочек.

Жанна. Вы ее что, знаете?

Продавщица цветов. Я и вас вспомнила. Вы шьете панамки.

Жанна. Панамки мы уже все пошили. Восемь миллионов. Теперь шьем бюстгальтеры. С ляжками и без. Она тоже. Она теперь работает у нас.

Продавщица цветов. Всего, знаете, один цветочек купил. Она, правда, так и попросила: подарите мне, говорит, один цветочек.

На перекрестке зажегся зеленый глаз. Нинка ушла.

Она встречается с Валериком у колоннады Казанского собора. Нет никого вблизи, и она бросается Валерику на шею отчаянно и самозабвенно.

Валерик *(смущен этим взрывом)*. Ну-ну, Ниночка. Ну-ну-ну.

Нинка. Сто лет тебя не видела.

Валерик. Деточка. Еще суток нет, как мы расстались.

Нинка. Меньше. Я с тобой рассталась только утром. Ты мне снился всю ночь.

Валерик. Вот видишь. А говоришь — мы мало бываем вместе.

Нинка. Во сне — много.

Валерик. Зачем такая горечь? Мы же видимся каждый день?

Нинка. Приблизительно.

Садятся на ступенях. Нинка прижимается к его плечу.

Валерик. Странно все-таки.

Нинка. Что странно?

Валерик. Когда человек так вот маньякально думает о другом человеке. Хочет с ним быть, видит его во сне...

Нинка. Как мы с тобой, да?

Валерик. Странно! Почему, отчего, в чем смысл?

Нинка. В чем смысл? Не знаю. Но это хорошо. И хочется это сохранить... навсегда. Тебе тоже хочется сохранить навсегда?

Валерик. А это бывает?

Нинка. Конечно. Сколько угодно.

Валерик. Ты думаешь?

Н и н к а. Просто надо это беречь. Желать, чтобы это сохранилось... не разрушалось.

В а л е р и к. Если бы одних желаний было достаточно для свершения!

Н и н к а. Я не поняла, что ты сказал.

В а л е р и к. Я сказал: если бы достаточно было только захотеть чего-нибудь, чтобы это исполнилось, понимашь? Как в сказке: «Столик, накройся», — и, пожалуйста, перед тобой накрытый столик... пять звездочек, закуска, любовь до гроба...

Н и н к а. Ты шутишь. А я серьезно. Да, «столик, накройся». Почему же нет? Разве не все зависит от нас самих? И разве можно хотеть, чтобы это кончилось?

В а л е р и к. Ну не будем хотеть, не будем. (*Обнимает ее крепче.*) Не холодно тебе?

Н и н к а. Нет...

В а л е р и к. В этом плаще ты похожа на серебряную рыбку. Маленькая серебряная рыбка. Скажи, тебе удалось?..

Н и н к а. Я принесла. (*Достает деньги.*) Валерик, только тут немножко меньше, чем тебе нужно. Понимаешь, никак не могла достать больше. Тут моя получка, и в кассе взаимопомощи взяла.

В а л е р и к (*бегло сосчитал бумажки*). Не могла, говоришь? Ну... что ж делать. Откровенно говоря — это, конечно, мало устраивает. Надо бы отдать этому фрукту побольше. Как можно, как можно скорей с ним развязаться... Ну ничего. Не огорчайся. Сколько достала, столько достала. (*Прячет деньги.*) Спасибо. Ты моя отзывчивая рыбка. Я, конечно, переоценил твои возможности: откуда тебе, собственно?.. Попробую еще занять у Виктора, он должен был получить за съемки. Ну не расстраивайся! Если у Витьки есть, он меня выручит. Испытано и проверено. Вот если у него нет, тогда хуже... Ну ладно. Так или иначе, завтра я этому жулику, этому хамлу хоть сколько-нибудь суну в глотку. (*Встает.*) Ну, куда пойдем? Хочешь в кино?

Н и н к а. Валерик. Ты не можешь мне сказать, что это за долг такой, что так тебя мучает?

В а л е р и к. Дсточка! Я же просил — не спрашивай! Я осел. Сделал однажды колоссальную глупость, теперь выпутываюсь. Мне совестно рассказывать, так это глупо. Что всего гаже, прямо тошнит, — что эта бескультурная сволочь, ни в чем ни уха ни рыла, кроме своих махинаций, — и лезет, понимаешь ли, поучать, научные словечки вставляет. Вульгарный материализм... Идем в кино!

Н и н к а. Послушай. У меня серьезный разговор.

В а л е р и к. У тебя всегда серьезные разговоры.

Н и н к а. Правда, очень серьезный. Я ни разу не ставила этот вопрос. Но теперь я должна его поставить. Обязана.

В а л е р и к. Непременно сейчас должна? Сию минуту?

Н и н к а. Я больше не могу откладывать.

В а л е р и к. Что за вопрос?

Н и н к а. Когда мы поженимся?

В а л е р и к. Что от этого изменится?

Н и н к а. Мы будем — муж и жена...

В а л е р и к. Ты меня заставляешь говорить о пошлых вещах. Зачем ты меня заставляешь говорить об этих вещах? Ни у тебя, ни у меня нет даже своей комнаты.

Н и н к а. У меня есть.

В а л е р и к. Да, общая, твоя и брата! Такая и у меня есть: моя и мамина.

Н и н к а. У вас же, ты говорил, разгороженная?..

Валерик. Слава богу! Разгороженная! Ты бы видела! Повернуться негде!

Нинка. Если я попрошу, Костя перейдет в общежитие. Я знаю. Он это сделает. Он на меня смотреть не хочет — только потому, что он за меня беспокоится. Когда наша мама умерла в блокаду и нас по детским домам разобрали, он два раза из своего детдома убежал, чтобы меня повидать. Шел пешком через весь Ленинград, голодный, маленький, представляешь, — чтобы убедиться, что я жива. Он сейчас так беспокоится, что просто из себя выходит. Стоит мне сказать, что я вышла замуж, — уйдет сейчас же.

Валерик. Тебе мало живого, свободного чувства, ты хочешь его запихать в клетку, привязать узлами.

Нинка. Мне это было не так уж важно. Я ждала, когда ты сам заговоришь.

Валерик. А сейчас что — стало важно?

Нинка. Сейчас это необходимо.

Валерик. Почему необходимо?

Нинка. Потому что у нас будет ребенок.

Валерик. Боже мой. Как будто это неизбежность.

Нинка. Какой ты мальчик. Ясно — неизбежность.

Валерик. Извини, но тысячи женщин от этого избавляются.

Нинка. Это их дело.

Валерик. Деточка. Мне за тебя, честное слово, страшно. Ты хочешь натворить что-то безумное. Зачем это, помилуй! Пожалей себя!

Нинка. По-моему, ничего не безумное, наоборот — очень даже правильное.

Валерик. Ты не соображаешь, что ты затеяла. Ужасно! Рыбка! Что ты с собой делаешь! Вместо того чтобы стараться сделать жизнь приятной — себе же в первую очередь! — ты нагромождаешь трудности, проблемы...

Нинка. Что я затеяла? Что тут необыкновенного? Выйти замуж, иметь ребенка?

Валерик. Я не хотел тебя огорчать. Но ты вынуждаешь... Деточка, я ни на ком не могу жениться. Я женат, уже женат, давно женат. И жена не даст мне развода.

Нинка. Ты женат?

Валерик. Вот, представь.

Нинка. Ты правда женат?

Валерик. Могу предъявить отметку в паспорте.

Нинка. Мне говорили. Но я не верила.

Валерик. Почему не верила? (*Пародируя.*) Что тут необыкновенного?

Нинка. Почему ты раньше не сказал?

Валерик. А ты спрашивала?

Нинка. Я была уверена, что ты бы сказал. Ты боялся, что я от тебя откажусь, да?

Валерик. Я же говорю: не хотел причинять тебе боль.

Нинка. И она не дает развода? Ты просил ее, да?

Валерик. В общем, она, когда вдруг исчезла ни с того ни с сего...

Нинка. Она тебя бросила?

Валерик. Она меня бросила. Была тихая девочка, вроде тебя, и вдруг проявила инициативу. Оставила записку и между прочим написала, чтоб я на развод не рассчитывал.

Нинка. Почему же, раз она ушла сама?

Валерик. Не знаю, у нее это сложно. Вообще трудный была человек. Тихая, тихая, а характер — железо.

Нинка. У вас был ребенок?

Валерик. Ну что ты.

Нинка. Если ты захочешь развестись, то ведь, кажется, можно без ее согласия?

Валерик. Нет, на это я не пойду, знаешь. Тащить наши с ней отношения в суд — без ее согласия... Я не могу так поступить с женщиной.

Нинка. Где она теперь?

Валерик. Скорей всего в экспедиции. Она геодезист, или топограф, или что-то в этом роде, не скажу точно. Всегда в разъездах. Даже завидно, до чего приспособленный к жизни человек.

Нинка. Как называется учреждение, где она работает?

Валерик. Откуда мне знать? Уже три года, как мы расстались.

Нинка. Такими молодыми поженились?

Валерик. Молодость, глупость...

Нинка. Как ее зовут?

Валерик. Кира.

Нинка. Она красивая?

Валерик. Не знаю, как теперь. Была — чудная девочка.

Нинка. Покажешь карточку?

Валерик. Покажу как-нибудь, если тебе интересно.

Нинка. Ты ее любил больше, чем меня? Она была твоя первая любовь! *(Вдруг заплакала.)*

Валерик. Нет! Больше я не согласен! Как угодно! Прошу тебя! Если это может тебя утешить, — не была она моей первой любовью, не была, слышишь? Ни первой, ни последней. Ну хватит, рыбка, хватит! *(Вытирает ей глаза.)*

Нинка. Не сердись. Я уже не плачу.

Валерик. И не о чем. Абсолютно! Все это такие условности. Дурацкие слова, стыдно произносить. Женат, неженат, чепуха же это. Вставай-ка, пошли где теплей. Успеем на последний сеанс.

Нинка. Валерик, только у меня нет денег на билеты.

Валерик. Как, у тебя ничего не осталось?

Нинка. Я думала заняг у Жанны, а потом мы с ней поспорили по одному вопросу, я не захотела у нее занимать.

Валерик *(великодушно)*. Да ладно, есть же деньги. Я возьму билеты. *(Идут.)* Все-таки нельзя же тебе совсем без копейки, а?

Нинка. Я достану. Может быть, дадут еще немножко в кассе взаимопомощи.

Валерик. А если не дадут?

Нинка. Вообще-то — могут и не дать.

Валерик. А у брата?..

Нинка. У Кости, — нет.

Валерик. Что ж, он не выручит сестренку?

Нинка. Он спросит, — а где твоя получка.

Валерик. Знаешь, возьми себе из этих денег, а?

Нинка. А ты? Тебе и так не хватает.

Валерик. Ну, немного. Ну, двадцать пять рублей возьми. Нет, бери! Бери, бери, слышишь?

Нинка *(берет)*. Спасибо, Валерик.

Валерик. Главное, запомни: жить надо легче. Сегодня не хватает, завтра хватает. Сегодня плохо, завтра хорошо. Послезавтра, может быть, опять плохо, — и так все время: вверх-вниз. Качели! Качайся и не унывай. Абсолютное одиночество, в сущности. Так стоит слезы тратить, ну скажи мне?! *(Уходят.)*

4

Уголок кафе. Утро. Официантка убирает на столике. За соседний столик садится Кира.

Кира. Накормите, девушка?

Официантка. А, кого я вижу. Да уж придется накормить. С приездом.

Кира. Здравствуйте.

Официантка. Давно вас не было видно.

Кира. Почти восемь месяцев.

Официантка (*подает карточку*). Где побывали, опять на юге?

Кира. На этот раз на востоке.

Официантка. А загорели, — вроде из Сочи приехали.

Кира. Там, где я была, солнце жарче, чем в Сочи.

Официантка. Это какое место?

Кира. Возле Темир-Тау. Казахстан.

Официантка. Тоже какое-нибудь грандиозное строительство?

Кира. Металлургический комбинат. Самые большие домны в Советском Союзе.

Официантка. Меня один старший лейтенант звал в Казахстан.

Кира. Что ж не поехали?

Официантка. Думаете — мне бы там понравилось?

Кира. И вам бы там понравилось, и вы бы там понравились.

Официантка. Думаете? Но мне не особенно понравился этот старший лейтенант.

Кира. Ах, так.

Официантка. Уж очень легкомысленно: что такое, раза два всего зашел к нам покушать, и сразу — будьте моей женой. Я признаю только проверенное чувство. Надо присмотреться, узнать... а не высказывать за первого встречного. В старину говорили, что пуд соли нужно съесть с человеком; это правильно! Конечно, сейчас другое время, старые люди во многом отстали от жизни, но кое к чему все-таки стоит прислушаться... Что кушать будем? Очень красиво загорели. Воображаю вас в летнем платье без рукавов.

Кира. Да, это было неплохо. Будем кушать сосиски с горошком.

Официантка. Возьмите шинцель. Сосиски сегодня жестковатые.

Кира. Хорошо, пусть шинцель. И омлет. И кофе.

Официантка. Что к кофе?

Кира. Что-нибудь. По вашему выбору.

Оставшись одна, разворачивает журнал. К столику подходит Нинка.

Нинка. Здравствуйте. Мне нужно с вами поговорить.

Кира. Вы не ошиблись, девушка? По-моему, мы незнакомы.

Нинка. Если вы жена Валерика, то я не ошиблась.

Кира. Его до сих пор зовут Валерик?

Нинка. Конечно, а почему же...

Кира. И он откликается?

Нинка. Я не понимаю.

Кира. Валерик, Валерик Мальчик, которого надо водить за ручку. Постареет, облысеет — а всё будет Валерик, Валерочка.

Нинка (*держась за спинку стула, тихо*). Просто все его так зовут. Он не просит, чтобы его так звали.

Кира. Человек получает имя, какое заработал.

Нинка. Разве это всегда так? Будьте справедливы: не всегда бывает так.

Кира. В данном случае это так.

Нинка. Легче всего — обвинять.

Кира. Он вас прислал? Что ему нужно?

Нинка. Он не прислал. Я сама вас искала. Он не хотел, чтобы я искала. Отговаривал.

Кира. Сядьте, девушка. Тоже попалась в эту паутину, бедная мушка.

Нинка. Вы шутите... Я считаю — об этих вещах надо говорить серьезными словами. И красивыми.

Кира. Согласна. Безусловно: серьезными и красивыми. Только так! А если мальчики Валерики учат нас говорить несерьезно и некрасиво?

Нинка. Валерик говорит как поэт! Вы же знаете. Вы не могли забыть.

Кира. Ну сядьте! Вы славный ребенок. Мне вас жаль. Совершенно серьезно жаль.

Нинка (*села*). Вообще не думаю, чтобы Валерик мог вас учить. Вы такая самостоятельная, с характером,— как он мог на вас влиять?

Кира. Откуда вам известно, что я самостоятельная и с характером?

Нинка. От Валерики.

Является официантка с подносом.

Кира. Еще один такой же завтрак, будьте добры.

Нинка. Для меня? Спасибо. Я не хочу есть.

Кира. А может быть?..

Нинка. Спасибо, нет. Я завтракала.

Кира. Тогда — кофе на двоих. (*Официантка уходит.*) А я хочу есть. Вы не обидитесь?.. (*Ест с аппетитом.*) И что же ему, Валерику, нравится моя самостоятельность или не нравится?

Нинка. Он вас очень уважает. Он завидует вам. Бывает ведь и хорошая зависть. Он не говорит, но ему конечно бы хотелось быть таким, как вы.

Кира. За чем же дело стало? Что ему мешает?

Нинка. У него не хватает силы воли.

Кира. Какая особенная нужна сила воли, чтоб найти себе занятие по душе, что это — подвиг, что ли?.. Почему он ничем не занимается?

Нинка. Занимается.

Кира. Чем?

Нинка. Английским языком.

Кира. Прекрасно. А еще?

Нинка. Вы думаете — ему работать не хочется?

Кира. Почему он уехал с Сахалина?

Нинка. К нему там было неважное отношение.

Кира. А что он сделал, чтоб хорошее было отношение?

Нинка. Он говорит — ничего не мог сделать. Ему очень трудно было в непривычной обстановке. И климат для него тяжелый, он говорит.

Кира. Он говорит, он говорит... Слушайте! Три года назад я взяла и — рраз! — вычеркнула из моей жизни всю эту муть. Вышла из дому с таким вот чемоданчиком, — в кармане рубль сорок копеек... Вздохнула всерьез — и вы не поверите: так радостно, светло мне стало, что всего-навсего рубль сорок копеек и что чемоданчик не весит ничего! Не верите.

Нинка. Верю.

Кира. Вы это понимаете?

Нинка. Понимаю. Что ничего-ничего с собой не унесли. Что всё впереди. Что всё в ваших собственных руках.

Кира. Как свести концы с концами: понимаете такое — и любите этого Валерку.

Нинка. Вы тоже его любили.

Кира. Мне было двадцать лет.

Нинка. Мне двадцать лет.

Кира. Мне было двадцать лет, когда я с этим уже разделалась.

Нинка. А я не хочу разделяться, только в этом между нами разница.

Кира. Это большая получается разница, если вы не хотите разделяться. Не хотите выпутаться из паутины.

Нинка. Вы вышли от него налегке и обрадовались, что вам легко. А его вы бросили с тяжестью.

Кира. Какая у него тяжесть?

Нинка. Какая тяжесть? А его неустройство? А что он ни к чему не умеет прилепиться душой?

Кира. Ничего этого он не переживает. Вы за него переживаете, а он живет себе посвистывая, как ему нравится.

Нинка. Нет, нет! Он мучается! И ему еще страшно не везет. Он просто иной раз в отчаянии от своего невезенья. За что, говорит, ни возьмись, ничего не получается, ну ничего! Почти совсем уже устроился в «Смену» внештатным сотрудником. И, понимаете, написал корреспонденцию, и кто-то там чего-то не проверил, что-то в общем получилось не так, и ему теперь больше не дают заданий... Обещал один товарищ устроить на работу и куда же устроил, в кино администратором, разве может Валерик администратором... Хотел уж поступить корректором, было место, — взяли женщину какую-то со стажем... Просто он неудачник.

Кира. Отвратительно.

Нинка. Отвратительно?

Кира. Слушайте, что может быть противнее, чем неудачник!

Нинка. Вы, значит, любите удачников.

Кира. Деятельных людей люблю. Которые знают, чего хотят. И добиываются своего. А не плывут по течению, как щепки.

Нинка. Вы правы в том смысле, что Валерик действительно не очень знает, чего ему надо... То хотел в «Смену», а теперь хочет в «Интурист», а куда захочет дальше, я даже не знаю.

Кира. Вы так говорите, будто это очень хорошо и для Валерика и для общества.

Нинка. Нет, я согласна с вами, что это плохо и для Валерика и для общества. Но вообще — вы страшно неправы. Бесчеловечно неправы. Это ужасно!

Кира. Что ужасно?

Нинка. Вы их вычеркиваете из жизни.

Кира. Кого?

Нинка. Неудачников.

Кира. Вычеркиваю? Я говорю, что лично я их терпеть не могу.

Нинка. Вычеркиваете. Рраз! — и готово... отвернулись и пошли своей дорогой... налегке! А кто вам дал право вычеркивать? Почему вы беретесь выносить приговоры? Вы сами разве — совершенство, чтобы судить других?

Кира. Вы, ребенок, кажется, хамить начинаете. Давайте будем взаимно вежливы.

Нинка. Я не признаю за вами права судить Валерика. Все ваши слова, все поступки — эгоизм, больше ничего. Вам хорошо, и вы довольны и считаете, что вы замечательная.

Кира. Он вам карточку мою показывал?

Нинка. Да.

Кира. Похожа я?

Нинка. Вы, по-моему, очень повзрослели.

Кира. Еще бы. Фотография старая. Я была дурочка, ничего не сооб-

ражающая. С первого взгляда врезалась, и тоже мне казалось, что он о любви говорит, как Пушкин.

Нинка. Как вы могли его бросить!

Кира. Вот тебе на. Человек оскорбляет вас на каждом шагу, врет, обманывает, разрушает вашу веру в людей, веру в чувство человеческое...

Нинка. А вы ей не позволяйте разрушаться. Будьте сильней этого.

Кира. Отравляет вас горечью. Заставляет с утра до вечера думать черт знает о чем. Делает вашу жизнь бесплодной, мелкой, презренной, никому кроме вас не нужной, — и после этого упрекать женщину: ты его бросила, — нет, оставьте! Я больше не могла видеть его, слышать его, идти с ним куда-то, думать о нем, — ничего больше не могла!

Нинка. Вы, должно быть, к нему предъявляли очень большие требования.

Кира. Я хотела жизни чистой и разумной. Это непосильные требования?

Нинка. А если человек не знает; если он еще не успел себе уяснить, что значит жить разумно?

Кира. До какого же возраста человек себе это уясняет?

Нинка. Это же у всех по-разному. Иногда совсем уже старик, и то не знает, как надо жить. Почему вы со старого не спрашиваете, а с молодого спрашиваете?

Кира. Его же учат, этого молодого! В университете учили, на хорошую работу послали, поле деятельности дали настоящее!.. Ничего не хочет понимать, болтается без толку, — да пусть пропадает в конце концов, кому он нужен, обойдется без него, противно только!

Нинка. Никому не нужен?

Кира. Ничтожество!

Нинка. А если, например, война? Тогда не скажете — ничтожество, без тебя обойдется. Тогда скажете — иди, будь храбрый, умри за родину! Ведь родина-то у него есть, родину у него не отнимете, не можете отнять? А раз есть у него родина — значит, он нужен родине! И ей не все равно, пропадет он или нет!.. Я вообще не могу понять, как это: чтобы человек — такой красивый, такой прекрасный — такая молодая жизнь — только-только начинается, — ничтожество?! Никогда не поверю!

Кира. По-вашему, я должна была нянькой сидеть около него?

Нинка. Как я могу учить, что вы должны, чего не должны? Не знаю.

Кира. Слушайте. Что я вам расскажу. Вы ленинградка?

Нинка. Да.

Кира. Куда выезжали из Ленинграда?

Нинка. В разные места. В Парголово. В Зеленогорск. В Петергоф...

Кира. Это всё пригородными поездами. Горы видела, ребенок? Степь видела?

Нинка. В кино.

Кира. Вот слушай. Рано-рано утром выходишь из палатки — прямо в огромную-огромную степь... под огромное-огромное небо! Так и охватит тебя всю эта воля... Солнце на краю неба. Ветер прилетел откуда-то из-за тридцати земель... Встают люди в палатках, человеческие голоса звучат. И ты с этими людьми, не зря сюда пришла. Цель у тебя есть, место есть на земном шаре — не по блату место, по заслугам.

Нинка. Вы всегда где-то там. Я вас насилу дождалась.

Кира. Да, большую часть года мы в экспедициях.

Нинка. Вы геолог?

Кира. Изыскатель-топограф. Когда я ушла тогда... с чемоданчиком-то, налегке! — до того не захотелось в университет возвращаться! Захотелось, чтобы всё по-другому! Куда-то ехать, видеть другие лица, существо-

вать не на стипендию, а на зарплату,— словом, выйти из приготовительного состояния, действовать! И чтобы зарплата была как следует, чтобы существовать, что называется, на высоте!

Нинка. Доказать.

Кира. Доказать, если хочешь. Не кому-то, а себе доказать... Ну,— подготовилась. Мои два курса геологического помогли до некоторой степени. И хорошие люди помогли. Теперь я сама себе хозяйка и госпожа.

Официантка подает кофе.

Чего и тебе желаю. Давай кофе пить. А жена я была неплохая. Старалась на него плодотворно воздействовать... пока терпенье не лопнуло. Ведь и я человек, как ты думаешь? И моя жизнь тогда только-только начиналась. Если он о моей жизни не беспокоился, должна же была хоть я сама побеспокоиться. И ты о себе побеспокойся, пока не поздно.

Нинка. А о нем кто побеспокоится?

Кира. Не знаю, как сейчас, а в мое время — вполне достаточно было дур, которые только о нем и думали. Не пропадет, не волнуйся.

Нинка. Но это же совсем другое. Это, я думаю, не помогает человеку, а мешает. И как вы ничего ему не прощаете! Даже этих, как вы говорите, дур. Он же не виноват, если о нем думают. И они не виноваты. Идет по улице,— изо всех выделяется... как же девочкам о нем не думать, они же не слепые... Я что-то хотела сказать. Да, вот что я хотела сказать: он не просто так занимается английским языком, от нечего делать,— он совершенствуется, чтобы поступить на курсы «Интуриста». Он будет гидом-переводчиком. Будет водить иностранцев по городу. Мне кажется, это интереснее, чем администратором в кино.

Кира. Возможно, не знаю.

Нинка. Жаль — это работа сезонная. Не на весь год.

Кира. Ничего. Он больше одного сезона все равно не вытянет. Да еще и курсы одолеет ли.

Нинка. Вы на него совсем махнули рукой.

Кира. Ему с детства внушили, что он — цветок жизни, что все блага будут ему поднесены в готовом виде, на блюдечке с голубой каемочкой. А вырос — говорят: то нужно, другое нужно, изволь трудиться, поезжай туда-то. А он не хочет! Он может только получать в готовом виде.

Нинка. А зачем ему внушили?

Кира. Только тех будем винить, кто внушал? А своя-то голова должна быть на плечах?

Нинка. Вы сказали: постареет, облысеет... Я как-то подумала: а что, если он так-таки ничего для себя и не найдет? Для ума своего, для рук... Станет старым... и среди ночи вдруг проснется... как от разрыва бомбы: что же, спросит, получилось из моей жизни? И уже времени нет исправить... (*Быстро.*) Глупая моя фантазия. Все будет хорошо.

Кира (*хмурясь*). Пей, ребенок. Остыло.

Нинка (*глотнув из чашки*). Почему вы не даете ему развода?

Кира. А он не просит.

Нинка. А если попросит?

Кира. Попросит, думаешь?

Нинка. Ну, если.

Кира. А зачем разводиться?

Нинка. Вы написали, чтобы он не рассчитывал на развод,— просто назло ему, да?

Кира. Чтобы других спасти от союза с ним. Акт женской солидарности. Вообразила по наивности, что это поможет.

Нинка. А сейчас?

Кира. Сейчас — не воображаю.

Нинка. Значит, вы согласитесь на развод?

Кира. Да к чему развод-то?

Нинка. Вам разве не тяжело, что вы связаны?.. С человеком, который вам не нужен.

Кира. Я не чувствую себя связанной.

Нинка. А вдруг вы захотите выйти замуж.

Кира. О, для этого много нужно, чтобы я опять захотела замуж.

Нинка. Ну, а вдруг.

Кира. Тогда и будем говорить. А сейчас, по правде сказать, мне развод даже невыгоден. Женщина в моем положении чувствует себя уверенней, если может сказать: я замужняя.

Официантка (*она возникла поблизости время от времени, прислушиваясь к разговору, и на этот раз не выдержала — вмешалась*). Совершенно верно! По крайней мере, если ты улыбнулась на чью-нибудь шутку, он не будет воображать, что ты ему сию минуту повесишься на шею! И кое-кто подумает, прежде чем любезничать... когда ты не просишь, чтобы он любезничал! (*Удаляется.*)

Нинка. А если ему нужен развод?

Кира. Для чего? Ну, для чего? На тебе жениться? Не женится. А женится, не дай бог, — тебе же хуже. Сейчас у тебя хоть какие-то иллюзии... Вы с ним врозь? Под разными крышами?

Нинка. Да.

Кира. И ты хочешь под одну?

Нинка. Я хочу, чтоб мы были — одно сердце. Одна жизнь.

Кира. Там сердце — камень, лед.

Нинка. Неправда, неправда! Но если бы даже это была правда, — вы разве не верите, что любовь может растопить лед? Вы никогда не будете счастливой, если не верите.

Кира. Слушай. Вскоре после того, как мы поженились, ему понадобились деньги. Не хотел сказать, зачем. Твердил — очень важно. Так метался, так искал этих денег, как в голод хлеба ищут. Я тогда тоже... хотела, чтоб одно сердце. Пошла, сдала кровь. Кровь, для больших, понимаешь? Принесла ему триста рублей. Вечером принес проигрыватель. Жаловался — на пластинки не хватило. Это тебе как?

Нинка. Он не посылал вас сдавать кровь. Вы это сами придумали. Здорово придумали. Мне в голову не приходило...

Кира. Слушай. А когда я перестала быть для него предметом первой необходимости, — он стал меня знакомить с разными типами, своими приятелями. Нарочно знакомить. Ты понимаешь?! Чтобы самому быть посвободней. Ничего ты не понимаешь, бедная рыбка на удочке!

Нинка (*просияла*). Валерик меня тоже зовет — рыбка.

Кира. А ну тебя. Не дам развод. Спасайся, пока жива. Ты ведь тоже можешь... как ты сказала, — вдруг проснуться, как от разрыва бомбы... Хочешь, в экспедицию устрою? Поедем с тобой далеко. На простор.

Нинка. Я никуда от него не уеду.

Кира. Найдется другой: хороший, верный.

Нинка (*встает*). Он любит меня. Вы на него наговариваете разные ужасы... Он все время обо мне думает. Хочет быть со мной. Видит меня во сне... Он дарит мне цветы! Делится со мной последними деньгами! У нас будет ребенок.

Кира (*после молчания*). Что ж. Пусть так. Пусть подает с разводе. Я подпишу, что там надо. Передай ему.

Нинка. Хорошо.

Кира. Только потом не проклинай меня.

Нинка. Спасибо вам.

Кира. Прощай. Как тебя зовут?

Нинка. Нина.

Кира. Прощай, Нина.

Нинка. От нас обоих спасибо!

Она уходит. Приближается официантка.

Кира. Сколько с меня?

Официантка (*подает счет*). Славненькая девушка, и какая молоденькая, и уже любовные неполадки, извините, я краем уха слышала. И никто ее, бедняжечку, не предостерег.

Кира (*расплачивается*). А, собственно, как предостеречь? Лекции читать насчет пуда соли?.. Стариковский опыт здесь не помогает.

Официантка. Да, что поделаешь. Каждая, волей-неволей, действует на свой страх и риск. Тянет свой лотерейный билет. Проходит курс самостоятельно. Кто же в таких случаях будет слушать стариков!

5

Звонит телефон. Кто-то терпеливо и настойчиво призывает кого-то. Потом звонки прекращаются, и слышен недоумевающий голос Нинки:

— Алё! Алё! Что такое? Алё!

Нинка у себя в комнате. Стоит с трубкой возле уха, притворив дверь (аппарат за дверью, в передней), и выкликает:

— Да что такое? Алё!

И дует в трубку.

В другой маленькой передней — тесной передней крошечной квартир-ки, построенной с помощью фанеры в недрах старого, доживающего свой век дома, — у телефонного аппарата Виктор и Валерик. Сняв трубку и зажав ее рукой, Виктор спрашивает:

— Ну, если она — что говорить?

Валерик (*вполголоса*). Скажи — дома нет.

Нинка (*взывает*). Алё? Алё?

Виктор (*в трубку*). Да.

Нинка (*обрадовалась*). Мне, будьте добры, пожалуйста, Валерика.

Виктор. Его нет дома.

Нинка. А когда он будет?

Виктор. Не могу вам сказать.

Нинка. Это не Витя?

Виктор. Витя.

Нинка. Здравствуйте, Витя. Это Нинна говорит.

Виктор. Привет.

Нинка. Витя, а вы знаете, что сегодня день его рождения?

Виктор. Да, я вот зашел поздравить, а его нет. Я думал, он у вас.

Нинка (*простодушно*). Нет. У меня его нет.

Виктор. Думаю все же, что он пошел к вам.

Нинка. Почему вы думаете?

Виктор. Ну, а где ему быть? Я пришел, — именинника нет, в доме никаких праздничных приготовлений... Матушка его нездорова... в лежа-чем состоянии... гриппует. Это она мне, собственно, сказала, что он, вероятней всего, к вам пошел.

Нинка. Он ей сказал, что будет у меня?

Виктор. Не то чтобы сказал определенно, но такое у нее предполо-жение.

Нинка (*в раздумье*). Почему, интересно, она так решила... Витя, вы его будете ждать или уйдете?

Виктор. Да подожду немного, надо бы поздравить старика, я тут коньячку захватил...

Нинка (*счастливо*). А я ему купила галстук. Очень абстрактный. Как вы с ним любите.

Виктор. Роскошно. У меня к вам просьба: если он придет, велите ему позвонить мне сюда, чтобы я даром не ждал, ладно?

Нинка. Ладно! А если он придет домой, вы ему скажите, пожалуйста, что я давно уже с работы пришла и жду его звонка. Чтобы позвонил сейчас же! Пожалуйста!

Виктор. Есть, Ниночка. Будет сделано. (*Вешает трубку.*) Уф!

Валерик. Ты гений. Что значит артист. Здорово сработано! Теперь — порядок; не нагрнет. Будет сидеть и ждать. Но в своей гениальности ты пересоллил. Дело в том, что у нее дома я не бываю. Там этот братец, и во всех отношениях незачем мне там отсвечивать... Она удивилась, когда ты сказал, что я приду?

Виктор. Не очень.

Валерик. Хотя они редко удивляются. То, что с ними произошло, кажется им таким великим чудом, что уж больше ничто их не поражает.

Виктор. Она тебе приготовила подарок.

Валерик. Фу, черт.

Виктор. Абстрактный галстук.

Валерик. Бедняжка.

Они перешли из передней в комнату. На небольшом столе приготовлены фрукты, выпивка, рюмки.

Виктор. Если хочешь знать мое мнение — надо нам с тобой эту бодрягу кончать. Поболтались, и хватит.

Валерик. Если ты говоришь о Нинке...

Виктор. Вообще говорю. Хочу жизни строгой, собранной, целеустремленной.

Валерик. Интонации Германа.

Виктор. Хочу быть настоящим актером. Хочу, чтоб уважали хорошие люди. Откровенно говоря, после вот такого телефонного разговора чувствуешь себя пакостно.

Валерик. Ну, Витька! Я тебя тоже выручал!

Виктор. И я тебя выручил. И оба мы с тобой — сволочи первой марки.

Валерик. Герман, Герман! Слова Германа, музыка Германа! Он и сегодня будет нас воспитывать... Ну почему мы сволочи? Спроси хоть у Нинки: была она со мной счастлива? Да она тебе скажет, что для нее солнце взошло, когда мы встретились!.. Напрасно ты его позвал. Кого бынибудь повеселей.

Виктор. Ничего. Это полезно, чтобы совесть иногда беспокоилась.

Валерик. Слушай, только не напускай на себя. Не выношу, когда ты на себя напускаешь. То про похороны, то про совесть. Даже Рэм говорит, что это старомодно. (*Насвистывает весело и возбужденно.*) Рэма я не позвал. Меньше поучений, меньше наставлений.

Виктор (*оглядывая стол*). А четвертый прибор для кого же?

Валерик. Увидишь, увидишь, увидишь.

Виктор (*лениво*). Секрет?

Валерик. Сюрприз, сюрприз, сюрприз.

Звонок в дверь.

(*Самодовольно.*) Вот!.. (*Идет открывать.*)

Входят Махровый и еще какой-то человек. Они одеты в поношенные полушубки, ушанки, неуклюжие подшитые валенки. На шапках и плечах у них снег. У Махрового в руке маленький старый чемоданчик. Человек, вошедший следом, безмолвен и невыразителен. Махровый пошаркал подошвами о половики у порога, и человек пошаркал. Как тень, держится он за плечом Махрового.

Махровый. Здравствуй, Валерочка.

Валерик. Здравствуйте...

Махровый. Не ожидал?

Валерик. Заходите, Алексей Аркадьич. Рад вас видеть.

Махровый. Давно не видались.

Валерик. Я всё собираюсь...

Махровый. Прособирался, Валерочка.

Валерик. Заходите, пожалуйста.

Махровый. Да я на минутку.

Валерик. Да вы зайдите.

Махровый. Не зайду, не уговаривай. Я именно на одну минутку. И по пустяковому делу. *(Понизил голос.)* Ты подумал — я насчет тех денег? Нет!

Валерик. Тише...

Махровый. Кто там, мамаша?

Валерик. Товарищ один.

Махровый *(громко)*. Пустяковое дело. *(Тихо.)* Сунь эту штуку куда-нибудь. *(Громко.)* Мы тут с приятелем были в бане, а теперь спешим в приличное одно место, куда, понимаешь, с грязным бельем... *(Тихо.)* Получше куда-нибудь засунь. Головой отвечаешь, помни. Дней через несколько — либо я сам зайду, либо он. *(Громко.)* Я, конечно, извиняюсь за такую интимную просьбу.

Валерик *(отступает)*. Я не хочу.

Махровый. А деньги — хотел?

Валерик *(отстраняет чемоданчик)*. Не хочу!

Махровый *(тихо, безмятежно)*. Деньги брал?

Его спутник молча придвигается к Валерику.

Валерик. Я же отдам!

Махровый. Тонуть будем вместе. Как камень на дно пойдешь. Быстро убирай, ну?!.. А слягавишь — жизни рад не будешь. Смерти запрошишь — не дадим. Ясно?

Он уходит, и его спутник за ним. На мгновение спутник оглянулся на Валерика. Дверь негромко хлопнула. Валерик стоит с чемоданчиком в руке.. Возвращается в комнату.

Виктор *(около проигрывателя перебирает пластинки)*. Где же гости? Это не гости?

Валерик. Не гости. Это маму спрашивали. По ее каким-то делам...

Виктор. У тебя нет этой пластинки, знаешь — из фильма «Мост через Квай»?

Валерик *(бормочет)*. Через Квай?

Виктор. Ну помнишь — марш?

Валерик. Марш?.. *(Он нашел наконец место для чемоданчика — на платяном шкафу; забросил его туда и почувствовал облегчение. Дар речи вернулся к нему.)* Конечно, помню. Марш английских солдат. *(Насвистывает.)* У меня нет, к сожалению. А это ты знаешь?

Ставит пластинку. Звонок в дверь.

(Слабей.) О черт! *(Идет отворять.)* Кто там?

Т а м а р а (*за дверью*). Боже, какие предосторожности!

Входит с тортом.

Поздравляю тебя! Поздравляю! Чего тебе пожелать? Расти большой? Ты уже вырос большой. Будь красивым и умным? Ты уже красивый и умный. Желая тебе того, чего ты сам себе желаешь. (*Сделала ему томные глаза.*) Это тебе торт. Я не спросила — ты ешь торт? Лично я предпочитаю перец и уксус. Но мужчины любят сладкое, мужчины — сладко-ежки... Помоги же мне раздеться!

В а л е р и к (*бросается снимать с нее пальто*). Деточка, я засмотрелся на тебя. Ты сегодня страшно красивая.

Т а м а р а. Больше, чем обычно?

В а л е р и к. Еще больше, чем обычно.

Т а м а р а. Слушай, не ври. Меня сегодня стриг другой парикмахер и всё испортил.

В а л е р и к. Ничего он не испортил, наоборот. Не клевети на человека.

Т а м а р а. Я специально стриглась ради твоего рождения,— ты оценил?

В а л е р и к. Еще бы... (*Объятие.*)

Т а м а р а. Ну, идем.

В а л е р и к. Идем, я тебя познакомлю с моим лучшим другом, тем самым Виктором, будущей знаменитостью.

Т а м а р а. Торт, торт, забирай торт! Я требую, чтобы все будущие знаменитости ели мой торт!

В своей тихой комнатке Н и н к а шьет детскую распашонку и разговаривает с Ж а н н о й, зашедшей ее навесгить.

Ж а н н а. Может, еще придет. Еще рано.

Н и н к а (*взглянула на часы*). Уже не рано.

Ж а н н а. Ну, знаешь их. Вечно у них тысяча дел. Пока до тебя дойдет, в двадцать мест забежит. Вот и Костя где-то загулял.

Н и н к а. Костя теперь по вечерам у девчат сидит в общежитии.

Ж а н н а. Да ну.

Н и н к а. Домой только ночевать приходит. Кто-то ему там нравится. Бриться стал каждое утро. В Дом культуры ходят вместе.

Ж а н н а. Это всё не так много значит.

Н и н к а. Она ему рубашки лочиняет.

Ж а н н а. Вот это уже что-то, что можно принять во внимание. Основательно, значит, поставили дело. Женятся, как считаешь?

Н и н к а. Не знаю. Он мне ничего не говорит. От посторонних узнаю.

Телефонный звонок. Н и н к а кинулась к аппарату.

Я слушаю!.. Кого?.. (*Горько.*) Сейчас. (*Зовет.*) Катерина Ивановна, вас к телефону! (*Вернулась к своему шитью.*)

Ж а н н а (*вздыхая*). Ты не волнуйся. Тебе волноваться нельзя. (*Рассматривает Нинкино рукоделье. Грустно.*) Чудные какие получаются вещички...

Сидят молча. Звонок в дверь. Н и н к а бежит отворять.

Н и н к а (*дрожащим голосом*). Катерина Ивановна, к вам! (*Решительно звонит по телефону.*)

У Валерика музыка. Виктор ставит пластинки. Валерик и Тамара танцуют. На столе пустые бутылки. Очень прямо сидит Герман, он выпил и настроен воинственно.

В музыку врываются телефонные звонки.

В а л е р и к (*продолжая танцевать, многозначительно*). Виктор!

В и к т о р (*выходит в переднюю, берет трубку*). Да.

Н и н к а. Это Витя?

В и к т о р. Да.

Н и н к а. Это Нина говорит. Не приходил Валерик?

В и к т о р. Нет.

Н и н к а. И не звонил?

В и к т о р. Нет.

Н и н к а. Вы тоже его всё ждете?

В и к т о р. Да.

Н и н к а. Вы странно как-то говорите... Может быть, с ним что-нибудь случилось?

В и к т о р. Что могло случиться?

Н и н к а. Вдруг что-нибудь.

В и к т о р. Не думаю.

Н и н к а. Нет, правда, Витя. Ничего не случилось?

В и к т о р. Ровным счетом ничего, насколько мне известно.

Н и н к а. Вы еще будете ждать?

В и к т о р. Не знаю. Может быть.

Н и н к а. Если дождетесь,— пожалуйста, обязательно ему скажите... Как мы с вами договорились.

В и к т о р. Хорошо. (*Вешает трубку.*)

Н и н к а (*Жанне*). И дома его нет.

Ж а н н а (*не выдержала умиротворяющего тона, взорвалась*). И ты им веришь! Этому Витьке ты веришь! Это не знаю кем надо быть, чтобы им верить!..

В а л е р и к продолжает танцевать с Т а м а р о й.

Г е р м а н (*громко*). Виктор, п-послушай!

В и к т о р. Слушаю.

Г е р м а н. Виктор, я чего-то недопонимаю.

В и к т о р. Чего ты недопонимаешь?

Г е р м а н. Я привык лицезреть ваш развратец. Ваш п-проклятый маленький гаденький развратец. Который вы обставляете разными красивыми вольнодумными словами. Вы меня приучили лицезреть. Вы меня даже приучили относиться либерально. Но этого я не п-понимаю.

В и к т о р. Чего?

Г е р м а н. Почему я относился либерально? К тебе в частности. По одной причине. Потому что вы не столько развратники, сколько п-притворяетесь развратниками. Вам кажется, что это вас украшает. Что вы от этого привлекательней... (*Показывает на танцующую пару.*) Думаешь, они друг без друга не могут обойтись? Великолепным образом могут. А притворяются, что не могут. Думаешь, они развратники? Д-дураки они, а не развратники. Вот почему, Виктор, я отношусь либерально. Но этого все-таки не могу понять, нет.

В и к т о р. Да чего, чего?

Г е р м а н. Где девочка?

В и к т о р. Какую тебе девочку? Вон девочка.

Г е р м а н. Это не д-девочка, а знаешь кто? Сказать тебе?

В и к т о р. Лучше не говори.

Г е р м а н. Где Нина? Где девочка, которую заманили, сбили с дороги, душевно ограбили и т-теперь заменяют какой-то...

В и к т о р. Тише, тише.

Г е р м а н. Тебе известно, что она из-за него работу потеряла?

В и к т о р. Ну, работает где-то.

Герман. А тебе известно, что она ребенка ждет? Я на днях ее встретил...

Виктор. Слушай, что ты ко мне пристал? При чем тут я? *(Меняет пластинку.)*

Герман. Вот, вот. «При чем тут я». Вот это самый ваш с-сво-ло-чизм. Ненавижу. Ответственность друг за друга должна быть, или как? На все начхать, кроме своих собственных дел? Человек будет задыхаться у вас на глазах, а вы на этом человеке отплясывать будете со своими?..

Виктор. Герман, ты надржался, давай помолчим немного.

Герман. И не подумаю молчать.

Виктор. Слушай музыку.

Герман. И не подумаю слушать вашу музыку.

Тамара *(со смехом падает на тахту)*. Не могу больше! Валерик, не могу! Голова кружится! Ты меня перепоил, Валерик! Зачем ты меня перепоил? Я пьяная, пьяная, пьяная! *(Протягивает руку к Герману.)* Сигарету!

Так как Герман на этот приказ не реагирует, сигареты и спичку, суетясь, подносит ей Валерик.

(Закурила полулежа.) А зря ты ругал свою квартирку, Валерик. У тебя симпатично.

Валерик. Смеешься. Вся квартира сделана из одной комнаты.

Тамара. Ну что ж. И очень симпатично сделана. Такие миленькие коробочки.

Валерик. Именно коробочки, особенно по сравнению с вашей квартирой.

Тамара. У нас квартира ничего. Хотя, конечно, бывают и лучше. Я больше всего люблю нашу ванную. Папа дивно оборудовал нашу ванную. Я начинаю день с ванны и кончаю день ванной. *(У нее слегка заплетается язык. Она похлопала рукой по тахте.)* Сядь сюда... Потухло, дай спичку... Валерик, я пьяная...

Герман *(преувеличенно громко)*. Валерик!

Валерик. А?

Герман. А где т-твоя невеста? Нина где? Почему нет Нины?

Валерик. Герман, брось трепаться.

Герман. Она здорова? Как она себя чувствует? А? Валерик!

Валерик. Да брось, ну что ты на самом деле.

Герман. Я читал в вечерке твое объявление о разводе, — вы, значит, с Ниной скоро п-поженитесь официально?

Валерик *(Виктору)*. Что я тебе говорил? Я тебе говорил, что он будет портить настроение? Говорил я тебе?

Виктор отворачивается.

Тамара *(села на тахте — трезвая, деловая)*. С кем поженитесь? Какая невеста?

А на улице зима, снег идет. Под снегом у дома, где живет Валерик, стоит человек. Белая эмалевая дощечка с номером мирно освещена... Другие люди приближаются, и все один за другим входят в подъезд.

Что за номера, Валерик?

Валерик. Тамарочка, деточка, это же чистый трёп!

Тамара. Валерик, — нет, не трёп. Отвечай: какая такая Нина?

Валерик. Да нет же, господи помилуй, никакой Нины!

Тамара. Валерик, ты врешь. Отвечай. Нет, ты молчанкой не от-делаешься. Ты ответишь. Имей в виду.

В а л е р и к. Дочка! Ну какими тебе клясться клятвами? Радость моя! Это же известный трепач! И розыгрыш-то самый банальный, ну как не стыдно верить, ну ты же умница! Никакой Нины-не-существует в природе! Пошли танцевать!

Т а м а р а. Нет, правда?

В а л е р и к. Третий раз тебе говорю: никогда не знал никакой Нины! Слышишь, никогда!

Долгий громкий звонок. Виктор отворяет.

Входят две степенные закутанные дворничихи, милиционер, двое штатских.

Один из штатских (*Виктору*). Вы тут хозяин будете?
Виктор. Валерик! Тебя спрашивают.

В а л е р и к выходит, встрепанный.

Ш т а т с к и й. Синицын, Валерий Николаевич?

В а л е р и к. Да...

Ш т а т с к и й (*показывает раскрытую книжечку*). Уголовный розыск. С обыском к вам. Ознакомьтесь с ордером, пожалуйста. (*Валерик знакомится.*) Распишитесь, что ознакомились. (*Валерик расписывается.*) В первую очередь попрошу предъявить чемодан, который вам оставили на хранение сегодня вечером.

6

В кабинете у следователя рыдает мать Валерика.

М а т ь В а л е р и к а. Товарищ следователь, товарищ следователь, да вы посмотрите на него! Вы же его видели! Ну посмотрите на него хорошенько! Чтобы с таким лицом — преступник?! Господи! Слепые вы... безумные, ох!.. Чтобы мой Валерик — преступник!..

С л е д о в а т е л ь молча перелистывает бумаги.

Такой мальчик! Только что двадцать пять лет исполнилось. День рождения справляли... Товарищ следователь, я вас убедительно прошу, посмотрите на него как следует, в глаза ему посмотрите, это же не может быть!

С л е д о в а т е л ь. Чего не может быть?

М а т ь В а л е р и к а. Чтобы он в чем-нибудь был виноват. Он ни в чем не может быть виноват!

С л е д о в а т е л ь. Успокойтесь, и продолжим наш разговор разумно. У вас какая профессия?

М а т ь В а л е р и к а. Медицинский работник. Медсестра.

С л е д о в а т е л ь. Где работаете?

М а т ь В а л е р и к а. В больнице Эрисмана. Папочку нашего мобилизовали, я на курсы сестер пошла. Всю войну в тылу по госпиталям, а после эвакуации у Эрисмана. Скоро юбилей могу отмечать.

С л е д о в а т е л ь. Муж когда убит?

М а т ь В а л е р и к а. В феврале сорок третьего пришла похоронная, семнадцатого числа. А когда его не стало, нашего папочки, мы не знаем.

С л е д о в а т е л ь. Сами, значит, сына поднимали.

М а т ь В а л е р и к а. Сама, товарищ следователь! Своими руками!

С л е д о в а т е л ь. Образование дали хорошее.

М а т ь В а л е р и к а (*с гордостью*). Да уж, кажется, ничего не упустила. И сейчас он... перед этим несчастьем... английские уроки брал, моя дочка. (*Горько заплакала.*)

Следователь. Частные уроки?

Мать Валерика. С самой первоклассной учительницей занимался. У нее произношение самое замечательное, он говорит.

Следователь. И не работал.

Мать Валерика. Товарищ следователь, он собирался работать! Он английским переводчиком собирался работать!

Следователь. А ведь это, наверно, дороговато — частные уроки, да еще у первоклассной учительницы, как вы ухитрялись из своей зарплаты?

Мать Валерика. Товарищ следователь, я с вами буду вполне откровенна. Наше медсестринское дело такое, что мы можем иметь приработок. У кого, конечно, настоящая квалификация. Меня, например, уважают в некоторых профессорских семьях. И даже один член-корреспондент. Если нужно укол, или банки, или подежурить около больного, они никаких сестер не признают, только меня. А почему, потому что у меня рука легкая. Я не болезненно делаю, приятно. И сильная: мне помогать не надо, какого хотите больного сама поверну, переложу, как ему удобно.

Следователь. В тот вечер, когда справлялся день рождения, вы были в больнице?

Мать Валерика. Нет, я не была в больнице.

Следователь. Дежурили у какого-нибудь больного?

Мать Валерика. Нет.

Следователь. А где вы были, вы можете сказать?

Мать Валерика. Конечно, могу, в этом ничего нет такого. Я сначала была в кино. В «Титане». Потом пошла к знакомой и у нее осталась ночевать. Я вам адрес дам, она подтвердит.

Следователь. Почему же вы ушли из дому, когда праздновался день рождения сына? Поссорились с ним, что ли?

Мать Валерика. Что вы, разве я когда-нибудь ссорилась с Валериком. Просто, когда у него собирается молодежь, я уйду. Квартирка у нас тесная. Что я там буду торчать, мешать им.

Следователь. Это сын вас просил уходить?

Мать Валерика. Да я бы и сама догадалась. Люди молодые, у них свои интересы... И не так часто у него собираются. И мне совершенно не трудно где-нибудь переночевать. Я на работе вообще привыкла, свободно могу не спать одну, другую ночь.

Следователь. Вы слышали когда-нибудь такую фамилию — Махровый?

Мать Валерика. Никогда не слышала.

Следователь. Не упоминал ваш сын эту фамилию?

Мать Валерика. Никогда не упоминал.

Следователь. А не замечали, чтобы он интересовался валютными ценностями?

Мать Валерика. Господи, — ценности, да еще валютные! Он их и не знает.

Следователь. Брильянтами?

Мать Валерика. Чем?

Следователь. Брильянтами.

Мать Валерика. Извиняюсь, мне даже странно. Мы с ним о брильянтах только в романах читали, как и вы, я думаю; чего ради он заинтересуется?

Следователь. А за что он получил от Махрового десять тысяч рублей?

Мать Валерика. Десять тысяч, это я не знаю. Я знаю четыре

тысячи, это он занял, в долг взял. И не у Махрового, а у какого-то своего знакомого. Фамилию не скажу, знаю только имя-отчество.

С л е д о в а т е л ь. Какое же его имя-отчество?

М а т ь В а л е р и к а. Алексей Аркадьич. Это когда Валерик приехал с Сахалина, и у нас трудное было время — я болела, а его в дороге обворовали, и ему одеться надо было, — вот он приходит один раз и говорит — меня, говорит, мой знакомый выручает, Алексей Аркадьич, дает в долг четыре тысячи.

С л е д о в а т е л ь. Десять.

М а т ь В а л е р и к а. Валерик сказал — четыре.

С л е д о в а т е л ь. В расписке написано — десять.

М а т ь В а л е р и к а. В какой расписке?

С л е д о в а т е л ь. Которую нашли у Махрового.

М а т ь В а л е р и к а. У Махрового?.. *(Вдруг что-то поняла, ослабела.)* Товарищ следователь, во что его путают?

С л е д о в а т е л ь. Сам запутался.

М а т ь В а л е р и к а. Господи, куда?! Он не может быть преступником, что вы говорите?! Он по натуре своей не способен ни на что дурное! По своей прекрасной душе!.. Его, возможно, обманули какие-нибудь негодяи... Он такой, мой Валерик, доверчивый! Его каждый может обвести вокруг пальца!..

На набережной Невы стоят Герман и Виктор.

Г е р м а н. Из вопросов следователя я сделал з-заключение, что это крупные зубры, скупщики валюты, — дело явно очень д-дрянное, антигосударственное.

В и к т о р. Я не верю, чтобы он в этом принимал участие!

Г е р м а н. Да, я тоже не д-думаю. Думаю, что тут одно легкомыслие. Одно ваше кретинское — тра-ля-ля, тра-ля-ля, давайте жить легко.

В и к т о р. Ты мне всю жизнь будешь этим колоть глаза?

Г е р м а н. Всю жизнь не выйдет, я ведь уезжаю.

В и к т о р. Представь — мне жаль.

Г е р м а н. Да что ты.

В и к т о р. Вот представь, мы с тобой пререкаемся с детства, и ты не даешь мне проходу, и вообще ты отвратительный педант, — но мне почему-то не хочется, чтобы ты уезжал.

Г е р м а н. Спасибо, Витя. Видишь ли, Витя, у меня очень большая жизненная п-программа. Мне нужны просторы.

В и к т о р *(показывает на открытую перед ними туманную панораму города)*. Этих просторов тебе мало?

Г е р м а н. Мало!

Идет Рэм.

А, Рэм, з-здорово, Рэм!

Рэм. Здравствуйте, ребята.

В и к т о р. Привет.

Рэм. Герман, ну как — распределился?

Г е р м а н. Распределился.

Рэм. И куда?

Г е р м а н. Красноярский край.

Рэм. Не далековато?

Г е р м а н. В самый раз.

Рэм. И когда же?..

Г е р м а н. Сразу п-после выпуска.

Рэм. А что с Валериком, ребята? Прояснилось что-нибудь?

В и к т о р. Еще проясняется.

Рэм. Вот бедняга, как это его угораздило?

!

В кабинете следователя сидит Тамара.

Тамара. Десять тысяч? Я у него десять рублей ни разу не видела. Если хотите знать, я все билеты за свои деньги покупала, и в кино, и в театр, и на эту аргентинскую певицу, как ее... Можете поверить. И за себя платила и за него. Сигареты, и те покупались на мои деньги. Кстати, я бы хотела закурить.

Следователь. Пожалуйста. Но десять тысяч он получил. Он сам это признаёт.

Тамара (*закурила*). Подумаешь. Ну, получил, допустим. Получил и истратил. Оделся прилично, и опять без гроша. Когда мы познакомились, я же вам говорю, — он был абсолютно без гроша.

Следователь. Но за что он получил?

Тамара. Да ни за что. Просто в долг взял. Мне папа добавляет к стипендии очень прилично, и то бывает, случается — стреляешь у кого-нибудь десятку, а то и трешку.

Следователь. Как он мог взять в долг такие деньги, когда он не работал? На что он рассчитывал?

Тамара. Ну... я не знаю. Выплатил бы когда-нибудь... Какое это имеет значение?

Следователь. Вы считаете, это моральный поступок — брать в долг, не предвидя реальной возможности вернуть взятое?

Тамара. Гражданин следователь, я вас попрошу — не учите меня, что морально, что аморально. Я сама в этом как-нибудь разберусь. Очевидно, те, кто ему дал эти деньги, и не предполагали, что он их вернет завтра-послезавтра.

Следователь. Очевидно. Поэтому и встает вопрос: за что ему дали такую сумму при столь туманных перспективах?

Тамара. Я же вам говорю: он эту сумму занял. А уж на что рассчитывать, это его личное дело. Не понимаю, почему это вас заботит — когда бы он вернул долг этим подонкам. Почему вы требуете, чтобы Валерик беспокоился о подонках, как о порядочных людях.

Следователь. Вам не кажется, что в этой истории все — подонки?

Тамара. Потрудитесь его не оскорблять. Вы не имеете права. Учтите, если дойдет до суда — его будет защищать самый лучший защитник. Я говорила с папой, и папа мне обещал. Вам не удастся закатать Валерика вместе с какими-то уголовниками.

Следователь. Мы не стараемся закатать Валерика. Мы стараемся выяснить истину.

Тамара. Истина заключается в том, что бедного воробышка просто оболванчили.

Следователь. Спорить с вами не буду. Может быть и так.

Тамара. Увидите, что так, а не иначе!

...И вот опять набережная. Сияющий весенний вечер. Тамара прогуливается с Валериком.

Валерик. Ну где еще у нас увидишь такие набережные, такие ансамбли?

Тамара. Даже не подозревала, что это такое счастье, воробышек, — слышать твой голос. Я боялась, что нескоро его услышу.

Валерик. Что такое? Это теперь всегда будет, что ли? Даже злодея, ей-богу, не обрекают на то, чтобы на каждом шагу...

Тамара. Что, что, что ты?

В а л е р и к. Опять ты напоминаешь! Зачем ты мне напоминаешь! Надо же быть хоть немножко чуткой, деточка!

Т а м а р а. Ну извини, извини!

В а л е р и к. Ненавижу вспоминать неприятности! Мало ли кто-каких не делает глупостей! Неужели тебе нравится...

Т а м а р а. Не буду, не буду, не буду!

В а л е р и к (*после небольшого молчания, прежним лирическим тоном*). Ты знаешь, — забавно, — когда я жил на Сахалине, ни разу мне Сахалин не приснился, всегда снился Ленинград.

Т а м а р а (*прижавшись к нему*). Скоро опять будут белые ночи...

В а л е р и к. Да, — ты только посмотри на это небо...

7

Светлый вечер смотрит поперх крыш с антеннами и трубами в окно Нинкиной комнаты.

Н и н к а (*над детской кроваткой*). Ты мой маленький. Ты мой маленький. Ты мой такой смешной. Ты мой такой похожий на папу... Ну что, маленький? Ну что? Ну что?.. С понедельника в ясли с тобой пойдем. В ясли. Маленький в ясли, а мама на работу. Хватит маме гулять. Хватит, нагулялась. Иди, мама, лифчики шить. С ляжками и без лямок. А маленькому в яслях будет хорошо. Спать на балконе будет маленький, на воздухе. Витамины будут маленькому давать. На весах взвешивать. Нянечки там хорошие... И дядю Костю меньше будем обременять. Разгрузим тебя, дядя Костя, бедный. Дадим тебе вздохнуть. А то Катерина Ивановна говорит, что мы у тебя как две гири на ногах. Две гири... Ты на нас не сердись, дядя Костя. Мы больше не будем. Спасибо тебе за всё. Теперь мы уже сами. Понемножку. Трудно, — это ничего. Маленький мой не почувствует...

Входит Костя.

К о с т я (*тихим голосом*). Ко мне никто не приходил?

Н и н к а. Нет.

К о с т я. И не звонил?

Н и н к а. Нет.

К о с т я. Спит племянник?

Н и н к а. Засыпает. Ничего, Косточка, говори громко. Он заснет.

К о с т я (*заглянул в кроватку*). Всё в порядке у племянника?

Н и н к а. Всё в порядке. С понедельника в ясли несусь.

К о с т я. Нинка. Мне с тобой нужно поговорить.

Н и н к а. Я давно жду, Косточка, чтоб ты со мной поговорил.

К о с т я. Зина обижается, что я чуть не полгода тянул, — это я специально и исключительно ради тебя тянул, имей в виду.

Н и н к а. Я знаю.

К о с т я. Даю тебе слово, если бы твоя история закончилась иначе, — я бы переехал в общежитие, я бы еще столько ждал...

Н и н к а. Я знаю, знаю!

К о с т я. ...лишь бы у тебя наладилось. Но вчера я узнал, что этот мерзавец...

Н и н к а. Не надо!

К о с т я. ...который даже ни разу не счел нужным зайти взглянуть на своего ребенка... Что он женился. Тебе это известно, я думаю.

Н и н к а. Да.

К о с т я. Во дворце бракосочетаний, скотина, регистрировался. Я как узнал, — в глазах потемнело...

Н и н к а. Не надо, Косточка.

К о с т я. Действительно, после драки — что ж махать кулаками. В свое бы время я должен вмешаться, Зина права. Воздействовать как-то... Ведь чувствовал, что этим кончится. Сбила ты меня тогда: заступалась очень... Да, я, собственно, вот о чем. Сейчас-то уж никакого нет смысла нам с Зиной дальше тянуть, ты согласна?

Н и н к а. Никакого смысла.

К о с т я. Можно эту комнату перегородить, как ты считаешь?

Н и н к а. Конечно.

К о с т я. Если вот так поставить перегородку.

Н и н к а. Можно и так. Нам с маленьким лишь бы какой-нибудь уголочек.

К о с т я. Зачем это. Почему вам с маленьким уголочек. Поровну будем делить, по справедливости. Зина человек очень справедливый. И, знаешь, открытый такой, прямой. Хороший человек... Причем я хочу тебя обрадовать, что вся эта заводиловка с перегородками — это ненадолго, месяца на четыре, самое большее на пять. К годовщине Октября нам квартиру обещают в новом доме.

Н и н к а. Как хорошо, Косточка!

К о с т я. А эта комната останется вам с племянником. Ты ничего не имеешь против, если Зина начнет перебираться сегодня вечером?

Н и н к а. Что я могу иметь против? Я за тебя рада, Косточка.

К о с т я. Да, понимаешь, прекрасный человек! Она, собственно, сегодня только зайдет посмотреть — что у нас есть и чего нет, и что нужно купить. А завтра мы с ней все купим, и я ее перевезу. Что-то она задержалась. *(Звонок.)* Ага, вот и мы! *(Идет отворять.)*

Входит Ж а н н а.

Н и н к а. Это ты, Жанночка!

Ж а н н а. До чего у Кости ко мне антипатия. Открыл дверь, — прямо фыркнул на меня: «здрасьте!» — как будто я не знаю кто такая; во всяком случае не человек. Я тебе принесла пивные дрожжи.

Н и н к а. Что принесла?

Ж а н н а. Пивные дрожжи.

Н и н к а. Зачем?

Ж а н н а. Наши бабки на фабрике все в один голос, — чтоб ты пила пивные дрожжи. Пей.

Н и н к а. Это полезно маленькому?

Ж а н н а. Вот я не спросила, как маленькому, а тебе, они говорят, очень полезно.

Н и н к а. Я спрошу в консультации.

Ж а н н а. Слушай, пей! Уж наши бабки в этих вещах разбираются. Пей, пожалуйста! Я за этими дрожжами целый час стояла в очереди с сплошными алкоголиками.

Н и н к а. Почему с алкоголиками?

Ж а н н а. Так дрожжи ведь пивные. Алкоголики их пьют вместо пива. Жутко дешево: пятьдесят копеек литр. Он за полтинник так охмелеет, будь здорова. Некоторые вот с такими бидонами стоят. Пей!

Н и н к а. Нет, Жанночка, нет. Я сначала узнаю в консультации.

Звонок.

(Тихо.) Жанка, ты знаешь — Костя женится.

Ж а н н а. Да ну. На той самой?

Н и н к а. Той самой. Комнату будем перегородаживать.

Ж а н н а. Новости...

К о с т я вносит сумки с кастрюлями и разной утварью, за ним входит З и н а.

Зина. Здравствуйте.

Нинка. Здравствуйте...

Костя. Вот это Нина, знакомься.

Зина. Здравствуй, Нина. А это, значит, племянник.

Костя. Это племянник.

Зина (*покровительно*). Хорошенький ребеночек. Носик какой симпатичный... Это, значит, ваша комната. Знаешь, Костя, что будем покупать первым делом? Первым делом придется покупать гардероб. Без гардероба очень портится одежда. Как ты ее там ни прикрывай, а на стенке одежда портится. Гардероб поищем хороший, но без зеркала, с зеркалом сейчас не модно. С остальной мебелью, мое мнение, подождем до новой квартиры. Кухонный шкафчик есть, ты говорил?

Костя. Есть.

Зина. Покажи, что за шкафчик. (*Вслед за Костей плавно выходит из комнаты.*)

Нинка. Красивая...

Жанна. Как себя держит, прямо тебе министр.

Нинка. К работе приступлю, — опять мало буду дома бывать.

Жанна. Всё же больше придется, чем прежде. Дома-то бывать. Купать будем сегодня?

Нинка. Попозже.

Жанна. Я, может, воды пока нагрее?

Слышен голос Зины: «Ну хоть шаром покати! А хвалился, хвалился!..»

Нинка. Подожди. Попозже нагреем... Жанка, они расписывались во дворце бракосочетаний?

Жанна. Валерик с Тamarкой? Во дворце. Я тогда не досказала, потому что ты была как сумасшедшая... А живут у Тamarкиного отца. Сейчас, кажется, на дачу уехали. В Ушкове у них дача. Слушай, только больше не сходи с ума, ладно? Думай о маленьком и не сходи.

Нинка. Жанка, наша любовь началась в Ушкове.

Жанна. Думай о маленьком.

Нинка. «Любовь должна быть радостью, сиянием, праздником, балом...» И он может ходить по Ушкову и не думать обо мне.

Возвращается Зина.

Зина. Посмотрела ваше хозяйство, ничего у вас нет, пустой шкафчик. Ни круп, ни муки. Соли, и то на доньшке. Чаю щепотки нет — заварить.

Нинка. Я утром пойду гулять с маленьким, куплю чаю.

Зина. А Костя хвалился, — там сестренка у меня, говорит, борщи мне, говорит, варит. А у сестренки и луковицы в хозяйстве нет. Ни на что не похоже.

Нинка. Это я раньше, правда, варила...

Жанна. Она варила!

Нинка. А сейчас как-то...

Зина (*твердо*). Ни на что не похоже. Сразу давай-ка договоримся: забота пополам. Нас тут две женщины, значит обе должны заботиться. Я смотрю за хозяйством, и ты смотришь. И не как-нибудь — спустя рукава, а толково. У тебя ребенок, я сознаю, сочувствую, — а у меня, дорогая, бригада на руках, тоже ответственность, особенно не погуляешь. Так что давай — чтоб было у нас с тобой на высоте. (*Достает из принесенных сумок кухонную посуду.*) Какая симпатичная ваша соседка, Катерина Ивановна, до чего хозяйственная женщина и опрятная, вот на кого удовольствие смотреть. (*Ушла.*)

Жанна *(вздыхнув)*. Хочешь, я сбегаю, куплю чаю. И чего там, соли?

Весело смеясь, входит Костя.

Костя. Да, теперь забегаем. Осрамылись мы с тобой, Нинка. Всыпала нам Зина за наше цыганское житье. Почему, говорит, варенье не варили.

Зина *(входит за ним)*. О холодильнике тоже думать надо, по чужим холодильникам тыкаться — одни слезы.

Костя. Ну, не всё сразу, Зинуша, не всё сразу!

Зина. Я не говорю — всё сразу. Я говорю — думать надо. Сходим-ка, Костя, в продуктовый магазин. Чем сидеть сложа руки. Ты возьми эту сумку... Когда человек сидит сложа руки, он, между прочим, только хуже размагничивается... А себе я эту возьму. И авоську... Человек должен быть как гвоздик прямой и бодрый... Пошли, Костя, купим каких надо продуктов, ликвидирuem этот прорыв.

Большая и решительная, она энергично движется по комнате, комната заполнена ее движением, ее властным голосом. Затихшие, сидят Нинка и Жанна и вздыхают облегченно, когда Зина уходит с Костей, сказав на прощанье:

Ну, мы скоро!

Нинка и Жанна вдвоем. Некоторое время молчат.

Нинка. Он может ходить по тем местам и не думать обо мне. А я ничего не могу. Хочу и не могу. Иду по тем улицам, где мы вместе ходили, — не могу... Всё во мне горит, жжет, — уже силы нет, а оно никак не сгорит... Если бы не маленький, я не знаю, что бы я сделала... Куда мне деваться, Жанка? Ни на что я стала не годная. Как я буду жить?

Она с трудом выговаривает эти слова, и опять они молчат с Жанной. А тем временем посмуглело окно, и тускловатые лампочки экономно осветили лестницу, ведущую к квартире. Какой-то человек поднимается по лестнице. Смотрит номера на дверях.

Дошел до самого верха...

Звонок. Слышно, как отворили дверь. Потом голос из передней зовет: «Нинка! К тебе пришли! Нинка!»

Нинка *(вяло)*. Кто там?

Входит Герман.

Герман. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Жанна.

Жанна *(вздвoгнула, вспыхнула)*. Здравствуйте...

А Нинка только перевела дыхание.

Герман. Это ничего, Нина, что я зашел вас навестить?

Нинка *(неловко)*. Садитесь, пожалуйста.

Жанна. Садитесь, пожалуйста! *(Подает стул.)*

Герман. Благодарю вас, не беспокойтесь. *(Заглянул в кровать.)*
Мальчик?

Нинка. Мальчик.

Герман. Красавец. И здоровенький?

Нинка. Ничего.

Герман. При рождении сколько весил?

Нинка. Три девятьсот. Даже три девятьсот двадцать.

Герман. Это прекрасно.

Нинка. В больнице сказали — очень хороший вес. Вообще сказали — редко бывают такие крупные и красивые дети.

Герман. Я очень рад и поздравляю вас от души с великолепным сыном! Как зовут?

Нинка (*срывающимся голосом*). Его зовут... так же, как отца. Но мы просто зовем — маленький.

Герман. Скажите, а д-доктор вам не нужен? Я к вашим услугам.

Жанна (*она не в силах сдержать широкой, простодушно-радостной, совсем не стильной улыбки*). Вы уже доктор?

Герман. Да, уже доктор. Но пользуйтесь мной как доктором поскорей, прошу вас. Я скоро уезжаю.

Жанна (*потускнела*). Далеко?

Герман. П-порядочно. В Красноярский край. А вы, Нина, работаете?

Нинка. Мне продлили отпуск... На днях опять начинаю работать.

Герман. Всё там же?

Нинка. Там же. Год назад я тоже собиралась уезжать... далеко. Интересно, где бы я сейчас была? Что бы я была такое? Как бы всё сложилось?

Герман. Уехать никогда не поздно.

Нинка. Иногда — поздно.

Герман. В ваши годы еще ничего не поздно.

Нинка. Разве?..

Герман. О чем разговор? Ничто еще д-даже не начато. Вы себя еще ни в чем не п-попробовали.

Нинка (*обвела взглядом комнату*). И я могу отсюда уехать?

Герман. Конечно. Хотите, поедem со мной?

Нинка. С вами?

Герман. Я буду п-почтительнейшим образом сопровождать вас и маленького, если вы разрешите. И обязуюсь вас устроить — в меру моих возможностей, разумеется. Скажем — вначале это будет должность санитарки. Работа тяжелая.

Нинка. Я не боюсь!

Герман. Да вы и без меня там отлично устроитесь! И у вас же впереди пятьдесят лет деятельности, полвека, чего только не п-произойдет с вами за полвека!

Нинка. Вы... не шутите?

Герман. В таких случаях обычно не шучу.

Нинка (*лихорадочно*). И вы скоро едете?

Герман. Дней через десять. П-подумайте. Посоветуйтесь с вашими близкими. Может быть, не стоит вам здесь и приступать к работе? Ведь нужно успеть собраться в дорогу.

Нинка (*стиснув руки*). Да неужели это правда, что я смогу уехать?!

Жанна (*Герману*). Так ли я вас поняла? Я поняла так, что вы ей делаете предложение?

Герман (*возмущившись*). Нет! Вы совершенно не так п-поняли! Вы ничего не поняли! Слышите, Нина? Я вам не делал предложение... руки и сердца! И не сделаю! Если хотите знать, вы совершенно даже не мой ид-деал!.. Почему, черт побери, вам везде непременно мерещится это самое?.. Неужели мы с вами только женихи и невесты? Неужели мы не люди прежде всего?! Люди, черт побери!! (*Спохватился*.) Виноват.

Нинка. Неужели, неужели я отсюда уеду?..

8

От перрона Московского вокзала светлой летней ночью — белой ночью с таким же небом, как в первой сцене этой пьесы, — отходил поезд. Радио проговорило предотъездные слова.

Много людей провожало Германа.

— Ну, ни пуха ни пера! Исполнение желаний! Не забывай старых товарищей, давай знать, что и как! — сказал Рэм Герману, стоявшему позади проводника на вагонной площадке.

— Ты же мне пиши почаще, мой мальчик! — ревниво сказала пожилая дама.

— Мамочка, я тебе буду п-присылать мои дневники! — ответил Герман.

— Да, да! — радостно сказала дама и обернулась к молодежи: — Когда он был маленький, он из пионерлагеря присылал мне вместо писем свои дневники. — К сыну: — И свое здоровье тоже береги... доктор. Помни, что ты подвержен простудам. — К молодежи: — Он очень подвержен простудам!

Поезд тронулся.

— Герман, Герман! — закричала здоровенная девушка, идя рядом с площадкой. — Если я заболю, я приеду лечиться только к тебе! В твою показательную больницу! Постарайся скорей получить больницу! Договорились?

— Договорились! — отвечает ей Герман и машет рукой. — До свиданья, мама! Счастливо, ребята!

В стороне от этой группы провожающих — Костя, Зина и Жанна.

В медленно проплывающем вагонном окне — Нинка с ребенком на руках.

Жанна идет рядом с вагоном.

Жанна (*кричит*). Ты хоть в отпуск будешь приезжать? Хоть повидаешься...

Нинке не слышно. Она спрятала лицо в голубом пакетице, который у нее на руках.

Поезд ушел. Расходятся провожающие.

Жанна (*Косте и Зине, всхлипывая*). До свиданья.

Костя (*холодно*). До свиданья.

Жанна. Вы считаете, Костя, я во всем виновата, — вы напрасно, Костя, считаете.

Зина (*с презрением*). Вы ресницы размазали, вытрите.

Костя. Я ничего не считаю. Всего хорошего. (*Идет с Зиной. Сумрачно.*) Все-таки, пока не устроится Нинкина жизнь — не будет мне покоя.

Зина (*держит его под руку*). Вот уж, Костя, ты святой какой-то, что ли! Ну при чем ты? Почему ты не должен иметь покоя? Сама она себе жизнь изломала, сама собой распорядилась, тебя не спросилась...

Костя. Это-то верно, что сама распорядилась.

Зина. А могла бы посоветоваться со старшим братом... прежде чем без мужа ребенка наживать. Не бойся, устроится. (*Уходят.*)

И всё исчезает, сцена погружается в настоящую, глубокую, звездную ночь и в грохот колес. Из ночи и грохота выступает розовое утро и уголок вагона с людьми, с грудями багажа на верхних полках. Кто-то пьет чай. Причесывается *п о ж и л а я ж е н щ и н а*. Нинка спит, охватив ребенка рукой. За перегородкой молодые голоса поют песню.

Проводник (*проходит*). Кто еще желает чаю?

Герман. Сюда два стакана, пожалуйста.

Нинка проснулась, вскочила.

Нинка. Ой, заспалась, кажется.

Герман. А спите на з-здоровье. Отдыхайте.

Нинка (*смотрит в окно*). Далекотъехали?

Герман. Калинин проехали. Теперь уже Москва близко. Пересядем с вами, и дальше, дальше, дальше!

Н и н к а. Знаете, я ни разу в жизни Москву не видела.
Г е р м а н. Вы вообще ничего не видели. Т-теперь всё увидите. Пейте чай.
Н и н к а. Я еще не умытая.
Г е р м а н. Ничего, глотните теплого, полезно.
П о ж и л а я ж е н щ и н а. Я думала — супруги, а они на вы.
Г е р м а н. Да, мы на вы. Мы не супруги.
Ж е н щ и н а. Подумайте. Так дружно едут, такой вы к ней заботливый, я решила — супруги.
Г е р м а н. Мы просто товарищи. П-попутчики.
Ж е н щ и н а (*не очень убеждена*). А ребеночек какой тихий. Девочка?
Н и н к а. Мальчик.
Ж е н щ и н а. Очень тихий. Спит себе да спит, умничек.
Н и н к а. Да, он спокойный. Его и не слышно.
Ж е н щ и н а. Нисколько ночью не мешал.

Ребенок кричит.

Н и н к а. Ему кушать пора.
Г е р м а н. Валяйте. (*Выходит, захватив папиросы.*)
Ж е н щ и н а. Я вам подам. (*Подносит Нинке ребенка.*) Чшш, чшш, агунюшки, агунюшки, сейчас, хорошенький, сейчас.
Н и н к а (*вполборота к зрителям, накинув косынку на плечи*). Проголодался маленький. Ну что, маленький? Ну что? Ну что?..

За нергородкой молодые голоса поют песню.



ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

ВЕРБЛЮЖИЙ ГЛАЗ

Рассказ

С киргизского

1

Я успел зачерпнуть из родника лишь полведра воды, как над степью пронесся истошный крик:

— Э-эй! Академик, морду набью-у-у!

Я замер. Прислушался. Вообще-то меня зовут Кемелем, но здесь прозвали «академиком». Так и есть: трактор на той стороне зловеще молчит. Тот, кто обещает набить мне морду,—это Абакир. Опять наорет на меня, изругает, а то и замахнется кулаком. Тракторов два, а я — один. И должен я доставлять для них на этой вот одноконной бричке и воду, и горючее, и смазку, и всякую всячину. Тракторы с каждым днем уходят все дальше и дальше от единственного на всю округу родника. Все дальше и дальше уходят они от нашего единственного на всем белом свете полевого стана, где хранится в цистерне горючее. Пробовали было перенести его, да куда там — он тоже привязан к воде. А такой вот Абакир знать ничего не хочет: «Морду набью за простой, да и только! Не затем я здесь ишачу, чтобы время терять из-за какого-то студентика-слюнтяя!»

А я и не студентик вовсе. Даже не пытался попасть в институт. Я сразу после школы приехал сюда, на Анархай. Когда нас отправляли, на собрании говорили, что мы, а значит, и я в том числе, «славные покорители целины, бесстрашные пионеры обновленных краев». Вот кто я был вначале. А теперь? Стыдно признаться: «академик». Так прозвал меня Абакир. Сам я виноват. Не умею скрывать свои мысли, размечтаюсь вслух, словно мальчишка, а люди потом смеются надо мной. Но если бы кто знал, что не столько я сам виноват в этом, сколько наш учитель истории Алдияров. Краевед! Понаслушался я нашего краеведа, а теперь вот расплачиваюсь...

Так и не наполнив бочку доверху, я выехал из ложбинки на дорогу. Собственно, и дороги-то тут никогда не было. Это я накатал ее своей бричкой.

Трактор стоит в конце огромного черного поля. А наверху — на кабине — Абакир. Потрясая в воздухе кулаками, он все еще поносит меня, ругается на чем свет стоит.

Я подстегнул лошадь. Вода в бочке выплескивается мне на спину, но я гоню вовсю.

Я сам напросился сюда. Никто меня не заставлял. Другие поехали в Казахстан, на настоящую целину, о которой в газетах пишут. А на Анархай я один подался. Здесь только первую весну работают, да и то

всего два трактора. В прошлом году агроном Сорокин — он тут главный над всеми нами — испытывал на небольшом поле богарный ячмень. Говорят, неплохо уродился. Если и дальше так пойдет, то проблему кормов в Анархайской степи, может, удастся разрешить.

Но пока приходится действовать с оглядкой. Очень уж засушлив и зноен Анархай летом: даже каменные колючки — таш-тикен — и то, случается, сохнут на корню. Те колхозы, что пригоняют сюда с осени скот на зимовку, не решаются пока сеять, выжидают: поглядим, мол, что у других получится... Потому нас всего-то здесь по пальцам перечесть: два тракториста, два прицепщика, повариха, я — водовоз — и агроном Сорокин. Вот и вся армия покорителей целины. Вряд ли кто знает о нас, да и мы не ведаем, что творится на свете. Иногда только Сорокин привезет какую-нибудь новость. Он ездит верхом в соседнее урочище к чабанам, ругается оттуда по рации с начальством да сводки сообщает для отчетности.

Да-а, а я-то думал — целина, масштабы! Впрочем, это же все наш историк Алдияров. Это он расписывал нам, школьникам, Анархай: «Веками нетронутая, роскошная полынная степь, простирающаяся от Курдайского нагорья вплоть до камышовых зарослей Балхаша! По преданиям, в былые времена, заблудившись в холмах Анархая, бесследно исчезали целые табуны, а потом долго бродили там косяки одичавших лошадей. Анархай — безмолвный свидетель минувших эпох, арена грандиозных битв, колыбель кочевых племен. А в наши дни Анархайскому плато суждено стать богатейшим краем отгонного животноводства...» Ну и так далее, в том же духе...

Хорошо было тогда разглядывать Анархай на карте, там он с ладонь. А теперь? С рассвета гоняю туда-сюда эту дурацкую водовозку. Вечером с трудом выпрягаю лошадь и задаю ей прессованного сена, завезенного сюда на машине. Потом ем без всякого аппетита то, что дает мне наша Альдей, заваливаясь в юрте спать и сплю мертвецким сном.

Но что Анархай роскошная полынная степь — это и в самом деле так. Можно было бы часами бродить тут и любоваться ее красотой, да времени нет.

Все бы ничего, да вот одного не пойму: чем я не пришелся Абакиру, за что он так ненавидит меня? Если бы я знал, что меня здесь ждет... Я готов был ко всяким, так сказать, стихийным трудностям. Не в гости же я сюда ехал. Но о людях, с которыми мне предстояло жить и работать, я почему-то вовсе не думал. Везде люди как люди...

Ехал я сюда двое суток на машине. Вместе со мной везли в кузове эту вот водовозку о четырех колесах, и я даже не подозревал тогда, что именно из-за нее хлебну здесь столько горя.

Ведь я ехал сюда прицепщиком. Думал, поработаю весну возле трактора, подучусь и сам стану трактористом. Так мне в районе говорили. С этой мечтой я и отправился на Анархай. А когда прибыл на место, оказалось, что прицепщики уже есть, а я, мол, прислан водовозом. Надо было, конечно, сразу же отказаться и вернуться домой. Тем более, что я никогда не имел дела с хомутами и оглоблями. Да и вообще-то нигде еще не работал, только вот на субботниках помогал матери на сахарном заводе. Отец у меня погиб на фронте. Я его не помню. Вот я и решил начать самостоятельную жизнь... А все-таки надо было сразу вернуться. Постыдился. Столько шуму было тогда на собраниях! И мать не отпускала, она мечтала увидеть меня врачом. Но я настоял, уговорил — помогать, мол, буду. Сам рвался, не терпелось поскорее уехать. Как бы я в глаза людям смотрел, если бы сразу вернулся? Пришлось сесть на водовозку. Однако беды мои начались не с нее.

Еще по пути сюда, стоя в кузове, я глядел во все глаза: вот он, древний, легендарный Анархай! Машина мчалась по едва приметной дороге, затерявшейся среди чуть всхолмленной зеленеющей степи, слегка подернутой вдали голубоватым туманом. Земля еще дышала талым снегом. Но в волглom воздухе уже различим был молодой, горький запах дымчатой анархайской полыни, ростки которой пробивались у корневищ обломанного прошлогоднего сухостоя. Встречный ветер нес с собой звенящее звучание степного простора и весенней чистоты. Мы гнались за горизонтом, а он все уходил от нас по мягким, размытым гребням далеких увалов, открывая за буграми все новые и новые анархайские дали.

И чудилось мне, что слышу я голоса минувших времен. Содрогалась, гудела земля от топота тысяч копыт. Океанской волной, с диким гиканьем и ревом неслась конница кочевников с пиками и знаменами наперевес. Перед моими глазами проходили страшные побоища. Звенел металл, кричали люди, грызлись, били копытами кони. И сам я тоже был где-то в этой кипучей схватке... Но утихали бои, и тогда рассыпались по весеннему Анархаю белые юрты, над стойбищами курился кизячный дымок, паслись вокруг отары овец и табуны лошадей, под звон колокольцев шли караваны верблюдов, неведомо откуда и неведомо куда...

Протяжный, раскатистый гудок паровоза вернул меня к действительности. Закидывая на вагоны густые клубы дыма, паровоз уходил, словно конь на скаку с развевающейся гривой и вытянутым хвостом. Так мне показалось издали. А поезд становился все меньше и меньше, он превратился в темную черточку, а потом и вовсе исчез из глаз.

Мы пересекли железную дорогу у затерянного в степи разъезда и двинулись дальше...

В первый же день по прибытии я выдал себя с головой. Я еще не избавился от тех видений, которые почудились мне в дороге. Неподалеку от полевого стана стояла на пригорке древняя каменная баба. Серая, грубо отесанная гранитная глыба столетия простояла здесь, словно в дозоре, глубоко осев в землю и вперив в даль тупой, безжизненный взгляд. Правый глаз ее, чуть скошенный, выщербленный дождями и ветром, казался вытекшим, пустым и отпугивал злым прищуром под тяжелым подобием века. Я долго разглядывал бабу, а потом, подойдя к юрте, спросил у Сорокина:

— Как вы думаете, товарищ агроном, кто мог поставить здесь эту фигуру?

Сорокин собирался куда-то ехать.

— Должно быть, калмыки,— сказал он, садясь в седло, и уехал.

Что бы мне тогда на этом успокоиться! Нет! Меня словно кто за язык тянул, и я обратился к трактористам и прицепщикам, с которыми еще не успел как следует познакомиться:

— Нет, это не совсем точно. Калмыки были здесь в семнадцатом веке. А это надгробный памятник двенадцатого века. Бабу, очевидно, поставили монголы в пору великого нашествия на запад. Вместе с ними и мы, киргизы, пришли с Енисея сюда, в тянь-шаньские края. До нас здесь обитали племена кипчаков, а до них — рыжеволосые, светлоглазые люди.

Я залез бы еще дальше в глубь истории, но меня перебил человек в комбинезоне, стоявший у трактора. Это был Абакир.

— Эй ты, малый! — Он метнул на меня исподлобья раздраженный взгляд. — Больно ты ученый. Пойди-ка принеси из юрты шприц с тавотом.

Оказывается, я принес ему шприц с солидолом.

— Эх ты, академик! — презрительно процедил он, косясь на меня своими колючими, в красных прожилках, глазами. — Лекции читаешь нам — неучам, а кобылу от верблюда не умеешь отличить.

Отсюда и пошло — «академик».

Вот и сейчас я уже приближаюсь со своей водовозкой, а он не унимается. Бежит ко мне, увязая в пашне.

— Ты что ползешь, словно вошь прибитая! Сколько прикажешь тебя ждать? Придушу, щенок, все меньше одним сопливым академиком будет!

Я молча подъезжаю к трактору. Да и что я могу сказать в свое оправдание? Ведь трактор простаивает по моей вине, это факт. Хорошо еще, прицепщица Калипа вступает за меня:

— Ну успокойся, успокойся, Абакир! Криками тут не поможешь. Смотри, на нем и так лица нет. Совсем измучился, бедняга. — Она берет из моих дрожащих рук ведро и заливает водой радиатор. — Он и без того старается. Видишь, мокрый весь, хоть выжимай...

— А мне-то что! — огрызается Абакир. — Сидел бы дома да книжки свои читал.

— Ну, перестань! — уговаривает его Калипа. — Сколько в тебе зла. Нехорошо так, Абакир.

— Все прощать да спускать таким вот — задарма помрешь. План-то с меня спрашивают, а не с тебя. Разве кому есть дело, что меня гробит этот ученый олух!

Далась же ему моя ученость. Зачем я только учился и откуда взялся на мою голову историк Алдияров?

Я стараюсь побыстрее уехать отсюда. Меня ведь ждут еще в другом конце поля. Там тракторист — Садабек, человек пожилой, серьезный, он хоть и сердится, но не кричит.

Мотор за моей спиной затарахтел. Трактор Абакира тронулся с места и пошел. Я облегченно вздохнул и поежился под намокшей фуфайкой. И отчего это Абакир уродился таким вредным, таким злющим? Ведь не старый еще, едва за тридцать. Лицо, правда, немного тяжелое, с буграми на скулах, и руки цепкие, клешневатые, но собой видный. А глаза плохие, недобрые. Чуть что наливаются кровью, тогда держись, тогда ему все нипочем.

Было у нас недавно одно дело. Дождь занялся с вечера, всю ночь моросил, нашептывал что-то унылое, монотонное, стекая по набрякшей кошме. И к утру не перестал. Мы томились в юрте от вынужденного безделья. Агроном Сорокин уехал — у него и в дождь дел по горло. Ведь он отвечал и за животноводство, поэтому и не было человеку ни минуты покоя, день-деньской в седле.

Когда дождь приутих немного, прицепщик Эсиркеп, младший брат Садабека, оседлал мою лошадь и тоже уехал куда-то к чабанам. Альдей и Калипа взяли ведра и пошли за водой к роднику. Остались в юрте мы трое — Абакир, Садабек и я.

Мы хмуро молчали, занятые каждый своим делом. Абакир полулежал, вытянув ноги, и курил. Садабек сидел у очага на потнике, орудуя шилом и драгвой над прохудившимся сапогом. Я приткнулся в уголке и читал.

Сыро, тоскливо было в юрте. Намокшая кошма отдавала квелым овечьим духом. Изредка сверху падали крупные, желтые, как чай, капли. А снаружи дождь все бормотал что-то, шепелявил в лужах.

Абакир скучающе зевнул, с хрустом потянулся, зажмурился и, не глядя, швырнул окурки, который упал на краешек кошмы. И сразу же задымила паленая шерсть. Садабек поднял окурки и бросил его в золу.

— Ты бы поосторожней,— проговорил он, протаскивая сквозь кожу дратву.— Трудно, что ли, с места подняться?

— А что стряслось? — вызывающе вскинул голову Абакир.

— Кошма загорелась.

— Подумаешь, богатство какое! — Абакир пренебрежительно усмехнулся.— Латаешь свой дырявый сапог, ну и латай, тебе другого и не надо!

— Дело не в богатстве. Ты тут не один и не у себя дома.

— Знаю, что не у себя дома! У себя я бы и разговаривать с тобой не стал. Понял, рожа ты в кожаных штанах? Да, видно, бог наказал, сижу в этом каторжном Анархаете, где место таким вот дуракам, как ты и твоя жена!

Садабек с силой дернул дратву. Шило выскочило у него из руки и отлетело за спину. Он долго смотрел на Абакира ненавидящим взглядом, потом грозно подался вперед, зажимая в одной руке сапог, а в другой натянутую, как струна, дратву.

— Хорошо, пусть я дурак и жена моя дура, что приехала со мной и кормит нас всех тут! — проговорил он, тяжело дыша.— А все другие анархисты, по-твоему, каторжники? Ты их, что ли, пригнал сюда? А ну, отвечай, сволочь! — вскрикнул Садабек и вскочил с места, перехватывая голенище кованого сапога правой рукой.

Абакир метнулся к гаечному ключу, что лежал в стороне, и подобрал голову в плечи, готовясь к удару.

Я испугался. Это было очень страшно. Они могли убить друг друга.

— Не надо, Абакир! — метнулся я к ним.— Не бей его! Не надо, Садабек, не связывайтесь! — взмолился я, путаясь у них под ногами.

Садабек отшвырнул меня в сторону, и они закружились по юрте, как барсы перед схваткой, вперив друг в друга глаза. Потом разом прыгнули, и гаечный ключ просвистел в воздухе у самой головы Садабека. Но тот в последний момент увернулся и обеими руками перехватил ключ. Однако Абакир был силен. Он подмял противника под себя, и они покатались по полу, хрипя и ругаясь. Я подскочил к ним, бросился всем телом на ключ, который Абакир выронил, и, наконец схватив его, убежал из юрты.

— Альдей! Калипа! — закричал я женщинам, возвращавшимся с водой.— Живее, живее! Дерутся они, убьют...

Женщины поставили ведра и бросились ко мне. Когда мы вбежали в юрту, Садабек и Абакир все еще катались по земле. Мы растащили их, изодранных и окровавленных. Альдей потянула было мужа к выходу. Но Абакир рванулся из объятий Калипы.

— Ну погоди, колченогая собака! Ты еще будешь молить о пощаде, дрань поганая, ты еще узнаешь, кто такой Абакир!

Приземистая, сухонькая Альдей подошла к нему и сказала прямо в упор:

— А ну тронь, попробуй! Глаза выдеру! Сам себя не узнаешь!

Садабек спокойно взял жену за руку.

— Не надо, Альдей. Он того не стоит...

Я тем временем вышел, разыскал заброшенный мной в суматохе гаечный ключ, отошел подальше от юрты и припрятал его возле каменной бабы. А сам сел и вдруг расплакался. Глухие, удушьяющие рыдания сотрясали мое тело. Никто не видел меня, и сам я не понимал, что творится со мной. Только каменная баба, будто подслушивая мое горе, зло косилась на меня пустой черной глазницей. Вокруг простиралась мокрая туманная степь, тихая и утомленная. Ничто ни единым

звуком не нарушало ее извечного, глубокого покоя, и только я все еще всхлипывал, утирая глаза. Долго я сидел здесь, очень долго, пока не стемнело...

Вот так я и живу в этой самой роскошной поlynной степи... Стараюсь изо всех сил, но все равно ничего у меня пока не получается. Сейчас вот опять влетело от Абакира. Как быть дальше, ума не приложу. Однако и падать духом нельзя. Надо стоять там, где стоишь. Пока не упадешь.

— А ну, Серко, шевелись! Поживей! Нам с тобой нельзя унывать, работа не ждет...

2

Назавтра я поднялся с рассветом, раньше обычного. Еще вчера, лежа в юрте, я решил про себя: в лепешку разобьюсь, но сделаю так, чтобы никто не посмел меня не то что обругать, но и упрекнуть. В конце концов надо доказать, что я ничем не хуже других.

Первым делом я развез горючее и сам заправил баки. Потом покатил со своей бочкой к роднику, чтобы до начала работы залить радиаторы водой. Затем надо было успеть позавтракать и снова, не теряя ни минуты, возить воду. Пока что дело шло так, как я рассчитывал.

Тем временем за белесой дымкой горизонта шевельнулось солнце. Оно долго не всходило, медлило, точно боялось окинуть взглядом всю ширь и даль анархайской земли. А потом приподнялось и выглянуло одним краешком. Что может быть красивее степи на утренней заре! Будто разлилось огромное лазоревое море, да так и застыло голубыми волнами, кое-где отливающими темной прозеленью и желтизной.

О Анархай, о великая степь! Что же ты молчишь, о чем думаешь? Что таишь ты в себе от века и что ждет тебя впереди?

Не беда, что я всего-навсего водовоз. Я еще буду властвовать и над этой землей и над машинами. Ведь наши два трактора и то, что мы делаем тут,— это всего лишь начало начал. Я где-то вычитал, будто изыскатели обнаружили под Анархаем большие подземные реки. Возможно, это пока лишь догадка. Но как бы там ни было, я верю, что люди напоят эту землю и на Анархае заколышутся зеленые сады, побегит вода в прохладных арыках и здешние ветры будут мерить золотые хлебные поля. Вырастут здесь города и села, и наши потомки назовут эту степь благословенной страной Анархай. И через много-много лет, когда придет сюда такой же парень, как я, ему наверняка не придется день-деньской мотаться по степи с водовозкой и выслушивать брань какого-нибудь самодура.

И все-таки я не завидую ему, потому что я первый пришел сюда!..

Я остановил водовозку, оглядывая утренние просторы. В эту минуту я был самым счастливым, самым сильным и даже самым красивым человеком на земле. Да, будет благословенна страна Анархай!..

Солнце наконец выкатилось из-за горизонта, огромное, сияющее.

День начинался неплохо. По крайней мере моторы не глохли — я поспевал подвозить воду. Но до вечера было еще далеко...

В одну из своих ездов я обнаружил у родника небольшую отару овец с ягнятами. Их пригнала сюда какая-то девушка. Она поила их из ручья, не подпуская к источнику. Откуда она взялась? Наверно, пришла из урочища, что лежало в стороне от нас, там, за двуглавым холмом. В тех краях располагались чабаны. Лицо девушки показалось мне чем-то знакомым. В каком-то журнале я видел однажды фотографию молоденькой китайки с такой же вот, как у этой девушки, челочкой на лбу. Поэтсму, наверно, мне и почудилось, будто я ее где-то видел.

Мы молча посмотрели друг на друга. Мое появление здесь было для нее такой же неожиданностью, как и ее присутствие для меня. Но я как ни в чем не бывало спрыгнул с повозки и деловито принялся черпать воду из родника, пополняя свою бочку.

Овцы напились тем временем, и девушка стала отгонять их в сторону. Проходя возле меня, она спросила:

— А как называется этот родник?

Я призадумался, глядя на округлый водоем, где тускло поблескивала замутненная мной вода. Действительно, должен же как-то называться наш единственный родник. Пока я думал, вода отстоялась, посветлела на поверхности и потемнела в глубине.

— Верблюжий глаз! — сказал я, повернувшись к девушке.

— Родник Верблюжий глаз? — Она тряхнула челочкой и улыбнулась. — Красиво! А он и правда похож на верблюжий глаз, такой задумчивый...

Мы разговорились. Девушка оказалась из наших мест. Она знала даже моего учителя Алдиярова. Ох, до чего же это здорово — услышать имя любимого учителя здесь, в степи, от незнакомой девушки, которая, подумалось мне, тоже не без его влияния попала сюда, на Анархай. Она еще в прошлом году окончила школу, не нашу, а другую, и теперь работала сакманщицей — помощницей чабана.

— У нас на кошаре колодезная вода соленая, — говорила девушка. — А я слышала, что где-то здесь есть родник. Мне и самой захотелось посмотреть на живую воду и ягнят напоить, пусть и они знают, какая она, настоящая вода. Вот выращу их, сдам в отару, а к осени поеду учиться в университет...

— Я тоже со временем думаю учиться, — сказал я. — Только я по механизации пойду. Меня ведь послали сюда работать у трактора, а это так... — показал я на бочку, — временно помогаю... Должны прислать другого водовоза...

Ну это уж я зря, конечно, ляпнул, просто сам не заметил, как сорвалось с языка. От стыда мне стало невыносимо жарко, но тут же я похолодел.

— Э-эй, академик, морду набью-у-у! — донесся издали ненавистный голос Абакира.

— Ох, и заболтался же я!

— Что это там? — не разобрав, спросила девушка.

— Да так, — пробормотал я, краснея. — Воду надо везти.

Девушка погнала овец своей дорогой. А он, Абакир, стоя на кабине трактора в дальнем конце загона, орал во всю глотку, размахивая кулаками.

— Да еду я, еду! Уймись ты! Нельзя же кричать при посторонних! — прошептал я в отчаянии и погнал лошадь вскачь.

Вода в бочке бултыхалась, выплескивалась, то и дело окатывая меня с головы до ног. Ну и пусть! Пусть там не останется ни капли! Не могу я больше терпеть такие издевательства!

Абакир спрыгнул с кабины и, как в тот раз, снова кинулся ко мне. Я осадил лошадь.

— Если ты будешь так кричать, я брошу работу и уйду!

Он растерялся от неожиданности, а потом присвистнул и обложил меня матом.

— Без тебя, сопливого академика, был Анархай и теперь не провалится, чтоб ему сгореть! Валяй, катись отсюда восвояси! Тоже еще огрызаться вздумал, голоштаный студент!

Я спрыгнул с повозки, закинул кнут за трактор и зашагал прочь.

— Стой, Кемель! Нельзя так! Куда ты, остановись! — закричала мне вслед Калипа.

Но это только подстегнуло меня, и я зашагал еще быстрее.

— Не задерживай, пусть проваливает! — донесся до меня голос Абакира. — Обойдемся!

— Изверг ты, зверь, а не человек, что ты наделал! — стыдила его Калипа.

Я еще долго слышал, как они там кричали и ругались.

Не замедляя шага, я уходил все дальше и дальше. Мне было все равно, куда идти. Никого, ни единой души не было вокруг, и пути передо мной были открыты во все стороны. Я миновал родник, полевой стан, прошел под пригорком, там, где стояла каменная баба. Зло ухмыляясь, старуха проводила меня пустым черным взглядом и осталась стоять, тяжело вросшая в землю, как стояла многие века.

Я шел, ни о чем не думая. У меня было только одно желание: уйти, уйти отсюда как можно быстрее, и пусть этот проклятый Анархай любителю моим затылком.

Пусто, бесстрастно стлалась передо мной степь. Все пригорки, увалы, ложины — все вокруг до тошноты походило одно на другое. Кто сотворил это мертвое, унылое однообразие? Почему я, оскорбленный и униженный, должен мерить эти бесконечные седые просторы горькой полыни? Куда ни глянь — всюду бездыханная пустыня. И что, спрашивается, надо здесь человеку? Разве мало ему места на земле? Мои утренние мечты показались мне до смешного нелепыми.

«Вот тебе и роскошная полыннная степь, вот тебе и страна Анархай!» — высиенвал я сам себя, ощущая всем существом своим собственное бессилие, неприютность и подавленность.

Надо мной было высокое-высокое небо, вокруг расстилалась огромная-огромная земля, и сам я показался себе маленьким-маленьким, одиноким, забредшим сюда невесть откуда человечком в стеганой фуфайке, кирзовых сапогах и поношенной выцветшей кепчонке.

Так я и шел. Ни тропы, ни дороги. Я просто шел. «Выйду где-нибудь к железнодорожной насыпи, — думал я, — пойду по шпалам, а там на каком-нибудь разъезде подцеплюсь к товарняку. Уеду к людям...»

Когда у меня за спиной раздался топот копыт и фырканы лошади, я даже не оглянулся. Это Сорокин. Кроме него, некому. Сейчас начнет корить, будет упрашивать, но — к чертям! — не вернусь, даже и не подумаю.

— Остановись! — негромко окликнул меня Сорокин.

Я остановился. Сорокин подъехал на вспотевшей лошади. Молча посмотрел на меня синими пристальными глазами из-под выцветших бровей, полез в полевую сумку и достал красный листок — мою комсомольскую путевку, которую я с такой гордостью вручил ему в день приезда.

— На, это нельзя оставлять, — спокойно протянул он мне путевку.

Во взгляде его я не прочел ни упрека, ни презрения. Он не осуждал и не жалел меня. Это был серьезный взгляд человека, обремененного делами, давно привыкшего ко всяким неожиданностям. Сорокин отер ладонью утомленное, заросшее рыжеватой щетиной лицо.

— Если на разъезд — держи правее, вон по-над той ложбиной, — показал он мне и, повернув коня, медленно поехал назад.

Я ошеломленно смотрел ему вслед. Почему он не обругал меня, почему не стал уговаривать? Почему он так устало сидит на своей понурой лошади? Семья — жена и дети — где-то далеко, а он здесь один годами кружит по степи. Что он за человек, что держит его в пустынном Анархае?

Сам не понимаю почему, но я медленно побрел за ним.

Вечером мы все собрались в юрте. Все молчали. Было тихо, только сухо потрескивал костер. Всею виной был я. Разговор еще не начинался, но, судя по хмурому, напряженному лицу Сорокина, он собирался что-то сказать.

— Ну, так как же быть? — промолвил наконец Сорокин, ни к кому не обращаясь.

— А что, на Анархай потоп надвигается, что ли? — ехидно отозвался Абакир.

При этих словах Садабек молча встал и вышел из юрты. После той драки он не разговаривал с Абакиром и сейчас, видно, не намерен был вмешиваться в разговор. Его брат, прицепщик Эсиркеп, тоже поднялся было с места, но раздумал и остался.

Абакир и с ним был не в ладах. Как-то, уступив моей просьбе, Эсиркеп оставил меня на день на своем плуге у трактора Садабека, а сам пересел на водовозку. Ну, известно, опоздал немного с водой, и Абакир обрушился на него. Но Эсиркеп в обиду себя не дал, он тоже драться умел. А ведь он старше меня всего года на три.

Абакиру никто не ответил.

— А что тут думать? — добавил он. — Кто сорвал работу, тот пусть и отвечает.

— Не о том речь, кто виноват, кто не виноват! — ответил Сорокин, не глядя на него. — Здесь судьба молодого человека решается, как ему быть теперь.

— Ну, уж и судьба! — усмехнулся Абакир. — Судьба таких академиков давно решена, пропащий, ни на что не годный народ! — Он небрежно махнул рукой. — Ну сам посуди, Сорокин, куда они годятся? Пока мы своим горбом хлеб добывали, они учились по десять лет, а то и больше. Мы кормили их, обували, одевали, а что получилось, чему их там выучили? Машины не знает, хомут на коня надеть не умеет, супонь и то толком не стянет... Почему же это я должен отдуваться за него? На кой хрен мне его ученость! Подумаешь, знаток каменных идолов! А с делом не справляется. Раз так — значит, айда, катись, не срывай работу другим! И ты на меня, Сорокин, не напирай, я вкальваю без сменщика и никому спуска не дам. А не угоден — завтра ноги моей здесь не будет. Но то, что говорил, всегда буду говорить: я бы всех этих академиков...

— Довольно! — резко прервал Абакира Сорокин, все так же не глядя на него. — Это мы и без тебя знаем. Не о том речь. А ну, скажи, Кемель, что ты-то сам думаешь?

Я не сразу ответил. Слушая Абакира, я поймал себя на мысли, что какая-то доля истины была в его словах. Но как все это говорилось, как зло, как враждебно! За что? Разве я безрукий или уж такой тупица, что никогда не постигну того, что доступно Абакиру? Или же моя грамотность мне помешает? Я этого решительно не понимал. Однако я постарался ответить Сорокину, как можно спокойнее.

— Я приехал сюда работать прицепщиком. Это для меня важно. А с хомутами и супонями я уже справляюсь. Это знают все, и Абакир тоже знает. Можно было бы и дальше так работать. Но я водовозом не буду. Принципиально не буду.

— Другой работы у нас нет, — сказал Сорокин.

— Значит, мне надо уходить, — заключил я.

Калипа подняла на меня глаза и печально вздохнула.

— Я бы, Кемель, уступила тебе свое место, а сама бы села на водовозку, но ведь ты не пойдешь...

Это прозвучало неожиданно. По доброте ли своей или оттого, что она почему-то постоянно испытывала неловкость за Абакира, вроде бы сты-

дилась, когда он кричал и ругался, и всегда старалась чем-нибудь смягчить, сгладить его грубость,— потому ли или нет, но она это сказала, а я сгоряча, не подумав, брякнул:

— Пойду!

В юрте стало совсем тихо. Только костер потрескивал с тонким посвистом. Все, недоумевая, смотрели на меня. Может быть, люди ждали, что я одумаюсь, откажусь? Получалось так, что я сам лез в лапы человеку, который ненавидел меня и не желал мне ничего доброго. Но я промолчал. Сказано — сделано. Сорокин еще раз испытующе посмотрел на меня.

— Это точно? — коротко спросил он.

— Да.

— А мне все равно! — Абакир плюнул в костер.— Но предупреждаю: чуть что — надаю по шее! — И глаза его холодно блеснули в полутьме с усмешкой и вызовом.

— А что — чуть что? Что ты заранее угрожаешь? — не выдержал наконец все время молчавший Эсиркеп.— Справится, подумаешь, премудрость какая! Он на моем плуге работал.

— А тебя не спрашивают. Не лезь не в свое дело. Сами поглядим. Я отвечаю за трактор, за работу...

— Прекрати! — снова недовольно оборвал Абакира Сорокин и сказал мне: — С утра принимайся за работу.— Он поднялся и шагнул к выходу.— А теперь отдыхать пора...

В эту ночь я почти не спал. Как все сложится у меня с Абакиром? Ведь до сих пор я только время от времени сталкивался с ним, а с завтрашнего дня постоянно, днем и ночью, буду у него в подчинении. Обязанности прицепщика меня не так пугали, хотя они требуют выносливости и терпения. Конечно, надо приноровиться точно и быстро поднимать и опускать лемеха в нужном месте, чтобы ни на минуту не задержать движения трактора. Но ведь, кроме этого, я должен во всем помогать трактористу — и по уходу за машиной и по ремонту. Попробуй подай Абакиру не тот ключ, не тот болт или гайку или там еще что...

Не спала, оказывается, и Альдей. Она подошла в темноте ко мне, присела рядом, погладила меня по голове.

— Ты бы подумал, Кемель. Не пара вы с ним. Добрый ты, безобидный. Заест он тебя, не угодишь ты ему...

— А я не собираюсь ему угождать. А что заест, так мне уж не привыкать.

— Ну, гляди, тебе виднее,— тихо проговорила она и, вздохнув, пошла на свое место.

3

Наш поединок с Абакиром начался с первого же дня.

— Заснешь, упадешь под ножи — отвечать не буду! — бросил он единственную фразу перед началом пахоты.

Но мне было, конечно, не до сна. Я весь был в напряжении, готовясь работать четко и безупречно. А если думать, что можно случайно угодить под ножи, то лучше было сразу отказаться.

Да, под моими растопыренными на раме ногами были укреплены на кронштейнах стальные лемеха. Они шли рядком, наискось, один за другим, вспарывая и отваливая дымящуюся дернистую толщу целинных пластов. Вдавливая полынь в землю, трактор шел, не останавливаясь, напряженно гудя и лязгая гусеницами.

Абакир ни разу не обернулся, не поинтересовался мной. Я видел лишь его упрямый, тугой затылок. Уже одно это как бы говорило мне, что Абакир будет испытывать меня до тех пор, пока я не откажусь или

пока он не убедится, что я выстою. И, возможно, нарочно он гнал трактор без передышки, чтобы измотать меня, заставить отступить. Кто-то, а уж Абакир-то прекрасно знал, что не очень это сладко сидеть на жестком металлическом сиденье, не имеющем никакой амортизации, задыхаясь от пыли и выхлопных газов. Но я не думал сдаваться. Предельно напряженные нервы, глаза, слух, руки, вцепившиеся в штурвал плуга,— вот что я собой представлял. За все время я не проронил ни слова, я молчал даже тогда, когда он с особенно злым упорством вел машину по каменистым местам, где плуг то и дело выворачивало из борозды, где ножи скрежетали по кремню, высекая искры и гарь, а меня трясло и подкидывало на сиденье. К вечеру, когда Абакир остановил трактор, я ощутил страшную, никогда прежде не испытанную усталость. Рот, нос, уши, глаза — все было забито пылью и песком. Хотелось повалиться на землю и тут же заснуть. Но я не двинулся с места, я ждал приказаний Абакира.

— Подними лемеха! — крикнул он мне, выглянув из кабины. Затем вывел трактор из пахоты и, заглушив мотор, подошел к плугу. Наклоняясь к лемехам, он ощупал острие ножей.— Менять надо, притупились. К утру чтобы было сделано! — сказал он.

— Ладно,— ответил я.— Оставь запасные ножи и отведи трактор от плуга.

Он выполнил мою просьбу и молча пошел к полевому стану. Я посмотрел ему вслед и поймал себя на том, что не только злюсь на Абакира, но и завидую ему. Идет себе вразвалку, будто и не устал вовсе. Из меня он, конечно, душу вымотал, но ведь сам-то он тоже ни минуты не отдыхал. Вот ведь как умеет работать, подлец!

Я вздохнул и принялся собирать курай, складывая его охупками возле плуга. Мне нужно было развести костер, чтобы успеть за ночь сменить ножи. Собрав большую кучу, я пошел ужинать.

Родная, добрая Альдей! С каким огорчением смотрела она на меня, пока я быстро и молча ел заботливо оставленный ею бешбармак. А мне некогда было рассиживаться. Я попросил у нее фонарь, который имелся у нас на всякий случай.

— Зачем он тебе? — спросила она, подавая фонарь.

— Надо. Лемеха буду менять.

— Да что ж это такое, куда это годится! — раскричалась Альдей, обращаясь к Абакиру.— Не позволю! Не дам издеваться над мальчишкой!

— А мне что, не позволяй,— огрызнулся Абакир, укладываясь спать.

— Не вмешивайся! — одернул Садабек жену.— У Кемеля своя голова на плечах.

— Ничего, мы поможем тебе, Кемель. Пошли, Эсиркеп! — Калипа поднялась, собираясь идти со мной.

— Не надо,— сказал я.— Не тревожьтесь. Я сам управлюсь.

С этими словами я вышел из юрты, освещая себе путь фонарем.

Кругом царила ночь, немая и беспредельная. Я на минуту завернул к роднику — напиться. Едва побулькивая в горловине, родник излучал спокойствие и прохладу. Он матово светился из темной, задумчивой глубины. А правда, похож на верблюжий глаз. Вспомнилась девушка-сакманщица. Я даже не успел узнать тогда, как ее зовут. Где она сейчас, эта милая девушка с челочкой?

Добравшись до плуга, я не мешкая взялся за дело. Поднял лемеха, насколько позволяло устройство, развел костер. И фонарь, конечно, пригодился. Я отвергивал гайки, сразу же накручивал их на болты и складывал в кепку, чтобы не растерять. Всю ночь я елозил под плугом. Приворачивать гайки было тяжело, а главное, несподручно. Они сидели в

очень неудобных, труднодоступных пазах. Костер то и дело угасал. Я, как уж, выползал из-под плуга и, лежа на земле, вновь раздувал огонь. Не знаю, сколько было времени, но я не успокоился до тех пор, пока не сменил все ножи. А потом, как в тумане, доплелся до трактора и завалился в кабине спать. Ныли, горели во сне исцарапанные руки.

Рано утром меня разбудила Калипа. Она приехала с водовозкой.

— Радиатор я уже залила. Иди умойся, Кемель,— позвала она меня,— я полью тебе.

Она ни о чем не расспрашивала меня, и я был благодарен ей за это. Не всегда приятно, если люди жалеют тебя. Когда я умылся, она принесла мне из повозки узелок с едой и бутылку джармы. До чего же приятно было выпить кисленького квасу из жареного зерна! Это, конечно, Альдей позаботилась обо мне.

Пришел Абакир. Ничего не сказал. Да и придраться-то было не к чему. Он молча подал трактор к плугу, я его прицепил серьгой, и мы снова двинулись по полю.

Но в этот день я уже сидел за плугом уверенно. Я поверил в себя. Раз выдержал первое испытание, буду держаться до конца!

Передо мной, в окошке кабины, маячил все тот же упрямый, тугой затылок. Все так же, без передышки, с напряженным ревом и лязганьем шел трактор. И я все так же сидел, вцепившись в штурвал.

В полдень Абакир неожиданно заглушил мотор.

— Слезай,— сказал он.— Перерыв.

Мы молча сидели на земле, в тени трактора. Абакир покурил, раздраженно покусывая папиросу, потом снял комбинезон и рубашу и лег на свою одежду загорать. Спина у него была широкая, мускулистая, лоснящаяся. Мне тоже захотелось погреться на солнце. Я стянул рубашку, собираясь расстелить ее и лечь, но в это время Абакир поднял на меня хмурое разомлевшее лицо.

— Почеши спину!— приказал он и, будучи уверен, что я брошусь исполнять его прихоть, опустил тяжелую голову на руки.

Я промолчал.

— Слышишь? — Он грозно передернул плечами, не поднимая головы.

— Не буду!

— А я говорю, будешь! — Он рывком подтянулся ко мне на руках.— Ну, долго я буду ждать?

Я немного отодвинулся от него.

— Ты всегда тычешь себя в грудь: я рабочий! Я всех и вся кормлю... Но ты рабочий только потому, что работаешь, а душой ты не рабочий. Тебе бы баем быть.

— И был бы! А ты мне в душу не лезь! — Он неожиданно шелкнул меня по носу.

Я вскочил и бросился на него с кулаками. Абакир словно только этого и ждал. Всю свою ненависть и злобу, накопившуюся за последние дни, он вложил в страшный удар, от которого я покатылся по земле. Я с трудом поднялся на колени и, не помня себя, ослепленный яростью, снова ринулся на Абакира. Почти каждый удар его сшибал меня с ног.

— Я тебе покажу, чем мой кулак пахнет! Я тебе покажу мою душу! — приговаривал он, нанося мне чугунные удары.

Но я снова и снова вскакивал и молча, остервенело бросался на него. Я все время метил ему в лицо, в его звериную рожу, а он точно и расчетливо бил меня в живот, по ребрам, в грудь.

Вот я опять поднялся и медленно двинулся к нему. Он занес руку и, крикнув, как мясник, с плеча двинул меня кулаком по шее. Я лежал, припав к земле и прикусив губы, чтобы не издать ни единого стога.

— Лежишь, академик! Ну-ну, понюхай, чем пахнет земля! — сказал он, тяжело дыша и сплевывая кровь с разбитых губ. — Это тебе не лекции читать по каменным идолам.

Он пошел к своей одежде, истоптанной нашими ногами, и, отряхнув ее, стал не спеша одеваться с чувством исполненного долга. Но он все-таки не подозревал, что и этот бой выиграл я. Да, я оставался непобежденным, хотя и лежал на земле. Мне стало ясно, что можно и кулаками драться за правду. Я понял, что можно и нужно бить того, кто бьет тебя. Для меня это было победой...

Пока Абакир одевался, залезая в свой комбинезон, я отдышался, пришел в себя. Когда он завел мотор, я встал, быстро оделся и занял свое место на плуге.

Трактор взревел и тронулся вдоль нашни. Все тот же упрямый, тугай затылок маячил в окошке кабины, и я был все тем же прицепщиком, вцепившимся в штурвал плуга.

4

В нашей жизни произошли кое-какие изменения. Нам привезли на машинах пароконную бричку с лошадьми для подвоза семян к пахоте. Прибыл также еще один человек — ездовой. Теперь и водовозу стало легче управляться. На сев переключили трактор Садабека и Эсиркепа, а мы с Абакиром продолжали пахать.

И еще одна очень важная новость.

Несколько дней назад, когда мы после обеда ехали на бричке к полю, я увидел у родника ту самую девушку-сакманщицу. Я спрыгнул с брички. Ездовой придержал было лошадей, но Абакир не дал ему остановиться.

— Айда, не задерживай, — недовольно приказал он.

Я побесжал к девушке, и она пошла навстречу мне, оставив своих овец. Но я так и не добежал до нее, надо было догонять бричку, чтобы успеть к началу работы. Я остановился.

— Здравствуйте! — крикнул я.

— Здравствуйте! — ответила она и тоже остановилась.

Я очень обрадовался, что увидел ее, но решительно не знал, что сказать.

— Почему вас не видно с водовозкой, где вы теперь?

— Я теперь на тракторе! — не без гордости прокричал я в ответ. — Мы во-он на том поле! Извините, я очень спешу!

— Бегите, бегите! — Она помахала мне.

Я пустился догонять бричку. Только разок оглянулся. Девушка стояла на том же месте, глядя мне вслед. Бричка не останавливалась. Но мне бежалось легко и свободно. Я счастлив был, что она помахала мне рукой, что бегу я по вольной весенней степи...

На другой день она появилась у нашего поля. Стояла на пригорке неподалеку, присматривая за матками с ягнятами. Мне очень хотелось подойти к ней хоть на минутку, но разве Абакир позволил бы, разве он способен на такой поступок? Я не стал просить его об этом.

В следующий раз, когда девушка появилась на пригорке, мы с Абакиром стояли возле гудящего трактора, он что-то проверял в моторе.

— Чего это она зачастила? — спросил Абакир.

— Не знаю.

— А как ее звать?

— Тоже не знаю.

— Эх ты, академик! — Он насмешливо сплюнул и кинул взгляд в ее сторону. — А девка сочная...

Я глянул на него со злостью.

— Иди, садись на место! — рывкнул он, и мы двинулись дальше.

Девушка тем временем переиграла овец с пригорка на открытое место, шагах в ста от нашего поля. Побежать бы к ней, посидеть рядом, поговорить, просто посмотреть на ее хорошенькую челочку...

Трактор вдруг остановился. Абакир высунулся из кабины.

— Закрепи рычаг! Иди сюда!

Я сошел с плуга, в недоумении направляясь к Абакиру. В кабину он меня во время работы не допускал.

— Садись.— Он уступил мне свое место.— Учись управлять!

Я был поражен. Такого я от него никак не ожидал. Что произошло с Абакиром, неужели он подобрел ко мне? Однако, недолго думая, я приготовился делать все, что он прикажет.

— Прижми педаль. Включи сцепление. Вот так. Теперь осторожно отпусти педаль. Держи рычаги фрикционных...

Трактор зарокотал, двинулся с места, и мы пошли вдоль загона. У меня дух захватило от радости. Я ни о чем не думал, мне ни до чего на свете не было дела. Я был поглощен одним желанием: овладеть трактором, постигнуть его механизм. Ведь я так давно мечтал об этом! И вот могучий тягач, послушный моим рукам, двинулся вперед, с лягзом забирая землю гусеницами. И сам я, казалось, превратился в механизм, сосредоточенный лишь на том, чтобы четко выполнять нужные действия.

Я неплохо развернулся в конце загона. Правда, без прицепщика на развороте остались большие огрехи. Но это не такая уж беда: мало, что ли, земли на Анархае! Зато я научусь водить трактор!

Так мы сделали несколько гонов. Сердце у меня уже не так билось, я чувствовал себя уверенней.

— Не дрейфь, академик! — крикнул мне в ухо Абакир.— Я отлучусь малость. А если что, заглушишь!..

Он спрыгнул на ходу с трактора и, отряхиваясь, прихорашиваясь, направился к девушке-сакманщице. Она была теперь совсем рядом. Тут только я понял, что он замыслил. Не без корысти, оказывается, посадил он меня в кабину.

Абакир стоял возле девушки и беспечно разговаривал с ней. А что ему!.. Работа идет, трактор рядом, в случае чего всегда можно подбегать.

Мне не понравилась проделка Абакира. Но в то же время я был счастлив — ведь я сам вел машину! Меня так и подмывало помахать девушке из кабины, крикнуть ей что-нибудь хорошее. Эх, если бы не торчал тут Абакир! Что он там ей говорит и что она ему отвечает? Хорошо бы ей поосторожней, построжее быть с ним...

Я не слезал с трактора часа полтора, пока девушка не погнала овец назад. На лице Абакира я не уловил ничего такого, что говорило бы о его успехе. Нет, ничего, кроме обычного туповато-надменного самодовольства, не выдавало его лицо.

— Айда, академик, на свое место! — Он хлопнул меня по плечу и криво усмехнулся.

Я ничего не сказал и спрыгнул с трактора.

Наша девушка пришла и на другой день. Абакир опять оставил меня в кабине, а сам направился к ней. Лучше бы уж она не приходила. Бросить трактор я не мог, но и оставаться равнодушным я тоже не мог.

«Как бы предупредить ее? — думал я, бросая из кабины тревожные взгляды в их сторону.— Не надо ей встречаться с ним. Но как можно запретить людям разговаривать друг с другом? Человек сам должен понимать, с кем он имеет дело...»

На этот раз девушка быстро ушла, и я очень обрадовался этому. Все быстрее и быстрее погоняя овец, она убежала по степи, не оглядываясь. «Прости меня, милая,— мысленно посылал я ей свои извинения.— Хорошо, что ты так быстро ушла. Но мы еще встретимся. В следующий раз я не останусь на тракторе, я побегу к тебе. А пока иди, не останавливайся, славная девушка с челочкой... Я ведь не знаю даже твоего имени...»

Но напрасно рассчитывал я на предстоящую встречу. Девушка больше не появлялась. Дня три подряд мы оба ждали ее, не говоря, конечно, об этом вслух. Абакир был злее и грубее обычного. Он опять смотрел на меня откровенно ненавидящим взглядом. Но и я теперь не скрывал своего презрения. Я понял, что он чем-то оскорбил девушку, я чувствовал свою вину перед ней, словно бы не сумел защитить ее от чего-то недоброго, темного. Я дал себе слово: при первой же возможности отыскать ее и просто, по душам, поговорить обо всем. Я стал мечтать об этой встрече, я желал этого и надеялся.

Как раз в эти дни нас застиг в поле дождь. Он наскочил стремительно и внезапно. Это был буйный степной ливень с градом. Воздух загудел, земля вмиг покрылась вспученными, кипящими лужами. Но Абакир не остановил трактора. Наоборот, он его припустил быстрее и ни разу не оглянулся на меня, а я ведь сидел под ливнем и градом.

Набухшие водой вспаханные пласты уже не отваливались за лемеха. Они распирали плуг, лезли на раму, мне на ноги. Наверно, Абакир вообще не остановился бы, если бы на гусеницы не налипли вязкие не впроорот комья. Тогда он заглушил мотор и закурил, развалился у себя в кабине, наверно ожидая, что я попрошусь к нему под крышу. Но мне теперь было все равно. Я уже промок до нитки. Я не сошел с плуга и сидел под дождем, смывая с себя грязь. Единственное, что я постарался уберечь от воды, это блокнот с кое-какими записями и выписками из прочитанных книг. Я сунул блокнот за голенище.

Дождь кончился сразу, будто его рукой сняло. И тотчас же распахнулось небо, сияющее бездонной, прозрачной бирюзой. Оно было словно продолжением той красоты и чистоты, которую являла собой раздольная степь, омытая весенним щедрым ливнем. Беспредельные анархайские просторы раздвинулись еще шире, стали еще привольнее. Через весь небосклон пролегла над Анархаем радуга. Она перекинулась из края в край света и застыла в вышине, вбирая в себя все нежные краски мира. Восхищенно глядел я вокруг. Синее, бесконечно синее, невесомое небо, трепетное многоцветье радуги и блеклая полынная степь! Земля быстро просыхала, а над ней высоко в поднебесье кружил орел на неподвижно раскинутых, тугих крыльях. Казалось, не сам он и не крылья его, а могучее дыхание земли, ее восходящие теплые токи вознесли орла в такую высь.

И я снова почувствовал в себе силу, я тоже воспрянул духом, снова ожили во мне мечты о стране Анархай. Да, теперь я прочно стоял на земле, и никто уже не мог омрачить мои мечтания, помешать мне верить в прекрасное будущее Анархайской степи. Я не поэт, но случилось порой, что в школьной стенгазете помещали мои стишки. Вот и теперь я достал из-за голенища блокнот и сразу, вроде бы с разбегу, написал первые напросившиеся на бумагу слова:

Лежит за Курдайским нагорьем
 Веками нехоженный край.
 Провьюженный снегом метельным,
 Исушенный зноем предельным —
 Далекий степной Анархай.

Но быть суждено, я то знаю —
Тот день недалек, он в пути,—
Роскошной страной Анархаю,
Просторам полярной степи!

Я не думал о том, что у меня получились неумелые, корявые строки. Меня огорчало другое: они не выражали даже сотой доли того, что теснилось и бунтовало в моей душе. Я мучительно ломал голову, как сделать, как найти те единственно верные слова, чтобы высказать свои мечты так, как я их ощущал. Но тут кто-то выхватил у меня из рук блокнот. Я оглянулся.

— Любовные писульки сочиняешь! — злобно посмеивался Абакир, отходя в сторону. — Хочешь девку стихами пронять?..

— Отдай! — подскочил я к нему в негодовании. — Нехорошо читать чужое!

— А ты мне не указ: хорошо, нехорошо! У меня свое хорошо! Отцепись!

— Ах, так! — Я подбежал к трактору и схватил отвертку.

— Ну-ну! — пригрозил мне Абакир. — На, ерунда какая-то. — Он вернул мне блокнот, а спустя минуту вдруг расхохотался, заржал на всю степь. — Страна Анархай! Ха-ха-ха! Ну и дурак ты, академик! Вот таких только, как ты, и надо пригонять сюда, чтоб вы узнали что почем!.. Выдумал, страна Анархай! Ха-ха-ха! Она еще покажет тебе, какая она есть страна! Останься тут на зиму — по-другому запоешь...

— А я у тебя не буду спрашивать, оставаться мне или нет! Ты лучше о себе подумай!

— А что мне думать? — Абакир с сумрачной усмешкой надвинулся на меня. — Моя думка со мной. Я везде свое возьму. — Он отошел было от меня, но, вспомнив о чем-то, приостановился, подошел ко мне вплотную и сказал приглушенным голосом: — А ты, академик, выкинь из головы мыслишки о ней, не рассчитывай... Пришибу!

— Это мы еще посмотрим!

— А я тебе говорю, чтоб и думать не смел!

Мне стало вдруг даже жалко этого зарвавшегося человека, обалдевшего от злости и ненависти ко всему, что жило иной, чем он, жизнью. Я сказал ему спокойно:

— Ты взрослый человек. Порой говоришь правильные вещи. Но это, видно, случайно, сослепу. Тебе надо запомнить, что никто никому не в силах запретить думать, желать, мечтать. Люди тем и отличаются от скотины, что они способны мыслить.

Не знаю, подействовали ли мои слова на него, но он промолчал. Только мрачно подошел к трактору и с силой крутанул пускач. Двигатель легко завелся, надо было снова приниматься за работу...

С этого часа я не расставался со своими мечтами. Я завоевал их, я снова обрел на них право. И они уже не покидали меня, они жили со мной.

Вечером, когда все стали укладываться спать, я вышел из юрты и направился к роднику. Меня почему-то тянуло туда, хотелось побыть в одиночестве.

Звездам было тесно на небе, и они сбегали у горизонта к самой земле. Но многие из них, а пожалуй, что и все висевшие над головой, невероятным образом помещались в роднике, отражаясь в небольшом округлом водоеме, который казался сейчас бездонно глубоким. Они поблескивали и мерцали на воде — хоть черпай их и выбрасывай огнен-

ными россыпями на берег. Там, где бежал ручей, они уплывали вместе с ним и рассыпались осколками по каменистому дну. Но там, где вода застыла в тихой задумчивости, они были такими же лучистыми, как на небе, и я подумал, что степной родник чем-то напоминает иной раз такое состояние человеческой души, когда она светла и полна мечтами, когда она становится такой глубокой, что вмещает в себя весь окружающий мир.

Я сидел у родника, смотрел, слушал, всем существом своим ощущал, вбирал в себя почную, затаившуюся степь и по-своему преображал ее в своих мечтах. Кому бы рассказать о них, с кем бы поделиться? Трудно объяснить почему, но она, девушка с челочкой, имени которой я не знал, казалась мне тем самым человеком. Она бы поняла меня, она бы сумела разделить со мной мои волнения. Может, это было оттого, что впервые мы встретились с ней здесь, у родника, и назвали его Верблюжьим глазом?

Где она сейчас, знает ли, что я думаю о ней? Скоро мы закончим пахоту, и тогда я найду ее, приведу сюда, к роднику, и поведаю ей о стране Анархай. Не стихами, нет — засмеет еще! — расскажу просто, обыкновенными словами, так, как представляю себе будущую жизнь в Анархайской степи.

Собираясь уходить, я еще раз окинул взором обметанное звездами небо. Глаза радовались всему, что было доступно зрению. Но на пригорке, как всегда, стояла, смутно темнея, бесформенная глыба каменной бабы. Я представлял себе, как стоит она и сейчас, сохраняя свое полное безразличие ко всему, вперив в даль тупой, безжизненный взгляд своего единственного глаза.

Взошла луна, и я заметил две осторожные тени, которые двигались по ту сторону распаханного клыпа. Это были джейраны — степные козули. Куда они шли? Пожалуй, к водопою. Джейраны подошли к самому краю поля и остановились как вкопанные, не осмеливаясь вступить на непривычно взрыхленную, отдающую нефтью и железом землю. Они долго стояли так, не шелохнувшись, слегка посеребренные лунным светом. Самец — с ветвистыми рожками и самка — пониже в холке, с крупными, поблескивающими в темноте глазами. Она прильнула к самцу, как и он, настороженно вскинув легкую голову. Так и стояли они, объятые оцепенением. Весь вид их выражал вопрос и страх: «Что случилось со степью? Куда девалась старая тропа? Какая сила разворотила землю?»

Джейраны так и не посмели пройти по полю. Они повернули и бесшумно пошли назад, унося на гибких спинах грустный ответ луниного серебра.

Я посидел еще немного, чтобы джейраны могли спокойно удалиться. Потом вернулся в юрту, отыскал впотьмах свое место и долго еще лежал с открытыми глазами.

И тут я услышала шепот. Абакир и Калипа лежали вместе. Возможно, и раньше бывало так, но я этого не знал. Калипа, всхлипывая, говорила что-то, только я не мог разобрать что.

— Ну перестань, хватит. — сонно пробормотал Абакир. — Вот поедем в город и там все уладим. Полежишь денька два... Чего зря убиваться?

Калипа ответила с горечью:

— Не из-за этого я убиваюсь. Ненавижу себя, презираю... За что полюбила такого человека, как ты? Что я в тебе нашла, не пойму... Хоть что-нибудь хорошее сделала ты людям? Нет же, как собака привязалась...

— Жалеть не будешь. Кончим работу — увезу.

— Нет, буду жалеть. Знаю, что каяться мне всю жизнь. И все-таки поеду. Не хочу одна оставаться...

— Да тише ты! Ложись поближе. Ну, давно бы так, а то... Намочила вон всю подушку.

Я укрылся с головой. Хотелось поскорее заснуть, чтобы не слышать этот огорчивший меня разговор.

5

Солнце с каждым днем припекало все жарче и жарче. Чаше стал навеваться Сорокин. Надо было спешить — сроки поджимали, земля пересыхала. Нам оставалось пахоты еще дней на пять, столько же оставалось работы сеяльщикам.

Сорокин говорил, что с осени будем взметывать зябь, а на следующий год сюда пригонят много тракторов и построят здесь РТС. У Сорокина все было рассчитано. Он неустанно кружил по степи, по ее урочищам, балкам и лощинам. Он не просто знал ее — она вся умещалась у него в голове, изученная до последней песчинки.

Пора было уже отказаться от завоза кормов на машинах и самолетах, как это нередко случалось на Анархае в тяжелые зимы. И Сорокин знал, как этого добиться.

Мы с Абакиром пахали теперь до поздней ночи. Ночевали в поле и с рассветом снова принимались за дело. Работа была настолько тяжелой, что Абакир оставил меня в покое. Казалось, он не замечал меня, не обращал на меня никакого внимания. Но глухая, затаенная неприязнь ко мне все еще жила в его угрюмых глазах. А мне от этого было не хуже. Я делал свое дело и жил своими мечтами. Я ждал дня, когда пойду к чабанам, в урочище за холмом, и разыщу там девушку с чечкой.

В эти дни мы начали распахивать новый большой клин. Всегда приятно приступать к чему-то новому, когда ты занят желанным, приносящим удовлетворение делом. Еще в школе я любил писать с новой строки, на новой, чистой страничке. Я любил бегать утром по нетронутому снегу, первым оставляя следы. Я любил ходить весной в предгорья за первыми, еще никем не виданными тюльпанами. Есть что-то в этом захватывающее, манящее новизной и свежестью. Здесь, на Анархае, новая борозда на непочатом поле была для меня первой строкой, нетронутым снегом и несорванным тюльпаном.

Я сидел на плуге и любовался тем, как лемеха подо мной режут первую борозду. Настойчиво врезаюсь в толщу земли, отполированные до нестерпимого блеска лемеха мягко и легко отваливали пласты.

Из-под крайнего лемеха вдруг что-то блеснуло, словно рыбка метнулась на волне пласта, вспыхнуло огнем в зеркале лемеха и сразу юркнуло в борозду. Я одним махом спрыгнул с плуга, бросился к тому месту и вытащил из земли тяжелый металлический обломок удлиненной формы. Это было что-то такое красивое, я был так восхищен, что от радости вскинул руки и крикнул:

— Золото!

Абакир оглянулся на мой крик, остановил трактор и сразу спрыгнул на землю.

— Ты что там нашел?

— Золото! Смотри, Абакир, золото!

Он направился ко мне сначала медленно, а потом заспешил. Я протянул ему на ладони эту золотистую, красивую вещь.

— А ну! — Он недоверчиво взял в руки мою находку и, разглядывая, потер ее о рукав. — Да откуда ему быть здесь, золоту? — проговорил он подавленным голосом, бледнее при этом, как от внезапно нахлынувшего страха. — Не может быть, — с усилием усмехнулся он, выколуны-

вая ногтем землю из зазубринок, и, не глядя мне в глаза, с явным неудовольствием вернул обломок.

— А почему бы нет! — запальчиво возразил я. — Смотри, какой тяжелый, в нем грамм восемьсот. В двенадцатом веке здесь жили монголы, а перед тем как прийти сюда, они захватили Китай и вывезли оттуда много золота. Вот так оно могло попасть и сюда! — Я говорил это потому, что мне очень хотелось, чтобы моя находка оказалась золотом. Увлеченный этим желанием, я продолжал фантазировать, убеждая в своей правоте и себя и ошеломленного, ошарашенного Абакира. — Ты знаешь, сколько веков оно пролежало под землей? Другой металл давно бы съела ржавчина, а это сохранилось, потому что чистое золото. Тут, на Анархае, когда-то сталкивались племена кочевников. Знаешь, какие тут бывали побоища! Ханские мечи ковались в те времена с золотыми рукоятками. Этот обломок и есть золотая рукоять ханского меча. Вот возьми сам — видишь, как удобно держать.

Абакир взял обломок, подержал его, взвесил на руке:

— Хоть и не золото, а надо показать знающим людям, просто для интересу! — Он положил обломок в карман. — Ты его можешь выронить с плуга-то. Пусть у меня полежит.

— Ну ладно, — согласился я.

Абакир пошел к трактору, поглаживая отяжелевший карман.

Мы двинулись дальше. Я думал о том, как отвезу свою находку учителю Алдиярову на память. У него собрано много таких вещей. И он, конечно, расскажет в связи с моей находкой что-нибудь интересное. Потом я устал и забыл про свое золото. Меня донимало неравномерное движение трактора. Как-то странно вел сейчас Абакир машину: то нерешительно замедлял ход, то рвал с места, оглушая меня ревом мотора. Черный дым вырывался из выхлопной трубы и ложился мутным, чадным облаком на пашню, лез под плуг и лемеха.

Так проработали мы до конца дня. Солнце село, но было еще светло. Абакир несколько раз оглядывался через плечо из кабины, бросая на меня какие-то неопределенные взгляды. Но вот он остановил трактор.

— Иди сюда! — Он махнул мне рукой.

Я поднялся в кабину. Абакир был бледен, глаза его растерянно бега-ли. Утирая пот со лба, он сказал сквозь шум мотора:

— Докричаться не было сил. Ты иди, установи рычаги, а потом возвращайся, садись, поводи сам немного. Нездоровится мне, плохо что-то. Я пройду по воздуху, может, полегчает...

— Иди, иди! — ответил я.

Пока я сбежал к плугу и вернулся, Абакир уже сошел на землю. Он весь как-то сразу потускнел, точно бы слинял. Молча побрел он в сторону, сильно ссутулившись.

«Да он, кажется, тяжело заболел. С животом, наверно, неладно, вон как схватило», — подумал я и, включив сцепление, тронул трактор с места.

Трактор пошел ровным, напряженным ходом. Опять он был подвластен моей воле. Как и каждый раз, я волновался, стараясь точно управлять машиной. Я развернулся в конце загона и пошел в обратную сторону. Сумерки уже опускались на землю, потянуло прохладой. «Еще два круга, и надо включать фары», — подумал я, вглядываясь перед собой. Впереди, вдоль косогора, кто-то быстро удалялся. Достигнув седловины, человек сбежал вниз и скрылся. Я увидел только его спину. Это был Абакир. Что с ним? Куда он побежал? Должно быть, увидел что-нибудь. Доехав до середины поля, я высунулся из кабины и привстал

на минутку, но Абакира не увидел. Куда он делся? Ведь он же болен. Странно. Я остановил трактор и перевел мотор на малые обороты.

— Абаки-ир! — крикнул я. — Абаки-ир!

Он не отзывался. Тогда я вовсе заглушил мотор, чтобы было слышнее.

— Абаки-ир! Где ты? Отзовись! — кричал я в степь.

Но затененные, предвечерние увалы молчали.

А вдруг ему плохо? Мне представилось, что он, скрючившись, валяется на земле и не может разогнуться. Я спрыгнул с трактора и во весь дух пустился бежать. Перевалил седловину, огляделся. Никого нет. Взбежал на высокий пригорок и отсюда увидел Абакира, уходящего по равнине. Он был уже далеко.

— Абакир! Куда ты? — кричал я, но он не оглядывался, а вскоре и вовсе исчез из глаз, словно провалился сквозь землю.

Я постоял еще немного и нерешительно повернул назад. В небе бледными пятнами меркли последние отсветы заката. Хмурая тьма ложилась на холмы и равнины.

Я шел смятенный и растерянный. Странной, непривычной вдруг показалась мне эта притаившаяся, грустная тишина. Словно бы степь прислушивалась к моим шагам, к моим мыслям. А думал я об Абакире. Когда я рассказывал о том, что в этих краях на самом деле было, он издевался надо мной, не верил. А тут, когда я нафантазировал с этим злосчастливым золотом, он голову потерял... Нет. Такие голову не теряют! Он, видно, это давно задумал и даже поговаривал об этом, да только так, вроде бы страшал Сорокина. Ведь всех он тут ненавидел, со всеми перессорился, передрался. А Калипа? С ней-то больше всего ему хотелось развязаться. На кой черт она ему, беременная, с ее любовью! И все-таки за неделю до получки он бы не убежал. А так что ему — вчера получил денешки, и немалые, он их никогда в юрте не оставлял, всегда держал при себе, значит задарма не много поработал, всего денек, да и находка вдруг окажется золотом...

Мои думы прервал голос Калипы:

— Абаки-ир! Кемель! Где вы?

Она привезла нам в бидонах воду для ночной работы.

— Куда вы подевались? — тревожно встретила меня Калипа. — Жутко стало. Жду, жду, трактор стоит, а самих нет!

Что было мне ответить ей? Сказал правду:

— Абакир ушел. Бросил работу.

— А... почему... зачем? — запинаясь, спросила она.

— Не знаю.

Про золото я умолчал, мне было стыдно за Абакира.

— Значит, ушел?... — Помолчав, она рванула с повозки бидон и тяжело опустила его на землю. — Зачем же вожу я эту воду? — растерянно проговорила она, ни к кому не обращаясь.

Я понес бидон к радиатору, а Калипа прислонилась лицом к кабине и горько заплакала.

Мне стало не по себе. Я не знал, как утешить ее.

— Может, еще вернется, — неуверенно пробормотал я, обернувшись к Калипе.

— Да не о нем я, — всхлипнула она и резко повернула ко мне мокрое от слез лицо. — Верила, мечтала! А во что верила? О чем мечтала? — выкрикнула она вдруг с такой томительной, звенящей силой, что даже в пустой степи ей отозвалось стонущее эхо. — Думала, парень работающий, думала, отойдет в нем зло. Добром, любовью хотела отогреть его душу. А он? Да что уж там говорить... Лошадь тоже работает, а только человек — он и есть человек, душа в нем прежде всего... Тогда и рабо-

та в счастье, тогда и делу есть смысл... А он, он не понял ничего. Какой был, такой и ушел. Обидно мне, если бы кто знал, ох, как обидно!

Я молчал, подавленный и удрученный. Мне было жалко Калипу, больно за нее. Не понимал я, как могла она полюбить такого человека... Но если бы Абакир знал, если бы понимал, какое истинное счастье потерял он сегодня, уйдя от Калипы, то не она, а он завыл бы, как волк в зимнюю стужу.

Калипа села в повозку и молча уехала.

Спокойно спала Анархайская степь. Откуда-то издали, колеблясь и перекатываясь по метелкам полыни, донесся понизу чуть слышный паровозный гудок. Может быть, Абакир уезжал уже, подцепившись к то-варняку?.. Ну и катись, сволочь, туда тебе и дорога! Не пропадет Анархай, и мы без тебя обойдемся...

Больше я о нем не хотел вспоминать. Надо было приниматься за дело. Я долго бился, пока трактор не затарахтел, пугая ночную тьму. Я сел в кабину и включил фары.

Теперь я был за все в ответе. И мне вдруг очень захотелось, чтобы рядом со мной оказалась сейчас моя милая девушка с челочкой и чтобы она поверила мне, что будет, будет в этой дикой помынной степи прекрасная страна Анархай.

Перевели автор и А. Дмитриева.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Книга вторая *

17

Комеданта Третьего общежития Наркоминдела звали товарищем Адамом; но, если говорить откровенно, Адамом чувствовал себя я — я оказался в раю, откуда меня легко могли выгнать. Мне нужно было представить удостоверение с места службы, и хотя я довел в сохранности почту, о дипломатической карьере мечтать не приходилось. Товарищ Адам поселил нас в комнате, которая не отапливалась, и все же «Княжий двор» был раем. Утром нам выдавали паек: двести граммов хлеба, крохотный кусок масла и два куска сахара. Днем мы получали кашу — пшеничную или ячневую. Конечно, древние князья ели лучше, но в Москве 1920 года такой паек был воистину княжеским.

Я встретил старых друзей, познакомился с молодыми поэтами, написал несколько стихотворений. Люба разыскала А. А. Экстер и поступила во Вхутемас. Неожиданно мне сообщили, что В. Э. Мейерхольд хочет со мною поговорить и предоставить мне интересную работу. Я не знал, о какой работе идет речь, но чувствовал себя окрыленным.

В Доме печати решили устроить вечер моих стихов. Я прочитал стихотворения, написанные в Коктебеле и в Москве. Одет я был непристойно, но на это тогда не обращали внимания, а стихи были патетическими. Я, например, обращался к человеку будущего, который случайно найдет в библиотеке мою книгу: «Средь мшиуры былой и слов убогих, средь летописи давних смут, увидит человека, умирающего на пороге, с лицом, повернутым к нему». Когда я кончил читать, все стремительно ринулись в буфет. Там ко мне подошел дежурный член правления поэт Венгров и шепнул, что меня требуют представители Чека; они внизу, у вешалки. «Вы не волнуйтесь, — дружески добавил он, — это явная ошибка».

У вешалки меня ждали два молодых человека; они мне показали ордер. Мы прошли к площади; там стояла машина, которая отвезла нас на Лубянку, в дом бывший «Страхового общества Россия», где помещалась Чека: этот дом вошел в историю. Мало кто помнит, что улица Кирова называлась Мясницкой, Кропоткинской — Пречистенкой, улица Горького — Тверской, а слово «Лубянка» осталось.

Меня обыскали, нашли фотографию Любы и снимки ее живописных работ. Молодые люди стали меня расспрашивать, что означает

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

кубизм. Но моя голова была занята другим: что означает мой арест? Лекция о живописи не получилось. Молодые люди сказали, что предупредят мою жену (действительно, они поехали к ней, успокаивали — «наверно, его скоро выпустят» — и просили объяснить им современную живопись).

Меня отвели в камеру, где уже помещалось человек восемь, — это были командиры Военно-Морского Флота, люди мужественные и симпатичные; они потеснились, и я лег спать. На следующее утро мне объяснили, что в камере не принято говорить о приключившейся с людьми неприятности. Каждый рассказывает, в чем он специалист. Первым был доклад о подводной лодке, сконструированной Налетовым, второй — о плавании по Индийскому океану. В свою очередь я рассказывал о Париже, о стихах Франсуа Вийона, об итальянской живописи. (Несколько месяцев спустя я встретил моих товарищей по кратковременному заключению в Камерном театре, на премьере «Принцессы Брамбиллы». Мы обрадовались друг другу и сразу перешли к вопросу о том, чей театр лучше — Таирова или Мейерхольда.)

Вечером меня повели по длинным и сложным коридорам на допрос. Следователь дружески со мной поздоровался, сказал, что встречал меня в «Ротонде». Я его не помнил, но мы поговорили о Париже; потом он сказал: «Видите ли, к нам поступило сообщение, что вы — агент Врангеля. Докажите обратное». Моя беда в том, что я всю жизнь не могу освободиться от некоторых доводов Декарта; знаю, что логикой не проживешь, и все же всякий раз ловлю себя на том, что требую от других именно логики. Я ответил, что автор доноса должен доказать, что я — агент Врангеля; если мне сообщат, на чем основано его утверждение, я смогу его опровергнуть. Следователь попросил рассказать, как я добрался до Москвы, почувствовал нашим дорожным невзгодам, крепко обругал хозяина соли и наконец сказал: «Мы с вами еще поговорим...» Я сделал товарищам по камере доклад об испанской поэзии и услышал лекцию о влиянии развития авиации на действия военно-морского флота. Два дня спустя следователь снова вызвал меня. «Скажите, почему вам поручили доставить в Москву диппочту?» Я ответил, что этот вопрос следует поставить нашему послу в Тифлисе; что касается меня, то я просто просил посольство отправить меня в Москву. Мы снова вспомнили Париж, и меня отвели в камеру. Я прочитал доклад об архитектуре Версаля и познакомился с анализом подводной войны в 1917—1918 годах. Третий допрос начался знакомыми словами: «Докажите, что вы не агент Врангеля...» Следователь был в дурном настроении, он сказал, что я упрям и это может меня погубить, контрреволюция не хочет разоружиться, а пролетариат не повторит ошибок Коммуны.

Я решил, что меня, наверно, расстреляют; по утру выступил с докладом о живописи Пикассо и настолько увлекся, что даже позабыл о грозных намеках следователя.

Прошел еще день, и неожиданно меня освободили.

Это было замечательное время! Еще шли бои с врангелевцами, еще не унимались различные банды, еще постреливали террористы. Борьба шла где-то под землей, в темных сапах. Иногда арестованных расстреливали, а тех, кого не расстреливали, освобождали.

Выпустили меня вечером. Я пошел в «Княжий двор», но меня туда не пустили: товарищ Адам, который был всемогущ, как господь бог, выгнал из рая Еву, то есть Любу. Я не знал, где она; не знал, куда мне пойти. На улице было очень холодно, и вдруг я с тоской подумал о тесной камере: там по крайней мере было тепло...

Я отправился в Дом печати. Было поздно, и застал я только дежурного распорядителя. Он долго объяснял мне, что почевать в помещении

никто не имеет права; но, поглядев на меня, дрогнул духом. «Ладно! Идем наверх...» Наверху находились комнаты различных литературных группировок. Он меня устроил в комнате пролетарских писателей, где стоял большой диван. К сожалению, верхний этаж не отапливался. Мое парижское пальто, пережившее три бурных года, походило на трухлявую шинель Акакия Акакиевича. Я лежал и чувствовал, что замерзаю. В темноте я сорвал со стены полотно и закутался; теплее не стало, но, к счастью, я заснул.

Проснулся я от громкого смеха: надо мной стояли пролетарские писатели, среди них мой парижский приятель Миша Герасимов. Стоят и смеются... Оказалось, я вернулся в материю с лозунгом и на мне значится: «Вся культура пролетариату!» Я сам рассмеялся.

Я прочитал написанное мною и задумался: почему в этой части моей книги столько веселых, почти легкомысленных страниц? Ведь события, о которых я рассказываю, отнюдь не были идиллическими: баржа с солью могла легко затонуть; бандитам ничего не стоило прикончить наивного дипкурьера; да и мои беседы со следователем могли кончиться совсем иначе. Все это так; но человек может сохранять душевное веселье в часы самых трудных испытаний, как он может тосковать, даже отчаяваться, когда ничто лично ему не угрожает. Я писал с нежностью, но и с горечью о моей ранней молодости. Да и предстоит мне в последующих частях моей книги рассказать о многом, что никак не назовешь веселым. Не опасность пригнетает человека, а внутренние обиды, разуверения, ощущение собственного бессилия.

Гашек и Кафка родились оба в Праге в 1883 году; но говорили они несхожими голосами, и в роман Кафки не вставишь размышлений бравого Швейка: диссонанс будет ужасающим. А жизнь не писатель, она не заботится о единстве стиля; одну главу она пишет с улыбкой, в другой выворачивает душу героя.

Вернусь к моему рассказу. Герасимов раздобыл кусок хлеба, чай, и мы позавтракали. В коридорах Дома печати молодые поэты уже спорили о судьбах искусства, а я отправился разыскивать Любу.

18

Мальчишкой я несколько раз видел В. Э. Мейерхольда на сцене «Художественного Общедоступного театра»; помню его сумасшедшим стариком в роли Иоанна Грозного и взволнованным, негодующим юношей в «Чайке».

Сидя в «Ротонде», я не раз вспоминал слова чеховского героя: «Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью... Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». (Чехов написал «Чайку» в 1896 году, Мопассан умер в 1893 году, Эйфелева башня была построена в 1889 году. В 1913 году мы принимали эту башню и отвергали Мопассана; но слова о «новых формах» мне казались живыми и близкими.)

Я пропустил возможность познакомиться с Мейерхольдом в 1913 году: он приезжал в Париж по приглашению Иды Рубинштейн, чтобы вместе с Фокиным поставить «Пизанеллу» Д'Аннунцио. Я тогда мало знал

о постановках Мейерхольда; зато знал, что Д'Аннуцио — фразер и что Ида Рубинштейн — богатая дама, которая жаждет театральных успехов; в 1911 году я видел «Святого Себастьяна», пьесу того же Д'Аннуцио, написанную для той же Иды Рубинштейн, и был раздосадован помесью декадентской красоты с парфюмерным сладострастием. (В. Э. Мейерхольд подружился в Париже с Гийомом Аполлинером, который, видимо, сразу понял, что дело не в Д'Аннуцио, не в Иде Рубинштейн, не в декорациях Бакста, а в душевном смятении молодого петербургского режиссера.)

Осенью 1920 года, когда я познакомился с Мейерхольдом, ему было сорок шесть лет; он был уже седым; черты лица успели заостриться, выступали мохнатые брови и чрезвычайно длинный горбатый нос, похожий на птичий клюв.

ТЕО (театральный отдел Наркомпроса) помещался в особняке напротив Александровского сада. Мейерхольд носился по большой комнате, может быть потому, что ему было холодно, может быть потому, что не умел сидеть в начальническом кресле у традиционного стола с папками «на подпись». Он, казалось, клекотал; говорил, что ему понравилась моя «Стихи о канунах»; потом вдруг подбежал ко мне и, закинув назад свою голову не то цапли, не то кондора, сказал: «Ваше место — здесь. Октябрь в искусстве! Вы будете руководить всеми детскими театрами Республики...» Я попытался возразить: я не педагог, хватит с меня мофективных киевлян и коктебельской площадки; да я и не смыслю ничего в сценическом искусстве. Всеволод Эмильевич меня оборвал: «Вы — поэт, а детям нужна поэзия. Поэзия и революция!.. К черту сценическое искусство!.. Мы с вами еще поговорим... А приказ о вашем зачислении я подписал. Приходите завтра вовремя...»

Мейерхольд тогда был одержим (как Маяковский) иконоборчеством. Он не заведовал отделом — он воевал с той эстетикой и удобопонятной моралью, о которой говорил герой «Чайки».

Недавно я выступал в Женеве в студии телевидения. Молоденькая девушка преградила мне дорогу и сказала, что должна меня загримировать. Я запротестовал: мне предстоит говорить о голоде в экономически отсталых странах, при чем тут красота, да и не пристало мне на старости лет впервые румяниться. Девушка ответила, что таковы правила, все должны подвергнуться операции; она наложила на мое лицо тонкий слой желтоватого крема. Я сейчас подумал, что свет памяти столь же резок, как и свет телевизионных студий, и что, говоря в этой книге о некоторых людях, я невольно кладу слой краски, смягчающей слишком острые черты. А вот со Всеволодом Эмильевичем мне не хочется это делать; я попытаюсь дать его не с притушенными, но с жесткими деталями.

Характер у него был трудный: доброта сочеталась с запальчивостью, сложность духовного мира — с фанатизмом. Как некоторые большие люди, с которыми мне привелось столкнуться в жизни, он страдал болезненной подозрительностью, ревновал без оснований, видел часто козни там, где их не было.

Первая наша размолвка была бурной, но кратковременной. Один военмор принес мне пьесу для детей; все персонажи были рыбами (меньшевики — карасями), и в последнем акте торжествовал «рыбий совнарком». Пьеса мне показалась неудачной, я ее забраковал. Вдруг меня вызывает Мейерхольд. На столе у него рукопись. Он раздраженно спрашивает, почему я отклонил пьесу, и, не дослушав, начинает кричать, что я против революционной агитации, против Октября в театре. Я в свою очередь рассердился, сказал, что это «демагогия». Всеволод Эмильевич потерял самообладание, вызвал коменданта: «Арестовать Эренбург».

га за саботаж!» Комендант выполнить приказ отказался и посоветовал Мейерхольду обратиться в ВЧК. Я, возмущенный, ушел и решил, что больше в ТЕО не будет моей ноги. На следующее утро Всеволод Эмильевич позвонил: ему необходимо посоветоваться со мной о театре петрушки. Я пошел, и вчерашней сцены будто не было...

Всеволод Эмильевич заболел. Несколько раз я был у него в больнице; он лежал с забинтованной головой. Он мне рассказывал о своих планах, расспрашивал, что происходит в ТЕО, был ли я на новых постановках. Вероятно, в моих репликах и рассказах проскальзывала протия, потому что Мейерхольд иногда упрекал меня в безверии, даже в цинизме. Однажды, когда я сказал о расхождении многих проектов с действительностью, он приподнялся и захохотал: «Вы — в роли заведующего всеми детскими театрами Республики, нет, Диккенс не придумал бы лучше!» Бинты походили на чалму, а Всеволод Эмильевич, худой и посатый, — на восточного кудесника. Я тоже рассмеялся и сказал, что приказ о моем назначении подписал не Диккенсом, а Мейерхольдом.

Несколько раз я был на «Зорях». Это слабая пьеса, да и в постановке было много случайного. Мейерхольд боролся против «трех стен», о которых говорил Трелев, против рампы, против написанных декораций. Он хотел приблизить сцену к зрителям. Помещение было безвкусным — знаменитый кафе-шантан «Омон», где москвичи когда-то рассматривали полуголых «этуалей»; впрочем, зал был в таком состоянии, что его убранство не бросалось в глаза. Театр не отапливали, все сидели в шинелях, в полушубках, в тулупах. Из ртов актеров вырывались грозные слова и нежнейшие облака. Часть актеров разместили в партере; они неожиданно взбегали на сцену, где стояли серые кубы и зачем-то висели веревки. Иногда на сцену подымались и зрители: красноармейцы с духовым оркестром, рабочие. (Мейерхольд хотел посадить нескольких актеров в ложу; они должны были изображать эсеров и меньшевиков и подавать соответствующие реплики. Всеволод Эмильевич с сожалением мне рассказывал, что ему пришлось отказаться от этой идеи: зрители могут подумать, что это всамделишные контрреволюционеры, и начнется потасовка.) Был я и на спектакле, когда один из актеров торжественно прочитал только что полученную сводку: взят Перекоп. Трудно описать, что делалось в зале...

На диспуте постановку ругали; Маяковский защищал Мейерхольда. Не знаю, что сказать о самом спектакле: его не оторвешь от времени; он был тесно связан с агитками Маяковского, с карнавальными шествиями, устраиваемыми «левыми» художниками, с климатом тех лет. Таким же представлением эпохи оказалась мне на репетициях «Мистерия-Буфф». Любить эти спектакли было трудно, но хотелось их защищать, даже возвеличивать. Я писал в 1921 году: «Неудачные по выполнению, великолепные по замыслу постановки Мейерхольда: не только собирать театральность, но и немедленно ее растворить, уничтожить рампу, смешать комеднантов со зрителями». А Маяковский кончил свою речь на диспуте о «Зорях» так: «Да здравствует театр Мейерхольда, если даже на первых порах он и сделал плохую постановку!» Молодой Багрицкий писал: «...Пышноголового Мольера сменяет нынче Мейерхольд. Он ищет новые дороги, его движения — грубы... Дрожи, театр старья, в тревоге: тебя он вскинет на дыбы!»

Летом 1923 года я жил в Берлине; туда приехал Мейерхольд. Мы встретились. Всеволод Эмильевич предложил мне переделать мой роман «Трест Д. Е.» для его театра, говорил, что пьеса должна быть смесью циркового представления с агитационным апофеозом. Переделывать роман мне не хотелось; я начинал охладевать и к цирковым пред-

ставлениям и к конструктивизму, зачитывался Диккенсом и писал сентиментальный роман со сложной интригой — «Любовь Жанны Ней». Я знал, однако, что Мейерхольду трудно перечить, и ответил, что подумаю.

Вскоре в театральном журнале, который издавали единомышленники Мейерхольда, появилась статья, где рассказывалось в форме фантастической новеллы о том, как меня похитил Таиров, для которого я подрядился переделать мой роман в контрреволюционную пьесу.

(Мейерхольд много раз в жизни подозревал добрейшего и чистейшего Александра Яковлевича Таирова в стремлении уничтожить его любыми средствами. Это относится к той подозрительности, о которой и говорил. Никогда Таиров не собирался ставить «Трест Д. Е.».)

Приехав в Советский Союз, я прочитал, что Мейерхольд готовит пьесу «Трест Д. Е.», написанную неким Подгорецким «по романам Эренбурга и Келлермана». Я понял, что единственный довод, который может остановить Мейерхольда, — сказать, что я хочу сам инсценировать роман для театра или для кино. В марте 1924 года я написал ему, начав «Дорогой Всеволод Эмильевич» и кончив «сердечным приветом»: «Наше свидание прошлым летом, в частности беседы о возможности переделки мною «Треста», позволяют мне думать, что Вы дружественно и бережно относитесь к моей работе. Поэтому решаюсь первым делом обратиться к Вам с просьбой, если заметка верна, отказаться от этой постановки... Я ведь не классик, а живой человек...»

Ответ был страшен, в нем сказались неистовство Мейерхольда, и никогда бы я о нем не рассказал, если бы не любил Всеволода Эмильевича со всеми его крайностями. «Гражданин И. Эренбург! Я не понимаю, на каком основании обращаетесь Вы ко мне с просьбой «отказаться от постановки» пьесы т. Подгорецкого? На основании нашей беседы в Берлине? Но ведь эта беседа в достаточной мере выяснила, что, если бы даже Вы и взялись за переделку Вашего романа, Вы сделали бы пьесу так, что она могла бы быть представлена в любом из городов Антанты...»

Я не был на спектакле; судя по отзывам друзей и по статьям расположенных к Мейерхольду критиков, Подгорецкий написал слабую пьесу. Всеволод Эмильевич поставил ее интересно: Европа гибла шумно, убегали щиты декораций, актеры впопыхах перегримировывались, грохотал джаз. За меня неожиданно вступился Маяковский; на обсуждении постановки «Треста Д. Е.» он сказал о переделке: «Пьеса «Д. Е.» — абсолютный нуль... Переделывать беллетристические произведения в пьесу может только тот, кто выше их авторов, в данном случае Эренбурга и Келлермана... Спектакль, однако, имел успех, и табачная фабрика «Ява» выпустила папиросы «Д. Е.». А я из-за этой глупой истории в течение семи лет не встречался с Всеволодом Эмильевичем...»

Приезжая в Москву, я глядел постановки Мейерхольда: «Великодушного рогоносца», «Смерть Тарелкина», «Лес». Я покупал билет и боялся, что Всеволод Эмильевич меня увидит в зале.

Мейерхольд никогда не шел ровной, прямой дорогой; он подымался в гору, и его путь был петлями. Когда его последователи кричали на всех перекрестках, что нужно разрушить театр, Всеволод Эмильевич уже готовил постановку «Леса». Многие не поняли, что же произошло с неистовым иконоборцем: почему его прельстили Островский, трагедия искусства, любовь? (Так последователи Маяковского не поняли, почему в 1923 году, осудив перед этим лирическую поэзию, он написал «Про это». Интересно, что «Лес» был поставлен вскоре после того, как была написана поэма «Про это». Маяковский-поэт уже возвращался к поэзии, а Маяковский-лефовец сурово осудил Всеволода

Эмильевича за его возвращение к театру: «Для меня глубоко отвратительна постановка «Леса»...»

Картины висят в музеях, книги имеются в библиотеках, а спектакли, которых мы не видели, остаются для нас сухими рецензиями. Легко установить связь между «Про это» и ранними стихами Маяковского, между «Герникой» Пикассо и его холстами «голубого периода». А вот мне трудно судить, что перешло от дореволюционных постановок Мейерхольда в его «Лес» и «Ревизора». Бесспорно многое: петли петлями, но ведь это—петли одной дороги...

«Лес» был чудесной постановкой, и спектакль волновал зрителей. Мейерхольд многое в нем открыл; по-новому передал трагедию искусства. Была, однако, в этой постановке деталь, которая выводила из себя (а может быть, радовала) противников Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров. Пьеса шла много лет подряд. Как-то после одного из спектаклей в Ленинграде состоялось обсуждение. Всеволод Эмильевича закидали записками: он радовался, сердился, шутил. «Скажите, что означает зеленый парик?» Он повернулся к актерам и недоумевающе сказал: «А действительно, что он означает? Кто его придумал?..» С того вечера зеленый парик исчез. Не знаю, сыграл ли Мейерхольд сцену изумления или искренне удивился: запомнил деталь, придуманную, конечно же, им. (В жизни мне часто приходилось слышать недоуменные вопросы: «А кто действительно это придумал?», порой исходившие от авторов различных нелепостей, куда более важных, чем злосчастный парик.)

Мейерхольд был пугалом для людей, которым претило новое; его имя стало нарицательным; некоторые критики не замечали (или не хотели заметить), что Мейерхольд шел дальше; они его обманывали на полустанке, о котором он успел давно забыть.

Всеволод Эмильевич не страшился отступить от эстетических концепций, которые еще накануне казались ему правильными. В 1920 году, когда он ставил «Зори», он рвал с «Сестрой Беатрисой» и с «Балаганчиком». Потом он вышучивал придуманную им «биомеханику».

Треплев в первом акте говорит, что главное—новые формы, а в последнем, перед тем как застрелиться, видит: «Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души». В 1938 году Всеволод Эмильевич говорил мне, что спор идет не о старых и новых формах в искусстве, а об искусстве и о подделке под него.

Он никогда не отрекался от того, что считал существенным, отбрасывал «измы», приемы, эстетические каноны, а не свое понимание искусства; постоянно бунтовал, вдохновлялся, горел.

Ну что страшного было в чеховских водевилях? О «левом искусстве» к тому времени все успели позабыть. Маяковский был признан гениальным поэтом. А на постановку Мейерхольда все равно накопились. Он мог говорить самые обыкновенные вещи, но было что-то в его голосе, глазах, улыбке, выводившее из себя людей, которым не по душе творческое горение художника.

Весной 1930 года в Париже я увидел мейерхольдовского «Ревизора». Это было в небольшом театре на улице Гэтэ, где обычно показывали жителям окраины вздорные водевили или раздражающие душу мелодрамы, с тесной и неудобной сценой, без фойе (в антрактах зрители выходили на улицу), словом, в помещении скорее мизерном. «Ревизор» меня потряс. Я успел давно охладеть к эстетическим увлечениям моей молодости и боялся идти на спектакль—слишком ревниво любил Гоголя. И вот я уви-

дел на сцене все то, чем меня притягивал Гоголь: щемящую тоску художника и зрелище неизбывной, жестокой пошлости.

Я знаю, что Мейерхольда обвиняли в искажении текста Гоголя, в кощунственном к нему отношении. Конечно, его «Ревизор» не походил на те спектакли, которые я видел в детстве и в молодости; казалось, текст раздвинут, но в нем не было отсебятии — все шло от Гоголя. Можно ли на одну минуту поверить, что обличение провинциальных чиновников эпохи Николая I — единственное содержание пьесы Гоголя? Разумеется, для современников Гоголя «Ревизор» был прежде всего жестокой сатирой на общественный строй, на нравы; но, как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности, он волнует людей сто лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почтмейстеры. Мейерхольд раздвинул рамки «Ревизора». В этом ли кощунство? Ведь различные театральные инсценировки романов Толстого или Достоевского считаются благородным делом, хотя они сужают рамки произведений...

Андрей Белый не только любил Гоголя, он был им болен, и, может быть, многие художественные неудачи автора «Серебряного голубя» и «Петербург» следует отнести к тому, что он не мог преодолеть власти Гоголя. И вот Андрей Белый, увидев в театре Мейерхольда «Ревизора», выступил со страстной защитой этого спектакля.

А в Париже на спектакле были по большей части французы — режиссеры, актеры, любители театра, писатели, художники; это напоминало смотр знаменитостей. Вот Луи Жувэ, вот Пикассо, вот Дюллен, вот Кокто, вот Дерен, вот Бати... И когда спектакль кончился, эти люди, казалось бы обьевшие искусством, привыкшие дозировать свои одобрения, встали, устроили овацию, какой я в Париже не видел.

Я пробрался за сцену. В маленькой артистической уборной стоял взволнованный Всеволод Эмильевич. Еще белее стали волосы, длиннее нос. Семь лет прошло... Я сказал, что не мог вытерпеть, пришел поблагодарить. Он крепко обнял меня.

С тех пор ни разу не было между нами отдаления или холода. О вздорной ссоре мы не заговаривали. Мы встречались в Париже или в Москве, подолгу разговаривали, иногда и молчали, как можно молчать при настоящей близости.

Когда Мейерхольд решил поставить «Ревизора», он сказал актерам: «Вы видите аквариум, в нем давно не меняли воду, зеленоватая вода, рыбы кружатся и пускают пузыри». Мне он говорил, что, работая над «Ревизором», часто вспоминал Пензу гимназических лет.

(В 1948 году я шел по одной из пензенских улиц с А. А. Фадеевым. Вдруг Фадеев остановился: «Это дом Мейерхольда...» Мы молча постояли; потом Александр Александрович в тоске сказал «эх», махнул рукой и быстро зашагал к гостинице.)

Мейерхольд ненавидел стоячую воду, зевоту, пустоту; он часто прибегал к маскам именно потому, что маски его страшили — не каким-то мистическим ужасом небытия, а одеревеневшей пошлостью быта. Заключительная сцена «Ревизора», длинный стол в «Горе от ума», персонажи «Мандата», даже чеховские водевили — все это тот же поединок художника с пошлостью.

То, что он стал коммунистом, не было случайностью: он твердо знал, что мир необходимо переделывать. Он оповывался не на чужих доводах, а на своем опыте. Среди нас он был стариком. Маяковский родился с революцией, а у Мейерхольда позади был клубок исхоженных им дорог: и Станиславский, и Комиссаржевская, и питерские символы, «Балаганчик», Блок, исклесташный снежными метелями, «Любовь к трем апельсинам» и много другого. Еще сидя в «Ротонде», мы гадали, как

должен выглядеть таинственный доктор Дапертутто (литературный псевдоним Мейерхольда).

Изо всех людей, которых я вправе назвать моими друзьями, Всеволод Эмильевич был по возрасту самым старым. Я только родился в XIX веке, а он в нем жил, бывал в гостях у Чехова, работал с В. Ф. Комиссаржевской, знал Скрябина, Ермолову... И самое удивительное, что он оставался неизменно молодым; всегда что-то придумывал, бушевал, как гроза в мае.

Всю жизнь его сопровождали нападки. В 1911 году нововременец Меньшиков возмущался постановкой «Бориса Годунова»: «Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого нет ни приставов, ни кнутьев...» Некоторые статьи, написанные много времени спустя, были, право же, не чище и не справедливее приведенных выше слов...

Он не походил на мученика: страстно любил жизнь — детей и шумные митинги, балаганы и живопись Ренуара, поэзию и леса строек. Он любил свою работу. Несколько раз я присутствовал на репетициях: Всеволод Эмильевич не только объяснял — он сам играл. Помню репетиции чеховских водевилей. Мейерхольду было за шестьдесят, но он поражал молодых актеров неутомимостью, блеском находок, огромным душевным весельем.

Я говорил, что спектакли умирают — их не воскресишь. Мы знаем, что Андре Шенье был прекрасным поэтом, но мы можем только верить, что его современник Тальма был прекрасным актером. И все же творческий труд не исчезает; он может быть на время незримым, как река, уходящая под землю. Я смотрю спектакль в Париже, кругом восхищаются: «Как ново!», а я вспоминаю постановки Мейерхольда. Я вспоминаю их и сидя во многих московских театрах. Вахтангов писал: «Мейерхольд дал корни театрам будущего — будущее и воздаст ему». Перед Мейерхольдом преклонялся не только Вахтангов, но и Крэг, Жувэ, многие другие крупнейшие режиссеры. Эйзенштейн мне как-то сказал, что его не было бы без Мейерхольда.

Еще в августе 1930 года он писал мне: «...Театр может погибнуть. Враги не дремлют. Много есть в Москве людей, для которых театр Мейерхольда бельмо на глазу. Ох, долго и скучно об этом рассказывать!»

Наши последние встречи были невеселыми. Я приехал из Испании в декабре 1937 года. Театр Мейерхольда был уже закрыт. От пережитого жена его, Зинаида Николаевна Райх, тяжело заболела. Поддерживал Мейерхольда К. С. Станиславский, который часто ему звонил по телефону, пытался приободрить.

В это время П. П. Кончаловский написал замечательный портрет Мейерхольда. Многие портреты Кончаловского декоративны, но Петр Петрович горячо любил Мейерхольда и в портрете раскрыл его вдохновенно, тревогу, душевную красоту.

Всеволод Эмильевич подолгу сидел у себя, читал, рассматривал художественные монографии. Он все еще дерзал: ему мерещилась постановка «Гамлета»; он говорил: «Я, кажется, теперь смогу справиться. Прежде не решался. Если бы исчезли все пьесы мира, а «Гамлет» остался, то остался бы и театр...»

Мне хочется еще сказать, что Мейерхольда поддерживала в это трудное для него время Зинаида Николаевна. Передо мною копия письма Всеволода Эмильевича жене, написанного в октябре 1938 года из дачной местности Горенки: «...Приехал я в Горенки 13-го, глянул на березки и ахнул... Смотри, эти листья рассыпаны по воздуху. Рассыпанные, они застыли, как будто замерзли... Застывшие, они чего-то ждут. Как их подстерегли! Секунды их последней жизни я считал, как пульс умираю-

щего. Застану ли я их в живых, когда снова я буду в Горенках через день, через час. Когда я смотрел 13-го на сказочный мир золотой осени, на все эти чудеса, я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смотри на эти чудеса и не покидай меня, тебя любящего, тебя — жену, сестру, маму, друга, возлюбленную, золотую, как эта природа, творящая чудеса!.. Зина, не покидай меня! Нет на свете ничего страшнее одиночества!»

Мы расстались весной 1938 года — я уезжал в Испанию. Обнялись. Тяжелым было это расставание. Больше я его не видел.

В 1955 году прокурор рассказал мне о том, как был оклеветан Всеволод Эмильевич, он прочитал мне его заявление: «Мне шестьдесят шесть лет. Я хочу, чтобы дочь и мои друзья когда-нибудь узнали, что я до конца остался честным коммунистом». Читая эти слова, прокурор встал. Встал и я.

19

Вскоре я вернулся в потерянный рай: товарищ Адам, прочитав записку заместителя наркома Л. Карахана, составленную абстрактно и возвышенно, а именно: «Эренбург остается жить», предоставил нам комнату. Я получал паяк, а с февраля мне дали карточку на обеды в «Метрополе»; там отпускали пустой суп, пшенную кашу или мороженую картошку. При выходе нужно было сдать ложку и вилку — без этого не выпускали. Раз в месяц я менял хлеб на табак.

Кто-то сказал мне, что я родился в рубашке. Однако я не только родился в рубашке, я ходил в одной рубашке; а Москва зимой не Бразилия...

Давным-давно я описал в журнале «Прожектор», как в конце 1920 года я раздобыл себе одежду. Это не очень серьезная история, но она восстанавливает некоторые бытовые черты тех лет, да и показывает, что житейские трудности нас не обескураживали.

Я уже упоминал о моем парижском пальто, с годами превратившемся в дырявый капот. Я не сказал о самом главном — о костюме; пиджак еще как-то держался, но брюки расплзлись.

Тогда-то я понял, что означают штаны для тридцатилетнего мужчины, вынужденного жить в цивилизованном обществе, — обойтись без штанов действительно невозможно. На службе я все время сидел в пальто, боясь неосторожным движением распахнуть полы: ведь со мною работали поэтесса Ада Чумаченко и молодые фребелички.

Краснофлотец-драматург пригласил меня к себе; жил он в «Лоскутной». Я пережил у него немало мучений; он накормил меня замечательными оладьями, но эти оладьи приготавливала молодая женщина. В комнате было жарко, меня уговаривали снять пальто, а я упирался и никак не мог объяснить почему.

Однажды меня не пустили в Камерный театр; я показывал приглашение, мандаты, различные удостоверения; но контролер был неумолим: «Товарищ, в верхнем платье не разрешается...»

Хотя я заведовал всеми детскими театрами Республики и получал полтора пайка, я чувствовал себя неполноценным: у меня не было штанов.

Наступила суровая зима. Мое пальто грело не больше, чем кружевная шаль. Я простудился, чихал, кашлял. Наверно, у меня была температура, но мы тогда этим мало интересовались. Случайно я встретил одного из товарищей по дореволюционной подпольной организации; поглядев на меня, он рассердился: «Почему вы мне раньше не сказали?..» Он написал записку председателю Моссовета и шутя добавил: «Лорд-мэр Москвы вас оденет».

Попасть на прием к «лорд-мэру» было нелегко; в приемной толпились всевозможные просители. Наконец я проник в просторную комнату; за письменным столом сидел почтенный человек с аккуратной подстриженной бородкой, которого я знал по Парижу. Я понимал, что у него уйма дел, и стеснялся. Он был чрезвычайно любезен, говорил о литературе, спрашивал, какие у меня творческие планы. Ну как здесь было заговорить о штанах? Наконец, набравшись храбрости и воспользовавшись паузой, я в отчаянии выпалил: «Кстати, мне совершенно необходимы брюки...»

«Лорд-мэр» смутился; он внимательно меня оглядел: «Да вам не только костюм нужен, а и зимнее пальто...» Он дал мне записку к заведующему одним из отделов МПО; на записке было сказано лаконично: «Одеть г. Эренбурга».

На следующее утро, встав пораньше, я пошел в МПО (эти буквы не имеют ничего общего с противовоздушной обороной, обозначали они «Московское потребительское общество» — ведомство, которому было поручено снабжать население продовольствием и одеждой). С легкомыслием баловня судьбы я спросил: «Где здесь выдают ордера на одежду?» Кто-то мне показал длиннейший хвост на Мясницкой.

Было очень холодно; и, стоя в очереди, я малодушно забыл про брюки — мечтал о теплом зимнем пальто. Под вечер я приблизился к заветной двери. Но тут приключилось нечто непредвиденное. Ко мне подошла молодая женщина, повязанная теплым платком, и возмущенно завизжала: «Нахал какой! Я здесь с пяти утра стою, а он только пришел — и на мое место...» Она навалилась на меня, а весила она немало; я сопротивлялся, но безуспешно — она меня вытеснила из очереди. Я обратился к людям, стоявшим позади: «Товарищи, вы ведь видели, что я весь день стою...» Люди были голодные, усталые, безучастные; никто меня не поддерживал. Я понял, что справедливости не дожидаться, отошел на несколько шагов, разбежался и с ходу вытолкнул самозванку из очереди. Люди продолжали равнодушно молчать: они явно предпочитали нейтралитет. А женщина преспокойно ушла и начала искать уязвимое место в длиннущей очереди.

Наконец я вошел в кабинет заведующего, который, прочитав записку, сказал: «У нас, товарищ, мало одежды. Выбирайте — пальто или костюм». Выбрать было очень трудно; замерзший, я готов был попросить пальто, но вдруг вспомнил унижения предшествующих месяцев и крикнул: «Брюки! Костюм!..» Мне выдали соответствующий ордер.

Я пошел в указанный распределитель; там мужских костюмов не оказалось, мне предложили взамен дамский или же плащ. Я, разумеется, отказался, и меня направили в другой распределитель, где мне показали костюм, сшитый, видимо, на карлика и поэтому уцелевший с царских времен. Наконец, в распределителе на углу Петровки и Кузнецкого я нашел костюм по росту, надел брюки и почувствовал себя человеком. В детской секции я сразу составил десять проектов.

Стояли, однако, сильные морозы, и я продолжал отчаянно кашлять. Сознание, что на мне брюки, придавало мне бодрости, и я начал размышлять о зимнем пальто.

Будучи страстным курильщиком, я раз в месяц на Сухаревке менял хлеб на табак. На Сухаревке торговали всем — китайскими вазами, кусочками сахара, рассыпными папиросами, камнями для зажигалок, бухарскими коврами, дореволюционным, заплесневевшим шоколадом, романами Бурже в сафьяновых переплетках. На Сухаревке можно было купить и рваный полушубок, но стоил он не менее пятидесяти тысяч. А денег у меня не было. В карманах новенького пиджака я держал мандаты, проекты, стихи, старую, насквозь прожженную трубку, табачную

труху и порой кусочек сахара, который уносил из гостеприимного дома заведующего ИЗО Д. П. Штеренберга.

Недавно мне попался в руки каталог рукописных книг, которыми торговала «Книжная лавка писателей»: среди авторов — Андрей Белый, В. Лидин, М. Герасимов, Шершеневич, Марии Цветаева, И. Новиков, много других. Проставлена и моя книжка: «Испанские песни», цена 3 000 рублей. Книжка, переписанная Шершеневичем, снабжена примечанием: «По себестоимости 4 куска сахара — 2 000 рублей, кружка молока — 1 800, 50 папирос — 6 000». Деньги были настолько обесценены, что о них мало кто думал; мы жили пайками и надеждой.

Все же я решил набрать деньги на пальто и подрядился прочитать стихи в кафе «Домино». Там было нестерпимо холодно; посетителям давали чай с сахарным или смертельно бледную, голубоватую престо-квашу. Не понимаю, почему туда приходили люди. В морозном полумраке раздавался зловещий вой Шершеневича, Поплавской или Диры Туманного. Ходили в «Домино» спекулянты, агенты уголовного розыска, любознательные провинциалы и чудаки-меланхолики.

Я снял с себя шинель Акакия Акакиевича, чихнул и начал выть — тогда все поэты выли, даже когда читали нечто веселое. Один спекулянт сочувственно высморкался, двое других не выдержали и ушли. Я получил три тысячи.

Мне повезло: несколько дней спустя я набрел на весьма подозрительного гражданина, который предложил мне достать полушубок за семь тысяч рублей. Это было почти даром. Я продал хлебный паек за две недели и притащил полушубок в «Княжий двор».

Полушубок был чересчур тесен и сально вонял, но мне он казался горностаевой мантией с картины Веласкеса. Я его надел и хотел было отправиться в Дом печати, но тут пришла из Вхутемаса Люба и потребовала, чтобы я снял с себя обновку: на груди полушубка красовалась болящая печать. Гражданин недаром мне показался подозрительным: он продал краденый полушубок.

Мною овладела резнищия: лучше чихать, кашлять, чем попасть в поганую историю. Но Люба недаром была конструктивисткой, училась у Родченко и говорила весь день о фактуре, о вечности, о производственной эстетике — она нашла выход.

В Москве существовали тогда «магазины ненормированных продуктов»; там продавали мороженые яблоки, химический чай «Шамо», сахарин, швабры, сита. Я продал два фунта паечного пшена и в «магазине ненормированных продуктов» купил краску для кожи. Люба привычной рукой взялась за кисти. Полушубок с каждой минутой хорошел: он превращался в черную куртку шофера. Но, к сожалению, кожа жадно впитывала краску; один рукав так и остался незакрашенным, а больше не было ни краски, ни рублей, ни пшена.

Конечно, я мог бы ходить в черном полушубке с желтым рукавом; пикто на меня не обернулся бы. Все были одеты чрезвычайно своеобразно. Модницы щеголяли в вылинявших солдатских шинелях и зеленых шляпках, сделанных из ломберного сукна. На платья шли бордовые гардины, оживляемые супрематическими квадратами или треугольниками, вырезанными из покрышек рваных кресел. Художник И. М. Рабинович прогуливался в полушубке изумрудного цвета. Осеннее время от времени напяливал на голову блестящий цилиндр. Но я боялся, что желтый рукав отнесут к эксцентричности, примут не за беду, а за эстетическую программу.

Под Новый год в ТЕО всем сотрудникам выдали по банке гуталина. Это было воспринято как несчастье, тем паче, что накануне в МУЗО вы-

давали кур. Но Люба нашла применение сапожной мази: она покрыла ею желтый рукав.

Новый год мы встречали у художника Рабиновича. Говорили, что будет ужин, даже водка; но никто ничего не раздобыл. Мы ели кашу и чокались кружками с чаем, а веселились, как будто пили шампанское.

Проклятый гуталин, однако, не высыхал; стоило пойти снегу, как рукав становился марким. Я испачкал несколько чужих пальто; меня начали побаиваться, и я предупреждал: «Пожалуйста, идите слева — справа я пачкаю...»

Все же я мог теперь, не замерзая, бродить ночью по улицам Москвы. Все тогда ходило по мостовой — не было ни машин, ни лошадей, а тротуары напоминали каток. Днем многие тащили салазки — дрова, керосин, пшено. Люди «прикреплялись» или «откреплялись» — это относилось к продовольственным карточкам. (Помню стихи: «Что сегодня, гражданин, на обед? Прикреплялись, гражданин, или нет?»)

А по ночам бродили мечтатели. Никогда не забуду я тех прогулок! Мы медленно продвигались между сугробами; порой шли цепью — один за другим. Так идут в пустыне караваны. Мы говорили о поэзии, о революции, о новом веке; мы были караванами, которые пробирались в будущее. Может быть, поэтому с такой легкостью мы переносили и голод, и холод, и многое другое. Караваны шли по всем русским городам, и двадцатипятилетний Н. С. Тихонов, которого я тогда не знал, наверно читал кому-нибудь свои стихи: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей».

Мы шли гуськом, над нами сверкали звезды — улицы были темными, никто не мешал звездам сверкать. В день моего рождения Ядвига печально сказала, что не смогла раздобыть подарка — ни цветов, ни леденца; шутя она добавила, глядя на звездное небо: «Я тебе дарю Кассиопею...» Мы не подозревали, что доживем до того времени, когда в Организации Объединенных Наций будут рассуждать, как оградить небесные светила от захвата, и когда все девушки смогут подносить своим друзьям пристойные галстуки из химической массы...

20

Почти каждый вечер приходил к нам Б. Л. Пастернак. Познакомился с ним я летом 1917 года, вскоре после моего возвращения в Москву. Помню, он повел меня к себе (жил он тогда возле Пречистенского бульвара). В моей записной книжке есть короткая пометка: «Пастернак. Стихи. Странность. Лестница».

Беру другую записную книжку. 5 июля 1941 года. После слов «немцы говорят, что перешли Березину» и до «5 ч. Лозовский» записано: «Пастернак. Безумие».

1917—1941... В течение двадцати четырех лет я встречался с Пастернаком, порой редко, порой чуть ли не каждый день. Казалось, это достаточный срок для того, чтобы узнать даже очень сложного человека; но зачастую Борис Леонидович мне казался таким же загадочным, как при первой встрече; этим объясняется и запись 1941 года. Я его любил, любил и люблю его поэзию; из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязычным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым невыносимым. Я попытаюсь описать его таким, каким видел и понимал. Это будет главным образом Пастернак 1917—1924 годов, когда мы подолгу беседовали, переписывались. Мы встречались довольно часто и в 1926, 1932, 1934 годах — в Москве, в 1935 году в Париже, потом снова в Москве — накануне войны, в ее первые недели. Мы не поссорились, а как-то молча разошлись; случайно

встречаясь, жали друг другу руки, говорили, что нужно обязательно повидаться, и расставались до новой случайной встречи. Конечно, я не надеюсь показать всего Пастернака, даже молодого, — многого в нем я не понимал, многого и не знал; но то, что я напишу, будет не иконой и не шаржем, а попыткой портрета.

Начну с самого начала. Когда мы познакомились, Борису Леонидовичу было двадцать семь лет, и было это летом того года, когда, по словам Пастернака, «все жили в сушь и впроголодь, в борьбе ожесточась, и никого не трогало, что чудо жизни с час». Я был растерян и мрачен, Пастернак радостен, приподнят. Тот год был для него особенно памятным: «Он незабвенен тем еще, что пылью припухал, что ветер лускал семечки, сорил по лепухам, что незнакомой мальвою вел, как слепца, меня, чтоб я тебя вымаливал у каждого плетня». В тот год Пастернак узнал большое чувство, рождалась книга «Сестра моя жизнь». Вот как я описал нашу первую встречу: «Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел, полный звуков, с головной болью. Дверь внизу была заперта — я засиделся до двух. Я поискал швейцара, его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра, и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь открылась. Я увидел Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он ничуть не удивился, увидав меня; я тоже не удивился».

Борис Леонидович часто говорил междометиями. Есть у него стихотворение «Урал впервые»; оно похоже на восторженное мычание. Стиха его ранней поэзии — это жизнь впервые. Он отнюдь тогда не слыл отшельником, охотно встречался с людьми, был радостным, и стихи тех лет радостные. Мне он казался счастливым не только потому, что ему был отпущен большой поэтический дар, но и потому, что он умел создать высокую поэзию из будничных деталей. Нас всех в то время подташнивало от чересчур громких слов, которыми злоупотребляли символисты: «вечность», «бесконечность», «безбрежность», «тленный», «бренный», «границы», «жребий», «рок». Пастернак писал: «Великий бог любви, великий бог деталей». Женщину, которую он любил, он определил так: «Грех думать, ты не из весталок: вошла со стулом, как с полки, жизнь мою достала и пыль обдула».

Он недаром назвал свою книгу «Сестра моя жизнь»: в отличие не только от старших поэтов-символистов, но и от большинства своих сверстников, он жил с жизнью в ладу. Реализм его стихов не связан с литературной программой (Пастернак много раз говорил, что ему непонятны различные направления и школы), а продиктован природой поэта. В 1922 году Пастернак писал: «Живой действительный мир это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится сжигновенно успешный. Он все еще действителен, глубоко, неотрывно увлечателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью».

Один юноша недавно сказал мне, что, наверно, Пастернак был мрачным, нелюдимым, да и глубоко несчастным. А я в 1921 году писал о Пастернаке: «Он жив, здоров и современен. В нем ничего нет от осени, от заката и прочих милых, но неутешительных вещей». Год спустя В. Б. Шкловский, встречавшийся с Пастернаком в Берлине, написал: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

В 1923 году Маяковский и О. Брик формулировали (на жаргоне эпохи) искания художников: «Маяковский. Опыт полифонического ритма в поэме широкого социально-бытового охвата». «Пастернак. Применение динамического синтаксиса к революционному заданию».

Все это может удивить тех зарубежных читателей, которые узнали о существовании Пастернака только в 1958 году. Им представляется злосчастный человек, вступивший в поединок с государством. На самом деле Пастернак был счастливым, и жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя.

В конце 1918 года он восхищался Кремлем, то есть Советским государством: «Несется, грозный, напролом, сквозь неистекший в девятнадцатый... За морем этих непогод предвижу, как меня, разбитого, ненаступивший этот год возьмется сызнова воспитывать». (Пастернак тогда не понимал, что никто на свете не возьмется всерьез его «сызнова воспитывать».) Позднее, в 1930 году, после самоубийства Маяковского, он писал: «...Наше государство, наше ломающееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство»; он говорил о кровной связи между этим государством и Маяковским. Он писал восторженные строки все о том же «ломающемся в века» государстве и в 1944 году. Он восхищался со стороны: у каждого, даже самого большого поэта есть не только потолок, но и стены; общество было вне стен того мира, в котором жил Пастернак.

Шкловский в одном ошибался, когда он писал: «Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки «Дома Печати», тягу истории». Пастернак чувствовал природу, любовь, Гёте, Шекспира, музыку, старую немецкую философию, живописность Венеции, чувствовал хорошо себя, порой некоторых близких ему людей, но никак не историю; он слышал звуки, неуловимые для других, слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступил века так и не расслышал.

Слово «эгоцентризм» столь часто применяли, что оно стерлось, да и есть в нем уничтожительный характер, а другого я не нахожу. Борис Леонидович жил не для себя — эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собой. Я вспоминаю наши давние встречи — два поезда неслись, каждый по своему пути. Я знал, что Пастернак меня слушает, но не слышит: не может оторваться от своих мыслей, своих чувств, своих ассоциаций. Беседы с ним, даже задушевные, напоминали два монолога.

Мне вспомнился забавный эпизод. Пастернак летом 1935 года был в Париже на Конгрессе в защиту культуры. Группа советских писателей приехала раньше, потом дополнительно приехали Пастернак и Бабель. Пастернак сердился, говорил, что не хотел ехать, что он не умеет выступать. В короткой речи он сказал, что поэзию незначит искать в небе, нужно уметь нагнуться, поэзия — в траве. Может быть, эти слова, а скорее всего облик Пастернака поразили аудиторию; ему устроили овацию. Несколько дней спустя он сказал мне, что хотел бы встретиться с некоторыми французскими писателями; мы решили, что пригласим их обедать. Моя жена позвонила Борису Леонидовичу: приходите в такой-то ресторан в час дня. Он возмущался: «Почему так рано? Лучше в три». Жена объяснила, что в Париже обедают между двенадцатью и двумя, а ужинают между семью и девятью, в три часа все рестораны закрыты. Тогда Борис Леонидович заявил: «Нет, в час мне еще не хочется есть...»

Сосредоточенность в себе (возраставшая с годами) не помешала, да и не могла помешать Пастернаку стать большим поэтом. Мы часто скорее по привычке говорим, что писатель должен быть наблюдательным.

В дневниках А. Н. Афиногенова, недавно опубликованных, есть интересная запись: «Если б искусство писателя состояло в умении наблюдать людей — самыми лучшими писателями были бы доктор и следователь, учителя и проводники вагонов, секретари парткомов и полководцы. Однако — этого нет. Потому что искусство писателя заключается в умении наблюдать себя!» Афиногенов правильно отводит старое понятие «наблюдательности»; в создании героев романа или трагедии огромную роль играет пережитое автором, им осознанное — ведь внутренний мир других людей понятен писателю, только поскольку ему знакомы и, следовательно, понятны те или иные страсти.

Искусство, однако, многообразно. В лирическом стихотворении автор раскрывает себя; как бы ни был он своеобразен, его чувства — восхищение весенним днем или ощущение неизбежности смерти, радость любви или разуверение — понятны тысячам или миллионам других людей. Для того чтобы написать «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней...», Тютчеву не нужно было наблюдать стареющих людей, захваченных страстью, ему нужно было на пороге старости встретить молодую Е. А. Денисьеву. Молодому А. П. Чехову, для того чтобы в «Скучной истории» показать дружбу между старым профессором и молодой его воспитанницей, нужно было очень хорошо знать людей, их чувства, привычки, характеры, манеру говорить, даже манеру одеваться. Борис Пастернак, один из лучших лирических поэтов нашего времени, был, как и всякий художник, ограничен своей природой; когда он попытался изобразить в романе десятки других людей, эпоху, передать воздух гражданской войны, воспроизвести беседы в поезде, он потерпел неудачу — он видел и слышал только себя.

Его привлекали, особенно в конце жизни, загадки чужих судеб. В одной из написанных им автобиографий он попытался понять, что пережили в последние минуты Маяковский, Марина Цветаева, Фадеев. Когда я читал эти догадки, мне было как-то неловко: у Бориса Леонидовича было очень богатое сердце, но ключей к чужим сердцам у него не было.

Я не берусь строить домыслы о том, что он сам пережил в последние годы своей жизни; я его не встречал; да, может, и встречая, не знал бы — чужая душа потемки. Не знаю, почему в той же автобиографии он отрекся от своей давней дружбы с Маяковским. А мне хочется рассказать об этой дружбе: я был ее свидетелем.

Шутя, мы говорили, что у Маяковского второй, запасной голос для женщин. И вот этим вторым голосом, необычно мягким, ласковым, при мне он разговаривал только с одним мужчиной — с Пастернаком. Помню, в марте 1921 года в Доме печати был литературный вечер Бориса Леонидовича, читал он сам, а потом его стихи читала молоденькая актриса В. В. Алексеева-Месхиева. При обсуждении кто-то осмелился, как у нас говорят, «отметить недостатки». Тогда встал во весь рост Маяковский и в полный голос начал прославлять поэзию Пастернака; он защищал его с неистовством любви.

В «Охранной грамоте» (1930 год) Пастернак говорит о своем отношении к Маяковскому накануне войны, в годы войны, в первые годы революции: «я был без ума от Маяковского», «я его боготворил», «вершиной поэтической участи был Маяковский», «я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем» (после одной из размолвок), «я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи».

Размолвки были частыми и бурными. Борис Леонидович иногда мне рассказывал о них. У меня сохранился сборник «Современник» (1922 год) с такой надписью Пастернака: «Другу и соратнику с благодарностью и радостью за «Хуренито», восхищение которым объединило

редко на чем сходившихся и чаще разбредавшихся Маяковского, Асеева и других друзей и соратников».

После одной из размовок Маяковский и Пастернак встретились в Берлине; примирение было столь же бурным и страстным, как разрыв. Я провел с ними весь день: мы пошли в кафе, потом пообедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович читал свои стихи; вечером Маяковский выступал в Доме искусств, читал он «Флейту-позвоночник», повернувшись к Пастернаку.

Впоследствии их пути разошлись. Однако и в 1926 году Маяковский, приводя четверостишие Пастернака «В тот день тебя от гребенок до ног», назвал его «геншальным». Рассказывая о смерти Маяковского, Пастернак писал: «Я разревелся, как мне давно хотелось».

Почему, оглядываясь на свое прошлое, Пастернак попытался многое перечеркнуть? Может быть, в этом сказалось недовольство собой? Не знаю. Для меня его последние стихи тесно связаны с «Сестрой моей жизнью», а он, видимо, ощущал разрыв. Рассказывали, что он отмахивался, когда с ним заговаривали о его прежних книгах, уверял, что все написанное прежде было только школой, подготовкой к тому единственно стоящему, что он недавно написал, — к роману «Доктор Живаго». (В этом, как и во многом другом, Пастернак повторил заблуждения ряда художников. Я думаю сейчас о Гоголе, который считал, что «Ревизор» и первая часть «Мертвых душ» — пустяки и что он вышел на правильный путь, написав «Выбранные места из переписки с друзьями».)

Прочитав рукопись «Доктора Живаго», я огорчился. Когда-то Пастернак писал: «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». В романе меня поразила художественная неправда. Я убежден, что Борис Леонидович писал его искренне; в нем есть поразительные страницы — о природе, о любви; но слишком много страниц посвящено тому, чего автор не видел, не слышал. К книге приложены чудесные стихи, они как бы подчеркивают душевную неточность прозы.

Никогда прежде мне не удавалось убедить зарубежных ценителей поэзии в том, что Пастернак большой поэт. (Это, конечно, не относится к некоторым крупным поэтам, знавшим русский язык: Рильке еще в 1926 году восторженно говорил о стихах Пастернака.) Слава пришла к нему с другого хода. Когда-то он писал: «Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста, в посаде, куда ни один двуногий... Я тоже какой-то... я сбился с дороги. — Не тот этот город и полночь не та!»

Я был в Стокгольме, когда разразилась буря вокруг Нобелевской премии. Я выходил на улицу и видел афиши газет, на них стояло одно имя; пытался что-то понять, открывал радио — и только одно понимал: «Пастернак»... Все это было откровенной политикой, антисоветской политикой — одним из эпизодов «холодной войны». Не тот город, не та полночь. Да и не та слава, которую заслужил Пастернак...

Я убежден, что в помыслах Пастернака не было нанести ущерб нашей стране. Виноват он только в том, что был Пастернаком, то есть, изумительно понимая одно, не мог понять другого. Он не подозревал, что из его книги создадут дурную политическую сенсацию и что на удар неизбежно последует ответный.

Вернусь к стихам. Когда-то составители поэтических сборников любители прибегать к делению по сюжету. Если подойти к Пастернаку с такой меркой, то большинство его стихотворений окажется посвященным природе и любви; но мне думается, что основной, постоянной его темой было искусство, то есть та тема, которая породила «Портрет» Гоголя, «Неведомый шедевр» Бальзака, «Чайку» Чехова. «О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, пахлынут

горлом и убьют». И кончил он эти стихи о стихах признанием: «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Он не застрелился, не умер молодым, но цену, которой оплачивается искусство, узнал сполна — силу строк, которые медленно, настойчиво убивают.

Поль Элюар как-то сказал: «Поэт должен быть ребенком, даже если у него седые волосы и склероз сосудов». Было в Пастернаке нечто детское. Его определения, казавшиеся наивными, ребячливыми, — определения поэта. Он сказал об одном авторе: «Ну как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек...» Увидав впервые Париж, он воскликнул: «Да это и не похоже на город, это скорее пейзаж...» Он говорил: «Описать весеннее утро легко, да это никому и не нужно, а вот быть простым, ясным и внезапным, как весеннее утро, — это чертовски трудно...»

В то время, о котором я теперь рассказываю, когда я ходил растерянный, неприкаянный, Борис Леонидович был для меня и порукой живучести искусства и мостком к живой жизни. Молодой, веселый, красивый, похожий на вдохновенного араба — таким он мне навсегда запомнился, хотя я его и видел постаревшим, седым.

Так уж полвека — вдруг начинаю про себя бормотать стихи Пастернака. Из мира их не выгонишь: они живут.

21

Я продолжал работать в детской секции ТЕО. Конечно, к нашим трудам можно подойти недоверчиво: мы главным образом составляли проекты детских театров да еще добывали пайки для актеров. Время было трудное; напому для его характеристики слова В. И. Ленина, написанные им в феврале 1921 года по поводу работы Наркомпроса: «Мы нищие. Бумаги нет. Рабочие холодают и голодают, раздеты, разуты. Машины изношены. Здания разваливаются». Мы старались поддержать различные начинания. Существовал Детский театр, которым руководила актриса Генриетта Паскар. Скульптор Ефимов и его жена давно занимались кукольным театром. Появилась молоденькая Наташа Сац, потом много сделавшая для художественного воспитания детей. В различных рабочих клубах устраивались спектакли для детворы. Наконец, знаменитый клоун и дрессировщик животных В. Л. Дуров задумал показывать детям четвероногих артистов.

Тогда все больше проектировали, чем осуществляли: фантазии было много, средств мало. Все же мне кажется, что наша на первый взгляд совершенно бессмысленная работа дала некоторые результаты: мы помогли будущим драматургам, режиссерам, актерам создать пять или десять лет спустя интереснейшие театры для детей.

Внешне было много забавного. Мы работали рядом с секцией цирка. ею руководила актриса Рукавишникова, жена поэта. Иногда она уезжала домой в санях. Около Манежа лошадь неожиданно становилась на задние ноги, как будто она пудель, или начинала вальсировать, пугая прохожих: это была цирковая лошадь, которую заставляли выполнять обязанности битюга, и она, видимо, не могла преодолеть страсти к искусству. Наша детская секция, впрочем, не уступала циркачам: к особняку порой подбегал тощий, аскетический верблюд, запряженный в сани, — его посылал за мной В. Л. Дуров.

К Рукавишниковой приходили живописные посетители. Жонглеры, подымавшие пудовые гири, требовали академических пайков. Иностранцы акробаты протестовали против уплотнения. Один клоун истошно вопил: «При чем тут марксистское объяснение событий? Я не могу допустить, чтобы мои шутки брали всерьез! Не для этого мы делали револю-

цию!..» Ко мне приходили куда более скучные посетители — неудачливые драматурги. В одной из газет была напечатана статья о том, что нет пьес для детей; и вот в Москву начали приезжать люди различных профессий из Тамбова, из Челябинска, из Твери; они загромождали маленькую комнату кипами рукописей. Пьесы были написаны зелеными чернилами на обороте нотариальных актов, на листочках, вырванных из тетрадей, даже на оберточной бумаге. Один автор изображал героические похождения малолетнего Лассалья, другой доказывал, что русалки — продукт буржуазного сознания, третий изобличал козни Антанты (я почему-то запомнил стихи: «Зарубите на носу, как мы дали Клемансу»). Некоторые начинали здесь же читать вслух свои произведения. Один просидел в секции несколько дней: требовал охранной грамоты на комнату и академического пайка.

Был я в клубе возле Таганской площади; там сборная труппа поставила для детей пьесу никому не известного драматурга под названием «Судьба Паши». Актеры на сцене натурально кричали, пили чай и все время говорили о пользе учения. Девочку Пашу играла пожилая актриса, она повторяла с психологическими паузами: «Так вот, значит, поняла я темп жизни и захопнула книжку...»

Театр Паскар инсценировал «Джунгли» Киплинга. Пантера на сцене сладострастно потягивалась и кривлялась, как будто она не зверь, а Саломея из пьесы Уайльда. Мне это показалось декадентством, и я рассердился. (Теперь спутались многие понятия. Большая Советская Энциклопедия причисляет к декадентам Сезанна, Гогена, Рембо, Гамсуна, Дебюсси, Равеля — словом, почти всех крупных писателей и художников конца XIX и начала XX века. А ведь декадентство действительно существовало — достаточно вспомнить ту же «Саломею», романы Пшибышевского или картины Штука.) Выслушав мою критику, Г. Паскар спокойно ответила, что я могу ставить другие пьесы, где мне заблагорассудится, и вообще заняться чем-либо иным. Подумав, я решил, что она права, и начал посвящать свободное от проектов время работе с В. Л. Дуровым — его звери не были ни натуралистами, ни декадентами.

Была у меня и другая служба. На Пречистенке, в доме, который меня волновал, когда я был гимназистом (там был Институт для благородных девиц), помещалась военно-химическая академия, и курсанты предложили мне обучать их стихосложению. Им хотелось писать ямбом, хореем и даже свободным стихом. Они прилежно считали слоги и подыскивали рифмы. Вряд ли из них вышли поэты, но я убежден, что на всю жизнь они запомнили свое тяготение к поэзии, как помнят люди свою первую любовь.

Для прозы тогда не было ни времени, ни бумаги; кроме того, проза требует душевного опыта, наблюдений, критического подхода, умения осмыслить происходящее; проза начала появляться несколько лет спустя. Зато было раздолье для стихов. Теперь у нас устраивают День поэзии; поэты выступают в книжных лавках и соблазняют любителей автографами. А тогда стихи декламировали повсюду — на бульварах, на вокзалах, в морозных цехах заводов, и это был не День поэзии, а целая ее эпоха.

Помню, как в Союз поэтов поступило заявление: отряд Красной Армии, который направлялся на юг для ликвидации врангелевцев, просил прислать в казармы Маяковского, Есенина или какого-либо другого поэта, чтобы бойцы услышали на прощание стихи.

Был «Суд над современной поэзией», потом «Суд над имажинизмом», различные поэтические диспуты. Было множество литературных школ: комфуты, имажинисты, пролеткультиовцы, экспрессионисты, фуйс-

ты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничевоки. Конечно, немало глупостей несли иные теоретики, выступавшие в кафе «Домино» или в Доме печати; за нагромождением непривычных слов порой ничего не скрывалось, кроме жажды славы или озорства. Но мне хочется защитить то далекое время. Раскрывая теперь книги поэтов, известных далеко за пределами нашей страны, мы видим, сколько прекрасных стихотворений было написано в годы военного коммунизма. Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда в них не было такого творческого горения.

В домах было холодно, темно, неприглядно, и вечером люди осаждали театры. На сцене кружились персонажи Гюфмана, Гоцци, Кальдерона, Шекспира. Художники Веснин, Якулов, Экстер ослепляли зрителей великолепием костюмов и декораций.

Романтизм был литературным направлением в первой половине XIX века; что касается романтики, то она всегда присутствует в искусстве: художник видит то, чего уже или еще не было в действительности. Мейерхольд поставил в Театре революции «Озеро Ляуль», Таиров — «Человека, который стал четвергом», и на сцене взвивались к небу лифты, а в Москве тогда лифты бездействовали. Ученики Вхутемаса работали над новой конструктивной формой телефонных аппаратов; большинство номеров в городской сети было выключено. Помню, на одной из репетиций «Мистерии-Буфф» в Театре РСФСР I Маяковский, улыбаясь, сказал мне: «Вы подождите — в последней картине мир будущего: небоскребы, электротракторы и большущие сахарные головы...»

Люба училась у А. М. Родченко. Он рисовал кубистические проекты киосков для газет. Сорок лет спустя в различных странах я увидел киоски, выставочные павильоны, даже жилые дома, напоминаящие, разумеется в смягченном, приглаженном виде, старые проскты Родченко. Лисицкий работал над макетами книги будущего. Сильнее всего меня потряс Татлин. В Доме профсоюзов был выставлен его проект памятника Третьему Интернационалу. Два цилиндра и пирамида вращались; залы из стекла были опоясаны стальной спиралью. Конструктивисты любили говорить о логике, об утилитарном назначении искусства. По проекту Татлина, зал, в котором должен был заседать Совнарком, вращался. Это было с точки зрения утилитарной бессмысленно, и все же это было доподлинной романтикой эпохи. Я долго стоял перед большой моделью и вышел на улицу потрясенный: мне казалось, что я заглянул в шелку и увидел XXI век. Теперь я думаю иначе: меня поразила своеобразная красота проекта, искусство — все вопросы о градостроительстве грядущего или о преимуществе индустриализированной архитектуры.

Пути искусства очень сложны. Сервантес, желая высмеять рыцарские романы, создал рыцаря, который один пережил свою эпоху и на жалком Росинанте проскакал в наши дни. Балзак думал, что он возмечивает аристократию, а он ее хоронил.

Конечно, я, как и все друзья, с которыми встречался, жадно вглядывался в будущее. Никаких газетных киосков не было — ни кубистических, ни обыкновенных; и газеты мы читали не за утренним завтраком, а на улице — их расклеивали на стенах. Врангелевцев разбили; гражданская война была выиграна. На субботниках люди с большим героизмом пытались победить голод, разруху, нищету. В мире происходили различные, порой противоречивые события. Реакция торжествовала; но то вспыхивало восстание в Саксонии, то начиналась забастовка английских горняков; Индия требовала независимости. Мировая революция казалась нам не смутным идеалом, а делом завтрашнего дня. Порой, однако, мною овладевали сомнения: я не мог понять, почему во

Франции, которую я хорошо знал, после страшных лет войны, после первых солдатских бунтов ничего, ровню ничего, не происходит...

О человеке порой говорят: «Ему не сидится на месте»; это относится к пространству. А я сейчас говорю о времени: нам не терпелось перешагнуть в следующее столетие. Все понятия были опрокинуты: одна из самых отсталых стран Европы очутилась впереди других. Она жила теми идеями, теми литературными и художественными концепциями, которые несколько десятилетий спустя потрясли Запад. А жизнь (я говорю о быте) была доисторической, буднями пещерного века.

Все хотели все знать. Есть много книг, описывающих штурм укреплений, фортов, крепостей. А то было время, когда народ штурмовал знание. Старые женщины сидели над букварями. Школьные учебники стали редкостью, как первопечатные книги. Вузы были переполнены молодыми энтузиастами. Нельзя было пройти на доклад или на лекцию: в аудитории Политехнического музея прорывались, как в вагон полуразвалившегося трамвая. Лекторов закидывали записками, и о чем только люди не спрашивали — о забастовках в Вестфалии, о рефлексках Павлова, о супрематизме, о борьбе за нефть, о евангелие, о рифмах Маяковского, о теории относительности, о заводах Форда, о преодолении смерти и о множестве других предметов.

Товарищ Адам раздобыл уголь, и «Княжий двор» начали отапливать. По вечерам к нам часто приходили друзья. Мы спорили о мировых событиях, о поединке между футуристами и имажинистами, о живописи Розановой и Альтмана, о постановках Мейерхольда: нам хотелось перевернуть страницу истории.

Я часто сбивался, противоречил самому себе. Меня восхищали города будущего, похожие на проекты Татлина, но, будучи Павлом Савловичем, я писал: «Провижу грозный город — улей, стекло и сталь безликих сот, и карнавал среди гулких улиц, похожий на военный смотр. На пустыри ложатся тени спиралей будущих времен, ярмо обдуманых равнений и рая нового бетон».

Среди сугробов московских переулков, в полушубке, частично покрашенном ваксой, я ни на минуту не сомневался, что различные проекты станут действительностью и что вместо покосившихся деревянных домишек, памятных мне с детства, вырастет новый, необычайный город. Будь я на десять лет моложе, я бы восторженно улыбался; но, родившийся в 1891 году, рядовой представитель русской дореволюционной интеллигенции, с детства запомнивший слова Короленко о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, я часто и мучительно гадал, какой будет жизнь человека в этом городе будущего.

Во мне боролась пафос с иронией, вера с логикой. В Третьем общежитии Наркоминдела я как-то встретил бельгийского гостя. Он говорил о плачевном состоянии нашего транспорта и о преимуществах конституционных гарантий. Я резко возражал: буржуазный мир обречен, голубные крестины куда привлекательнее самых пышных похорон. Он назвал меня «фанатиком». А если говорить откровенно, я никак не походил на шестнадцатилетнего мальчонку, высмеивавшего Надю Львову за ее любовь к стихам Блока. Многое меня смущало, даже возмущало — упрямость, нетерпимость, пренебрежение к культуре прошлого, слова, которые мне приходилось часто слышать: «А чего тут туман паводить — все ясно...» Но теперь я знал, что история делается не по шучьему велению, не по своему хотению, да и не по прекрасным романам XIX столетия. Я знал, что моя судьба тесно связана с судьбой новой России.

В эту зиму мне исполнилось тридцать лет. Цифра меня смущала, я в тоске подумал, что ничего еще не сделал: все было только пробами пера, примерками, черновыми репетициями. Удивительно: ритм жизни уско-

рился, появились авиация и кино, исторические события обгоняли одно другое, а мои сверстники формировались куда медленнее, чем люди того, неторопливого XIX века. Бабель начал по-настоящему писать в тридцать лет, Сейфуллина — в тридцать два, Паустовский — в тридцать четыре. А ведь Гоголь написал «Ревизора», когда ему было двадцать семь лет. Одно из самых изумительных произведений русской литературы — «Герой нашего времени» — написано двадцатилетним юношей. Не знаю, может быть, поспешность событий, их лихорадочность не давали нам возможности призадуматься, осознать происходящее, понять себя и других.

Жалеть о тех годах не приходится. Даже если мы были хворостом, который подкидывали в костер, это не обидно: костер разгорелся, он оказался куда длиннее человеческой жизни.

Мне хотелось многое описать: довоенный Париж, окопы Соммы, революцию, гражданскую войну, макеты, проекты, сугробы, а главное — забежать вперед. Я понимал, что не сумею это сделать в стихах. Замысел романа обрастал плотью. Как-то, вспомнив рассказы Диего Риверы, я решил, что герой моего сатирического романа будет мексиканцем.

Отрываясь от проектов кукольного театра, я неожиданно для себя начинал думать о главах «Хулио Хуренито».

22

Хотя В. Л. Дуров не одобрял футуристов, он сам был эксцентриком, и спектакль, которым он открыл свой театр для детей, назывался эксцентрично: «Зайцы всех стран, соединяйтесь!» Я хорошо помню его содержание. Вначале заяц приподымал деревянный переплет большой книги, на котором значилось «Капитал»; он перелистывал страницы, потом подзывал к себе других зайцев; их было не менее двадцати. В следующей картине на сцене был макет дворца; его охраняли кролики с ружьями. Из-за кулис выбегали зайцы, выталкивая игрушечную пушку; зайцы стреляли из пушки в кроликов и, одержав победу, подымали над дворцом красный флаг.

Занавес подымал и опускал медвежонок в синей блузе.

Восторг детей был неопишем; бледненькие и худые, они хохотали до упаду. А после того как падал занавес, зайцы и кролики выбегали на авансцену, и происходило то общение зрителей с актерами, о котором мечтал постановщик «Зорь». (При входе дети получали кусочки моркови, ими они покоряли актеров.)

Спектакль продолжался полчаса, но потребовал длительной работы. Владимир Леонидович Дуров объяснил мне с самого начала, что хочет опровергнуть неправильные представления о животных. Принято, например, считать, что заяц трус и что заяц косой; значит, нужно показать, как ловко заяц стреляет из пушки.

Владимиру Леонидовичу тогда исполнилось пятьдесят семь лет; он был самым знаменитым клоуном России; мальчиком я его видел в цирке и запомнил смешного человека в ярком одеянии со множеством фантастических медалей. Да и задолго до того, как я родился, братья Дуровы были любимцами России. А. П. Чехов смеялся, глядя на фокусы дворняжки В. Л. Дурова «Запятайки». Может быть, я видел в детстве и не Владимира Леонидовича, а его брата Анатолия, который одно время был более популярным? Братья сначала выступали вместе, потом рассорились. Владимир Леонидович стал писать на афишах «Дуров-старший»; Анатолий Леонидович называл себя «Дуров-настоящий». (Он умер перед революцией и завещал, чтобы на его могиле поставили те же слова: «Дуров-настоящий».)

Так или иначе, когда я познакомился с Владимиром Леонидовичем, он был «Дуровым-единственным». Сотрудники цирковой секции ТЕО зывали его к себе, а он был увлечен зверями. Помню, как он впервые пришел ко мне: нужно помочь устроить в его особняке на Божедомке театр для детей. Он говорил о работах Павлова, об условных и безусловных рефлексах; казалось, что это не прославленный клоун, а почтенный профессор.

Я был приглашен на одну из первых репетиций. Владимир Леонидович старался вылечить зайцев от страха; это было нелегко. Хотя животные, по словам Дурова, повинуются различным рефлексам, а человек, если Декарт не ошибался, мыслит, следовательно, существует, между поведением людей и зверей много общего; в частности, легче запугать самого смелого человека, чем сделать из труса героя. Дуров говорил, что, когда червяк ползет от цыпленка, цыпленок его пожирает, а когда червяк ползет на цыпленка, цыпленок поспешно ретируется. (Есть, кстати, пословица «Молодец против овец, а на молодца и сам овца», которую придумали не цыплята и не зайцы.) Репетиции происходили ночью. Владимир Леонидович терпеливо кормил премьера труппы, милейшего зайца, морковью, причем рука дрессировщика пугливо пятилась. Что касается пушки, то она откровенно убегала от зайца. Через две или три недели зайцы поняли, что они сильнее всех. Этот метод дрессировки Дуров называл «трусобманом».

Морковь играла в режиссуре величайшую роль: она лежала между страницами книги, и, чтобы получить морковь, заяц дергал шнур, который приводил пушку в действие.

В ходе работы выяснилось, что кролики ничего не имеют против головных уборов, но зайцы выходят из строя, когда им напяливают на головы шапки. Владимир Леонидович уступил, и зайцы штурмовали дворец без шлемов.

Морковь кто-то Дурову доставлял, но медвежонку приходилось трудно. Я обратился в МПО с просьбой взять на снабжение медведя как участника спектакля. Несмотря на скудный паек, медвежонок рос, и блуза больше на него не налезала. Дуров настаивал, чтобы я выпросил ситцу на новую блузу. Напрасно я говорил, что это чрезвычайно сложно, что я потратил много времени, добывая для себя штаны, что медвежонок может выступать и без блузы. В итоге ситец мы раздобыли.

Дуров тяжело переживал гибель молодого слоненка «Бэби», которого он временно поместил в Зоологическом саду. Угля не было, Бэби мерз, простудился и умер. Он весил около трех тысяч килограммов; мясо роздали сотрудникам и рабочим зоопарка. А Владимир Леонидович уныло повторял: «Вы его не видели... У него были редкие способности...» Пять лет спустя он писал: «Погиб лучший мой, честный, преданный товарищ, погиб мой Бэби — дитя, которое я воспитал и в которое вложил часть своей души».

Второй постановкой была сцена, которую Дуров показал впервые в начале века под названием «Гаагская мирная конференция». Теперь название изменилось. За столом рядышком сидели заклятые враги: волк и козел, кошка и крыса, лисица и петух, медведь и свинья.

Владимир Леонидович подробно мне объяснил, как он подготовлял эту сцену. Клетка, в которой сидела крыса, была обвешана бубенцами и на колесиках по рельсам спускалась со стола к корзине, где находилась кошка. Шум, бубенцы пугали кошку, и мало-помалу она начала побавиться крысы. А крыса с каждым часом смелела. Так Дуров дрессировал и других участников спектакля. Сильные переставали быть уверенными в своей безнаказанности, а слабые вылечивались от страха; на этом было построено «мирное сосуществование».

В зиму, о которой я рассказываю, я часто видался с Владимиром Леонидовичем, старался ему помочь и пристрастился к нему. Потом мы встречались редко, но всякий раз Дуров меня забавлял, восхищал, вдохновлял. Он был одним из самых фантастических людей, которых я встретил в жизни. На цирковой арене он хотел проповедовать, учить, давал научные объяснения, твердил о рефлексах и одновременно выезжал в своем ослепительном костюме на шестерке собак или верхом на свинье. А у себя на Божедомке, куда приходили ученые — Челпанов, Бехтерев, он вдруг прерывал серьезные объяснения клоунской шуткой. Был он по природе поэтом и поэзию нашел в мире четвероногих актеров.

Он часто путался, говоря с людьми. Материализм у него смешивался с толстовством, марксизм — с христианством. Научные труды он подписывал «Дуров-самоучка». Но по-настоящему легко и просто он чувствовал себя с животными. Он обращался к человеку с просьбой, «пусть он почувствует в животном личность, сознающую, думающую, радующуюся, страдающую».

В голове Владимира Леонидовича рождались фантастические планы.

В одной из книг Дурова приведен текст письма, полученного им в августе 1917 года: «Морской генеральный штаб рассмотрел предложение г-на Дурова о дрессировке им животных: морских львов и тюленей, для целей морской войны, и находит это предложение весьма интересным...» Письмо подписал начальник штаба, контр-адмирал. Легко догадаться, в каком состоянии находились тогда военные начальники, если они всерьез надеялись применить дрессированных тюленей против немецких подводных лодок...

Потом все встало на свое место. Идея мобилизации тюленей никого не соблазняла. В 1923 году Владимир Леонидович получил командировку в Германию и приобрел там морских львов. Он ими очень дорожил, ставил их выше собак. Помню, как он привел меня к бассейну и представил: «Илья Григорьевич, поэт и друг животных». Морские львы вылезли, начали аплодировать своими лапами и обдали меня ледяной водой. А Дуров говорил: «Если бы вы видели извилины их мозга...»

Дуров был убежден, что люди не понимают животных. Почему говорят «слепая курица»? Да курица видит ястреба задолго до того, как его заметит человек. Осел упрям? Ничего подобного: осла нещадно эксплуатируют, иногда он оказывает пассивное сопротивление. Свинья — чистоплотнейшее существо и в грязи выкатывается, чтобы освободиться от паразитов; дайте ей чистое помещение, и она будет брезгливо отворачиваться от многих людей.

Почему все-таки не приняли предложения об использовании морских львов против подводных лодок? Почему никто не рассмотрел проекта с помощью ручных орлов поджигать бомбардировщики? Нет, с людьми очень трудно!

В давние годы, заболев, Дуров составил завешание, писал, что если он умрет, то на кладбище его должны сопровождать животные. Духовенство сочло такое пожелание кощунством. Ах, люди не понимают, что у животных есть душа! Прошло десять или пятнадцать лет, и слово «душа» исчезло, душу заменили «рефлексы». Но люди по-прежнему скептически улыбались. Физиологи, например, утверждали, что собаки не различают цвета предмета. Владимир Леонидович негодовал: «Все мои собаки могут отличить зеленый мяч от красного, даже начинающие щенки...»

Жена Дурова, Анна Игнатьевна, любила животных. Но Владимир Леонидович мне как-то печально рассказал, что в спальню имеют доступ только обезьяны, собаки, кошки и попугаи. Барсуку или гусю вход туда запрещен. «Неправильно... несправедливо...»

Однажды он пошел с очередной просьбой к Луначарскому; попросил подписать бумагу. Анатолий Васильевич ответил, что нужно проверить, подумать. Тогда из кармана Дурова выскочила его любимица, крыса Финька, и встала перед наркомом на задние лапы. Луначарский боялся крыс, крикнул: «Уберите!» Дуров вздыхал: «Анатолий Васильевич, она за своих товарищей просит. Солидарность...»

Десять лет спустя в Париже он пришел в кафе «Куполь» тоже с крысой и очень удивился, когда дамы начали истерически вопить; он объяснял, что это крыса-артистка, а его не слушали.

Он шел в гости, говорил о научной работе, о прогрессе и неожиданно вынимал из кармана вместе с носовым платком сырую рыбу или кусок мяса: все его карманы были набиты угощением для зверей.

Глядя на людей, он думал о животных. Он описывает, как его той-терьеры, радуясь, улыбаются и виляют задом, и добавляет: «Природа выражения ощущений во многих случаях одинакова. Возьмем хотя бы виляние задом. Я часто наблюдал, в особенности на балах, как молодой человек подходил к даме, виляя довольно заметно своим задом...»

Когда он приехал с Анной Игнатьевной в Париж, мы повели их в танцуюлку на улице Бломэ, куда приходили негры студенты, художники, натурщицы. Владимир Леонидович внимательно следил за танцевавшими парами и вдруг радостно крикнул: «Мамочка, ты погляди: трутся животами — тот же рефлекс, что у попугаев...»

Анна Игнатьевна рассказала моей жене: «Я думала в Париже немного приодеться, но Володя купил жирафа. Жирафы очень дороги, потом его нужно везти в специальном вагоне...»

Владимир Леонидович обожал шимпанзе Мимуса; он мне подробно рассказывал о его успехах: «Мимус научился произносить слоги, говорит несколько слов. Начинает писать; пока твердо усвоил только букву «о», теперь я показал ему «ш».

И вот случилось несчастье. Дуров должен был поехать на гастроли в Минск. Мимуса он берег, не показывал его на арене; а взял с собой, чтобы ничего с ним не случилось. Обезьяна и перед этим часто хворала, она простудилась, схватила воспаление легких. Владимир Леонидович рассказал мне о ее конце: «Она спала в моей кровати в гостинице... Самое трудное — научить обезьяну быть чистоплотной в комнате. Котенок ведет себя прилично. А обезьяны рассеянные. Она знает, что ей нужно выйти, но ее отвлекает какая-нибудь забава — и вот в итоге пачкает... А Мимус никогда... Я вижу: он встает, берет туалетную бумагу, идет к ночному горшку. Не дошел — умер...» И в глазах Дурова показались слезы.

Я говорил, что трудно было порой понять его мировоззрение; но он страстно ненавидел войну, говорил об этом и на цирковой арене и на научных заседаниях. В 1924 году он писал: «Советская Россия в свое время первая сделала смелый почин в деле разоружения и до сих пор открыто призывает брать с нее пример...» (Тяжело подумать, что с той поры прошло тридцать шесть лет, что была невиданная в истории война и что слова Дурова кажутся выписанными из свежего номера газеты...)

Вся жизнь Владимира Леонидовича была эксцентрикой и поэзией. В третьем классе московской военной гимназии при экзамене по закону божьему сын дворянина, Дуров Владимир, вошел в класс на руках. Экзаменаторы не знали о богомольных жонглерах средневековья и прогнали дерзкого мальчика. В старости Дуров был окружен учеными; к его книге написали предисловие профессора Кожевников и Леонтович. Казалось, что у Владимира Леонидовича общего с «рыжими»? Но нет, он до конца оставался артистом: проклинал арену и не мог без нее жить.

Когда Владимир Леонидович скончался — летом 1934 года, — по-

хоронная процессия продвигалась с Божедомки к цирку. На катафалке сидела любимица Дурова, шотландская овчарка Рыжка. Тысячи людей приходили, чтобы проститься с клоуном, который смешил много поколений.

А собаки слушали, нюхали — ждали; ждали морские львы; ждал ворон и напрасно повторял свое имя: «Воронок... Воронуша»... Дуров не приходил. Такого второго и не будет...

В начале 1921 года я как-то ехал с ним из ТЕО на Божедомку. Вез нас отошавший, но не унывающий верблюд. Дуров вдруг сказал мне: «Почему они на все отвечают «клоун... клоун»... Знаете, я вам скажу по секрету — клоуны самые серьезные люди...»

23

В очень холодный зимний день я встретил на Тверской С. А. Есенина; он предложил пойти пить настоящий кофе в таинственном месте, которое называл «Кисловкой».

Женщина, открывшая нам дверь, радостно защебетала: «Ах, Сергей Александрович! Я вас заждалась...» Судя по безделкам на комод, по старым английским гравюрам, она была в прошлом состоятельной дамой, а теперь держала «подпольную» столовую для актеров, писателей и спекулянтов. Есенин что-то шепнул ей, и вскоре на столе появились кофейник, сахарница, пирожные, даже графинчик с ликером. Я жил скорее по-монашески и не подозревал о существовании подобных заведений. Увидев, что я изумлен, Есенин обрадовался, как ребенок: «Ну чем не парижское кафе?..»

Хозяйка похвалила его галстук, и он снова обрадовался. Он был в светлом пиджаке и черных лакированных ботинках. Форсил он, как деревенский паренек, и улыбался, когда прохожие его узнавали.

Выпили мы не много — графинчик был крохотным; но уходить из уютной, теплой комнаты не хотелось. Есенин меня удивил: говорил о живописи; недавно он смотрел коллекцию Щукина, его заинтересовал Пикассо. Оказалось, что он читал в переводе Верлена, даже Рембо. Потом он начал декламировать Пушкина: «...и горько жалуясь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Вдруг обрушился на Маяковского: «Тит да Влас... А что он в этом понимает? Да если бы и понимал, какая это поэзия?..» Меня его слова не удивили: незадолго до того я слушал весь вечер в Политехническом музее, как Маяковский и Есенин друг друга ругали. Все же я спросил Есенина, почему его так возмущает Маяковский. «Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего... Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят... (Есенин всегда страстно жаждал славы, и памятники для него были не бронзовыми статуями, а воплощением бессмертия.) А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. И все-таки я с ним не поменяюсь». Я попытался возразить. Есенин был в хорошем настроении и нехотя признал, что Маяковский — поэт, только «неинтересный». Он начал спорить с футуристами. Искусство вдохновляет жизнь, оно не может раствориться в жизни. Конечно, он, Есенин, писал похабные стихи на стенах Страстного монастыря, но это — озорство, а не программа. Народ? Уж на что был народен Шекспир, не брезгал балаганом, а создал Гамлета. Это не Тит и не Влас (он цитировал агитку Маяковского, где упоминались Тит и Влас). Он снова декламировал Пушкина, говорил: «Написать бы одно четверостишие такос — и умереть не страшно... А я обязательно скоро умру...»

На улице, когда мы прощались, Есенин сказал: «Поэзия не прожженные, рублями за нес не расплатишься...» Эти слова я запомнил — они

меня поразили: в тот день я впервые увидел Есенина. А познакомилась мы раньше, и стихи его я давно любил.

Осенью 1917 года в Петрограде меня позвала к себе молодая поэтесса М. М. Шкапская, которую я знал по Парижу. За столом сидел Н. А. Клюев в крестьянской рубаше и громко пил чай из блюдца. Он мне сразу показался актером, исполняющим в тысячный раз затверженную роль. Разговор иссякал, когда пришел новый гость, молодой, красивый паренек, похожий на Леля из оперы; улыбаясь, он представился: «Есенин. Сергей. Сережа...» У него были глаза ясные и наивные. Мария Михайловна попросила его почитать стихи. Я понял, что передо мной большой поэт; хотел с ним поговорить, но он, поулыбавшись, ушел.

Потом мы несколько раз встречались в Москве; говорили о стихах, о событиях. В отличие от Клюева, он менял роли; говорил то об индо-клавке, то о динамичности образа, то о скифстве; но не играть не мог (или не хотел). Часто я слышал, как, поглядывая своими небесными глазами, он с легкой издевкой отвечал собеседнику: «Я уж не знаю, как у вас, а у нас, в Рязанской...» В мае 1918 года он говорил мне, что нужно все повалить, изменить строение вселенной, что крестьяне пустят петуха и мир сгорит. Он подарил мне свою книгу с такой надписью: «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю И. Эренбургу на добрую память от искренне любящего С. Есенина».

И вот после долгой беседы на Кисловке я увидел подлинного Есенина. Скольких он разыгрывал! Иванов-Разумник, прослушав его «Инонию», восхищался: «Вот подлинный революционный субъективизм...» Различные «скифы» считали Есенина выразителем своей идеологии, и я помню, как в Берлине А. А. Шрейдер доказывал, что призыв Есенина «Господи, отелись» потрясет буржуазную Европу. А молодые поэты видели в Есенине создателя новой поэзии; «имажинизм» подавался не как одно из многочисленных литературных направлений, но как скрижали завета.

Неправильно было бы думать, что Есенин обманывал или, если угодно, мистифицировал других; часто он разыгрывал самого себя; различные чувства, обуревавшие его, требовали формы, и тогда он уступал себе: из тоски делал программу, из душевного смятения — литературную школу.

Он был на редкость счастливым. Маяковский подчинял свои настроения идее. Есенин мог (как он раз признался мне) «валить дурака» в «Домино» или в «Стойле Пегаса», но писал он, не задумываясь, как ему в ту минуту хотелось.

Признав в конце свое духовное поражение, он говорил: «Приемлю все. Как есть все принимаю. Готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам».

Маяковскому пришлось бороться с непониманием, издевками одних, душевным холодом других, а Есенина понимали и любили при жизни. Была в его стихах та искренность, то необыкновенное звучание, которые покоряли даже людей, против него настроенных, слышавших о его нелепых кабацких похождениях. Он мечтал о славе, и он ею пресытился. Когда ему было двадцать пять лет, он в стихах обращался к своим родителям: «О, если б вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт!» Его полюбила знаменитая актриса Айседора Дункан, на танцы которой я с восхищением смотрел в гимназические годы. Он обрадовался ее нежности, как мировому признанию. Он хотел поглядеть мир и одним из первых пропелся по всей Европе, увидел Америку. Женщины в него влюблялись. Старые негры и парижские сорванцы ему сочувственно подмигивали. Горький плакал, когда он ему читал стихи. Он делал

все, что ему хотелось, и даже строгие блюстители советских нравов глядели сквозь пальцы на его буйные выходки.

И трудно себе представить человека более несчастного. Он нигде не находил себе места; тяготился любовью, подозревал в кознях друзей; был мнительным, неизменно считал, что скоро умрет. Я знаю объяснения досужих обывателей: «Спился». Но ведь нельзя принимать следствия за причину. Почему он спился? Почему надорвался в самом начале жизненного и поэтического пути? Почему столько неподдельной горечи даже в его ранних стихах, когда он не пил и не буянил? Говорят, что при нэпе выползли из щелей подонки, и тогда родилась «Москва кабацкая»; но «Исповедь хулигана» написана до нэпа, в ту зиму, когда Москва напоминала фаланстер или монастырь со строгим уставом. Почему Есенин повесился в возрасте тридцати лет, в зените славы, не услышав даже далеких шагов старости?

Мне приводилось читать, что драма Есенина — в его расхождении с эпохой. А по-моему, дело не в эпохе. Конечно, Есенин жил в очень трудные годы и не раз огрызался на время; но не раз он и объяснялся этому времени в любви. Революцию он принимал на свой лад: в 1921 году его еще прельщала стихия бунта, он мечтал написать поэму «Гуляй-поле». Мы с ним встретились незадолго до моего отъезда в Париж; он подарил мне свою книгу «Трерядница» и сделал на ней такую надпись: «Вы знаете запах нашей земли и рисуточность нашего климата. Передайте Парижу, что я не боюсь его, на снегах нашей родины мы снова сумеем закрутить метелью, одинаково страшной для них и этих». Это было весной 1921 года; кажется, к этому времени все успели позабыть про «скифство», но Есенину все еще мерещилась озорная вольница, которая носится на резвых конях по всей нашей планете.

Прошло сорок лет. Есенина у нас читают, любят, и никому не придет в голову задуматься над запутанным мотком его политических идей. Он писал в 1920 году: «Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем». А пять лет спустя, незадолго до смерти, признавался, что на корабле он был не парусом, но одним из пассажиров: «Ну, кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался... Теперь года прошли. Я в возрасте ином. И чувствую и мыслью по-иному. И говорю за праздничным вином: хвала и слава рулевому!»

Он промчался по Европе, по Америке и ничего не заметил. Он писал в письмах: «...Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство... Такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется...», «Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют и опять фокстрот...» Конечно, на Западе тогда был не только фокстрот, но и кровавые демонстрации, и голод, и Пикассо, и Ромен Роллан, и Чаплин, и много другого. Но состояние Есенина мне понятно. Дело не только в любви к березкам, о которой много писали, дело и в том, что он издали увидел во весь рост народ, ринувшийся к будущему.

Вернувшись в Россию, он попытался сделать выводы: «Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Однако я очень не люблю Америку. Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества». Он напечатал в газете очерк, наивный и беспомощный, но Америку окрестил необычайно точно «Железным Миргородом». Нужно напомнить, что было это в 1923 году, когда Леф прославлял красоту нью-йоркских небоскребов, когда был в моде НОТ -- за два года до поездки в Америку Маяковского.

Есенин был прежде всего поэтом; исторические события, любовь, дружба — все это отступало перед стихами. Он обладал редким певческим даром. Для зоолога соловей — одна из птиц отряда воробьиных; но никакие описания птичьей гортани не могут объяснить, почему пение соловья издавна чаровало людей во всех краях мира. Никто не может объяснить, почему нас трогают многие стихи Есенина. Бывают поэты, полные высоких мыслей, блистательных наблюдений, страстных чувств, которые десятилетиями осваивают искусство передать другим свое духовное богатство. А Есенин писал стихи только потому, что родился поэтом. «Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган».

Глубокая грусть была свойственна поэтическому голосу Есенина; ее нельзя приписать эпохе, даже если она многое эпохе приписывала: «Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях — только мне, как псаломщику, петь над родимой страной аллилуйя». Он сам знал, что в его тоске, в его одиночестве никто не повинен: «Кого позвать мне? С кем мне поделиться той грустной радостью, что я остался жив? Здесь даже мельница — бревенчатая птица с крылом единственным — стоит, глаза смежив. Я никому здесь не знаком, а те, что помнили, давно забыли...» Такие чувства могут возникнуть в любую эпоху.

Может быть, поэтому стихи Есенина не стареют. «Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен. Осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм» или «И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд: «Ничего! Я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет». Когда написаны эти строки? Сорок лет назад? Сто лет назад? Вчера? Не знаю. Не имеет значения.

В годы войны я часто слышал от молодых лейтенантов, попавших на передний край прямо со школьной скамьи, да и теперь мне говорят молодые: «Люблю Есенина». Мне это понятно. Молодые, если они не поэты и не особые любители поэзии, когда им радостно, легко на душе, редко берут с полки томик стихов; они идут на матч футбола, танцуют, гуляют с девушками, вслух мечтают или жарко спорят. Стихи им нужны в часы печали, и тогда на выручку приходит Есенин, который давно умер и о котором они ничего не знают, кроме самого важного: он писал чудесные стихи.

Он не писал о том, как делать стихи, никогда не приравнивал труд поэта к производству, но смешно уверять, что он был наивным песенником. Да и были ли когда-нибудь такие? Пять веков ходила легенда о «бесхитростном поэте» Франсуа Вийоне, пьянице и преступнике, который писал, как ему господь бог на душу положит. Недавно Тристан Тцара сделал открытие: заключительные строки баллад Вийона — зашифрованные, в них поэт рассказывает правду и о своих любовных горестях и о своих преступлениях. Нужно воистину великое мастерство, чтобы строки, где каждая пятая или седьмая буква — шифр, оказались естественными, чтобы никто не догадывался о трудностях шифровальщика. Есенин много раз говорил мне, что подолгу работает над стихом, черкает, рвет. Маяковский о нем сказал: «Звонкий забулдыга подмастерье». Есенин писал: «Я пришел как суровый мастер...» (Прав был Есенин: «забулдыгой» он стал от печали, «звонким» никогда не был, а вопрос о звании — «мастер» или «подмастерье» — разрешен временем.) Есенин не раз себя называл «хулиганом»; но в одном он был почти-телен: ценил мастерство. На что уж чужд ему был Брюсов, но, узнав о смерти Валерия Яковлевича, Есенин написал: «Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в развитии русского стиха...»

Поэзия Есенина мягка, человечна; нет в ней ни жестокости, ни душевного холода. Его стихи о собаке, у которой утопили щенят, написаны в годы войны, когда люди уже начали привыкать к равнодушию. Незадолго до самоубийства он написал стихотворение «Черный человек». Образ, видимо, навеян Пушкиным: «черный человек» преследует Моцарта. Но «черный человек» Моцарта — смерть. А Есенин узнал и угрызения совести; «черный человек» жесток, он напоминает: «Был он изящен, к тому ж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою... Слушай, слушай! — хрипит он, смотря мне в лицо, сам все ближе и ближе клонится, — я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так неужно и глупо страдал бессонницей».

В жизни он бывал и нежен, трогателен, и несносен — в буйстве душевного разора. Я видал его мягким, спокойным, внимательным; видал и в состоянии, граничившем с помешательством. Мне не хочется рассказывать о том, что имеет большее отношение к патологии, чем к душевной структуре поэта.

В Берлине несколько раз я встречал его с Айседорой Дункан. Она понимала, что ему тяжело, хотела помочь и не могла. Она была почти вдвое старше Есенина, обладала не только большим талантом, но и человечностью, нежностью, тактом; но он был бродячим цыганом; пуще всего его пугала сердечная оседлость.

Рядом с ним всегда бывали его спутники: имажинисты, Кусиков с гитарой или «крестьянские поэты», как будто сошедшие с лакированных коробок Палеха. Поэтов оттесняли просто пьяницы, довольные тем, что допущены к столу знаменитого человека.

Если футуризм, несмотря на желтую кофту и на лорнетку Бурлюка, был большим художественным и общественным явлением, то имажинизм мне всегда казался наспех сделанной вывеской для группы литераторов. Есенин любил драки; и как в гимназии «греки» дрались с «персами», так он охотно пошел к имажинистам, чтобы драться с футуристами. Все это даже не страница его биографии, а несколько сносок, способных заинтересовать только литературоведа.

Обиднее всего было видеть Есенина людей глубоко случайных, ту околотературную банду, которая любила (да и поныне любит) пить чужую водку, греться у чужой славы и прятаться за чужой авторитет. Но не потому Есенин дошел до гибели, что вокруг него кружилась эта черная мошкара — он ее к себе притягивал. Он знал ей цену; но в том состоянии, в котором он находился, ему было легче среди людей, им презираемых.

В 1924 году у общих знакомых я видел в последний раз Есенина. Он был в плохом виде, хотел уйти — бушевать, скандалять. Несколько часов я его уговаривал, удерживал; а он уныло повторял: «Ну,пусти!.. Я всдь не против тебя... Я вообще...»

В одном из последних стихотворений Есенина есть такие строки: «Как не любить мне вас, цветы? Я с вами выпил бы на ты. Шуми, левкой и резеда. С моей душой стряслась беда. С душой моей стряслась беда, шуми, левкой и резеда». Все понимают, что левкой не дуб и резеда не липа, шуметь они не могут. И все-таки это хорошо, а почему хорошо, объяснить невозможно: такова поэзия. И, припоминая Есенина, я всегда думаю: был поэт...

Когда я вспоминаю Александра Яковлевича Таирова, мне приходят в голову пушкинские стихи: «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и

прямой». Жизнь Таирова проста, как притча. Юношей он полюбил театр; стал актером в провинциальной труппе; оказался в Петербурге, познакомился с передовыми поэтами и художниками. Мейерхольд ставил «Балаганчик» Блока; Таиров играл роль Голубой маски. Но Таирова еще не было.

В 1914 году он организовал Камерный театр, который стал целью, содержанием, страстью его жизни. С ним рядом была замечательная актриса Алиса Георгиевна Коонен. Таирову тогда было без малого тридцать лет. Он боролся за театр, который ему казался самым передовым.

Он не был безучастен к огромным переменам, происшедшим в России. Он охотно отказывался от заблуждений; искал; неутомимый, работал с утра до поздней ночи. У Камерного театра было много друзей, много и недругов; и если снова вернуться к пушкинскому стихотворению, то можно сказать, что десятки лет недруги повторяли: «Он-де богу не молился, он не ведал-де поэта...»

В 1949 году недруги победили: Камерный театр исчез. Александру Яковлевичу было шестьдесят четыре года. Год спустя он умер.

В ту зиму, о которой я пишу, Таиров показал «Принцессу Брамбиллу», прошедшую с большим успехом. Он начал работать над «Федрой»; выпустил книгу «Заметки режиссера», в которой отстаивал свои позиции и от сторонников натуралистического театра и от Мейерхольда. Он был окрылен. И печальные встречи конца сороковых годов не могут заслонить в моей памяти веселого и счастливого Таирова первых революционных лет.

Москва восхищалась веселым карнавалом на сцене. Декорации Якулова были ослепительны, сказочны. Актеры все время прыгали, дурачились, танцевали, шутили. Москва также хорошо понимала муки Адриенны Лекуврер. Сентиментальную мелодраму Скриба Таиров превратил в трагедию. Игра Алисы Коонен потрясала зрителей. Это может показаться удивительным: разжалобить людей тогда было трудно; к смерти все пригладелись. Смерть Адриенны трогала, вероятно, потому, что была не натуральной, как в пьесе Скриба, а преображенной искусством — не кончиной в клинике Склифосовского, а концом Эвридики или Офелии.

Таиров хорошо понимал две формы театрального представления: арлекинаду и трагедию. В годы, о которых я рассказываю, люди жили без промежуточных состояний; были веселье и отчаяние, пещерный быт и макеты XXI века.

Таиров не только был скромным в жизни, он и в искусстве подчинял свои мечты строжайшей дисциплине. Говорят, что чувство меры подрезает крылья романтике; это верно, когда речь идет о житейском расчете, о мещанском благоразумии. Но вспомним: даже художники неистовой поры романтизма хорошо знали, что такое чувство меры, — без него искусство превращается в ходульность, в ложный пафос, в истерику.

Александр Яковлевич не раз говорил со мной о своем понимании театра. Он ушел от бытовизма, от показа на сцене, как актеры натурально пьют чай или тихо позевывают. Он любил приводить историю, рассказанную знаменитым французским актером прошлого века Кокленом. Бродячий актер на ярмарке показывал, как кричит поросенок. Все восхищались, аплодировали. Но один нормандский крестьянин предложил пари — он сделает это не хуже актера. Хитрый нормандец спрятал под свою одежду живого поросенка и стал его щипать. Поросенок кричал, но все присутствующие шикали — они нашли, что крестьянин не умеет подражать поросенку. Таиров знал, что такое искусство, и не признавал театра, стремящегося имитировать жизнь. Он часто говорил: «Театр должен стать театральным»; на первый взгляд это нелепо, как

«вода должна быть жидкой!». Но ведь кругом были театры, отказавшиеся от понятия «зрелище». А Таиров не верил ни в описательную поэзию, ни в литературную живопись, ни в театр, напоминающий комнату, у которой почему-то ампутировали четвертую стену.

Таиров не отрицал ни значения драматурга, ни роли художника; но он хотел, чтобы все элементы на сцене были подчинены одному — театру.

Вначале он отдал дань декадентству: поставил «Саломею». Этой пьесой увлекался не он один. Таиров ее поставил в 1917 году, Марджанов — в 1919-м. Никто потом не вспоминал о грехах Марджанова, а Таиров «Саломею» не хотели простить. Между тем декадентством переболели в свое время многие. Я слышал, как А. В. Луначарский в 1909 году восхищенно декламировал самые наидекадентские стихи Бальмонта. Брюсов не только писал в молодости декадентски-эротические стихотворения, не только вешал на стены Ропса, он восторгался «поэзами» Игоря Северянина, который, хоть и называл себя «эгофутуристом»; был декадентом для парикмахеров и невзыскательных шаркунов. На сцене Художественного театра стоял декадентский «Некто в сером» и, как чревовещатель на ярмарке, объявлял: «Человек родился». В Малом театре ставили ту самую злополучную «Саломею». Все это очень быстро забылось. Но есть люди, которые, видимо, рождаются под несчастливой звездой. Таиров проделал большой и сложный путь, а когда он лежал в гробу, на гражданской панихиде кто-то по бумажке еще припоминал его былые заблуждения...

Когда его просили рассказать или написать о своей жизни, он начал перечислять постановки: это был человек одной страсти. Нельзя о нем рассказывать, не рассказывая о Камерном театре. Это был прекрасный театр, но который тоже родился под несчастливой звездой. Начну с того, что его неудачно окрестили. (Я встречал много людей, страдавших оттого, что родители дали им претенциозное или неблагозвучное имя — нежного юношу Тита, опытного инженера Каина, кокетливую девушку Конституцию.) В 1914 году слово «камерный» звучало, как «студия», — оно указывало, что молодой театр, преисполненный дерзаний, не рассчитывает на коммерческий успех. Имя осталось; и в течение тридцати лет недоброжелатели его обыгрывали: «Камерный — значит интимный, домашний, театр для знатоков, для гурманов...» (Название театра для многих было непонятным. Александр Яковлевич рассказывал, что в каком-то городе, где театр гастролировал, его спрашивали перед началом спектакля: «У вас только камерники или есть вольнонаемные?» — считали, что выступает кружок тюремной самодеятельности.)

Таирова ценили и защищали многие — и Луначарский, и старые актеры Малого театра, и М. Кольцов в «Правде», и рядовые зрители. А. В. Луначарский, восхищаясь постановкой «Федры», писал, что во многом Камерный театр приблизился к старому театру середины XIX века, к «великолепному Каратыгину». Я рассказал, как меня рассмешил старый французский актер Муне-Сюлли, который, наверно, играл, как некогда играл Каратыгин. Когда я гоготал над игрой Муне-Сюлли, я был мальчишкой, не понимавшим, что такое искусство. Прошли годы. И вот я увидел Алису Коонен в «Федре». Я не смеялся. Я узнал ту полноту искусства, от которой становится легко и немного страшно. (Может быть, нечто подобное почувствуют люди, впервые поднявшись над сферой земного притяжения.)

Я бывал на гастролях Камерного театра в Париже, в Берлине, видел восхищение зрителей. Таиров осмелился повезти во Францию расиновскую «Федру» и победил. Ангуан и Пикассо, Леже и Жемье, Кокто и

Жан Ришар-Блок восторженно отзывались о спектаклях Камерного театра. В Японии о Таирове до сих пор вспоминают актеры театра «Кабуки». Кажется, немногие художники сделали столько для того, что на газетном языке называется «развитием культурных связей».

Камерный театр нельзя себе представить без Алисы Коонен. Эта добрая, душевная женщина на сцене терзала сердца зрителей; кто раз ее видел, помнит глаза, руки, голос. Она как будто пришла в театр из другого века, не знала прошлого или будущего. Люди были большими, большими были дела, но когда в тысячах театров подымался занавес, на сцене хлопотливо барахтались инженеры, первые любовники, комические старухи, резонеры. И вдруг пришла актриса трагедии, и пришла она в ту эпоху, которую никто не назовет эпохой комедии нравов или эпохой семейных драм.

Александр Яковлевич в жизни никак не походил на актера, разговаривал просто, сдержанно, всегда владел собой. Я видел, как в дни, когда он переживал большое горе, он аккуратно шел за кулисы; перед актерами был спокойный, чисто выбритый, невозмутимый Таиров.

Признаюсь, я не театрал; но я не могу забыть многих спектаклей в Камерном — от давней «Принцессы Брамбиллы» до «Госпожи Бовари», поставленной в 1940 году. За них я признателен Таирову и Коонен: они меня часто поддерживали своим мастерством. Они меня поддерживали и своей дружбой; я знал черный ход в Камерный театр — квартиру, где они жили; любая обида смягчалась их участием и лаской.

В 1949 году Таирова направили на работу в чужой театр. Он был человеком большой дисциплины, ждал работы, но ее не оказалось.

В давней книге, вспоминая о начале своей театральной деятельности, Таиров писал: «Когда на улицах Москвы появились, наконец, первые афиши с заголовком «Камерный театр», то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно было, а не мираж». В последние недели своей жизни больной Александр Яковлевич тихонько выходил из дому. Беспokoясь за него, близкие проследили, куда он идет. Он доходил до стены, на которой были расклеены театральные афиши, и внимательно их разглядывал. Афиши Камерного театра не было...

25

Как-то зимой, раздобыв несколько листов бумаги, я попытался начать тот роман, о котором давно мечтал; написав несколько строк, я порвал лист. Время не благоприятствовало романам. Дело не в холоде и голоде (хотя, признаться, я часто мечтал о куске мяса). Дело даже не в различных заседаниях, на которых мы просиживали дни. Слишком близки и слишком грандиозны были события. Романист не стенографистка, ему нужно опомниться, подумать, отойти на несколько шагов (или на несколько лет) от того, что он хочет описать.

Кажется, в 1920—1921 годах в России не было написано ни одного романа. То были годы стихов и литературных манифестов. Я думаю сейчас о писателях моего поколения, о Сейфуллиной, Фурманове, Лавреневе, Паустовском, Малышкине, Федине, Бабеле, Тынянове, Пильняке. Они демобилизовывались, выполняли различные задания, кочевали, правили чужие статьи, заседали, читали лекции; за крупные произведения почти все сели позднее.

Роман, пережитый, продуманный, но не написанный, способен извести. Мне казалось, что стоить мне сесть в каком-нибудь парижском кафе, попросить у официанта кофе, несколько бутербродов, бумагу, и книга будет написана.

Я хотел написать сатирический роман, показать довоенные годы, войну, революцию; но последняя глава была закрыта туманом. Как я ни старался, я не мог себе представить, что делали люди на Западе, пока русские низвергали, жгли, проектировали, дрались на десяти фронтах, голодали, болели сыпняком и бредили будущим. Я говорил себе, что круг должен быть завершен и что необходимо взглянуть на послевоенный Париж.

(Я много думал о книге. Я думал не только о ней. Моя молодость прошла в Париже; я полюбил этот город, оставил там много друзей. Порой я тосковал по Парижу и не хочу об этом умолчать.)

Однажды я рассказал про это моему давнему другу по подпольной большевистской организации, рассказал не как о реальном желании, а скорее как о мечте и очень удивился, когда меня вызвали в Наркоминдел и предложили там заполнить анкету.

Хотя я жил в Третьем общежитии Наркоминдела, я никогда не заглядывал в дом, куда привез осенью тюки с печатями. Не знаю, чем занимались многочисленные сотрудники этого комиссариата (некоторых я встречал в коридорах общежития). Наверно, заседали. Ведь дипломатических отношений с другими государствами в ту пору почти не было. Потерпев поражение в попытках низвергнуть Советскую власть, правительства западных держав пытались убедить если не себя, то других, что России нет. (Германская республика признала существование Советской России только в 1922 году, Англия и Франция — в 1924-м, а Соединенные Штаты — в 1933-м.)

В приемной Наркоминдела бушевала немолодая, но чрезвычайно темпераментная женщина. Она истерзала секретаря наркома, а потом почему-то накинулась на меня: «Они не имеют никакого права! Можете спросить любого адвоката. У меня швейцарский паспорт, я не позволю со мной так обращаться!.. Я не буржуйка, я служила гувернанткой, меня нужно ограждать. Конечно, у меня сбережения в золоте, я не сумасшедшая, чтобы держать бумажки, когда они каждый день падают. Я напишу в Берн, я этого так не оставлю...» С трудом я от нее освободился и сел за анкету.

На вопрос о цели моей поездки за границу, я ответил: «Хочу написать роман». Секретарь улыбнулся и заставил меня все переписать; он диктовал: «Художественная командировка».

Прошло еще несколько недель, и комендант общежития, товарищ Адам, сказал, что меня вызывают в Чека; увидев мое волнение, он добавил: «С главного подъезда — к товарищу Менжинскому».

В. Р. Менжинский был болен и лежал на чересчур короткой кушетке. Я думал, что он начнет меня расспрашивать, не путался ли я с врангелевцами; но он сказал, что видел меня в Париже, спросил, продолжаю ли я писать стихи. Я ответил, что хочу написать сатирический роман. Поскольку разговор зашел о литературе, я поделился с ним сомнениями: печатается слишком много ходульных стихов, а вот Блок замолк... Менжинский иногда улыбался, кивал головой, иногда хмурился. Вдруг я спохватился: человек занят, да еще плохо себя чувствует, а я затеял дискуссию, как в Доме печати... Менжинский сказал: «Мы-то вас выпустим. А вот что вам скажут французы, не знаю...»

Я получил заграничный паспорт с латвийской визой; такой же паспорт дали моей жене.

Был яркий весенний день. Сугробы оседали, рушились, ползли. Капало с крыш. Звонко кричали мальчишки.

Весна в Москве необычайна; ничего подобного не знают жители благословенного юга; это не смена времен года, а исключительное событие в жизни любого человека; и хотя сегодняшняя Москва мало напоминает

ту, по которой я шел в апреле 1921 года, весны те же, одна похожа на другую, и каждая ни на кого и ни на что не похожа. Нужно пережить длинную зиму, в декабре, просыпаясь, зажигая свет, мерзнуть. Видеть землю, неизменно закутанную в саван, нужно в марте слепнуть от метелей, для того чтобы по-настоящему оценить оттепель, ледоход, шумное повоселение жизни.

Именно в такой буйный солнечный день, возвращаясь в «Княжий двор» с заграничным паспортом, я вдруг задумался: вот я уезжаю...

Трудно было оторваться от московской жизни; может быть, потому, что эта жизнь была очень трудной. После того как Мейерхольд ушел из ТЕО, заседания в детской секции, где мы продолжали по инерции разрабатывать различные проекты, начали мне казаться бессмысленными. Куда разумнее попытаться написать роман. И все же мне было трудно уехать: я понимал, что настоящая жизнь — здесь, в Москве...

В тот ли день или в один из последующих, не помню, но было это незадолго до отъезда, я долго и настойчиво убеждал себя: пора подвести итоги!

«Подвести итоги» — это было одной из последних наивностей ушедшей молодости. Я не знал, что мне понадобится не час и не два для того, чтобы осознать все значение тех лет, когда я метался по неприветливым улицам Москвы, по раскромсанной, растерзанной России, воспитывал «мофективных» детей, спорил о «левом искусстве», отчаивался, шутил, голодал, добывал хлеб или махорку. Мы все тогда говорили в стихах или в прозе об «исторической эпохе». А живя изо дня в день, эпохи не видишь: деревья заслоняют лес, и лес не дает возможности разглядеть отдельное дерево.

Сейчас мне хочется оглянуться назад, задуматься над давнишним клубком надежд и сомнений.

Я говорил, что история делается не по щучьему велению; она делается и не по той безупречной логике, которой сильна наука. Мальчишкой я часто слышал в кружке П. Г. Смиловича, что путь к социализму открывает пролетариат передовых индустриализированных стран.

В 1946 году один рабочий, проживавший в «Железном Миргороде», или, говоря точнее, Детройте, сказал мне: «Почему вы все время говорите об американских капиталистах, о монополиях, об эксплуатации? Вы думаете, мы не знаем этого? Знаем. Но нам с нашими капиталистами живется лучше, чем вам без капиталистов...» Отсутствие классового сознания? Конечно. Но не только это — другое отношение к жизни, культ благополучия, страх перед подвигом, перед жертвами, перед неизвестностью.

Так или иначе, первым государством, где победила социалистическая революция, была Россия с ее отсталой промышленностью. Из трех граждан молодой Советской республики двое вместо подписей ставили крестики. В 1918 году мне привелось побывать в деревнях Московской и Тульской губерний. В избах можно было увидеть кресла, обитые плюшем, граммофоны, даже пианино, вывезенные из усадеб или полученные от горожан за мешок картошки. А люди еще жили жизнью дореволюционной деревни, описанной Чеховым и Буниным. Было много жестокости, невежества, темноты. Жгли библиотеки. Ненавидели горожан («дармоеды»), иные радовались, что города умирают от голода. Может быть, этим частично объясняется смятение, порой овладевавшее интеллигенцией и нашедшее свое выражение в статьях Горького.

Молодежь, пришедшая в город и захваченная вихрем событий, легко воспринимала упрощенные идеи крайних «пролеткультовцев», будущих «напостовцев». Мне не раз приходилось слышать: «Чего усложнять?.. Интеллигентщина, гниль... Газету читал? Значит, ясно.

А «почему», «зачем» — буржуйские разговоры... Нечего голову ломать...»

Осенью 1920 года В. И. Ленин обратился к комсомольцам с такими словами: «Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно».

Я говорил о жажде знания, которая тогда охватила миллионы юношей и девушек. Народ раскрыл букварь. Нужно сказать и о тех, кто учил грамоте, кто читал лекции по истории или по геологии, кто спасал книги от огня, отстаивал здания музеев и, голодая, может быть, сильнее всех, защищал культуру, — о русской интеллигенции. Я говорю, конечно, не о той ее части, которая уехала за границу и там пыталась опорочить свой народ, но об интеллигенции, принявшей Октябрьскую революцию и в то же время полной сомнений. Когда перечитываешь первые рассказы Всеволода Иванова, Малышкина, Пильняка, Н. Огнева, ранние стихи Тихонова, становится ясным, что эти сомнения вытекали из жажды критически подойти к фактам, о которой говорил Ленин.

На Страстной площади висел плакат: «Да здравствует электрофикация!» Под этим плакатом Есенин однажды прочитал мне монолог Пугачева: «О Азия, Азия! Голубая страна, обсыпанная солью, песком и известкой. Там так медленно по небу едет луна, поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой. Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо скачут там шерстожелтые горные реки! Не с того ли там свищут монгольские орды всем тем диким и злым, что сидит в человеке? Уж давно я, давно я скрывал тоску перебраться туда, к их кочующим станам, чтоб разящими волнами их сверкающих скул стать к преддверьям России, как тень Тамерлана». Стихи были хорошие. Но я сейчас думаю не о стихах. По стране рыскали банды. В деревнях обстреливали продотряды. Поля стояли незасеянными. Возле вокзалов уже бродили беспризорные дети. Города голодали; смертность быстро возрастала.

Все это кажется теперь давней историей. «Голубая Азия» увлечена индустриализацией, и ей помогает в этом Советский Союз. Если еще в конце тридцатых годов некоторые западные политики называли наше государство «колоссом на глиняных ногах», то вскоре они убедились, что ноги у «колосса» вполне доброкачественные.

Недавно мне рассказали анекдот, который ходит по Нью-Йорку. Один американец говорит своему приятелю: «Какой ужас! Утверждают, что русские похитили у нас секреты нашей атомной промышленности». Приятель отвечает: «Но это замечательно! Теперь они отстанут от нас на пять лет».

Этим летом в моем саду цвели чудесные рудбекии, большие и яркие, как звезды древних мозаик; семена я купил в Париже у знаменитого Вильморэна, и назывались они русским словом «Спутник».

Когда я гляжу на Москву, я не могу себе представить, что это город, где прошло мое детство. Едешь к Внукову и каждый раз дивишься — растут уже не дома, а улицы, кварталы.

Конечно, у нас умеют лучше сделать реактивный самолет, чем обыкновенную кастрюлю; научатся делать и кастрюли. Но теперь западных политики только и говорят, что о баллистических ногах «колосса».

По своей природе я принадлежу к людям, которых называют «Фома неверный». (Прилагательное может сбить с толку: Фома был очень верным и, по христианской легенде, стойко перенес пытки; но он был не верящим на слово — захотел проверить правильность того, о чем ему рас-

сказали, то есть критически подойти к факту.) В те годы, над которыми я сейчас размышляю (1920—1921), у меня было немало сомнений, но эти сомнения не походили на разговоры людей, считавших, что Россия разваливается, что придут варяги — носители порядка, что дело закончится умеренно-либеральным буржуазным строем. В одном я не сомневался: в победе нового социального строя.

Быт был страшен: пша или вобла, лопнувшие трубы канализации, холод, эпидемии. Но я (как и все люди, с которыми я дружил) знал, что народ, победивший интервентов, победит и разруху. Несколько месяцев спустя я сел за свой первый роман. Хулио Хуренито, рассказывая о необычайном городе будущего, стальном, стеклянном и организованном, восклицает: «Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом, ибо строят не те, у кого избыток камня, а те, кто эти невыносимые камни решает скрепить своей кровью...»

Сомнения мои были связаны не с мыслями о доме, а с мыслями о людях, которые будут в этом доме жить. В пьесе Юрия Олеши героиня составляет два списка: в один она заносит «благодетельные» революции, в другой — ее «преступления». Потом она осознает свою ошибку, и пьеса озаглавлена «Список благодетельных». Я таких списков не составлял ни на бумаге, ни мысленно: жизнь сложнее начальной логики, многие преступления могут привести к благодетельным, и есть благодетельные, чреватые преступлениями.

(Говоря о теневых сторонах нашей жизни, порой добавляют — «перешитки капитализма». Иногда это верно, иногда нет. Яркий свет усиливает тени, и хорошее может сопровождаться некоторыми дурными последствиями. Возьму наиболее примелькавшийся пример — бюрократизм; о нем писал В. И. Ленин, и о нем продолжают говорить наши газеты сорок лет спустя. Разве бумажная водянка, гипертрофия регистрирующих, обсуждающих, проверяющих, скрепляющих — это только перешитки? Разве такое заблуждение — в итоге оно может и должно исчезнуть — не связано с развитием организации, учета, контроля производства, то есть с вещами прогрессивными и правильными?)

Помню, как уборщица в Военно-химической школе, молодая деревенская девушка, пела частушку: «Наживу себе беду — в сортир без пропуска пойду. Я бы пропуск рада взять, только некому давать». Я засмеялся, потом задумался.

Рабочий хорошо знает, что машина, даже самая сложная, сделана человеком и человеку служит. В 1932 году я был на строительстве Кузнецкого комбината. Люди, пришедшие из деревни, глядели на машины с ненавистью или с благоговейным ужасом; одни ломали станки — если машина не работала, они налегали в сердцах на рычаги, как хлестали в деревне замученного конягу; другие почтительно называли доменную печь «Домной Ивановной», мартеновскую — «дядей Мартыном».

Конечно, я прежде всего думал о судьбе искусства. Диаграмма, висевшая в кабинете В. Я. Брюсова, меня не только удивила, но и напугала. Литература была квадратами, кругами, ромбами — винтами огромной машины.

Однажды я поделился с Луначарским моими сомнениями. Он ответил мне, что коммунизм должен привести не к однообразию, а к многообразию, что творчество художника нельзя подогнать под один образец. Анатолий Васильевич говорил, что есть «держиморды», которые не понимают природы искусства. Год спустя он написал статью в журнале «Печать и революция» и в ней прибег к тому же определению; говоря, что в переходное время необходима цензура, он продолжал: «Человек же, который скажет: «долой все эти предрассудки о свободе слова,

нашему коммунистическому строю соответствует государственное руководство литературой, цензура есть не ужасная черта переходного времени, а нечто присущее упорядоченной, социализированной социалистической жизни», — тот, кто сделает из этого вывод, что самая критика должна превратиться в своего рода донос, или в пригонку художественных произведений на примитивно революционные колодки, тот покажет только, что под коммунистом у него, если его немного потерять, в сущности, сидит Держиморда, и что, сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого из нее не взял, как удовольствие куражиться, самодурствовать и в особенности тащить и не пущать...»

Еще не было журнала «На посту». Еще устранивались одновременно выставки художников различных направлений — от Бродского до Малевича. Еще Мейерхольд не существовал неподалеку от Художественного театра. А мне все мерещилась диаграмма с квадратами и ромбами...

Мы осторожно, как рыбу, ели восьмушку колючего хлеба. Полонская писала: «Но грустно мне, что мы утратим цену друзьям смиренным, преданным, безгласным: березовым поленьям, горсти соли, кувшину с молоком и небогатым плодам земли, убогой и суровой...» В те годы мы все были романтиками, хотя и стыдились этого слова.

Я спорил не с эпохой, а с самим собой. В моих мыслях было много путаного. Я ведь стоял за индустриальную эстетику, за планированную экономику, ненавидел хаос, лицемерие, позолоту капитализма (его я знал не по книгам). Но не раз я спрашивал себя, что станет в новом, более разумном и более справедливом обществе с разнообразием человеческих характеров, не подменят ли усовершенствованные машины, восхваляемые мною, искусство, не подавят ли техника порой смутных, но дорогих людям чувств?

Сорок лет спустя я напечатал в «Комсомольской правде» письмо ленинградской девушки, которая рассказывала о превосходном инженере, презирающем искусство, равнодушном к трагедии Глезоса, сухом к матери и к товарищам, считающем, что любовь в атомный век — анахронизм. В той же газете я прочитал письмо специалиста по кибернетике; он издевался над девушкой, способной «плакать в подушку», над людьми, которые в наше время восхищаются музыкой Баха или поэзией Блока.

Многие из моих сомнений 1921 года были наивными и опровергнуты жизнью; многие, но не все...

Пуще всего я боялся равнодушия, механизации не производства, а чувств, захирения искусства. Я знал, что лес вырастет, и думал о судьбе живого, теплого дерева, с его сложной корневой системой, с причудливыми ветвями, с кольцами сердцевины.

Может быть, такие мысли приходили ко мне, потому что в тридцать лет я готовился сдать экзамен на право называться писателем. Конечно, я не знал, какие трудности меня ждут; но мне было ясно, что дело не только в том, как построить роман или как отчеканить фразу. В одном из писем Чехов говорил, что дело писателя — вступаться за человека. Это звучит просто, и это очень трудно..

Время тогда шло быстро, а поезда ходили медленно. До Риги мы ехали долго, можно было многое передумать.

В соседнем купе разместились наши дипкурьеры. Я поглядел на мешки с сургучными печатями и улыбнулся. У нас был только ободраный чемодан, а в нем журналы «Уновис», «Искусство Коммуны», «Художественное слово», книги Маяковского, Есенина, Пастернака.

Когда наконец мы доползли до Себежа, дипкурьер сказал нам: «Товарищи, скоро латвийская граница. Там буфет, помните о советском престоже — не набрасывайтесь на еду...» Я решил не выходить из вагона.

В Ригу мы приехали вечером, и, втащив чемодан в маленькую гостиницу, я сказал Любе: «А теперь в ресторан...» Я оглядывался, как будто шел на нелегальную явку: неудобно — скажут, советский гражданин только приехал и сразу ужинать...

Не знаю, были ли порции большие или мы отвыкли от еды, но я не смог одолеть даже половину бифштекса. Мне стало грустно: вот кусок мяса, о котором я столько мечтал, а я не могу больше есть...

Нелегко было унять психологический голод. Пообедав, я останавливался возле булочной или колбасной — разглядывал хлебцы различной формы, сосиски, пирожки. Так смотрят любители на редкие безделки в витрине антикара. Я изучал меню, вывешенные у входа в многочисленные рестораны; названия блюд звучали, как стихи.

Я захватил с собой паспорт, выданный мне представителем Временного правительства в 1917 году, чтобы доказать французам, что я проживал в Париже. Документ этот успел ответить и напоминать музейный экспонат. Когда я протянул французскому консулу советский паспорт, он отдернул руку, как будто я совал ему раскаленный утюг. Рваную бумажку он прочитал и сказал с отвращением: «Вы были политическим эмигрантом? Это не рекомендация...» Он спросил, чем я занимался в Москве и почему хочу направиться в Париж. Я ответил добродушно, что последние месяцы я помогал Дурову дрессировать кроликов, а в Париже собираюсь написать толстую книгу. Консул мрачно сказал: «Не думаю, что вы ее напишете в Париже».

Я отправил письма друзьям, жившим в Париже: просил похлопотать о визах. Я успел отъесться и перестал разглядывать колбасы. Знакомых в Риге у меня не было. Зарядили холодные дожди. Однажды пришел печальный человек, сказал, что он открывает издательство, хочет печатать советских авторов, показал мне различные рукописи и купил мой сборник стихов «Раздумья». Иногда я заходил в наше посольство, читал «Правду», спорил с секретарем, которому нравились имажинисты. Французский консул мне отвечал однообразно: «Как я и думал, для вас ничего нет...»

Визы пришли, когда я потерял надежду. Консул наотрез отказался поставить их на советские паспорта и выдал особое пропуск. Я пошел в немецкое консульство, чтобы получить транзитные визы. Консул очень удивился, что я, будучи советским гражданином, получил французскую визу. Это показалось ему подозрительным, и он сказал, что не может пропустить нас через Германию. Пришлось выбрать очень сложный маршрут: на пароходе до свободного города Данцига, оттуда морем в Копенгаген и дальше через Лондон в Париж.

В Данциге нас выпустили в город. На узких, средневековых улицах толпились спекулянты, торговавшие различной валютой.

Датчане нас задержали и посадили в машину. Я решил, что нас везут в тюрьму; но отвезли нас в баню и, пока мы мылись, одежду подвергли дезинфекции. Это можно было объяснить: в России еще свирепствовал тиф. А вот в Лондоне полицейские меня приняли за сумасшедшего только потому, что на вопрос, как нам удалось бежать из России, я ответил, что мы уехали с заграничными паспортами.

В следующих частях моей книги я расскажу о жизни Западной Европы в годы после первой мировой войны; а когда я ехал из Москвы в Париж, мне было не до наблюдений. Хотя я хорошо знал Запад, все меня ошеломляло. Вещей было слишком много. Люди казались сонными и равнодушными.

В Копенгагене мы были первого мая. По улицам прошла чинная демонстрация; пели и жевали бутерброды. Перед ратушей объевшиеся голуби, казалось, не могли взлететь с земли. Возле королевского дворца стояли часовые в высочайших шапках. В рабочих кварталах люди толпились у лавчонок и, видимо, были озабочены не ликвидацией капитализма, а покупкой маргарина, входившего в моду.

В Лондоне имелись тоже дворец и тоже часовые в огромных шапках. В Гайд-парке какой-то крикун объяснял прохожим, что в Фиуме и в Вильно нарушены права человека и что британцы должны опекать свободу. Я вспомнил английских солдат на улицах Феодосии и пошел дальше.

Наконец я добрался до «Ротонды». Все было на месте. Какой-то художник, поздоровавшись со мной, сказал: «Что-то вас давно не было видно. Уезжали?» — и, не дожидаясь ответа, начал рассказывать местные сплетни.

Хозяин гостиницы «Ницца», где я прожил много лет, вернулся с фронта невредимым. Мы дружески обнялись.

Да, все было, как прежде. Но я был другим... Прошедшую со мной перемену я понял, только очутившись в «Ротонде». Вещи, которые прежде мне казались естественными, теперь меня удивляли, порой злили. Париж был прекрасен; восхищенный, я бродил по набережным Сены, обошел все места, где протекала моя молодость. С городом мне было легко; куда труднее с людьми. Я не знал, как объяснить им, что произошло с нами в России.

Я уехал из Парижа в лето жестоких боев, и мне трудно было понять, что парижане как будто забыли годы войны; о недавнем прошлом напоминали только рекламы туристических компаний — «Дешевые экскурсии в Верден. Осмотр полей сражений».

Одна из газет объявила конкурс: «Какой маршал пользуется наибольшей любовью французов». Мужчины на улицах были странно одеты: пиджачки в талию, выпуклая грудь; благонравные отцы семейств выглядели педерастами. Я увидел впервые фокстрот; парочки тряслись, как заводные куклы.

Все, о чем я рассказываю, показательно не столько для Парижа 1921 года, сколько для моего душевного состояния. Я написал стихи (с архаизмами, которые продолжали меня пленять, несмотря на увлечение «левым искусством»): «...Да, страна моя, не зная меры, скарб столетий на костер снесла. Не согреет темные пещеры тусклая остывшая зола. Да, конечно, радиатор лучше... Что же, Эренбург, попав в Париж, это щедрое благополучье в холеные оды претвори. Но язык России дик и скорбен, и не русский станет славить днесь триумфатора, что мчится в «Форде» привкус смерти трюфелем заесть...»

Впрочем, в русских, готовых прославить «великодушных хозяев», недостатка не было. Эмиграция еще не поняла, что ей предстоит на чужбине. Страсти гражданской войны еще не успели остыть. В Париже выходила газета Бурцева «Общее дело», Россию в ней называли не иначе, как «совдепией». Помню одно сообщение, напечатанное в этой газете: уцелевших зверей московского Зоологического сада кормят телами расстрелянных. Зинаида Гиппиус обвиняла всех оставшихся в России в том, что они «продались большевикам», — и Блок продан, и Белый, и даже А. Ф. Кони... Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать. А милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал: «Ты, Илья, там набрался ерунды...» Как только я говорил, что я выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской.

Дружески меня встретили бывшие «ротондовцы»: я говорю «быв-

ние», потому что старая «Ротонда» исчезла; я это понял через два или три дня после приезда. Дело было не только в том, что сменился владелец кафе. Сменилась эпоха. Художников или поэтов вытесняли иностранные туристы. Бестолковая полунищенская жизнь былых лет стала модным стилем людей, игравших в богему. Вокруг «Ротонды» были другие кафе, старые и новые, где укрывались некоторые ветераны и куда приходили новички. В кафе «Дом» я нашел старых друзей — Фотинского, Диего Риверу, Маревну, Цадкина. Иногда в «Ротонду» заглядывал Леже. В кафе «Селект» сидели молодые американцы; я их не знал и много лет спустя, познакомившись с Хемингуэем, узнал, что в «Селекте» он обдумывал свой первый роман.

Я рассказывал о московских выставках, о постановках Мейерхольда, читал на память стихи Маяковского, Есенина, Пастернака.

Пикассо меня обнял и сразу заявил: «Ты знаешь, мое место там. Что мне делать во Франции мосье Мильерана?» Альбер Глез рассказал, что он выставил недавно панно «Проект росписи одного из московских вокзалов». Леже мечтал работать в московском театре. Диего Ривера спрашивал, как ему пробраться в Россию. Поэт Андре Сальмон прочитал мне свою поэму, озаглавленную русским словом «Приказ», в ней он прославлял подвиг русского народа.

Буржуазная Франция, казалось, могла бы несколько успокоиться: опасные годы были позади. Демобилизованные успели забыть о солдатских бунтах. Волна забастовок спадала. Но на стенах еще можно было увидеть плакаты, изображавшие страшнейшего человека, который держит нож в зубах: это был тот бука, которым правящие круги пугали среднего француза. Пропаганда была не очень сложной: коммунисты — это азиаты, дикари, они провели национализацию женщин и заставляют всех маршировать по команде. Был довод сильнее «национализации женщин» — русские займы, сбережения средних французов, купивших в банке выгодные бумаги. «Плакали наши денежки», — причитали рантье со злобой, с отчаянием.

Да и неправильно было бы сказать, что французская буржуазия успела отдышаться. Правда, во Франции было спокойно, но всего полгода назад в соседней Италии рабочие захватывали один завод за другим. Всего два месяца назад газеты писали о восстании в Саксонии. На стенах Парижа можно было увидеть надписи — краской, углем, мелом: «Да здравствуют Советы!»

Я был во Франции весной 1946 года. Буржуазия тогда тоже нервничала. Ей не нравилось, что в рабочих предместьях Парижа муниципалитеты называли улицы именем Сталина. Но «холодная война» только-только начиналась, официально Советский Союз еще числился союзной державой, и на церемонии переименования улиц представители правых партий со смешанным чувством ненависти, страха и почтения приветствовали «великого маршала».

В 1921 году во Франции не было улицы Ленина; но Ленин как будто жил в рабочих предместьях. Он был не маршалом, а человеком, который много лет прожил в Париже, которого некоторые встречали, помнили. Удивительная история о том, как человек в рабочей кепке стал главой огромной загадочной страны, как русские рабочие, голодные, раздетые, со старыми вшивками, отбили атаки интервентов, ходила по парижским предместьям и не давала спать победителям.

Я начал понимать, что мои первые, поверхностные впечатления были обманчивыми. На Западе было много нового. Я купил книгу — популярное изложение теории относительности. Меня увлекла новая книга Блеза Сандрара «Светопреставление», иллюстрированная Леже. — сатира, показывающая конец капиталистического мира и похожая на кино-

сценарий. Я увидел несколько фильмов Чарли Чаплина, который успел стать знаменитым. На выставке Пикассо тридцать холстов спорили один с другим, и все они были объединены неукротимой потребностью выразить пластически новую эпоху. Я понял, что мне нужно многое прочитать, посмотреть, продумать.

Диего обрадовался, узнав, что герой моего романа будет мексиканцем. Он собирался в Италию, но сказал, что расскажет мне о той обстановке, в которой прошли детство и ранняя молодость Хулио Хуренито.

Я купил блокнот и решил сесть за роман. Однако в мои литературные планы неожиданно вмешались французские власти. Товарищ Менжинский был прав...

Не знаю в точности причин моей высылки. Когда я спросил, почему меня высылают, чиновник префектуры мне ответил: «Франция — самая свободная страна в мире. Если вас выселяют, значит на это имеются резоны...» Одному из приятелей, который хлопотал об отмене высылки, сказали: «Но вы не знаете — он занимался большевистской пропагандой». Вероятно, на террасе кафе, где я встречался с друзьями, сидели секретные осведомители; французы их называют «мухами»; они действительно назойливы, как осенние мухи, но мухи живут недолго; а осведомители порой переживают не только смену министров, но и смену режимов.

Рано утром ко мне явился плюгавый человек с тусклыми глазами и жидкими усиками, который показал мне значок — агент префектуры. Другой шпик задержал мою жену. Хозяин гостиницы негодовал: «Мне стыдно за Францию!» На шпики это не произвело никакого впечатления. Меня отвезли в префектуру и там объявили, что мы должны сегодня же покинуть Францию.

— Но куда мы можем поехать без виз? — наивно спросил я.

— Ближайшая граница — бельгийская.

— У нас нет бельгийских виз.

— Вы их и не получите. Бельгийцы вас отошлют назад — на французскую границу.

— И тогда?..

— Тогда мы вас задержим за незаконный переход границы. Вы отбудете наказание, и вас тогда уж не выселят, а вышлют.

Я не понял различия между двумя понятиями «выселение» и «высылка». Чиновник разъяснил:

— До границы вы проследуете в обыкновенном вагоне за свой счет. Вас будет сопровождать наш сотрудник в штатском. А когда вас вышлют, вы сможете не беспокоиться о билетах — вас отправят до границы под конвоем. Сейчас вы свободны. Вас будет только сопровождать наш сотрудник...

— Но когда бельгийцы нас вернут и когда я отсижу положенное, куда вы нас вышлете?

— В ту же Бельгию.

Я понял, что из нас хотят сделать футбольные мячи, которыми будут играть французы и бельгийцы. Это показалось мне мало соблазнительным. Все же нужно было пообедать. Мы пошли в ресторан напротив «Ротонды» и там встретили знакомого скульптора. Мы рассказали, что нас высылают. Он побежал в «Ротонду», и вскоре мы оказались окруженными десятком друзей. Все они возмущались. Шпики сидели за соседним столиком и ели с аппетитом: к тому, что они «грязные флики» (так называют французы полицейских), они давно привыкли, ибо слышали это ежедневно, а в ресторане Бати кормили хорошо, и у «фликов» были подотчетные на подобного рода расходы.

Я подумал о том, что приказ о моем выселении подписал толстяк Бриан, один из самых умелых ораторов, парламентский соловей, и разве-селился. В годы войны я был ему представлен как корреспондент «Биржевых ведомостей». Он спел мне короткую, но нежную арию... Теперь я напугал Бриана. Как зайцы Дурова, я начинал понимать, что я — грозный зверь.

Поезд уходил поздно вечером. На вокзале один из шпиков сказал, что купит для нас билеты: «Конечно, в третьем классе?..» Мы приехали в третьем классе, но тон шпика меня рассердил, и я ответил: «Конечно, в первом...» Пожалуй, это нас и выручило.

В купе были трое: Люба, я и шпик, который вышел на французской границе. Я посоветовал Любе лечь и прикинуться спящей. Вошел бельгийский жандарм; я ему жестом показал на Любу — не нужно ее будить. Бельгиец добродушно кивнул головой: к пассажирам первого класса полицейские относятся с уважением. Я показал полуистлевший лист — паспорт 1917 года. Тщетно жандарм искал бельгийскую визу. Сложив осторожно лист, он шепнул: «У вас чересчур старый паспорт, нужно его обменять». Я тоже шепотом ответил: «Вы правы, я собираюсь это сделать в Брюсселе...»

Футбольный матч не состоялся — мы спокойно поехали дальше.

27

В Брюсселе, напротив Южного вокзала, мы увидели две гостиницы: одна называлась «Провидение», другая «Упование». Мы не хотели терять надежду и направились в «Упование»; но там нас попросили заполнить карточки, в которых имелся коварный вопрос о въездных визах.

Моя молодость прошла в архаическую эпоху, когда не было ни гражданской авиации, ни радиовещания, ни виз. Самолеты — изобретение замечательное; радиоприемник бывает полезен, притом его и не обязательно включать — это дело вкуса; но вот визы никак нельзя отнести к открытиям, облегчающим жизнь человека. Не берусь подчитать, сколько в жизни я потратил на них времени, сил, нервов. Причем визы бывают разные, как бактерии; их можно разделить на классы, на семейства: есть въездные и выездные, транзитные с остановкой или без остановки, однократные и многократные, с указанием пограничного пункта или без; разобраться в них нелегко; еще труднее их получить.

Мы поспешно вышли из вестибюля гостиницы; вместо ответа на вопрос о въездных визах я поставил игривую черточку. Наша ночная удача могла кончиться крупными неприятностями средь бела дня: мы проникли в Бельгию без въездных виз.

Я рассказывал, что перед войной в Париже я издавал поэтический журнальчик «Вечера» вместе с ростовчанином Немировым. У него была очень милая жена, веселая, чуть раскосая, певунья. Ее звали Марусей. Вскоре она разошлась с Немировым; во время войны я встречал ее на юге Франции. Перед моим отъездом в Россию мне рассказали, что Маруся вышла замуж за бельгийского поэта Элленса.

Выйдя из гостиницы, я думал об одном: как разыскать Элленса? Адресного стола в западных странах не существует — люди хотят спокойствия, и о том, кто где живет, знают только господь бог да полиция. В телефонном справочнике Элленса не оказалось (я не знал, что Элленс — псевдоним). Я зашел в книжный магазин; мне сказали, что здесь торгуют серьезными книгами, а не стихами. Я начал изучать витрины книжных лавок и нашел такую, где красовалась книга Элленса; я радостно вбежал в магазин, но ничего не добился: мне предложили написать письмо на адрес издательства. Я не мог объяснить, что, пока

письмо дойдет до Элленса, я буду уже не в гостинице «Упование», а в обыкновенной каталажке.

Мне повезло: в пятом или в десятом магазине я набрел на любителя поэзии, который оказался сердобольным. Он мне сказал, что я найду Франца Элленса в Палате представителей; его фамилия Ван Эмергем, и он заведует парламентской библиотекой. У меня сразу выросли крылья: парламент — не «Ротонда»!

Элленс и Маруся приняли нас, как старых друзей. Я бубнил про визу. Маруся вспоминала прошлое. Элленс молчал и нежно улыбался. Ему было сорок лет; на суровом северном лице светились глаза мечтателя и ребенка.

Элленс рассказал одному из министров, что я поэт, меня почему-то выслали из Франции и я хочу провести несколько месяцев в Бельгии, чтобы написать книгу. Формальности заняли две недели. Я бродил по Брюсселю, очень шумному возле биржи и очень тихому в старых кварталах, где много пепельно-черных домов с позолотой, опрятных старух и неторопливых мечтателей, которые после конца рабочего дня курят трубки и бледными глазами смотрят на бледное небо.

Я подружился с Элленсом. Это удивительно чистый и печальный человек. Он прежде всего поэт, не только потому, что писал и пишет стихи, а потому, что его проза, да и вся его жизнь пропитаны эссенцией поэзии.

Весной, когда мы познакомились, он писал роман «Басс-Бассина-Булу» — так он назвал негритянского бога, который стоял в его комнате. В романе этот бог, мудрый и наивный, всесильный и бессильный, попадает из дебрей Африки в Европу и рассказывает с грустной иронией о том, что делается вокруг. Я читал письмо Горького об этой книге, оно продиктовано не простой вежливостью, а любовью. (Познакомились они позднее — в 1925 году, в Сорренто; и в другом письме Горький вспоминал глаза Элленса, в которых, несмотря на суровость, угадываешь детскую печаль и нежность.) «Басс-Бассина-Булу» понравился Стефану Цвейгу, он написал предисловие к немецкому переводу этой книги.

Я много рассказывал Элленсу о Москве. Он увлекся стихами Есенина и с помощью Маруси начал их переводить на французский язык.

Потом я иногда встречал Элленса — в Париже, в Брюсселе. Шли годы; прошла жизнь. Все теперь другое; а Элленс тот же: дети не старятся, мечтатели не изменяют — значит, и не изменяются...

Элленс как-то познакомил меня с художником Пермеке, теперь известным всем любителям живописи, а тогда еще причисляемым к «молодым» (ему было тридцать пять лет; но из жизни художника выпали годы войны; он был тяжело ранен при защите Антверпена, выжил вопрекор прогнозам). Не знаю, в чем объяснение — в крепости традиций или в особенности пейзажа Фландрии, точнее ее света, но бельгийцы — прекрасные живописцы. Незачем говорить о Мемлинге или Ван-Эйке, достаточно взглянуть на холсты Энзора. Пермеке почему-то причисляли к экспрессионистам, хотя в нем не было пренебрежения к живописи ради литературной выразительности. Он любил писать рыбаков, обветренных и угрюмых, крестьян прибрежной полосы, матерей, старух. Его длинные пейзажи показывают плоскую землю — едва возвышается то стог сена, то одинокое и обязательно приземистое, прибитое ветрами дерево; огромную роль играет небо, зеленоватое или свинцовое. Его натуре были присущи беспокойство, трагизм. Я надолго потерял Пермеке из виду; встретились мы четверть века спустя, незадолго до его смерти. Я поехал к нему — он жил возле Остенде, — огромный, большой, одинокий: он потерял жену, с которой прожил жизнь. На стене мастерской висел холст, который я не могу забыть: Пермеке написал жену

в кровати, когда она умерла, красками выразил свое душевное состояние.

Я все ждал ответа министра. Под окном «Упования» до поздней ночи кружились карусели и шарманки старались перекричать одна другую.

Наконец я получил разрешение на пребывание в Бельгии. Был июнь, мы поехали на побережье, в местечко Ля Панны, возле французской границы. Гостиницы пустовали — до какикул оставалось несколько недель. Кое-где на побережье попадались развалины: дома, разрушенные во время войны, еще не были отстроены. Море было большим и рассерженным; в отлив оно уходило вдаль, затанув злобу, а потом яростно кидалось прямо к гостинице.

Когда море уходило, на песке оставались водоросли, морские звезды и много обломков дерева. Я машинально подымал их — вспоминал, как в Коктебеле искал на берегу куски дерева, для того чтобы зажечь мангалку...

Кругом были песчаные холмы — дюны, кое-где поросшие колючей серой травой. Эти холмы путешествуют: ветер сгоняет и нагоняет пески. Подымаясь на дюны, я видел Францию.

Я работал с утра до поздней ночи в маленькой комнате с окошком на море. «Хулио Хуренито» я написал за один месяц, писал как будто под диктовку. Порой уставала рука, тогда я шел к морю. Неистовый ветер валил стулья на пустых террасах кафе. Море казалось непримиримым. Этот пейзаж соответствовал моему состоянию: мне казалось, что я не вожу пером по листу бумаги, а иду в штыковую атаку.

Писать я не умел. В книге много ненужных эпизодов, она не обстругана, то и дело встречаются неуклюжие обороты. Но эту книгу я люблю.

Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно. Я знаю писателей, которые не выносят, когда при них вспоминают их ранние произведения. Да что говорить о других: мне смешно и противен мой первый сборник стихов. О времени, когда я писал стихи про маркизов, я вспоминаю с нежностью, даже о типографе, а стихи скверные и, главное, чужие. Люблю я «Хулио Хуренито» потому, что эта книга, при множестве недостатков, написана мною, мною пережитая, это действительно моя книга.

Я много раз как писатель обезьянничал. Я рассказывал о подражательности моих ранних стихов. Но вот позднее, вскоре после «Хуренито», я стал жертвой той литературной моды, которая тогда свирепствовала. Как некоторых моих литературных сверстников, меня соблазнили ритмическая проза Андрея Белого и причудливый синтаксис Ремизова. То, что у этих писателей было органично, у меня походило на пародию. Я не могу перечитывать иные из книг этого периода: все время хочется поставить прилагательные и существительные на место. «Хулио Хуренито» написан порой неуклюже, но просто, нет в нем словесных вывертов.

Я узнал из критических статей, что мой роман — подражание «Кандиду». Должен, к стыду, признаться, что «Кандида» я прочитал только после этих статей; в молодости я читал много, но бесполово, да и до сих пор в моих литературных познаниях большие провалы. Однако догадки критиков мне понятны. В «Хуренито» сказались годы молодости, прожитые во Франции. Конечно, рабочие на товарной станции Вожирар, как и я, не читали «Кандида», но в их шутках нашли выражение те же черты французской иронии, которые нас покоряют в книгах Вольтера. Да и может быть, автор «Кандида» повлиял на формирование национального гения Франции.

Я люблю «Хуренито», потому что написал его по внутренней необходимости: я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вышивал

долго. Может быть, в ней недостаточно литературы (не было опыта, мастерства), но нет в ней никакой литературщины.

Я написал много книг и далеко не все из них люблю. О некоторых я редко вспоминаю, не перечитываю их. Для молодых читателей я как писатель родился в годы второй мировой войны. О «Хуренито» помнят у нас предпочтительно пенсионеры, а он мне дорог: в нем я высказал много того, что определило не только мой литературный путь, но и мою жизнь. Разумеется, в этой книге немало вздорных суждений и паивных парадоксов; я все время пытался разглядеть будущее; одно увидел, в другом ошибся. Но в целом это книга, от которой я не отказываюсь.

В «Хуренито» я клеймил всяческий расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжество духовенства, благословляющего оружие, пацифистов, обсуждающих «гуманные способы истребления человечества», лжесоциалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие. В 1960 году я подписываюсь под этими мыслями; и если я ненавижу расизм и фашизм, если нахожу силы, чтобы участвовать в борьбе за мир, то потому, что человек за полвека снашивает много костюмов, но остается при этом самим собой.

В «Хуренито» я показывал ханжество мира денег, ложную свободу, которую регулирует чековая книжка мистера Куля и социальная иерархия мосье Дэле, установившего шестнадцать классов даже для погребения. За двенадцать лет до прихода к власти Гитлера я вывел герра Шмидта, который «может быть одновременно и националистом и социалистом», который говорит французам и русским «нам необходимо вас организовать», «колонизировать Россию, разрушить как можно основательнее Францию и Англию... Мы оставим голую землю... Убить для блага человеческого одного умалишенного или десять миллионов — различие арифметическое. А убить необходимо...» Если бы я не написал этого в 1921 году, то в 1940 году не сумел бы написать «Падение Парижа».

Я иногда ошибался, иногда видел достаточно ясно. Задолго до печей Освенцима и Бабьего Яра в книге напечатано следующее объявление: «В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения иудейского племени... В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, также реставрированные в духе эпохи: сожжение иудеев, закапывание живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы «эвакуации», «очистки от подозрительных элементов» и пр. пр.»

Я знал, что «Хулио Хуренито» должен вызвать гнев блюстителей порядка: «Какой консул положит теперь на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня на порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки?» Меня не удивило, что белые эмигранты встретили мой роман с возмущением. Но огонь был перекрестным: «напостовцы» называли «Хуренито» не иначе, как «клеветой на революцию». Почти в каждом номере их журнала к моему имени добавлялось «клеветник».

В предыдущей главе я рассказывал о моем страхе перед механизацией чувств, перед регламентацией творчества. Эти мысли нашли отражение в «Хуренито». Одни опасности я тогда преувеличивал, других не видел. Критики меня называли «циником», «нигилистом», а если следовало меня в чем-либо обвинить, то скорее в гипертрофии романтики.

«Хулио Хуренито» читатели читали, критики ругали, ругали крепко и длительно, говоря о моих последующих книгах, всегда припоминали первый роман как главную улику. Мне случайно попался номер «Нового мира», вышедший тридцать пять лет назад; в нем статья обо мне, длин-

ные цитаты из «Хулио Хуренито» и выводы: «Разбитая в открытой схватке русская буржуазия борется духовно... Эренбург служит своему классу по-настоящему... Эренбург — последний буржуазной культуры... История русской литературы ничего бы не потеряла, если бы Эренбург «не пожелал» сделаться писателем...» Я привел выдержки из статьи, пожалуй, наиболее мягкой.

В 1924 году в Киеве я пошел на спектакль—инсценировку «Хулио Хуренито». На сцене показывали Илью Эренбурга, у него на плечах сидел американец мистер Куль и покрикивал: «Живей, живей, моя буржуазная кляча...» Мой тесть, доктор Козинцов, возмущался, а мне было смешно.

Конечно, бывали часы, когда я огорчался: на меня падали снаряды не врагов, а своих. Но, к счастью, в тот период снаряды были бумажными. Постепенно я привык к различным обвинениям; выработался частичный иммунитет, который впоследствии не раз спасал меня от полного отчаяния.

Нападали и на форму моего первого романа. Мне думается, что она раздражала не погрешностями языка, а непривычностью. С той поры критики неизменно утверждают, что я журналист, который пишет романы, как фельетоны; по их мнению, я незаконно вторгся в художественную литературу. Для меня же вторжение газеты в роман было связано с поисками современной формы повествования. Есть люди, которые считают, что детальное описание внешности героя или ландшафта позволяет сухим тезисам обрасти плотью, передовой статье стать новеллой или романом. А это, говоря откровенно, принудительный ассортимент, освещение театральными прожекторами затянувшегося заседания. Право же, «Былое и думы» с бóльшим правом могут быть причислены к «чистому искусству», нежели «Накануне»...

В 1922 году «Хуренито» был издан в Берлине издательством «Геликон», в Москве — Государственным издательством. Мне было приятно, что моя книга понравилась Маяковскому, что о ней одобрительно отзывались некоторые писатели Петрограда, которых я ценил. (В 1942 году А. Н. Толстой в одной из статей вспомнил о моих сатирических романах и добрым словом помянул «Хулио Хуренито».) Позднее я прочитал в воспоминаниях Н. К. Крупской о том, как принял мой первый роман В. И. Ленин; это было для меня большой моральной поддержкой.

Вскоре «Хуренито» вышел по-немецки, изданный коммунистическим издательством, по-французски с предисловием Пьера Мак-Орлана, на других языках.

Я стал профессиональным писателем.

Но я снова забегая вперед. Вот я кончил последнюю страницу «Хуренито». На ней я написал: «Довольно обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня — я миновал уже трудный перевал...»

Я вышел к морю. Ревсл прибой. Была ночь, и вдали металась огоньки рыбацких суденышек. Я шел против ветра; мне было тревожно и весело.

О многом человек и писатель может догадаться, далеко не обо всем. Седые волосы видишь в зеркале, когда бреешься, в будущее заглянуть труднее. Я не понимал, что впереди еще много труднейших перевалов и что ветер не уляжется, пока бьется сердце...

Конец второй книги



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

★

ТУТ И СОЛНЦЕ...

Тут и солнце,
Тут и зелень.
Только Север —
По пятам.
Ах, каким полярным зельем
Опоили меня там?
Я усну —
И сны мне снятся,
Не усну —
И те же сны:
Маяки полярных станций
За окраиной весны.

Ничего мне там не чуждо,
В необычной стороне.
Все как будто бы и чудо,
И как будто все по мне.

К неподатливости почвы
Непокорный интерес,
И мешки со свежей почтой —
Прямо с авианебес,
И просторное веселье,
И рогатое такси,
И по зелени весенней
Злые приступы тоски...

Там, где ягель,
Там, где суша
Переходит в чистый лед,
Словно якорь,
Мою душу
Поднял дымный пароход.



ГЕВОРК ЭМИН

* *

*

Короче слов, чем «да» и «нет»,
Не сыщешь, хоть пройди весь свет.
Но если молвить нужно «да»
Или отрезать «нет»,
Нам не хватает иногда
Всей жизни на ответ.

Перевела с армянского Вера Потапова.



ИРВИН ШОУ

★

СТАВКА НА МЕРТВОГО ЖОКЕЯ

Рассказ

Когда зазвонил телефон, Ллойд Барбер лежал на кровати и читал «Франс-суар». Было только два часа, но идти ему некуда, да к тому ж пятый день непрерывно льет дождь. Он читал о розыгрыше чемпионата по рэгби, хотя никогда не ходил на игры и не испытывал ни малейшего интереса к положению команд Лилля, По или Бордо. Но все остальное он уже прочел. В маленьком темном номере было холодно — с десяти утра до шести вечера отопление выключали, — и он лежал на смятой двуспальной кровати, сняв только ботинки и накрывшись пальто.

Он взял трубку и услышал голос дежурного портье:

— Вас спрашивает какая-то дама, мсье Барбер.

Барбер покосился на свое отражение в зеркале, висевшем над комодом напротив кровати, и подумал, что ему не мешало бы выглядеть лучше.

— Она назвала себя? — спросил он.

— Нет, мсье. Спросить?

— Не стоит, я сейчас спущусь.

Он повесил трубку и начал надевать ботинки. Как всегда, первым левый — на счастье. Потом застегнул воротничок и поправил галстук, с неудовольствием отметив, что около узла он совсем истрепался. Надев пиджак, похлопал по карманам, проверяя, есть ли сигареты. Сигарет не было. Он пожал плечами, мстительно оставил свет включенным — у него с управляющим был неприятный разговор по поводу счета — и вышел.

В маленькой комнатке рядом с вестибюлем, на одном из тех выцветших от времени плюшевых стульев, которыми в парижских отелях четвертого сорта специально обставляют гостиные, чтобы постояльцы приглашали поменьше гостей, сидела Морин Ричардсон. В комнате не горело ни одной лампы, и сквозь пыльные занавеси с залитой дождем улицы просачивался мертвенно-зеленоватый свет. Барбер познакомился с Морин во время войны, когда она была хорошенькой девушкой с доверчивыми ярко-синими глазами, еще до того, как она вышла замуж за Джимми Ричардсона. Но с тех пор у нее родилось двое детей, а дела у Ричардсона шли не так уж блестяще. Теперь на ней было поношенное, насквозь промокшее пальто, ее лицо утратило прежние краски, и в зеленоватом свете вестибюля оно казалось землисто-желтым, а глаза словно выцвели.

— Здравствуйте, Красавица, — приветствовал ее Барбер. Ричардсон всегда называл ее так, пока это забавляло его друзей по эскадрилье. А потом прозвище привилось.

Морин быстро обернулась, словно он испугал ее.

— Ллойд, как я рада, что застала вас!

Они обменялись рукопожатием, и Барбер предложил ей пойти куда-нибудь выпить кофе.

— Лучше не надо, — ответила Морин, — я оставила детей у приятельницы и обещала зайти за ними в половине третьего, так что у меня мало времени.

— Понятно, — сказал Барбер. — А как Джимми?

— О Ллойд... — Морин нервно перебирала пальцами, и Барбер заметил, что они были красными, а ногти на них обломаны. — Вы его видели?

— Что? — Барбер озадаченно уставился на нее. — Я не понимаю...

— Вы видели его? — настаивала Морин тихим испуганным голосом.

— Около месяца назад. А что случилось? — Но, спрашивая, он уже догадывался, что услышит в ответ.

— Он уехал, Ллойд, — сказала Морин. — Уехал тридцать два дня назад. Я не знаю, что делать.

— А куда? — спросил Барбер.

— Не знаю. — Морин вынула пачку сигарет и закурила. Она была так расстроена, что даже не предложила их Барберу. — Он ничего не сказал мне, — она затыкивалась жадно и рассеянно, — и я очень беспокоюсь. Я подумала — может быть, он сказал что-нибудь вам... или вы случайно встретились с ним.

— Нет, — осторожно ответил Барбер, — он ничего не говорил.

— Все это очень странно. Мы женаты больше десяти лет, и ни разу ничего подобного не было. — Морин старалась говорить нормальным голосом. — Он пришел домой вечером и сказал, что получил на месяц отпуск и расскажет мне обо всем, когда вернется. Он просил ничего не спрашивать.

— И вы послушались?

— Он вел себя как-то странно. Я никогда не видела его таким. Он был взвинчен, возбужден до предела, но казался довольным. Только всю ночь он то и дело вставал, чтобы посмотреть на малышей. И он никогда не давал мне повода для беспокойства... в смысле других женщин, — с достоинством добавила Морин. — Он был непохож на некоторых наших общих знакомых. Джимми всегда можно было верить. И я сама помогла ему собраться.

— Что он взял с собой?

— Только один чемодан. С легким платьем. Ну, как обычно едут в летний отпуск. Он даже взял теннисную ракетку.

— Теннисную ракетку, — кивнул Барбер, как будто внезапно исчезающие мужья захватывают с собой именно теннисные ракетки. — И вы не получали от него никаких известий?

— Нет. Он сказал, что писать не будет. Ну разве так можно? — Несмотря на свою тревогу, она позволила себе заговорить тоном обиженной жены. — Так я и чувствовала, что нам не надо ехать в Европу. Вы — другое дело, вы — холостяк, да к тому же всегда были повесой, не то что Джимми...

— Вы звонили к нему на работу? — перебил ее Барбер, не любивший, когда ему говорили, каким повесой или закоренелым холостяком его считают.

— Я попросила позвонить одного его приятеля. Это выглядело бы подозрительно — жена звонит, чтобы узнать, где ее муж.

— И что ему ответили?

— Что он должен был вернуться два дня назад, но до сих пор не появлялся.

Барбер взял у Морин сигарету и закурил. После четырехчасового

перерыва он наслаждался каждой затяжкой и с эгоистической радостью подумал: «Все-таки неплохо, что она зашла ко мне».

— Ллойд, вам что-нибудь известно? — В зеленоватом полумраке Морин в своем легком промокшем пальто казалась жалкой и измученной.

— Нет, — ответил Барбер после некоторого колебания, — но я наведу справки и позвоню вам завтра.

Оба встали. Морин натянула на красные руки старые черные перчатки. Посмотрев на них, Барбер вдруг вспомнил, какой изящной и аккуратной была Морин много-много лет назад, когда они познакомились в Луизиане. А какими молодцами и шеголями выглядели они с Джимми в лейтенантской форме с новенькими крылышками на груди!

— Послушайте, Красавица, — сказал Барбер, — у вас, наверно, туговато с деньгами?

— Я пришла не за этим, — твердо ответила Морин.

Барбер вынул бумажник и заглянул в него. В этом не было никакой необходимости — он точно знал, что лежит там. Вынув бумажку в пять тысяч франков¹, он протянул ее Морин:

— Примерьте-ка, может быть, подойдет.

Она сделала движение, как будто хотела отказать.

— Право же, я не могу...

— Ш-ш-ш, Красавица, во всем Париже не найдется ни одной американки, которая не смогла бы в такой день, как сегодня, истратить пять тысяч франков.

Морин вздохнула и положила деньги в свой кошелек.

— Ллойд, мне страшно неудобно брать у вас деньги.

Барбер поцеловал ее в лоб.

— В память о синем небе Луизианы, — сказал он, убирая бумажник: там осталось пятнадцать тысяч, на которые ему, очевидно, предстояло существовать до конца дней своих, ибо других поступлений не предвиделось. — Джимми вернет их мне.

— Вы думаете, с ним ничего не случилось? — спросила Морин и подошла совсем близко к Барберу.

— Безусловно, — солгал он, не моргнув. — Вы напрасно беспокоитесь. Я позвоню завтра, и, наверно, он сам снимет трубку, злой, как черт, что я обхаживал его жену, пока он был в отъезде.

— Так и будет, — жалко улыбнулась Морин.

Пройдя через пещерный сумрак вестибюля, она вышла под дождь и отправилась за своими детьми, которых ее подруга должна была накормить обедом.

Барбер вернулся к себе в номер, снял трубку и стал ждать, когда его соединят с городом. В комнате прямо на полу стояло два открытых чемодана, набитых бельем, — в крохотном комодe не хватало места. На комодe лежали: просроченный счет портного; письмо от его бывшей жены из Нью-Йорка, в котором она сообщала, что нашла в одном из чемоданов его армейский пистолет, и спрашивала, как с ним быть, а то она боится неприятностей; от матери — с уговорами перестать валять дурака, вернуться домой и заняться настоящим делом; письмо женщины, к которой он был совершенно равнодушен, с приглашением погостить у нее на вилле возле Эз, где, по ее словам, виды великолепные, погода теплая и не хватает только мужчины в доме; письмо от человека, летавшего с ним во время войны стрелком и утверждавшего, что Барбер спас ему жизнь, когда он был ранен в живот над Палермо. После войны он,

¹ По курсу того времени около пятнадцати долларов. (Примеч. ред.)

как ни странно, написал книгу и не реже раза в месяц присылал Барберу длинные и весьма литературные письма. Это был странный, чересчур эмоциональный человек — в дни, когда ему приходилось отправляться в полет, он от возбуждения терял порой голову, — и он постоянно анализировал свой характер, проверяя, оправдывает ли он и близкие ему люди возлагавшиеся на них надежды. К близким себе людям он причислял и Барбера (к большому смущению последнего), главным образом из-за тех восьми минут над Палермо.

«Нашему поколению грозит опасность, — гласил машинописный текст письма, лежавшего на комодке, — опасность измельчания. Мы испытали все слишком рано. Наша любовь превратилась в привязанность, ненависть — в отвращение, отчаяние — в меланхолию, а страсть — в предпочтение. Мы согласились на жизнь покорных карликов в маленьком, но роковом балагане».

Письмо произвело на Барбера гнетущее впечатление, и он не стал на него отвечать. Хватит и того, что говорят и пишут в этом духе французы. Уж лучше бы экс-стрелок перестал писать ему или по крайней мере находил бы другие темы. Своей бывшей жене Барбер тоже не ответил, потому что приехал в Европу, чтобы забыть ее. Магери он отвечать не стал, так как боялся, что она, пожалуй, права. Что касается поездки в Эз, то, хоть его дела и были плохи, в такого рода сделки он еще не собирался вступать.

В раму висевшего над комодом зеркала была воткнута фотография — они с Джимми на пляже в Довилле прошлым летом. Ричардсоны снимали там коттедж, и он несколько раз приезжал к ним на воскресенье. Джимми Ричардсон, как и стрелок, во время войны проникся к Барберу горячей симпатией. Всегда как-то получалось, что Барберу навязывали дружбу именно те люди, дружба которых была ему не нужна. «Все липнут к тебе, — сказала ему во время ссоры одна женщина, — потому что ты лицемсришь машинально, как автомат. Стоит кому-нибудь войти в комнату, как ты сразу становишься веселым и обаятельным человеком».

Они были сняты в одних трусах, и рядом с Джимми, похожим на толстого беспомощного ребенка, Барбер казался рослым красавцем блондином калифорнийского типа.

Он посмотрел на фотографию. Джимми совсем не похож на человека, который может пропадать неизвестно где тридцать два дня. «А у меня, — саркастически подумал Барбер, — действительно автоматически веселый и обаятельный вид».

Он протянул руку, взял фотографию и бросил ее в ящик стола. Потом, не выпуская трубки, с отвращением осмотрел комнату. При свете не защищенной абажуром лампы темное дерево мебели казалось мрачным и как будто изъеденным термитами, а кровать, застеленная пятнистым вельветовым покрывалом цвета подгнившей груши, выглядела так, словно на ней валялись сотни уродливых мужчин и женщин, снимавших номер на два-три часа. На мгновение его охватила острая тоска по номерам американских отелей, где ему пришлось провести столько ночей, и по купе в поездах между Нью-Йорком и Чикаго, Сент-Луисом и Лос-Анжелосом.

В трубке засвистело, Барбер пришел в себя и назвал номер отеля «Георг Пятый». Когда его соединили, он спросил мсье Смита, мсье Берта Смита. Через некоторое время телефонистка ответила, что мсье Смит не живет больше в отеле. Прежде чем она успела повесить трубку, Барбер торопливо спросил, не ожидают ли возвращения мсье Смита и не оставил ли он свой новый адрес. Нет, ответила девушка после долгой паузы, возвращения мсье Смита не ожидают и адреса он не оставил.

Барбер повесил трубку. Ничего удивительного. Берт Смит часто совершал таинственные переселения из отеля в отель, а с тех пор как Барбер разговаривал с ним в последний раз, он мог переменить полдесятка фамилий.

Барбер старался не думать ни о Джимми Ричардсоне, ни о его жене, которую в эскадрилье шутливо прозвали Красавицей, ни о его двух маленьких сыновьях.

Хмурясь, он подошел к окну. Снаружи моросил зимний парижский дождь; с бессильной злобой городских дождей он затягивал узкую улицу туманной сеткой и мелкими каплями обесцвечивал дома напротив, так что невозможно было представить, как они выглядели, когда были новыми. Внизу рабочий снимал с грузовика ящики с вином, и казалось, что он измучен погодой, а чисто парижский звук звенящих бутылок становился глухим и печальным из-за серой воды, льющейся с неба, с оконных карнизов, с вывесок и свернутых тентов. Плохо, когда в такой день исчезает муж, исчезает друг. Плохо в такой день сидеть одному в узком номере, где с десяти утра до шести вечера выключают отопление, и помнить, что у тебя в кармане только пятнадцать тысяч франков. Плохо в такой день остаться без работы, без сигарет, без обеда. Плохо в такой день начать анализировать свое поведение и прийти к беспощадному выводу, что никакое самооправдание не поможет, что ты сам во всем виноват.

Барбер опять заставил себя встряхнуться. Сидеть весь день в номере бессмысленно. Если он собирается что-нибудь сделать, необходимо найти Берта Смита. Он посмотрел на часы. Почти половина третьего. Он попытался вспомнить, где в это время он встречал Берта Смита. Модный ресторан на Ронд-По, где обедают кинозвезды, владельцы газет и богатые туристы; бистро на бульваре Латур-Мобур, на левом берегу; рестораны в Отейле, Лоншане и Сен-Клу. Барбер заглянул в газету. В Отейле сегодня скачки.

Если Смита нет на ипподроме и если он не уехал из Парижа, днем его можно встретить в одной из картинных галерей. Берт Смит был ценителем искусства — во всяком случае, покупая картины, он проявлял недюжинное чутье и знание дела. Смит жил в отелях, а это малоподходящие места для хранения коллекции картин — следовательно, он либо спекулировал ими, либо действовал по чьему-нибудь поручению, либо (в тех случаях, когда это были ценные произведения, которые правительство предпочитало сохранить в пределах страны) помогал вывезти их из Франции контрабандой.

Несколько раз Барбер встречал его в турецкой бане отеля «Кларидж» — маленький толстяк с неожиданно красивыми ногами, завернувшись в простыню и блаженно улыбаясь, сгонял паром жир, накопившийся за многие годы обжорства в лучших ресторанах Европы.

Кроме того, около шести вечера ему приходилось видеть Смита в парикмахерской «Георга Пятого», где он брился, а позднее — в баре на верхнем этаже, или в баре «Рэле-Плаза», или в английском баре, в подвале «Плаза-Атене». А поздно вечером — в ночных кабаре «Белый Слон», «Карроль», «Красная Роза»...

Барбер тоскливо подумал о последних пятнадцати тысячах в своем бумажнике. Это будет долгий, сырой, тяжелый день, который потребует больших расходов. Он надел шляпу, пальто и вышел. Дождь моросил по-прежнему. Барбер подозвал такси и велел ехать в ресторан на Ронд-По.

Все началось месяца два назад на ипподроме в Отейле, перед шестым заездом. День был туманный, и зрителей собралось не много. Барберу

не очень везло, но он располагал конфиденциальными сведениями, как играть в шестом заезде, и, поставив пять тысяч (в случае выигрыша он получил бы сорок), забрался повыше, чтобы лучше видеть, как идут лошади.

На трибуне вблизи него был только один зритель — маленький толстяк в дорогой велюровой шляпе, похожий на англичанина, так как в руках он держал бинокль и сложенный зонтик. Незнакомец с улыбкой кивнул Барберу. Вежливо улыбнувшись в ответ, Барбер почувствовал, что уже много раз видел этого человека, а может быть, его брата, а может быть, десяток других похожих на него мужчин — в ресторанах, в барах, на улице, обычно с высокими девицами, которые могли быть макекенницами низшего разряда или проститутками высшего разряда.

Человек с зонтиком прошел вдоль сырой бетонной скамьи и встал рядом с ним. На его маленьких ногах были шегольские ботинки, на груди пестрел галстук, а холеное лицо с большими темными глазами, окаймленными густыми черными ресницами, казалось, было лишено каких-либо национальных черт. Про себя Барбер называл такие лица импортно-экспортными. Оно было одновременно любезным, циничным, самоуверенным, чувственным, унылым и дерзким. Его обладатель мог быть турком, или венгром, или греком, или уроженцем Басры. Людей с такими лицами можно было видеть в Париже, Риме, Брюсселе и Танжере — всегда в лучших отелях, всегда занятых каким-то сделками. При виде такого лица почему-то кажется, что оно иной раз представляет интерес для полиции.

— Добрый день, — сказал незнакомец по-английски, прикоснувшись кончиками пальцев к полям шляпы. — Вам повезло сегодня? — Он говорил с акцентом, но трудно было понять, с каким именно. Как будто в детстве он посещал школы во многих странах и у него было десять нянек десяти различных национальностей.

— Более или менее, — осторожно ответил Барбер.

— Какую вы облюбовали в этом заезде? — Незнакомец указал зонтиком на поле, где лошади, осторожно ступая по грязной траве, собирались к линии старта.

— Третий номер.

— Третий? — Незнакомец пожал плечами, словно ему было жаль Барбера, но хороший тон не позволял сказать об этом. — Как у вас идут дела в кино?

— Кино уже месяц назад уехало в Штаты, — сказал Барбер, слегка удивленный осведомленностью своего собеседника. Одна американская фирма снимала фильм о войне, и Барбер в качестве технического эксперта четыре удачных денежных месяца надевал на ведущих актеров парашюты и объяснял режиссеру разницу между «П-47» и «Б-25»¹.

— А звезда-блондинка? — спросил незнакомец, опуская бинокль. — С такими чарующими бедрами?

— Тоже уехала.

Толстяк поднял брови и легонько покачал головой, словно выражая сожаление, что его новый знакомый и город Париж лишились этих чарующих бедер.

— Ну, по крайней мере вы теперь можете посещать ипподром. — Он посмотрел в бинокль на скаковую дорожку и произнес: — Вон они пошли.

Номер три лидировал до последней прямой, но тут его одна за другой обогнали четыре лошади.

¹ «П-47» — истребитель «Рипаблик П-47», «Б-25» — тяжелый бомбардировщик «Бонни Б-25».

— В этой стране, — сказал Барбер, — дистанция всегда на сотню метров длиннее, чем нужно.

Он вынул билеты, разорвал их пополам и бросил на мокрый бетон.

Потом он с удивлением заметил, что толстяк тоже достал несколько билетов и быстро разорвал их. Это были билеты с номером три и на большую сумму. Незнакомец бросил их с покорной и несколько проницательской улыбкой человека, который привык всю жизнь рвать внезапно теряющие всякую ценность бумаги.

— Вы останетесь на последний заезд? — спросил он, когда они начали спускаться меж пустых скамеек.

— Не думаю, — ответил Барбер. — Пожалуй, на сегодня хватит.

— Почему бы вам не остаться? Может быть, мне удастся что-нибудь узнать.

Барбер на мгновение задумался, прислушиваясь к звуку шагов по бетону.

— Меня ждет автомобиль, — сказала незнакомец, — я могу подвезти вас в город, мистер Барбер.

— О, — удивился Барбер, — вы знаете мое имя?

— Конечно, — улыбаясь, ответил незнакомец. — Может быть, вы подождете меня в баре? Мне нужно получить кое-какой выигрыш.

— Мне казалось, что вы проиграли, — недоверчиво проговорил Барбер.

— На третьем номере. — Незнакомец извлек из другого кармана еще несколько билетов и помахал ими. — Всегда следует подстраховываться. Так увидимся в баре?

— Ладно. — Барбер согласился не потому, что рассчитывал получить от человека с зонтиком полезный намек о последнем заезде. Его соблазнила машина. — Кстати, как вас зовут?

— Смит. Берт Смит.

Барбер пошел в бар и заказал кофе, но тут же передумал и потребовал коньяку — после такого заезда кофе было явно недостаточно. Он стоял, нагнувшись над стойкой, и с горечью думал о том, что принадлежит к той категории людей, которые всегда забывают подстраховаться. Смит, думал он, Берт Смит. Опять подстраховка. Сколько имен успел потерять этот человек, пока не стал Бертом Смитом?

Новый знакомец неслышно подошел к стойке и с улыбкой коснулся его плеча.

— Мистер Барбер, — сказал он, — есть слух насчет седьмого заезда. Номер шесть.

— Я никогда не выигрываю на шестом номере.

— Нет, это чудный слух, и стоит он двадцать два к одному.

Барбер с сомнением посмотрел на Смита. Зачем все это ему понадобилось?

— Какого черта... — Он направился к окошку тотализатора. — Мне терять нечего.

Он поставил пять тысяч франков на номер шесть и весь заезд уверенно просидел в баре за коньяком. Номер шесть пришел первым, обойдя соперника на полкорпуса, и хотя выигрыш оказался немного меньше, чем предполагалось, все-таки это было восемнадцать к одному.

Наступили сырые сумерки. Барбер шагал по брошенным газетам, стоптанной траве, которая пахла древесиной, и поглаживал внутренний карман, где, приятно торжась, лежали девяносто тысяч франков, — ему понравился семенявший рядом маленький толстяк.

У Берта Смита был «ситроэн». Автомобиль он водил быстро, умело и опасно; подрезал другие машины, у светофора выскакивал далеко за линию «стоп», чтобы затем оказаться первым в волне.

— Вы часто играете на бегах, мистер Барбер? — спросил он, когда они проезжали мимо полицейского-регулирущика — унылой фигуры в белом плаще на середине блестящей от воды мостовой.

— Даже слишком, — ответил Барбер, с наслаждением ощущая тепло автомобиля, легкое действие выпитого коньяка и плотный сверток во внутреннем кармане.

— Вы любите азарт и риск?

— А кто их не любит?

— Ну, таких людей немало, — сказал Смит, чуть не задев грузовик. — Мне их жаль.

— Жаль? — Барбера удивило это слово, и он посмотрел на Смита. — Почему?

— Потому что, — с улыбкой, ласково ответил тот, — в наш век у каждого человека бывает такой момент, когда он вынужден идти на риск — и не только ради денег, у окошечка тотализатора. И когда этот момент наступает, тот, кто не привык рисковать и боится азарта, наверняка проиграет.

Некоторое время они ехали молча. Барбер искоса поглядывал на освещенное светом приборов ласковое и самоуверенное лицо человека за рулем. Интересно бы взглянуть на его паспорт, думал Барбер, на все паспорта, которыми он пользовался последние двадцать лет.

— Например, — произнес Смит, — в прошлую войну...

— Да?

— Когда вы вылетали на выполнение боевого задания. Разве не было секунд, когда приходилось сразу принимать решение, ставить на свою удачу? И если вы медлили, если вас пугал риск — вззз... — Смит снял с руля одну руку и опущенным большим пальцем плавно провел вниз. Потом улыбнулся Барберу и спросил: — Я полагаю, вы один из тех молодых людей, которые десятки раз смотрели в глаза смерти?

— Пожалуй.

— Мне нравятся такие американцы, — сказал Смит. — Они больше похожи на европейцев.

— Откуда вы знаете, что я был на фронте? — спросил Барбер. В первый раз он усомнился, так ли уж случайно Смит оказался рядом с ним на трибуне во время шестого заезда.

Смит засмеялся.

— Вы давно в Париже? Года полтора?

— Шестнадцать месяцев, — ответил Барбер, недоумевая, откуда известно и это.

— Ничего удивительного, — сказал Смит. — В барах, на званых обедах люди разговаривают... Одна женщина рассказывает другой. Париж, в сущности, маленький город. Куда вас отвезти?

Барбер поглядел в окно.

— Недалеко отсюда. Мой отель как раз за авеню Виктора Гюго. Туда на автомобиле нет въезда.

— Да, да, — сказал Смит, словно знал все особенности каждого отеля в Париже. — Если это не будет слишком нескромным, позвольте спросить, вы еще долго собираетесь оставаться в Европе?

— Это зависит от многих обстоятельств.

— Например?

— Например, от удачи, — улыбнулся Барбер.

— У вас была хорошая работа в Америке? — спросил Смит, не отрывая глаз от двигавшегося впереди потока автомобилей.

— Через тридцать лет, если бы я работал по десяти часов в сутки, возможно, мне удалось бы стать третьим человеком в фирме.

— Невесело, — улыбнулся Смит. — А здесь вы нашли что-нибудь более интересное?

— Случалось и так, — ответил Барбер, замечая, что его допрашивают.

— После войны очень трудно почувствовать интерес к чему-нибудь, — продолжал Смит. — Война ужасающе скучна, но когда наступает мир, оказывается, что он еще скучнее. Это самый худший результат войны. Вы еще летаете?

— Изредка.

Смит кивнул.

— А документы у вас в порядке?

— Да.

— Это разумно.

Смит резко свернул к обочине и затормозил. Барбер вышел из машины.

— Вот вы и дома, — произнес Смит и, улыбаясь, протянул ему руку. Она была очень мягкой, но казалось, что внутри скрыт камень.

— Благодарю вас за все, — сказал Барбер.

— А я вас, мистер Барбер, за компанию. — Смит задержал руку Барбера и в упор посмотрел на него. — Это был очень приятный вечер. Надеюсь, мы скоро опять встретимся. Как знать, не приносим ли мы удачу друг другу.

— Безусловно, — улыбнулся Барбер. — Я всегда дома для людей, которые умеют выигрывать на скачках восемнадцать к одному.

Смит отпустил руку Барбера и улыбнулся.

— Может быть, скоро нам подвернется что-нибудь получше, чем восемнадцать к одному.

Он слегка помахал рукой, и Барбер захлопнул дверцу машины. Смит резко взял с места и врезался в поток автомобилей так, что позади него один маленький «рено» чуть не наскочил на другой.

Смит раскрыл свои карты только через две недели. Барбер с самого начала чувствовал, что все это неспроста, но терпеливо ждал. Испытывая большое любопытство и забавляясь в душе, он завтракал со Смитом в дорогих ресторанах, где тот был завсегдатаем, ходил с ним на художественные выставки и слушал рассуждения об импрессионистах; посещал ипподром и благодаря сведениям, которые Смит добывал около конюшен от молчаливых людей, стал довольно часто выигрывать.

Барбер притворялся, что общество умного маленького толстяка доставляет ему гораздо больше удовольствия, чем было на самом деле, и в то же время отлично понимал, что Смит в свою очередь явно преувеличивает свои симпатии к нему. Это напоминало замаскированный и циничный флирт, в котором ни одна сторона еще не высказалась в открытую. Но в отличие от обычного флирта первые две недели Барбер не знал точно, что именно привлекает в нем Смита.

Затем как-то ночью, после обильного обеда и довольно безрадостных скитаний по ночным кабаре, во время которых Смит был необычно молчалив и рассеян, он сделал первый ход. Они стояли около отеля, где жил Смит. Ночь была холодная, и улица казалась совсем пустынной. Никаких прохожих — только одинокая проститутка с собачкой, направляясь к Елисейским Полям, посмотрела на них без всякой надежды и пошла дальше.

— Ллойд, завтра утром вы будете дома? — спросил Смит.

— Да. А в чем дело?

— В чем дело... — рассеянно повторил Смит, глядя, как замерзшая женщина и ее пудель с упорством отчаяния шагают по темной пустой

улице.— В чем дело?..— Он вдруг рассмеялся.— Хочу кое-что показать вам.

— Я буду дома все утро.

— Скажите, друг мой,— спросил Смит, легко положив на плечо Барбера свою затянутую в перчатку руку,— как по-вашему, почему последние две недели я так часто навещал вас, кормил хорошими обедами и поил превосходным виски?

— Потому что я интересный и обаятельный человек,— с усмешкой ответил Барбер,— а кроме того, вам от меня что-то нужно.

Смит опять рассмеялся, на этот раз громче, и потрепал Барбера по плечу.

— А вы не так уж глупы, друг мой, верно?

— Пожалуй.

— Скажите, друг мой,— продолжал Смит почти шепотом,— хотелось бы вам заработать двадцать пять тысяч долларов?

— Что? — переспросил Барбер, не веря своим ушам.

— Ш-ш-ш,— сказал Смит и вдруг весело заулыбался.— Обдумайте это. Я найду к вам утром. Спасибо, что проводили меня.— Он снял с плеча Барбера руку и направился к дверям отеля.

— Смит! — окликнул его Барбер.

— Ш-ш-ш.— Смит игриво приложил палец к губам.— Спокойной ночи. До завтра.

Барбер смотрел, как Смит, миновав вращающуюся стеклянную дверь, вошел в огромный, ярко освещенный вестибюль, потом сделал шаг к подъезду, чтобы догнать его, но остановился, пожал плечами и, подняв воротник, медленно зашагал к своему отелю. «Я ждал уже долго,— подумал он,— подожду до утра».

На следующее утро Барбер еще лежал в постели, когда дверь отворилась и вошел Смит. Занавески были задернуты, в комнате царил полумрак, и Барбер лениво думал в полусне: «Двадцать пять тысяч, двадцать пять тысяч». Услышав, что кто-то вошел, он открыл глаза. В двери, как в раме, на фоне слабо освещенного коридора темнел невысокий массивный силуэт.

— Кто тут? — спросил Барбер, даже не приподнявшись.

— Извините, Ллойд,— сказал Смит.— Спите, а я найду потом.

Барбер быстро сел на постели.

— Входите, Смит.

— Я не хочу мешать...

— Входите, входите! — Барбер соскочил на пол, не надевая туфель, подошел к окну и отдернул занавески. Он выглянул на улицу.— А сегодня солнце,— сказал он и, дрожа от холода, захлопнул окно.— Закройте дверь.

На Смите было серое пальто свободного английского покроя и итальянская шляпа из мягкого фетра. В руках он держал большой коричневый конверт. Смит был чисто выбрит, весь дышал свежестью, но в нем чувствовалась какая-то настороженность.

Жмурясь от внезапно хлынувшего в комнату солнечного света, Барбер надел халат, домашние туфли и закурил сигарету.

— Извините, я хочу умыться,— сказал он и прошел за ширму, которая отделяла умывальник и унитаз от остальной комнаты.

Пока он мылся, брился и смачивал волосы холодной водой, Смит подошел к окну и стал тихонько напевать мягким и мелодичным тенором арию из оперы, название которой Барбер никак не мог вспомнить. «Помимо всего прочего, этот сукин сын,— подумал он, энергичными дви-

жениями расчесывая волосы,— наверняка знает наизусть пятьдесят опер».

Барбер вышел из-за ширмы, чувствуя себя освеженным, а вычищенные зубы и причесанные волосы каким-то образом увеличивали его шансы в предстоящей схватке.

— Париж,— сказал Смит, выглядывая в окно,— какой приятный город, но какой фарс! — Потом с улыбкой повернулся к Барберу.— Вы просто счастливчик, вам можно мочить голову.— Он грустно потрогал свои жидкие, тщательно расчесанные волосы.— Каждый раз, когда я мою волосы, они падают, как листья. Сколько вам лет? Я что-то забыл.

— Тридцать,— ответил Барбер, зная, что Смит прекрасно это помнит.

— Какой возраст! — вздохнул Смит.— Упоительный момент равновесия, когда уже знаешь, чего хочешь, и еще есть силы для всего.— Он отошел от окна, сел, поставив коричневый конверт на пол рядом со стулом, и почти кокетливо посмотрел снизу вверх на Барбера.— Да, для всего. Вероятно, вы помните наш вчерашний разговор?

— Кажется, кто-то что-то сказал о двадцати пяти тысячах долларов?

— Ага, значит, вы помните! — весело воскликнул Смит.— Ну и что же?

— Что — что же?

— Вы хотите заработать их?

— Я вас слушаю,— ответил Барбер.

Смит поднес свои мягкие ладони к лицу и осторожно потер их, не сгибая пальцы; раздался тихий сухой шелест.

— Есть небольшое дельце,— сказал он,— безынтересное маленькое дельце.

— Что я должен сделать, чтобы отработать мои двадцать пять тысяч долларов?

— Что вы должны сделать, чтобы отработать ваши двадцать пять тысяч долларов? — ласково повторил Смит.— Немножко полетать. Ведь вам приходилось летать и за меньшую сумму, не так ли? — засмеялся он.

— Конечно,— сказал Барбер.— А еще что?

— Больше ничего,— ответил Смит удивленным тоном,— только полетать. Хотите слушать дальше?

— Продолжайте.

— Один мой друг недавно купил повенький одномоторный самолет. Одномоторный «бичкрафт». Идеальная, послушная, комфортабельная машина. Стопроцентная надежность,— сказал Смит, смакуя новизну и абсолютную надежность совершенного маленького самолета.— Сам он, конечно, не летает. Ему нужен личный пилот, который в любое время был бы в его распоряжении.

— На какой срок? — спросил Барбер, внимательно глядя на Смита.

— На тридцать дней, не больше,— улыбнулся Смит.— И оплата приличная, не правда ли?

— Сразу сказать трудно. Продолжайте. Куда он хочет лететь?

— Дело в том, что он египтянин,— ответил Смит с легким сожалением в голосе, как будто принадлежность к этой нации была чем-то вроде личного несчастья, о котором говорят только в кругу друзей, да и то понизив голос.— Он богат и любит путешествовать. Особенно во Францию и обратно. На юг Франции. Он просто влюблен в Южную Францию и стремится туда при любой возможности.

— Ну и что же?

— В следующем месяце он хотел бы совершить на своей новой машине два полета из Египта в район Канна,— сказал Смит, глядя пря-

мо в лицо Барбера.— Во время третьего рейса окажется, что нужно спешить, и он воспользуется пассажирским лайнером. А его личный пилот последует за ним через два дня. Один.

— Один? — переспросил Барбер, стараясь не упустить ни малейшей детали.

— Один,— ответил Смит,— если, конечно, не считать маленького ящика.

— Ага,— усмехнулся Барбер,— наконец-то появился маленький ящик.

— Наконец-то,— восхищенно улыбнулся Смит.— Все уже рассчитано. Ящичек будет весить двести пятьдесят фунтов. Прекрасный запас надежности для такого самолета.

— И что же будет в этом двухсотпятидесятифунтовом ящичке? — спокойно спросил Барбер. Теперь, поняв, что ему предлагают, он почувствовал облегчение.

— Разве это так уж необходимо знать?

— А что я скажу в таможне, когда меня спросят, что в ящике? — сказал Барбер.— Спросите у Берта Смита?

— Все обойдется без таможни, уверяю вас,— сказал Смит.— Когда вы вылетите с каирского аэродрома, ящика в самолете не будет. И когда вы приземлитесь в Канне, ящика в самолете тоже не будет. Может быть, хватит объяснений?

Барбер в последний раз затянулся и погасил сигарету. Он задумчиво посмотрел на Смита, непринужденно сидевшего на стуле с прямой спинкой. В этой комнате, где все было перевернуто вверх дном, он выгледел чересчур аккуратным и чересчур хорошо одетым.

— Нет, милый Берти,— резко сказал Барбер,— не хватит. Говорите все до конца.

Смит вздохнул.

— Но то, что вы слышали, вас интересует?

— Да, интересует.

— Ну хорошо,— с сожалением сказал Смит,— действие будет разворачиваться следующим образом. Прежде всего к вам должны привыкнуть. Несколько раз вы будете прилетать на каирский аэродром. Документы всегда в идеальном порядке. Вас узнают. Вы станете частью повседневной жизни аэродрома. Затем, когда вам придется лететь одному, все будет строго в рамках закона. С вами только небольшой чемодан с личными вещами. В маршрутной карте значится, что пункт назначения — Канн, с посадками на Мальте и в Риме только для заправки. Вы вылетаете из Каира. Затем уклоняетесь от курса — всего на несколько миль. Недалеко от побережья начинается пустыня. Вы приземлитесь на старой взлетной дорожке английских ВВС, заброшенной с сорок третьего года. Там будет несколько человек... Вы слушаете?

— Да, я слушаю.— Барбер подошел к окну и, повернувшись спиной к Смиту, глядел на солнечную улицу.

— Они погрузят ящик в самолет. Все это вместе займет не более десяти минут. На мальтийском аэродроме вам не будет задавать никаких вопросов, потому что вы следуете транзитом, не вылезаете из машины и после заправки немедленно отправляетесь дальше. То же самое в Риме. Над южным берегом Франции вы будете лететь вечером, перед восходом луны. Еще раз,— Смит смаковал каждое слово,— вы чуть-чуть собьетесь с курса. Над холмами между Канном и Грассом вы пойдете на небольшой высоте. В некоем месте будут гореть сигнальные огни. Вы сбавите газ, откроете дверцу и вытолкнете ящик с высоты приблизительно в сотню футов. Потом закроете дверцу, повернете к морю и приземлитесь на аэродроме в Канне. Документы в идеальном порядке, никаких отклонений от маршрута. Не надо ни о чем заявлять.

Вы просто вылезете из машины и больше никогда ее не увидите. За это мы заплатим вам двадцать пять тысяч долларов, о которых я говорил. Восхитительно, не правда ли?

— Восхитительно. Чудесный план, милый Берти,— сказал Барбер и отошел от окна.— А теперь скажите мне, что будет в ящике?

Смит радостно засмеялся, как будто то, что он хотел сказать, было очень остроумно и он просто не мог удержаться и промолчать.

— Деньги, только деньги.

— И много?

— Двести пятьдесят фунтов,— сказал Смит, и около его глаз легли веселые морщинки.— Двести пятьдесят фунтов английских банкнот, уложенных пачками в легком и красивом металлическом ящике. Пятифунтовые банкноты.

Вдруг Барберу показалось, что он разговаривает с сумасшедшим. Но перед ним сидел вполне нормальный и очень практичный человек, который за всю жизнь ни разу не усомнился в своем рассудке.

— Когда я получу деньги? — спросил Барбер.

— После доставки ящика.

— Милый Берти...— Барбер укоризненно покачал головой.

Смит опять засмеялся.

— Недаром я предупреждал себя, что вы совсем не глупы,— сказал он.— Ну хорошо. Перед первым рейсом мы положим на ваше имя в какой-нибудь швейцарский банк двенадцать с половиной тысяч долларов.

— Вы настолько доверяете мне?

Улыбка на мгновение исчезла с лица Смита.

— Да, настолько доверяем,— сказал он и опять заулыбался.— А после доставки немедленно переведем остальное. Недурное дельце. Плата наличными. Никакого подоходного налога. Вы будете богатым, или, вернее, полубогатым.— Он засмеялся своей шутке.— И за все это — только маленький рейс на самолете. Чтобы помочь некоему египтянину, который обожает Южную Францию и, естественно, несколько озабочен неустойчивым положением в своей собственной стране.

— Когда я познакомлюсь с этим египтянином?

— На аэродроме перед первым полетом. Не волнуйтесь, он будет там. Вы колеблетесь? — озабоченно спросил Смит.

— Я думаю,— сказал Барбер.

— И это не имеет никакого отношения к вашей стране,— проникновенно сказал Смит.— Я никогда не предложил бы такое дело, да еще человеку, который сражался за свою родину во время войны. И это не касается даже англичан, к которым вы, может быть, питаете симпатию. Но египтяне...— Он пожал плечами, наклонился, поднял коричневый конверт и вскрыл его.— Я захватил все необходимые карты. На случай, если вам захочется взглянуть на них. Маршрут намечен, но, конечно, решать будете вы; лететь ведь вам.

Барбер вынул плотно сложенные карты и наугад развернул одну из них. На ней было только побережье Мальты и подходы к аэродрому. Барбер подумал о двадцати пяти тысячах долларов, и карта в его руках немного задрожала.

— Это до смешного легко,— произнес Смит, внимательно наблюдая за ним.— Стопроцентная гарантия.

Барбер положил карту.

— Если все так просто, за что же вы платите двадцать пять тысяч? Смит засмеялся.

— Конечно, есть небольшой риск. Это маловероятно, но все может случиться. Мы платим именно за эти маловероятные обстоятельства.—

Он пожал плечами.— В конце концов после такой войны вы, вероятно, немного привыкли к риску.

— Когда я должен дать ответ? — спросил Барбер.

— Сегодня вечером. Если вы откажетесь, нам, конечно, придется менять свои планы. А мой египетский друг нетерпелив.

— Кому это нам?

— Естественно,— ответил Смит,— у меня есть коллеги.

— Кто они?

Смит с сожалением пожал плечами.

— Мне очень грустно,— сказал он,— но я не могу ответить на этот вопрос.

— Я позвоню вам вечером,— сказал Барбер.

— Отлично.— Смит встал, застегнул пальто, долго и тщательно надел свою мягкую итальянскую шляпу.— Сегодня днем я буду на ипподроме. Может быть, вы захотите присоединиться ко мне?

— А где?

— В Отейле,— ответил Смит.— Сегодня скачки с препятствиями.

— Вам удалось что-нибудь узнать?

— Кажется, да. Одна кобыла участвует сегодня в первый раз. Я говорил с жокеем, и он сказал, что на тренировках все было в порядке. Впрочем, в три я узнаю точнее.

— Я приеду.

— Отлично,— с энтузиазмом сказал Смит,— приезжайте. Хотя заранее обогащать вас и против моих интересов,— он засмеялся,— но ради дружбы... Карты оставить?

— Да.

— Ну, так увидимся в три,— произнес Смит, когда Барбер открыл ему дверь.

Они обменялись рукопожатиями, и Смит вышел в коридор. Жалкий свет чахоточных ламп освещал его элегантную, сильно надушенную, облаченную в свободное пальто фигуру.

Барбер запер дверь, взял пакет с картами и разложил их прямо на кровати, поверх смятых простынь и одеял. Он уже давно не видел авиационных карт. Северный Египет. Средиземное море. Остров Мальта. Сицилия и итальянское побережье. Генуэзский залив. Приморские Альпы. Он пристально смотрел на карты. Средиземное море казалось очень широким. Ему совсем не хотелось лететь в одномоторной машине над открытым морем. А вернее, ему вообще не хотелось летать. После войны он старался летать как можно меньше. Он не пытался объяснить себе почему, но когда ему надо было куда-нибудь ехать, он всегда выбирал автомобиль, поезд или пароход, если это было возможно.

«Двадцать пять тысяч долларов»,— подумал он.

Он аккуратно сложил карты и засунул их обратно в конверт. Сейчас они не могли помочь.

Он снова лег на кровать, откинулся на подушки и заложил руки за голову. Открытое море. Пять полетов. Даже это было еще терпимо. Но египтяне? Во время войны ему довелось побывать в Каире. Он вспомнил ночные патрули — двое полицейских с карабинами. Лучше держаться подальше от мест, где полиция вооружена карабинами. А египетские тюрьмы...

Барбер беспокойно заерзал на кровати.

Кто знает, сколько людей посвящено в это дело? А чтобы все провалить, нужно немного. Обиженный слуга или сообщник; жадный или робкий компаньон... Он закрыл глаза и представил, как вооруженные карабинами смуглые жирные люди в полицейской форме подходят к новенькому, блестящему самолету.

Вдруг лопнет баллон или на взлетной дорожке помнется шасси? И вообще, кто знает, что это за дорожка — в пустыне, заброшенная с 1943 года?

Двадцать пять тысяч долларов.

Он представил, как все произойдет. Ящик лежит рядом на сиденье, сзади быстро исчезает египетское побережье. Внизу и далеко впереди расстилается море, мотор работает как часы. И вдруг — первый признак патрульного самолета — блестящая точка на горизонте. Она превращается в... Какими самолетами вооружены египетские воздушные силы? Наверно, «спитфайрами», оставшимися со времен войны. Он неумолимо приближается — скорость его вдвое больше твоей, — сигналом приказывает повернуть обратно... Он закурил сигарету. Двести пятьдесят фунтов. Ну, скажем, ящик — а он должен быть достаточно прочным — весит сто пятьдесят фунтов. А сколько весит пятифунтовая ассигнация? Тысяча штук один фунт? Пять тысяч, помноженные на сто, а по курсу фунт стерлингов стоит два доллара восемьдесят центов — почти полтора миллиона долларов.

Во рту у него пересохло, он встал и выпил два стакана воды. Затем заставил себя сесть на стул и спокойно положить руки на колени. А если с самолетом что-нибудь случится, если груз доставить не удастся... Если деньги пропадут, а ты останешься цел? Смит не похож на убийцу, хотя, кто знает, как выглядят убийцы в наше время. И что это за другие люди? «Мои коллеги», — сказал Смит. Богатый египтянин, несколько человек на взлетной дорожке в пустыне, люди, которые должны зажечь сигнальные огни на холмах около Канна... Сколько их проскальзывает через границы, тайно и нелегально переезжает из одной страны в другую, перевоза в своих чемоданах золото и оружие, сколько их, этих людей, выживших, несмотря на войну, тюрьмы, разоблачения? Сколько их, кого ты не знаешь и только на несколько мгновений увидишь в палящих лучах африканского солнца и на темных холмах Южной Франции, — тех, чей характер ты не можешь оценить и проверить, но от кого зависит твоя жизнь, кто рискует тюрьмой, высылкой, смертью от полицейской пули ради своей доли сокровища в металлическом ящике?

Барбер вскочил, оделся, запер дверь и вышел на улицу. Он не хотел сидеть в холодной, неудобной комнате и смотреть на эти карты.

Остаток утра Барбер бесцельно бродил по городу, заглядывая невнимающими глазами в витрины магазинов и думая о вещах, которые он купил бы, будь у него деньги. Повернувшись, он увидел смотревшего на него с глубоким безразличием полицейского. Барбер оглядел его — маленький рост, неприятное лицо, коротенькие усики. Рассматривая полицейского, Барбер вспомнил рассказы о том, как допрашивают подозреваемых в задних комнатах местных префектур. Даже американский паспорт не поможет, если тебя цапают с полумиллионом английских фунтов под мышкой.

«Впервые в жизни, — с любопытством отметил Барбер, медленно двигаясь по запруженной людьми улице, — я взвешиваю возможность совершить преступление». Он был удивлен, что так спокойно размышляет об этом. Почему? Наверно, из-за кино и газет. Настолько привыкаешь к преступлениям, что они становятся чем-то естественным и возможным. Об этом не думаешь, но потом, когда преступление внезапно вторгается в твою жизнь, понимаешь, что подсознательно уже давно считаешь его почти нормальной принадлежностью повседневной жизни. «Полицейские, вероятно, понимают это, — подумал он, — ведь им хорошо известна другая сторона медали. Вероятно, они глядят на обычные, ничего не выражающие лица и понимают, как близок каждый человек к

убийству, краже, растрате. Это, наверно, сводит их с ума, и у них появляется желание упрятать всех за решетку».

Перед шестым заездом Барбер смотрел, как лошади неуверенным, неуклюжим шагом проходят по загону; вдруг он почувствовал, что кто-то легонько похлопывает его по плечу.

— А, милый Берти,— произнес он, не оборачиваясь.

— Извините, что я опоздал,— сказал Смит, подходя к изгороди загона, около которого стоял Барбер.— Вы испугались, что я не приду?

— Что говорит жокей?

Смит подозрительно огляделся, потом на его лице появилась улыбка.

— Жокей уверен. Он сам ставит.

— Какой номер?

— Пятый.

Барбер посмотрел на номер пять. Это была тонконогая гнедая кобыла с изящной головой и кроткими глазами. Ее хвост и грива были заплетены. Она выглядела резвой, но не слишком нервной, и послушной, а шерсть ее так и лоснилась. Ее жокей, человек лет сорока, с длинным французским носом, был очень некрасив, а когда он открывал рот, бросалось в глаза, что у него почти нет передних зубов. На нем был коричневый картуз, закрывавший уши, и белый шелковый камзол, расшитый коричневыми звездочками.

Глядя на него, Барбер подумал: «Как жаль, что на таких красивых животных ездят такие уродливые люди».

— Отлично, милый Берти,— сказал он Смицу,— ведите меня к тотализатору.

Барбер поставил десять тысяч франков. Выплата предполагалась недурная — семь к одному. Смит поставил двадцать пять тысяч франков. Пока лошадей выстраивали у старта, Барбер и Смит вернулись на трибуны и поднялись повыше, где почти не было зрителей.

— Ну, Ллойд,— спросил Смит,— вы ознакомились с картами?

— Да, я ознакомился с картами,— сказал Барбер.

— Ну и как?

— Отличные карты.

Смит раздраженно посмотрел на него, но потом решил засмеяться.

— Хотите помучить меня, э? — сказал он.— Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы решили?

— Я... — начал Барбер, пристально глядя на лошадей. Он сделал глубокий вдох и закончил: — Я отвечу вам после заезда.

— Ллойд! — услышал Барбер и посмотрел вниз направо, откуда доносился голос. По ступенькам взбирался Джимми Ричардсон. Он всегда был толстоват, чем-то напоминая пухленького младенца, а парижская кухня не помогла ему стать стройнее. Джимми пытел, из-под распахнувшегося пальто выглядывал пестрый свитер.

— Ну, как живешь? — подойдя к ним, задыхающимся голосом сказал он и похлопал Барбера по спине.— Я увидел тебя наверху и подумал, что, может, тебе что-нибудь известно об этом заезде. Я никак не могу сообразить что к чему и весь день только проигрываю. Скачки с препятствиями для меня всегда лес темный.

— Здравствуй, Джимми! Мистер Ричардсон, мистер Смит.

— Очень приятно,— сказал Ричардсон.— А как пишется ваша фамилия? — Он громко засмеялся своей шутке.— Ллойд, ты все-таки разбираешься! Морин просто убьет меня, если я скажу, сколько продул сегодня.

Барбер взглянул на Смита, который снисходительно рассматривал Ричардсона.

— Ну,— сказал он,— милый Берти полагает, что кое-что слышал.

— Милый Берти,— проговорил Ричардсон,— ну будьте так добры... Смит деланно улыбнулся.

— У пятого номера есть кое-какие шансы,— сказал он,— но поторопитесь, через минуту будет дан старт.

— Пятый номер? Порядок. Я сейчас.— И Ричардсон вприпрыжку почмчался по ступенькам, полы пальто развевались за его спиной.

— Трогательная доверчивость, не правда ли? — заметил Смит.

— Он был единственным ребенком в семье, и это осталось на всю жизнь.

Смит вежливо улыбнулся.

— Он служил в моей эскадрилье.

— А, в вашей эскадрилье,— кивнул Смит, глядя на удаляющуюся фигуру Ричардсона, спешившего к окошку тотализатора.— Летчик?

— Да.

— И хороший?

Барбер пожал плечами.

— Самые хорошие погибли, а самые плохие забрали все медали.

— А что он делает в Париже?

— Работает в фармацевтической фирме.

Раздался удар колокола, и лошади устремились к первому препятствию.

— Боюсь, что ваш друг опоздал,— сказал Смит и приложил к глазам бинокль.

— Пожалуй,— ответил Барбер, глядя на сбившихся в кучу лошадей.

Номер пять упала на четвертом препятствии. Она прыгнула вместе с двумя другими лошадьми и вдруг покатила по траве. Четвертое препятствие находилось в дальнем конце дорожки, и сперва было трудно понять, что случилось. Потом гнедая кобыла встала и легким галопом побежала за остальными, волоча по земле разорванные поводья. И тут Барбер увидел, что жокей, не двигаясь, лежит лицом вниз, как-то странно поджав голову под плечо.

— Мы проиграли,— спокойно сказал Смит. Он опустил бинокль, достал билеты, разорвал их и бросил.

— Разрешите.— Барбер протянул руку к биноклю.

Смит снял с шеи ремешок, и Барбер навел бинокль на четвертое препятствие, где лежал жокей. Вот подбежали два человека и перевернули его.

Барбер навел бинокль еще точнее, и две фигуры, склонившиеся над неподвижным телом в белом с коричневыми звездочками камзоле, из расплывчатых стали резкими. Даже в бинокль можно было заметить в движениях этих людей торопливость и растерянность. Они подняли жокея и побежали с ним неуклюжей рысцой.

— Вот черт! — Это к ним снова присоединился Ричардсон.— Окошко закрылось как раз, когда я...

— Не жалуйтесь, мистер Ричардсон,— сказал Смит,— наш номер упал на четвертом препятствии.

Ричардсон расплылся в улыбке.

— Первый раз за сегодняшний день мне повезло.

Внизу перед трибунами легким галопом скакала кобыла без наездника, увертываясь от конюха, который пытался схватить порванные поводья.

Барбер по-прежнему смотрел на двух людей, которые несли жокея. Вдруг они опустили его на траву, один наклонился и прижался ухом к белому шелковому камзолу. Через некоторое время он выпрямился, за-

тем они снова подняли жокея и понесли дальше. Но теперь они шли медленно, словно спешить было незачем.

Барбер отдал бинокль Смиту.

— Я пошел домой,— сказал он,— на сегодня с меня хватит спорта.

Смит внимательно посмотрел на него. Потом он приложил бинокль к глазам и поглядел на людей, несших жокея. Затем убрал бинокль в футляр и перекинул ремешок через плечо.

— Каждый год гибнет по крайней мере один,— сказал он тихо.— В таком деле это неизбежно. Я подвезу вас.

— Значит,— сказал Ричардсон,— он разбился насмерть?

— Он был слишком стар для этого спорта,— ответил Смит.— Надо уметь остановиться вовремя.

— Господи! — воскликнул Ричардсон, глядя на скаковую дорожку.— А я еще разозлился, что опоздал на него поставить. Вот была бы ставка,— добавил он, сморщившись, как младенец,— ставка на мертвого жокея.

Барбер направился к выходу.

— Я поеду с вами,— сказал Ричардсон,— сегодня у меня несчастливый день.

Все трое молча прошли под трибуны. Везде виднелись маленькие кучки людей, и вокруг стоял какой-то странный свистящий шум — обсуждалось недавнее происшествие.

Когда они подошли к автомобилю, Барбер сел на заднее сиденье, уступив Ричардсону место рядом со Смитом. Ему хотелось хоть настолько остаться одному.

Смит вел машину медленно и молчал. Даже Ричардсон заговорил только один раз.

— Так кончить,— сказал он, когда они ехали по аллее, обсаженной высокими деревьями, которые теперь стояли без листвы.— В паршивом заезде, стоящем всего триста тысяч франков...

Барбер сидел в углу, полузакрыв глаза. Он все вспоминал, как те двое второй раз подняли жокея. «Выбор Смита»,— подумал Барбер. Он совсем закрыл глаза и увидел развернутые на своей кровати карты. Средиземное море. Бескрайние водные просторы. Он вспомнил запах гари. Самый страшный запах. Запах снов, которые снились во время войны. Запах горячего металла и тлеющей резины. Ставка на Смита.

— Приехали,— раздался голос Смита.

Барбер открыл глаза. Машина стояла около тупика, в конце которого находился его отель. Он вышел.

— Подождите минуту, милый Берти,— сказал Барбер,— мне надо вам кое-что отдать.

Смит вопросительно посмотрел на него.

— Нельзя ли это отложить, Ллойд? — спросил он.

— Нет. Я сейчас вернусь.

Барбер вошел в отель и поднялся к себе в номер. Сложенные карты лежали стопкой на комодe, но одна из них была развернута. Подходы к Мальте. Он быстро сложил ее, сунул все карты в коричневый конверт и вернулся к машине. Смит стоял у передней дверцы и нервно курил, придерживая шляпу,— поднявшийся ветер гнал вдоль тротуара опавшие листья.

— Вот, милый Берти,— сказал Барбер, протягивая конверт.

Смит не торопился брать его.

— Вы хорошо все обдумали?

— Да.

Смит по-прежнему не брал карты.

— Я не тороплю вас,— ласково продолжал он,— может быть, подержите их у себя еще денек?

— Нет, спасибо.

Несколько секунд Смит молча смотрел на него. Загорелись неоновые уличные фонари, и в резком бело-голубом свете гладкое лицо Смита, затененное полями дорогой шляпы, казалось белым, как пудра, а красивые глаза под длинными ресницами стали непроницаемо черными.

— И все из-за того, что жокей свалился у препятствия...— начал Смит.

— Возьмите,— проговорил Барбер,— или я брошу их в канаву.

Смит пожал плечами, протянул руку и взял конверт.

— Вам больше никогда не представится такой случай,— сказал он, нежно поглаживая край конверта.

— Спокойной ночи, Джимми,— Барбер наклонился к Ричардсону, который, сидя в автомобиле, смотрел на них с недоумением,— кланяйся от меня Морин.

— Послушай, Ллойд,— начал Ричардсон, открывая дверцу,— может быть, выпьем по стаканчику? Морин не ждет меня домой раньше чем через час. Вспомним старину и...

— Извини,— сказал Барбер, которому больше всего на свете хотелось остаться одному,— у меня свидание. Как-нибудь в другой раз.

Смит повернулся и задумчиво посмотрел на Ричардсона.

— У вашего друга всегда свидания. Он пользуется большим успехом. А вот я не прочь выпить, мистер Ричардсон. Буду очень рад, если вы присоединитесь ко мне.

— Что ж,— неуверенно проговорил Ричардсон,— я живу около ра-туши, и...

— Мне это как раз по дороге,— тепло улыбаясь, сказал Смит.

Ричардсон откинулся на сиденье, и Смит открыл дверцу. Потом он остановился и посмотрел на Барбера.

— Я ошибся в вас, Ллойд,— сказал он презрительно.

— Да, я уж слишком стар для этого спорта. Надо уметь остановиться вовремя.

Смит засмеялся и сел в машину. Они не пожали друг другу руки. Смит захлопнул дверцу, рывком взял в сторону от тротуара, и шофер недшего сзади такси вынужден был резко затормозить.

Барбер смотрел, как большой черный автомобиль быстро удаляется по улице, залитой резким бело-голубым светом. Потом он вернулся в свой номер и лег, потому что день, проведенный на ипподроме, всегда выматывал его.

Через час Барбер встал. Чтобы прогнать сон, он умыл лицо холодной водой, но это не помогло, он чувствовал пустоту и апатию. Не хотелось ни есть, ни пить, из головы не выходила мысль о мертвом жокее в измазанном камзоле. Ему не хотелось никого видеть. Он надел пальто и вышел, с ненавистью посмотрев на неприбранную комнату.

Барбер медленно шел к площади Звезды. Вечер был сырой, с реки надвигался туман, прохожих было мало — настал час ужина. Он не смотрел на освещенные витрины, потому что ему еще долго не придется ничего покупать. Он проходил мимо кинотеатров — неоновые пятна в волнах тумана. В фильме, подумал Барбер, герой давно уже был бы на пути в Африку. Несколько раз он избегнул бы ареста и в Египте вырвался бы из ловушки, устроенной в пустыне, вовремя убив на взлетной дорожке парочку смуглых противников. Над Средиземным морем, конечно, мотор заглох бы, и его удалось бы включить, только когда гребни волн уже лизали бы концы крыльев. А потом герой, конечно, разбился бы, не слишком пострадав при этом -- достаточно будет фотогеничной

ссадина на лбу, — и успел бы вытащить ящик за секунду до того, как взорвался бензобак. И разумеется, он оказался бы сыщиком на службе казначейства или агентом английской разведки, который всегда верит в свою удачу, обладает железными нервами, и к концу фильма он вряд ли остался бы с несколькими жалкими тысячами франков в кармане. А если фильм сделать художественным, то над холмами будет клубиться тяжелый туман и будет слышно унылое гудение мотора заблудившегося самолета. А потом, когда опустеют баки, машина врежется в землю и вспыхнет. Герой, весь покрытый ожогами, попытается вытащить ящик, но не сумеет даже сдвинуть его с места, и когда наконец пламя заставит его отступить, он прислонится к дереву и будет смотреть, как горят самолет и деньги, и его почерневшее от сажи лицо исказится гримасой безумного смеха, знаменующего тщетность человеческих надежд и алчности.

Барбер невесело улыбнулся, сочиняя сценарий перед огромной рекламой у входа в кинотеатр. В кино это делается отлично, подумал он. Приключения там выпадают на долю искателей приключений. Он свернул с Елсейских Полей и медленно, бесцельно побрел дальше. Что сначала — поужинать или выпить? Почти машинально он пошел к «Плаза-Атене». В те две недели, когда Смит обхаживал его, они почти каждый вечер встречались там в английском баре.

Барбер вошел в отель и спустился в бар. Войдя туда, он увидел в углу Смита и Джимми Ричардсона.

«Милый Берти, ну зачем ты тратишь зря время?» — улыбнувшись, подумал Барбер. Он подошел к стойке и заказал виски.

«...Пятьдесят боевых вылетов, — услышал он слова Ричардсона. У Ричардсона был громкий, пронзительный голос, разносившийся далеко. — Африка, Сицилия, Италия, Юго...»

Тут его увидел Смит. Он холодно кивнул, явно не собираясь пригласить Барбера к своему столику. Ричардсон тоже повернулся. Покраснев, он смущенно заулыбался, как человек, которого приятель застал со своей девушкой.

Барбер помахал им рукой. На минуту у него возникло желание подсесть к ним и попытаться увести Ричардсона отсюда. Он поглядывал на них, стараясь догадаться, что они думают друг о друге. Вернее, что Смит думает о Ричардсоне. С Джимми все было ясно. Стоит угостить его виски, и он на всю жизнь становится вашим другом. Несмотря на то, что ему довелось многое испытать — войну, женитьбу, отцовство и жизнь в чужой стране, — Джимми никогда не приходило в голову, что люди могут не любить его или причинить ему зло. Когда общество Джимми доставляло удовольствие, эту черту называли доверчивостью, а когда оно надоедало — глупостью.

Барбер внимательно следил за лицом Смита. За эти две недели он успел его хорошо узнать и мог довольно точно догадываться, какие мысли скрывались за красивыми глазами и белым, словно напудренным лицом. Сейчас, подумал Барбер, Смиту скучно, и он был бы рад отделаться от Джимми Ричардсона.

Улыбаясь про себя, Барбер повернулся к стойке. «Милому Берти» понадобился час. Час он разглядывал это глупое добродушное лицо, слушал этот гудящий глупый голос и теперь пришел к твердому выводу, что такому человеку нельзя поручить перевозку маленького ящика с пятифунтовыми банкнотами из Каира в Канн.

Барбер быстро допил свое виски и вышел из бара, прежде чем Смит и Ричардсон встали из-за стола. У него не было на этот вечер никаких дел, но он не хотел ужинать с Джимми и Морин.

С тех пор прошло почти два месяца, а от Джимми тридцать два дня не было никаких известий.

За целый день поисков Барберу не удалось найти никаких следов Берта Смита. Барбер побывал везде: в ресторанах, на ипподроме, в картинных галереях, в парикмахерской, в турецкой бане, в барах. И везде Смита не видали уже несколько недель.

Было почти восемь часов, когда Барбер зашел в английский бар отеля «Плаза-Атене». За день ходьбы под дождем он промок и устал; ботинки набухли от воды, и он чувствовал, что простудился. Барбер оглядел почти пустой зал. Вспоминая с досадой, сколько было истрачено сегодня на такси, он все-таки поддался соблазну и заказал виски.

Сидя в тихом зале, Барбер думал: «Я должен был что-то сказать. Но что? Да Джимми и не стал бы меня слушать. И все-таки надо было что-то сказать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Лучше иди домой, Джимми... Я видел, как у четвертого препятствия разбился самолет; я видел, Джимми, как египтяне несут по истоптанной траве мертвое тело; я видел запачканные кровью карты и шелковые камзолы».

«Черт бы побрал мое самодовольство,—с горечью подумал Барбер.— Какого черта я вообразил, что Джимми Ричардсон слишком глуп и Берт Смит никогда не предложит ему такие деньги?»

Он ничего не сказал, а теперь оставшаяся без мужа и без денег женщина просит его о помощи, и уже поздно. Без денег... Джимми был настолько глуп, что даже не выторговал аванса.

Барбер вспомнил свадьбу Морин и Джимми в Шривепорте, вспомнил, как они стояли перед командиром эскадрильи полковником Самнерсом. смущенные, улыбающиеся, ощущающие всю важность этого события. Вспомнил самолет Джимми над Сицилией, справа от его собственного крыла; вспомнил лицо Джимми, когда он сел в Фодже с горящим мотором; пьяный голос Джимми в неаполитанском баре; вспомнил, как на следующий день после приезда в Париж Джимми сказал: «Вот этот город мне по душе. Люблю Европу!»

Барбер допил виски, заплатил и медленно прошел наверх, в вестибюль, к телефонной будке. Он позвонил к себе в отель узнать, не спрашивал ли его кто-нибудь.

— Вам целый день звонила мадам Ричардсон,— ответил старик на коммутаторе.— Начиная с четырех часов. Она просила, чтобы вы позвонили ей.

— Хорошо, спасибо,— сказал Барбер и хотел повесить трубку.

— Подождите, подождите минуту,— раздраженно проворчал старик.— Она звонила час назад и просила передать, что уходит и до девяти будет в баре отеля «Бельман» и просит вас прийти туда.

— Спасибо, Анри. Если она позвонит опять, передайте, что я поехал туда.

Барбер вышел на улицу. «Бельман» был совсем рядом, и он не торопился, хотя все еще продолжал лить дождь. Он совсем не спешил увидеть Морин Ричардсон.

Подойдя к «Бельману», Барбер некоторое время колебался. Он слишком устал и с удовольствием отложил бы встречу с Морин на следующий день. Вздохнув, он толкнул дверь и вошел.

Небольшой бар был заполнен высокими, модно одетыми мужчинами, которые не спеша осушали свои рюмки, прежде чем отправиться в ресторан обедать. Потом он увидел Морин. Она сидела в углу, вполборота к залу. Ее старенькое легкое пальто висело на спинке стула. Морин

сидела одна, рядом на маленьком столке блестело ведро с бутылкой шампанского.

Барбер подошел к Морин. При виде шампанского он почувствовал раздражение. «Так вот на что она тратит мои пять тысяч франков! В наши дни женщины, кажется, тоже свихнулись».

Он наклонился и поцеловал ее в макушку. Морин нервно вздрогнула, а потом улыбнулась, узнав его.

— Ах, Ллойд! — каким-то странным шепотом сказала она. Потом вскочила, крепко обняла его и поцеловала.

От нее сильно пахло шампанским, и Барбер подумал, что она, наверно, пьяна.

— Ллойд, Ллойд... — Морин слегка оттолкнула его, но продолжала держать за обе руки. Ее глаза были полны слез, губы дрожали.

— Я отправился сюда, как только узнал, где вы, — начал Ллойд, стараясь говорить обыденным тоном. Он боялся, что Морин не выдержит и расплачется тут же, в баре. А она продолжала стоять, вцепившись в него, и губы ее дрожали. В замешательстве Барбер посмотрел на ее руки. Они были все еще красными, и по-прежнему обломаны ногти, но на одном из пальцев сверкало огромное кольцо, белое с голубым. Его не было, когда она приходила к нему в отель, и вообще Барбер никогда не видел у нее такого кольца. Он с испугом посмотрел на нее, думая: «Черт возьми, что с ней случилось? Что она натворила?»

И вдруг он увидел Джимми. Джимми шел к нему, пробираясь между столиками. Он похудел, загорел и вообще выглядел так, словно только что вернулся после месячного отпуска на юге.

— Здорово, малыш, — сказал Джимми, и его гулкий голос заглушил шум бара, — я только что опять звонил тебе.

— Он вернулся, — сказала Морин, — он вернулся сегодня в четыре часа, Ллойд.

Она вдруг безвольно опустилась на стул. Во всяком случае было ясно, что в этот день она уже много пила. Все еще держа Барбера за руку, Морин смотрела на своего мужа сияющими, ошеломленными глазами.

Джимми похлопал Барбера по спине и стал яростно жать его руку.

— Ллойд, старина Ллойд... Гарсон! — закричал он на весь зал. — Еще один бокал! Раздевайся. Ну садись же, садись.

Ллойд снял пальто и не спеша опустился на стул.

— Рад видеть тебя, — спокойно сказал он. Потом высморкался. Все-таки не удалось избежать насморка.

— Прежде всего, у меня есть кое-что для тебя. — Джимми торжественно сунул руку в карман и вытащил пачку банкнот по десяти тысяч франков. Пачка была толщиной дюйма в три. Взяв одну бумажку, он сказал серьезным тоном:

— Морин мне все рассказала. Ты чертовски хороший друг, Ллойд. У тебя найдется сдача с десяти?

— Вряд ли, — ответил Барбер.

— Гарсон, — обратился Джимми к официанту, ставившему на стол третий бокал, — пожалуйста, разменяйте бумажками по пяти тысяч.

Когда Джимми говорил по-французски, морщились даже американцы.

Джимми аккуратно наполнил все три бокала, поднял свой и чокнулся — сначала с Барбером, потом с Морин, которая продолжала смотреть на него так, будто видела его в первый раз и уже не надеялась больше увидеть кого-нибудь чудеснее.

— За преступление, — произнес Джимми и подмигнул.

Когда он подмигивал, его лицо собиралось в сложную гримасу —

словно он был не привыкшим к таким трудным движениям младенцем, которому приходится для этого морщить лоб и подергивать щекой.

Морин захихикала.

Они выпили. Шампанское было очень хорошим.

— Сегодня ты обедаешь с нами, — заявил Джимми. — Только втроем. Обед в честь победы. Только Красавица, я и ты, потому что, если бы не ты... — И вдруг снова став серьезным, он положил руку на плечо Барбера.

— Да, конечно, — ответил Барбер.

Ноги его заледенели, мокрые брюки липли к мокрым носкам, и он опять высморкался.

— Красавица показала тебе свое кольцо? — спросил Джимми.

— Да.

— Оно у нее только с шести часов.

Морин вытянула руку, уставилась на кольцо и опять захихикала.

— Я знаю местечко, — продолжал Джимми, — где можно достать фазана и бутылку лучшего во всем Париже вина и...

Вернулся официант и подал Джимми две бумажки по пяти тысяч франков. Барбер рассеянно подумал: «Сколько они могут весить?»

— Если тебе когда-нибудь придется туго, — сказал Джимми, отдавая ему одну ассигнацию, — ты ведь будешь знать, к кому обратиться, правда?

— Да, — ответил Барбер и положил деньги в карман.

Он несколько раз чихнул и через десять минут сказал, что ему очень жаль, но с такой простудой он вряд ли сможет продержаться весь вечер. Джимми и Морин стали его уговаривать, но Барбер видел, что им будет приятнее остаться вдвоем.

Допив второй бокал шампанского и пообещав, что скоро зайдет к ним, он вышел из бара, чувствуя, как в ботинках хлюпает вода. Ему хотелось есть, он любил жареных фазанов, а насморк в конце концов был не так уж страшен, хоть из носа и текло. Но Барбер чувствовал, что не сможет весь вечер сидеть между Морин и Джимми, наблюдая, как они нежно переглядываются.

Он вернулся в свой отель пешком — пора было забыть о такси, — поднялся к себе в номер и, не снимая пальто, не зажигая света, сел на край кровати. «Лучше убраться отсюда, — подумал он, смахивая каплю с кончика носа. — Этот континент не для меня».

Перевел с английского Д. Соловьев.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВ

★

РОДНИКИ ЖИВОЙ ВОДЫ

1. На Север!..

Слова еду в родные северные края. За Вологдой пошли знакомые станции: Коноша, Няндомы, Шалакуша, Плесецкая, Емца, Обозерская... Сами названия большинства из них берут начало от времен «чужды белоглазой» и отзываются запахами подлинной глуши. Действительно, в годы моей юности это были обычные захудалые станцийки, и от них отправлялись мы когда-то обследовать бескрайние лесные массивы. Планомерное наступление на вековую глушь Севера началось с первых дней после победы Октября. Уже в 1920 году В. И. Лениным на Север был послан первый большой отряд исследователей. Захудалая станция Коноша послужила своеобразным боевым рубежом, с которого началось наступление на северо-восток европейского Севера.

Сначала была проложена железнодорожная линия Коноша — Котлас. В годы Великой Отечественной войны железная дорога подошла к ухтинской нефти, перекинулась на правый берег Печоры, по болотам и тундрам дошла до угольной Воркуты, а еще позже пролегла через Полярный Урал и соединила Москву с устьем Оби.

Сколько новых городов возникло в недавней глуши, вдоль этой магистрали! Котлас, Ухта, Печора, Воркута, Салехард. Скоро будут городами Ижма, Абезь, Инта, Хальмер-Ю, Сосногорск, Троицко-Печорск, Комсомольск-на-Печоре. Та же завидная судьба ожидает и Коношу: огромная станция растет на глазах. Отсюда силами новоселов началось строительство второй колен Печорской железной дороги.

Станция Няндомы также давно превратилась в город. Разрослись и Шалакуша, Плесецкая, Емца... На станции Обозерская я когда-то учился в лесном техникуме. Вокруг нее мы обогли все речки и озера, знакомясь с таинственной жизнью леса, охотились на глухарей и рябчиков, сами удирали от охотившихся за нами медведей. Тридцать лет назад это были подлинно медвежьи края: любители выслеживать и обкладывать берлоги приезжали сюда даже из Москвы. Неподдалеку от станции обеспамятительный от страха медведь бежал как-то от настигавшего его паровоза вдоль пути до тех пор, пока поезд не переехал его на железнодорожном мосту. Сейчас станция стала узловой: отсюда идет железная дорога на Онегу и Мурманск. Все быстрее намечаются очертания будущего города Обозерска.

Между Обозерской и Холмогорской появилась еще одна станция — Пермиллово, с большим лесопильным заводом и кварталами двухэтажных домов в пристанционном поселке. И снова память отмечает, что вроде совсем недавно здесь к дороге спротивно прижимался лишь одинокий домик и что звали мы его тогда полустанком.

А дальше, между Холмогорской и Исакогорской, мы видели прежде лишь одну станцию. У нее характерное для Севера название — Тундра. Сейчас на этих двух перегонах железной дороги прибавились новые станции и полустанки. И на каждой станции — многолюдье, веселый северный говорок, шумная суতোлка жизни...

С живописных холмов Исакогорки виден уже прославленный город-порт, наш красавец Архангельск. Меньше чем полвека назад статистики насчитывали в нем

48 156 жителей. Уже в годы моей юности население этой «столицы европейского Севера», как любили величать Архангельск его патриоты, все еще не превышало семидесяти тысяч. В годы Великой Отечественной войны цифра «округлилась» до четверти миллиона, а сейчас движется к тремстам тысячам. Можно себе представить, какой скачок даст новое семилетие.

Когда-то архангельские края считались задворками Российской империи. Нынче это уже не задворки, а представительный северный фасад великой Советской державы. Через Архангельск пролегли воздушные магистрали в Заполярье, простирающиеся вплоть до полюса. От здешних морских причалов начинаются маршруты, по которым следовали знаменитые арктические экспедиции. Отсюда отплывают суда по Великому Северному морскому пути.

В наши северные края — на стройку новых городов, химических и целлюлозных комбинатов, леспромхозов и лесных железных дорог — едут новоселы. Из относительно теплых, всесторонне обжитых мест страны едут молодые люди сюда — в безлюдье и бестропье, в царство снежных и комариных метелей... Приедут ребята, оглянутся, расставят палатки и тут же, засучив рукава, начинают валить лес и копать землю. Но уже в первый день после работы из палаток слышатся песни...

Но не везде новоселы, подобно нашим предкам — первым новоселам Севера, — прокладывают «первоступные следы». Я помню, с какой теплотой и вниманием старожилы Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, что стоит на отшибе, в десятках километров от города, пять лет назад встречали посланцев города Ленина. Первый эшелон новоселов ехал для больших свершений: им предстояло осуществить расширение и без того огромного комбината, воздвигнуть новые предприятия для производства строительных материалов, построить бумажную и мебельную фабрики, в несколько раз увеличить мощность существующей электростанции.

С каким нетерпением ждали на Севере этих посланцев комсомола! Железнодорожники на всем пути следования эшелона открыли ему «зеленую улицу». У комбината новоселов встретили музыкой и цветами — в далекую старину так, вероятно, встречали триумфаторов. «Вы приехали не на глухое место, — говорили новоселам с заменившей трибуну автомашинны. — Трудностей необжитого места вы не встретили и не встретите...»

И в тех же речах сменяли одна другую точные, как команда, шестизначные, семизначные, восьмизначные цифры, выражающие программу предстоящего новоселам труда: уложить триста тысяч кубометров железобетона... изготовить семьдесят пять миллионов кирпичей... вынуть миллион кубометров грунта...

А вслед за цифрами — снова музыка и снова цветы. Огромные букеты черемухи стояли в комнатах общежитий, отведенных строителям.

Обед в просторной столовой, созвучный событию дня художественный фильм «Первый эшелон» в местном кинотеатре — и вот (молодежь — всегда молодежь!) новоселы уже кружатся на танцплощадке только что открытого заводского парка, приезжие со старожилками. Из круга танцующих долетают пестрые обрывки речей:

— Я с Ижорского завода...

— А какая здесь рыба ловится?..

— Мы завтра в театр собираемся... Поедемте вместе...

— Я не здешняя, а из Маймаксы. Работаю нейтрализаторщицей на гидролизном...

Надолго мне запомнилась эта нейтрализаторщица. Ее Маймакса, как и другие пригородные села — Кегостров, Лисеостров, — расположена на луговом берегу Северной Двины. Отсюда и по сей день боевые молочницы из колхозов возят в город молоко.

Когда-то вместо нынешних бидонов для перевозки молока служили удобные, пузатые, нагдухо закрывающиеся деревянные «полагушки». «Полагушницами» звали и самих молочниц. Ездили они в Архангельск не на пароходах, как нынче, а в карбасах и на лодках. Ни крутая волна в непогоду, ни грозный двинский ледоход не могли остановить лихих полагушниц.

Рассказывают, что однажды в туманную пору половодья на одну из таких лодок наскочил пароход. Матросы из команды бросились спасать женщин. А те плавают не хуже нерп, отмахиваются от матросов руками да кричат:

— На нас-то наплевать — полагушки-то спасать надо!..

Этот забавный случай мне вспомнился в день встречи новоселов на бумажном комбинате. Попал я на эту встречу случайно. Дело у меня было в здешних местах свое, особое. Я ехал в надежде, что смогу услышать и записать исчезающие северные сказы, снова порадоваться редкостной красоте поморской речи. Девушка из Маймаксы — наверно, дочь которой-нибудь из полагущниц — напомнила мне, что выросло тут уже другое поколение. Нейтрализаторница с гидролизного завода вряд ли обмолвится просторечным красным словом!..

И, подъезжая потом к перрону Архангельского вокзала, я пришел к неожиданному для себя самому выводу: «Искать классические говоры в самом Архангельске и даже в его окрестностях, пожалуй, бессмысленно. Надо мне поехать в самую что ни на есть глушь.— И тут же опасливо оговорился: — Если только она у нас существует...»

2. Былая глушь

Мой выбор пал на беломорское село Нёноксу. Это одно из древнейших поселений русского Севера. Почти семивековая история села богата событиями общегосударственного значения. Жители Нёноксы дважды стойко сражались со шведами, пытавшимися захватить в свои руки богатства нашего Севера: в 1419 году шведам удалось полностью сжечь непокорное село, а в 1445 году они были наголову разбиты и отогнаны.

После поездки Петра Первого на Северную Двину Нёнокса превратилась в большой посад. Петр разрешил здесь беспощадную торговлю солью, и солеваренне приняло почти промышленные масштабы. Промышленники Архангельска, Вологды и Ярославля, «святые отцы» из Сийского и Соловецкого монастырей владели местными соляными варницами. Впоследствии солепромышленное дело заглохло. У меня находятся копии многочисленных ходатайств, в которых население Нёноксы перед несколькими поколениями царей вопияло о нищенских условиях существования и просило о предоставлении льготных условий рубки леса, необходимого для выварки соли.

Во время русско-японской войны, когда революционеров перестали ссылать в Сибирь и на Сахалин, Север был превращен в место ссылки, хотя и до той поры сюда время от времени тоже ссылали передовых, мыслящих людей.

К 1917 году Нёнокса представляла собой обычный захолустный уголок Севера...

— До Нёноксы добраться непросто! — многозначительно предупреждали меня осторожные архангелогородские домоседы.

Еще недавно поездка в Нёноксу представляла собой целое событие. Летом в эту глухую болотную сторону Беломорья попасть можно было только по воде, со случайным карбасом, а зимой — по снегу, с редкой попутной подводой. Путешествие — с остановками, чаепитиями и ночлегами, с неизбежными задержками в пути — затягивалось до трех суток.

Теперь мы отправляемся в сторону Нёноксы поездом. Моя спутница — уроженка Мезени, белокурая женщина лет сорока. Она методист Архангельского Дома народного творчества, едет знакомиться с работой местного драматического кружка. Зовут ее Фелицата Анатольевна Попова.

За три часа «дежурка» доставила нас в город Северодвинск. Еще несколько лет назад этого города не было на географической карте.

— Мне Северодвинск нравится больше, чем Архангельск! — восторженно заявляет Фелицата Анатольевна.

Пяти- и даже шестизэтажные жилые дома, здания городского театра, гостиницы, средние школы и специальные учебные заведения — и все это на месте былого гиблого болота!

Отсюда нам предстоит одолеть еще два отрезка пути: от Северодвинска до Солзы и от Солзы до Нёноксы.

Расстояния как бы укорачиваются, пространства мельчают, темп времени сказался на самой жизни. Мне есть с чем сравнивать, и я делюсь со своей спутницей впечатлениями юности.

— Видите эту дорогу? — показываю я на стрелку с названием «Кудьма» — Догадываюсь, что ведет она к селу с таким же названием.

— А вы разве были здесь? — удивляется Фелицата Анатольевна.

— Тридцать два года назад...

В 1927 году меня командировал сюда гублесотдел. Вместе с двумя другими техниками мне предстояло пробраться через Кудьму к верховьям реки Урзуги и двигаться оттуда вместе со сплавщиками, сопровождающими лес в низовья этой реки, а затем — к устью Лан, в которую впадает Урзуга. В Кудьму мы попадали ранней весной, пока еще не огаяли болота. — иначе в то время пробраться туда было невозможно.

Ко времени ледохода мы добрались пешим путем до верховьев Урзуги. Там бродили тогда отряды топографов, выяснивших возможность соединения рек Урзуги и Солзы каналом. А мы, как только лес был сброшен с катки в воду, вместе со сплавщиками прошли по берегам и проплыли на плотниках всю Урзугу, изучая закономерности продвижения бревен в извилистом русле реки. Ее бесконечные излучины, живописные берега с высокими лесистыми увалами и по сей день стоят перед моими глазами — так они красивы.

С нашей «дежурки» уходят общительные женщины из Кудьмы. От былой пугливости их матерей у них не осталось и следа. Путешествия в город им привычны, они регулярно доставляют из колхоза в Северодвинск молоко, сливки, сметану и рыбу. В пути по-городскому нарядная солзнская молодка ругала на все корки местное железнодорожное начальство. Дело в том, что «дежурки» ходят вразнобой: никак не подгадаешь, чтобы поспеть на Архангельск.

— Не могут расписание согласовать, — судачит молодка, — а люди часы теряют... Головы!..

Солза, как и Нёнокса, — колыбель северных мореходов. Истари из этих приморских деревень выходили шкиперы и лощманы, матросы и капитаны. Не случайно, создавая молодой флот на Азовье и Балтике, Петр Первый дважды проводил здесь, в поморских селениях, набор матросов, уже знакомых с морем. Из Солзы родом мой земляк, писатель-краснослов Борис Шергин.

На всем протяжении от Северодвинска до Нёноксы море то предстает нам воочию густой синевой своих вод, то напоминает о своей близости мелкими заливами, вгортающимися в сушу, да прибрежными маяками с кружевными переплетениями металлических конструкций. Перед самой Нёноксой дорога выбегает прямо на прибрежный песок, а подбежав почти к самой воде, резко поворачивает прочь от берега и ныряет в сосновый бор.

Нёнокса видна издалече. Она раскинулась на пологом скате огромного холма. От прошлого здесь осталась, пожалуй, только древняя, изумительной красоты шатровая церковь, находящаяся сейчас под опекой Управления по охране памятников старины. Само село выглядит очень молодо. Новенькие благоустроенные дома обшиты тесом и окрашены желтой, красной, голубой краской. Двухэтажные здания школы-десятилетки, сельский клуб — гоже в два этажа, большой дом правления колхоза, веселое здание сельского Совета, забравшееся на самый гребень холма, — все это выгодно подчеркивает облик нынешней Нёноксы.

С высокого холма, на котором стоит село, летом открывается изумительный вид. Внизу — поросшие осокой коротенькие речки, соединяющие между собой множество озер. По берегам — зеленые кущи пвяника, перемежающиеся небольшими рощами цветущей черемухи. Чуть дальше, на коренном берегу, виднеются холмы и окати, оседланные шетинистым ельником, трепетным осипником и кудрявым сосняком. Меж лесами — луга, заросшие буйной зеленью густотравья.

Слева, за сосновым бором, прячется море. Над лесным простором застенчиво рдеют две зари — вечерняя и утренняя. В недоступных людскому глазу потаенных урочищах Севера зори празднуют свою ежегодную встречу под невучее ликование лесных и луговых пичужек, в торжественной тишине воды, среди волнующих запахов бесчисленных черемуховых курльниц.

В такое утро увидел я на самой околице села седобородого старикана. Все в нем было обширно: могучее телосложение, крутой многодумный лоб, слившийся с широчайшей плешью, и даже всплывшая кудряшками, надвое расклиненная борода. Старик уставился на меня острыми лукавыми глазами -- «будто две напары взвинтил», как говорят здесь в подобных случаях. Мне показалось, что он меня узнал. Всмотревшись попристальнее, наконец узнал и я его:

-- Спиридон!

Встреча в самом деле была неожиданной. Когда-то, в годы войны, мы путешествовали с ним по Большеземельской тундре, вместе с отрядом геологов искали там нефть. Полюбил я тогда Спиридона Шахторова за певучий говор и склонность к философствованию, научился пошматывать его затейные словечки, подчас мудреную укладку слов, неожиданные повороты мысли.

Потомственный печорец, охотник и плотогой, Спиридон был равно влюблен во все богатство жизни: в меренье и все еще недомеренные северные просторы, в тихую музыку белой ночи, в мрачную красоту моря, бунующего в непогоду, а главное, в силу и могущество человеческих рук.

Беседы и споры с этим бродячим философом скрашивали наш нелегкий путь от реки Коротанки до Спьякина Носа, что врезался в Хайндырскую губу Баренцева моря. Спиридон хвалился новым городом Печорой, что вырос за два-три года неподалеку от его родины: «Столица наша печорская: на пусте месте -- и вдруг город. Это ведь тоже сказкой нахнет». Свои суждения и доводы он то и дело подкреплял и как бы окрылял пословицей -- как правило, собственного изобретения.

Нашей новой встрече обрадовались мы оба, Спиридон трижды облобызал и попутно трижды овеял меня веером своей великолепной бороды. Первые приветствия, расприсы о семье и знакомых, и вот я уже не скрываю своего удивления:

-- Завидую твоей молодой старости, Спиридон Иванович! Тебе небось под восемьдесят, а ты все бродяжишь...

-- В наших краях, сам знаешь, под восемьдесят женятся... Широка борода, да душа молода!

-- Только бы невеста голой головы не испугалась.

-- Не каждую голову волосы любят, -- отшучивается Спиридон.

И, посерьезнев, добавляет:

-- Как не каждый мозг -- мысли. Уж лучше пусть голова, а не мозг оплешивеет! А потом к чему смолоду пристанешь, от того нелегко в старости отставать, тянет к себе привольство дорожной жизни. Ведь совсем было собрался на пенсию переходить. Приехал я в Архангельск документиншко один выправить: когда-то от Убеко-Севера я три года с гидрографами вдоль моря плавал. Пока там, в областном архиве, рюются, согласился сюда пойти с моими гидрогеологами. Ладно, думаю, леса здесь еловые, да сердца здоровые. Пожил, побродил, посмотрел -- не каюсь. Я ведь на Летнем берегу Беломорья еще не хаживал. А где все вновь -- веселей как-то... Мне здесь теперь в любом доме любая дверь знакомые песенки поет -- и Нёноксу и Солзу обонел...

Спиридон Иванович повел меня к себе на квартиру. Пользуясь встречей с испытанным мастером народного краснословья, я попытался расшевелить его на нечто большее, чем простое повседневное балагурство. Мне давно хотелось услышать от Спиридона связный рассказ о том, как северные жили в старину, о том, как они новой жизни добивались и какие перемены увидели. Мне казалось, что потребуется немало дней, пока Спиридон будет готов к такому повествованию. Но только я намекнул про это, он перебил меня:

-- Вот уж опоздал-то. Рассказ этот мы еще у нас, в светлозерских краях, сколотили. Редактор светлозерской газеты стариков наших раскачал. «Расскажите, -- говорит, -- про старину, а мы ваши рассказы в «Полярной Звезде» напечатаем. Ничего не прибавляйте, а что своим горбом выложили, про то и расскажите!» Вот мы и взяли. Сколько-то вечеров посидели -- старики отбой бьют: «Ничего путного сказать не сумеем!», «Каждое дело для своего мастера родится», «Ты у нас, Спиридон, первой гильдии говорун -- тебе за это дело и братья!» Уговорили...

Снова уговорить Спиридона на рассказ оказалось нетрудно и мне.

Он сам над собой усмехнулся:

— И нынче во мне жизнь через борт перехлестывает: руки не терпят бездельной скуки, ноги просят дороги, ум не жвнет без дум, а язык и рад молчать, да не может не начать. Да и сам я боюсь, чтобы рот не зарос... Пиши!

После беседы со Спиридоном ходил я по Нёноксе как зачарованный. Все теперь представляло взору в каком-то особом, небудничном свете. Глубинное это село, богатое, нарядное, даже щеголеватое, по внешнему виду своему не уступало районным центрам Средней России. Раскинулось оно на добрых полкилометра вишь, на полтора — в длину. Половина домов в цветистой упаковке из крашеного теса могла быть украшением любого из северных городов, ничуть не противореча их нынешнему облику и стилю. Руками деишних мастеров рублены навек — бревно к бревну — здания старшего поколения. И на многих домах белели новые тесовые крыши. Я приметил, что при мне в Нёноксе меняли крыши на восьми домах одновременно. На приусадебных участках колхозников виднелись аккуратненькие амбарушки, бани, надстройки над погребями — по-здешнему, «погребницы».

«Наши избы с погодой не спорили: на улице холодно — и у нас не тепло... Чужую крышу крыли, а сквозь свою капало. Разобрала нужда пристройки и сожгла по бревнышку», — вспоминал я Спиридоновы слова и тут же, сравнивая, усмехался.

Но особенно весело мне было, когда я входил в дома колхозников и моряков, рыбаков и учителей, плотников и медиков. Чистотой и культурным содержанием жилищ в наших двинских краях никого не удивить — они общеизвестны. Беломорское село Нёнокса в части чистоплотности и убранства компат затмило даже и села родного мне Холмогорского района, о которых, впрочем, я и посейчас сохраняю самое высокое мнение. Однако Нёнокса вырастила таких искусников столярного дела, как, к примеру, Василий Михайлович Феликсов. Что бы ни взялся он смастерить, из-под его рук выходит подлинное произведение искусства. Но в большом селе, конечно, находится место и для диванов, кушеток, мягких стульев, круглых столов, гардеробов и этажерок городской работы.

Я смотрю на патефоны и гармошки, гитары и радиоприемники, на швейные машины и прочую современную многосложную утварь и снова невольно сравниваю все это богатство со скорбной Спиридоновой характеристикой бывшего житья-бытья приморских сел и деревень: «Не хозяйство у нас было, а ныщее хламовище...»

И так во всем, начиная с одежды людей и кончая их внутренним содержанием, разница между прошлым и настоящим получается более чем разительная.

Вскоре после окончания войны уже в преклонном возрасте в Нёноксе умер талантливый здешний самоучка Павел Егорович Пурнемцев, в течение более чем полвека считавшийся самым грамотным человеком в бывшей Сюземской волости. В свое время он окончил одноклассное приходское училище, но круг его интересов был необычайно широк. Он интересовался земледелием и луговодством, медициной и мореходством, огородничеством и кораблестроением, поэзией и спиритическими «учениями» его времени. Павел Егорович овладел столярным мастерством, и шкафы его работы до сих пор служат свою службу. Он мог сшить любые сапоги и затейливые дамские туфли. Матросом, а впоследствии и штурманом, он плавал по северным морям на небольшом судне «Обь». На судостроительной верфи у деревни Подворье, что под Архангельском, он строил мореходные боты, причем мог не только прочесть чертеж, но и рассказать языком чертежа про собственные конструкции.

Увлекался Павел Егорович и записью местных песен, анекдотов и заговоров; в его бумагах я нашел уникальные тексты. Мало того, он и сам был поэт. В обнаруженной мной поэме Пурнемцева об Архангельске, в целом подражательной, блестят искорки подлинной самобытности.

Большой патриот своего края, Пурнемцев в начале своей поэмы скорбит о скудости северной природы, окружающей Архангельск.

Заброшенный на Север дальний,
 На берегу Двины широкой,
 В стране суровой и печальной,
 Стоит наш город одиноко...

Кругом болотистая степь,
 Как море, град наш облегает,
 Лишь кое-где пригорков цепь
 Равнину тундры прерывает...

Автор рассказывает далее про то, как «сын отважный Альбиона» бурей «заброшен в устье был Двины», как он

Предстал пред Иоанна взгляд,
 И грозный царь распорядился
 Здесь основать торговый град.

С тех пор пошел переворот
 В пустынном крае нашем чудный:
 Из тундры, топей и болот
 Возник Архангельск многолюдный.

С тех пор, подобно вольным птицам,
 Из дальних царств, из-за морей
 К нему несутся вереницей
 Ватаги грузных кораблей...

Библиотеку и личные бумаги самородка-поэта из Нёноксы хранит его наследница, бывшая учительница местной школы, ныне пенсионерка, Нина Иннокентьевна Малевинская. Там можно обнаружить и любовные письмовники «галантерейных» молодых людей прошлого века, и тексты заговоров на приход рыбы и на удачную охоту, и записи песен, и рукописные сборники анекдотов той поры, и чертежи рыболовных ботов.

Тут же я обнаружил несколько книг и брошюр из разных областей знаний: «Настольная книга русского земледелия», «Руководство для ротных фельдшеров и фельдшерских учеников», составил доктор медицины А. Н. Баранов, «Спутник помора на 1911 год, справочник-ежегодник» издания Общества моряков торгового флота русского Севера.

Конечно, таких сравнительно грамотных, как Пуршемцев, людей в Нёноксе были считанные единицы. Правда, и до революции Нёнокса, в отличие от многих глубинных деревень Севера, не была забытой богом и людьми глухотоманью. Само географическое положение этого села обеспечивало контакт местных жителей с заезжими торговыми людьми, обогащало их представлениями о мире, о населяющих землю народах. Сами нёноксцы — прирожденные мореходы — плавали в Норвегию и Англию, открывали новые острова в полярных морях, пробивали путь к восточному побережью Сибири.

Если вы спросите в Нёноксе, где тут живут моряки, вам ответят вопросом: «А где они тут не живут?»

И действительно, в этом селе трудно найти дом, в котором не было бы человека, связанного с морем. То дед ходил на Шпицберген, то отец всю жизнь провел в дальних плаваниях, то сын — капитан граулера, то внуки выходят в море на рыболовныхботах. Если просмотреть списки судовых команд архангельских и мурманских тральщиков, команд, обслуживающих арктические и антарктические экспедиции и суда торгового флота, выходцев из Нёноксы окажется больше, чем из любого другого уголка Севера; только в одном гравловом флоте их больше шести десятков человек.

Многие бывшие мореходы перешли на пенсию и живут в своем родном селе, окруженные достатком и почетом. В погожий день я заглянул к одному из этих ветеранов морских странствий, к Павлу Клементьевичу Скребцову. Тридцать лет — больше, чем половину своей жизни, — отдал морю этот седеющий, неразговорчивый человек, из них двадцать один год без перерыва проплавал на тральщиках.

Его повестьный дом на четыре комнаты любовно обшит стругалым тесом и покрашен своими руками. Ежемесячная пенсия в тысячу двести рублей освободила Павла

Клементьевича от повседневных трудов и забот. Но праздность ему не знакома. Скребцов то готовит сети и едет к морю или на речку Нижнюю рыбачить, то возится на своем огороде, то стелярит, как стелярил в колхозе до самой смерти его отец.

Одна из славных фамилий в Нёноксе — Феликсовы. В годы интервенции на Севере в Архангельске был расстрелян Александр Петрович Феликс — комиссар отряда красногвардейцев. Его брат, Семен Петрович, служил матросом на легендарной «Авроре». Интервенты упрятали его в «лагерь смерти», на остров Иоканьгу. После разгрома сил Антанты на Севере Семен Феликс вернулся в родное село калекон. Голову его сгинуло к плечу, руки тряслись. Вскоре он умер.

В праздничный день захожу я в нарядный, как редкостная игрушка, дом Ивана Афанасьевича Феликсова. Изумительная чистота! В комнатах — настенные ковры из Сингапура, на столах удивительной работы шелковые скатерти, затейливые безделушки. Жена хвалится туфлями египетской работы — они привезены Феликсовым из Порт-Саида.

— Везде свои мастера есть! — говорит он, одобряя египетских кустарей.

Почти тридцать лет провел хозяин дома в морских плаваниях. Особенно памятен ему переезд судов из Мурманска во Владивосток в 1957 году. Иван Афанасьевич рассказывает о посещениях египетских городов, о четырехдневной стоянке в Порт-Саиде, о заработках египетских моряков и портовых грузчиков («Рабочий получает десять египетских фунтов, а боцман — сорок»), о памятнике французскому инженеру Лессенсу — строителю Суэцкого канала (памятник изрешечен очередями из английских автоматов), о жаре в тропиках («Как абиссинцы, в одних трусах ходили, а спать не могли»), о Сингапуре, о новом советском порте Находка.

Безграничное пространство от Норвегии до Курильских островов — для Феликсова лишь небольшая часть еще более огромного мира, изведенного за три десятилетия непрерывных плаваний. Он освоил добрый десяток морских профессий, но последнее десятилетие проплавал в качестве мастера рыбообработки на больших рефрижераторных судах. Нынешние тралы, не в пример старым, берут рыбы «в три-столько» и больше. «Десять—пятнадцать тонн рыбы в бункере разом прибудет — и такими уловами нынче никого не удивишь! В последние рейсы мы не меньше семисот пятидесяти тонн одного морского окуня привозили», — рассказывает он.

И в роду Феликсовых моряков хоть отбавляй.

Среди моряков-нёноксцев хорошо известен родственник героя гражданской войны Григория Ермолина, чье имя носит здешний колхоз, — штурман Иван Николаевич Кологрнев. Он проплавал двадцать шесть лет, воевал на море и награжден орденом Красной Звезды. Таким же орденом награжден и его шурин, штурман Андрей Иванович Минин. С начала двадцатых годов плавает нынешний капитан теплохода «Южный Буг» Федор Федорович Феликс, с тридцатых — боцман Николай Михайлович Рыбин.

Старшее поколение мореходов, нередко начинавшее свою работу еще на парусных судах, ходивших тут еще в первой четверти нашего века, было свидетелем и участником технического перевооружения нашего флота. Это поколение хранило старый обычай, готовя себе достойную смену: из века повелось, что старые моряки берут с собой в море подростков-учеников и обучают их своему мастерству.

— Отец рыбак — и дети в воду смотря, — говорят в Нёноксе.

Тут что ни дом, то моряки. Если не уходят далеко, на большие корабли, то плавают тут же, в Белом море, на колхозных рыбачьих ботах — ловят тресочку.

Я познакомился с рыбаком-комсомольцем Федей Суворцевым. Вот, на которм он плавает, называется «Инды» (на Зимнем берегу Белого моря есть река с таким названием). Вся команда здесь молодежная, если не считать сорокалетнего тралменсгера Ивана Деревлева. Капитан «Инды» — Виктор Мезенцев, ему тридцать. Плавает с ними боевая колхозница Тамара Феликсова, член сельского комитета комсомола. Она кормит команду, и рыбаки не нахвалятся ею.

— Белье у нас, спасибо ей, всегда чистое, — одобряет Тамару Суворцев — Сним, как боги, — по две простыни на брата. А подойдет невеселый час — Тамара и мертвого рассмешит...

Федя только что вернулся с удачного лова и дарит своим племянникам — детям погибшего брата Сереже и Мише — по плитке шоколада.

— Угощайтесь, ребята! А на закуску вот вам...

И подает детгизовскую книжку «Лесные хозяева».

В клубной библиотеке заведующая Валентина Павловна Мудьюгина, рассказывая о своих постоянных читателей, называет и Федю Суровцева.

И тут же жалуется на безудержно расгушный спрос на книгу:

— Не хватает семи с половиной тысяч наших книг. Многие уже до дыр зачиганы. Хорошо, что школьники создали при библиотеке переплетный кружок, а то половину книг давно пришлось бы списывать.

Валентина Павловна окончила Емецкое педагогическое училище и вышла замуж в Нёноксе за колхозника Пвана Мудьюгина — рыбака и шофера. Долгое время она учительствовала и вела шпонерскую работу в школе, а теперь перешла в библиотеку.

Читатели у нее разные; тут и школьник-шестиклассник Саша Скребцов, прочитавший за год сто двадцать семь книг, и пожилая Екатерина Васильевна Купцова — нёнокский «театральный кригик». Я просматриваю ее пухлый читательский формуляр.

«А ведь это обыкновенная северная крестьянка,— мелькает у меня в голове,— из поколения наших матерей! Когда то ее муж в клуб не пускал!»

Теперь Екатерина Васильевна нередко ездит в Архангельский театр, бывает и в Москве, где живет ее дочь Аня — работница почты.

Формуляры красноречивы. Я вижу, что есть в Нёноксе люди, старающиеся не пропускать книжных новинок, внимательно следящие за журналами, увлекающиеся наукой и политикой.

Однажды, заглянув в библиотеку, я встретил там Спиридона Шахторова. Он сидел за газетами. Я уже привык встречать его в самых неожиданных местах. Каждое утро этот высокий седобородый старик неизменно появлялся на окошке и шел по направлению к соседнему поселку недеревенского типа — там стояло несколько устаревших для города и не очень уместных в деревне оштукатуренных барачков вперемежку с уютными коттеджами. В поселке к Спиридону примыкала группа людей с инструментами в чехлах и инвентарными рейками за плечами. Все они направлялись к близким озерам. А вчерами я наткался на своего знакомого то на животноводческой ферме, то в лугах на сенокосе, то на очередном киносеансе в клубе. Он общался с людьми круглосуточно, если не считать перерыва на короткий стариковский сон. И хотя Спиридон такой же, как и я, пришлый человек в этом селе, он везде — на своей работе, в колхозных лугах, в любом доме и в клубе — чувствует себя будто рыба в воде.

— В этом клубе стулья не иначе как смоленые,— усмехался он, встречая меня в клубе,— придут люди, усядутся и подняться не могут...

А сейчас, в библиотеке, как бы оправдываясь, объяснял:

— Нынче и за живой и за газетной молвой следить успевать надо: отставать-то от людей неохота. Я хоть и старинного покроя, а тоже современник... И старого выпуска, да новой крови, есть у меня и свой стан и свой стяг. Вот и сижу — то за газетами, то за беседами.

— А ты не в партии, Спиридон Иванович?

— Да все равно что и в партии: я безбилетный коммунист.

3. Перемены

По утрам поют, не уставая, безыменные пташки-черногрудки. Изредка просвистят веселым свистом разнобокие утки-перелетки. Прогогочет над озером гусь-гоготун. Морские чайки-клякальницы откроют у взморья птичью свою путину. Рядом с селом пустошерая ворона-каркальница и та подивуется теплу восходящего солнца да тихой радости земной и невзначай обронит немудрый свой вороний привет. А в самом колхозе тройным голосом пропоет горластый троеперый петух-невун и весь колхоз поднимет.

— Утро доброе,— говорят люди.— Этаким красным днем на луга не один воз сена, на поля не одну баржу хлеба приведет.

Из ночной заездки на озера возвращаются в село рыболовы-любители. Подташат они лодки на берег и идут с добычей по домам. Со мной сталкиваются двое — заведующий клубом Алексей Трапезников и старик, похожий на Спиридона и, по-видимому, его ровесник. Алексей почтительно называет его по имени-отчеству — Василий Симонович. Поравнявшись со мной, они тут же, на травке, присели и закурили. Трапезников показал свою ночную добычу: окуни, несколько лещей и нестрые, как тигрята, щуки. Оказывается, энтузиастом рыбалки и охоты он стал не только по одному своему природному влечению.

— Мне без этого нельзя. Зарплата у нас, клубных работников, сами знаете какая — триста восемьдесят пять целковых в месяц. А у меня на плечах семья...

Разговор переходит на рыбу. В море она ловится все хуже: предполагают, что от берегов рыбу отпугивают сточные воды. В окрестных озерах колхозы почему-то не ловят. Василий Симонович выказывает неожиданную горячность:

— Подумать только! Леса у нас озерами, будто переросток, истыканы, а ловить не хотят! Мимо богатства люди проходят...

Все соседние с Нёноксой озера — ближние и дальние — Василий Симонович знает поименно. К сожалению, даже перечислить их нет возможности. Трапезников, пользуясь коррективами старого рыболова, диктовал мне:

— Пиши! Шемякино, Лещево, Остролистое, Водопойное, Белое, Щучье, Чарусное, Плоское, Березовое, Чертежное, еще одно Плоское, Гаврилово, Соплино, Кривое, Колодливое, Горбатое, Глубокое, Солозеро, Салозеро на четыре с половиной километра длиной и полгора — шириной, еще два Больших Лещевых, Горбово, Онаничево. Коренистое, еще целых четырнадцать Чертежных озер — без чертежа. или без черта оттуда не выберешься, Карахольское — вдоль Карахты-реки, Малое, Пикалево, Трестяное, Мнево, Мелкое, а за Уной-рекой — Мяндозеро, как море, глаз не хватает... А в Яренге, там озер и вовсе не счесть. И дальше — вдоль тракта на Онегу, на Лопшеньгу — везде озера, озера...

Василий Симонович дает свои пояснения:

— Рыбы в каждом озере уйма: скипяти его — целое озеро ухи получится. Конечно, и тут надо рыбу знать — везде она по луне ловится. И хорошее озеро Глубокое — четырехсаженная жердь до дна не достает, а поедешь не вовремя — пустой воротиться. А вовремя — из Лещева по двадцать пять пудов лещей на один невод вытянешь. А ведь это всего-то четырнадцать километров от Нёноксы. И клев на озерах хорош. Мне однажды на Щучьем озере на дорожку такая щука хлопнула — удилище переломилось. Все-таки поймал, не упустил — восемь с половиной килограммов потянула. Осматриваю я и вижу: она, бедная, зубами другой щуки насквозь проткнута — все зубы знатко. Вот какие богатырицы тут водятся! А мы не ловим...

Алексей рассказывает, что один предприимчивый мужничок прошлой зимой в одиночку добыл больше сотни пудов первосортной озерной рыбы. Вывезти ее он, конечно, не смог бы, но дело спасла новейшая техника. Он продал свою рыбу изыскателям из какой-то экспедиции, а те вывезли весь улов вертолетом.

— За два рейса едва осилили! — удивлялся Трапезников. — А рыбак, можно сказать, озолотился...

Алексей Трапезников — поэт. Чуть не с детства пишет стихи, печатался в газетах и в архангельском альманахе «Север». Я слышал, как Алексей декламировал свое стихотворение «В родное село» со сцены сельского клуба:

Он узнает знакомые места:
Вот лог, которым бегают за морошкой,
Вот речка, где однажды у моста
Он ловко щуку вздернул на дорожку...

Об озерном рыболовстве, а заодно и об организации на ближних озерах ферм водоплавающей дичи я в тот же день беседовал с председателем колхоза Лаврентьевым. Ефим Васильевич — один из председателей-тридцатипятичников. Он понимает, что такое многоотраслевое хозяйство. И рыбоводческие и птицеводческие фермы — дело нужное, можно сказать — безотлагательное. Все это так. Но где взять людей?

А ведь еще несколько лет назад картина была и вовсе безрадостной. Приехав в Нёноксу, Лаврентьев увидел, что дела в колхозе идут далеко не блестяще. И доход колхоза и заработок колхозников оставляли желать много лучшего. Особенно бедственным было положение в животноводстве. На фермах не хватало людей. Все пожилые колхозники были заняты, а молодежи в колхозе — раз-два и обчелся.

Ефим Васильевич начал со школьников-комсомольцев. Те откликнулись. Прямо со школьной скамьи пошли в колхозное хозяйство Лена Туркова и Мотя Гуляева, ныне — Могутова.

Мотя пришла дежурить на ферму сразу после окончания третьего класса. Поработав телятницей и пастухом, она перешла в доярки. Лена Туркова после шести классов тоже сторожила ферму. За одну зиму она пригляделась к работе опытных доярок — Александры и Анисьи Киприяновых и Матрены Ивановны Скребцовой. Работали они сноровисто, ухаживали за коровами любовно.

— Вот бы и мне с ними! — мечтала Лена.

Но из сторожих Лену перевели в телятницы. В ее возрасте обиходить два с половиной десятка телят не так уж легко. Но Лена хвалится:

— С непривычки трудно было, а все же дело обошлось без слез...

Плакать Лене пришлось еще через год, когда ее назначили наконец дояркой. Легко ли ежедневно одиннадцать коров выдаивать в сорок четыре соска? Легко ли каждый день вытягивать из них центнер молока? К вечеру пальцы у Лены не разгибались, а утром снова надо браться за дойку...

На призыв Лаврентьева откликнулись Анна Феликсова, Анна Туркова, Лиля Непытаева и многие другие.

Лилия Непытаева уже раньше побывала на ферме. Окончание семилетки совпало у нее со смертью отца — пришлось работать. Ее поставили сначала на приемку молока, а когда присмотрелись — перевели на уход за овцами.

Работа комсомолки понравилась руководству. Лилю захотели «выдвинуть» и... перевели на счетную работу в колхозе. Дело колхозного счетовода-кассира несложное, нетрудное, беспечальное. И все же теперь, когда Лаврентьев предложил Непытаевой перейти на ферму в телятницы, она ни минуты не раздумывала.

Мне удалось видеть, как все тридцать ласковых мохнатоухих воспитанников телятницы Непытаевой бродят вокруг нее, пощипывая молодую траву. Это было вблизи нёнокского кладбища, взгромоздившегося на еще большую высоту, чем само село. Лилия сидела на могильном холмике и читала книгу, изредка вскидывая взгляд на своих питомцев.

— Как вы различаете их? — спросил я Лилю.

— Так ведь мордашки то у них разные. Мне кажется, что у них даже выражение меняется в зависимости от настроения, — отвечала девушка. — Вы послушайте, какие у них имена...

Оказывается, каждое новое поколение телят получает у нее кличку на одну и ту же новую букву. Она окликала телят — Ласточка, Ласковый, Лютик, Ландыш, Лужайка, Лихой, Лисичка, Лодинка, Ленюк, Лунная, Леечка, Лазурный, Лакомка, — и они тут же поднимали головы, а то и подходили к Лиле и лизали ей руки.

— Вон, взгляните на моего любимчика, — смеется Лилия. — Его зовут Ледок. Родился он слабеньким — на руках его носила, из соски молоком пила. А потом начал каждый день по шестьсот граммов прибавлять. Сейчас его и палкой не уколотишь...

На конторскую работу Непытаеву, по ее словам, теперь и прыжком не заманишь. А между тем ей совсем легко следить за оравой четвероногих питомцев. Выпасы кругом Нёноксы топкие — того и гляди геленок утонет. Сколько раз Лиле приходилось их спасать!

Она трижды ездила в колхозы Холмогорского района. В Верхних Матигорах ей понравились явные преимущества группового содержания телят. Вернувшись из последней поездки в прошлом году, Лилия добилась, чтобы и в колхозе имени Ермолина разгородили телятник на клетки. Теперь на ферме можно видеть сценку, достойную показа в цирке. Нагулявшись вволю по лужкам и пригоркам, телята все еще теснятся при входе вокруг своей воспитательницы. Но вот Лилия дает команду:

— По местам!

И телята послушно расходятся и занимают каждый свою клетку.

Про замечательный труд молодых животноводов живо рассказывает Алексей Иванович Турков, один из бывалых людей Нёноксы. Когда-то он плавал на арктических судах «Русанов» и «Соловей Будимирович», доблестно воевал, в разные периоды председательствовал в колхозе, возглавлял правление местного рыбоопа.

— Пришел я на ферму — вижу, дело оживело: женки всю душу вкладывают — как ему живому не быть!

Нынешний председатель, Ефим Васильевич Лаврентьев, помогает мне сопоставить цифры, характеризующие рост колхозного животноводства за пять лет — с 1953 года. Получается довольно внушительная картина. С девяноста семи коров поголовье выросло до ста сорока. Стали много больше заготавливать сена и силоса, незнакомого Северу до самой коллективизации. Колхоз получил возможность славить государству молока и мяса почти в два с половиной раза больше и во столько же раз увеличил свои доходы. Сам Ефим Васильевич уроженец приморского села Кянды. Систематического образования ему получить не удалось, но его пятиклассная школа в сочетании с многочисленными партийными и другими школами и курсами солидно дополнялась университетами горьковского типа: он упорно учился у самой жизни.

Работал Лаврентьев на руководящих должностях в Пертоминске — управляющим конторой Маслопрома, заместителем председателя райисполкома, председателем райплана. Но вслед за призывом ЦК он не раздумывал ни минуты и по первому душевному движению вызвался поехать на постоянную работу в Нёноксу. Здесь он купил у одного из моряков домик и поселился в нем вместе со своей женой Меропией Савватьевной и пятью детьми.

И вот Ефим Васильевич рассказывает, как за недолгие эти годы в Нёноксе силами колхоза построены сельский клуб, новая двухэтажная школа-десятилетка, колхозный маслозавод, отличная пекарня, полевой стан у речки Черной, стан-изба для рыбаков, что ловят семгу на беломорской тоне Малая Режма, отдельный дом под филиал клуба — красный уголок при ферме.

Несколько в стороне от села, рядом с маслозаводом, — свинарник, конюшня, скотные дворы молочно-товарной фермы. Показатели на доске, отражающие ход борьбы, находятся в непрерывном движении. А результат общих усилий прекрасно сформулировал Спиридон Шахторов:

— С маленькой фермы — река молока!

Этот обаятельный, неугомонный старик во всем хочет быть, по его же словам, «участником и дольщиком, пайщиком-половинником».

Мне пришлось наблюдать, как Лаврентьев огчитывал паренька, убежавшего с сенокоса. Я слушал сбивчивые объяснения провинившегося с явным неодобрением и на этом считал свою роль выполненной: не вмешиваться же мне, в самом деле, в отношения председателя и юноши, который к тому же и не член колхоза.

Но не такого мнения был Спиридон Иванович, оказавшийся тут же. Он дождался, пока закончил свою нотацию председатель, сокрушенно вздохнул и, сочувственно при качнув головой, отчитал паренька в свою очередь и на собственный манер:

— Вот и у лошадей так же: пная и спит, да тянет, а иную и плетью не устегасишь. А ведь ест она не меньше других — то же сено, пьет ту же воду! Ну, а доброму коню и тот же корм, а работы вдвое больше сделает..

Однажды мы со Спиридоном зашли в местную больницу. Строена она на двадцать пять коек, а, по словам встретившего нас фельдшера Валентина Михайловича Шульмана, заняты они только наполовину.

— Что же это, люди не идут? — любопытствует Спиридон.

— В том и дело, что идут. И в медицину верят и к больнице привыкли. Чуть температура у кого повысилась — старушки и те с готовностью к нам ложатся. И тут же почему-то все обязательно уколы требуют. А ведь года три назад они боялись уколов.

— Про антибиотики небось услышали?

— Ну да! Медикаменты у нас новейшие, — соглашается Шульман. — Вот болезней и меньше становится.

В больнице опытный врач Нина Васильевна Горбачевская, восемь лет назад закончившая Архангельский медицинский институт, фельдшер и шесть медицинских сестер — все северянки. Но Валентин Михайлович недоволен.

— Нужен зубной врач, а вместо него нам дают только штатную единицу. Нужен рентгеновский кабинет — колхозная электростанция напряжением аппаратуру не обеспечивает, а из Северодвинска электролинию только в будущем году до нас доведут...

— А какие болезни заметнее на убыль идут? — не отвечает Спиридон.

— Да все,— после некоторого замешательства отвечает ему молодой фельдшер.— А особенно детские: дифтерия, скарлатина, корь. Скоро совсем на нет сойдут...

— Будет время — и смерть помрет! — говорит Спиридон.

— Откуда ты про антибиотики узнал? — спрашиваю я его.— Да и других новых слов набрался?

— Верно говоришь,— будто обрадовался Спиридон.— Революция язык нам подсушила. Помню, у нас прошлое и будущее все задним да передним временем величали. А слово настоящее и поцу нашему, наверно, нелегко было бы выговорить...

— А как же все-таки называли настоящее время? — улыбается Валентин Михайлович.

— Сейчасное жительство,— прыснул в бороду Спиридон.

Шульман показал нам на дом, в котором он живет. Вокруг него шумели березки, рябина, черемуха. Между ними угнездились любовно рассаженные кусты малины и черной смородины.

— А яблони садить не пробовал? — всматривается в садовода Спиридон.

— И за яблонями дело не станет! — с каким-то особенным значением, медленно выговаривая слова, отвечает фельдшер.

Он ведет нас куда-то дальше и по дороге рассказывает удивительную историю, восходящую еще ко дням Севастопольской войны.

— Дядя моего отца был участником знаменитой Севастопольской обороны. Вслед за ее окончанием он вышел в отставку, переехал с юга на Белое море и поселился в восьми километрах от Нёноксы, на дороге в Сюзьму, — знаете Режму, где наши рыбаки семгу ловят? Пенсия у него была не маленькая — он в чине полковника, что ли, в отставку вышел. И вот всю свою пенсию он тратил на осушение болот и топей в Беломорье. Дренаж проведет, а потом пробует сажать да сеять на осушенном месте. Рожь да ячмень и раньше тут сеяли. А дядя-севастополец выписывал с юга семена и саженцы фруктовых деревьев и сажал их в Режме. Да и не только фруктовых — кедры из Сибири выписал...

— Так это он их посадил? — протянул Спиридон.— Я ведь в Режму-то ходил, кедровые деревья видел. Рыбаки рассказывают, что по осеням они без орехов не живут...

Я в свою очередь слышала от стариков о том, что в Режме они копали когда-то канавы, что сажали там яблони и что весь берег Белого моря в том месте белел от яблоневого цвета. Бухгалтер колхоза Иван Алексеевич Коковин при мне ратовал в правлении за то, чтобы использовать осушенные в Режме земли, и про то же толковал мне в клубе на одной из репетиций драматического коллектива, в котором он принимает самое деятельное участие. И, судя по энергии бухгалтера, колхоз от использования этих земель не отступится.

Между тем Валентин Михайлович подвел нас к дому своего отца — преподавателя литературы и истории в старших классах местной десятилетки. Вокруг — аккуратно распланированные грядки огорода. Трудолюбивыми руками огород обсажен вокруг березами и рябинами. Недавно отцвели раскидистые кусты снегоцветной черемухи. Наливается соком ягодная завязь на кустах смородины и малины.

Но мы стоим, пораженные другим зрелищем: одну из грядок у овощей отвоевала средней высоты яблоня. Кустистая, в несколько стволов, она растет вот уже несколько лет и скоро будет плодоносить. В день своего шестидесятилетия, которое исполняется в нынешнем году, старый учитель надеется отведать краснощеких яблок из своего сада.

Спиридон очутился здесь кстати. Познакомившись с приполярным мичуринцем, он с увлечением рассказывает ему про нечто подобное, виденное им на Печоре; дерзкие опыты по продвижению земледелия на Крайний Север там в свое время предпринял исследователь А. В. Журавский. Еще до революции он организовал около Усть-Цильмы первую на русском Севере сельскохозяйственную опытную станцию. Журавский настолько горячо верил во всемогущество круглосуточного северного солнца, что вблизи от Полярного круга, в районе Усть-Цильмы, посеял таких «южан», как хлопок и рис. Как дяде Шульмана не удалась затея с приполярными фруктами, так провалились и дерзновенные опыты Журавского. Но зато вызрела посеянная им под Усть-Цильмой пшеница. Сейчас на протяжении многих лет она успешно выращивается во многих колхозах Усть-Цильмского района, предусмотренная их посевными планами...

В доме отца Валентина, Михаила Викторовича,— солидная библиотека. Много книг на английском языке.

Михаил Викторович объясняет:

— Юрий у меня специалист по английскому языку...

Он говорит о старшем своем сыне, брате Валентина, тоже учителе.

— А сколько в Нёноксе всего учителей?

— Тех, что здесь учительствуют, в этом году стало шестнадцать. А выходцев из Нёноксы и не сочтешь. Вкус к педагогической работе от отцов к детям переходит...

Действительно, преемственность профессий здесь можно наблюдать не только у моряков, но и среди учителей. Таковы в первую очередь семьи Поповых и Шульманов. Многие сотни их воспитанников так же вышли в жизнь педагогами.

Посредние села стоит небольшой домик Ксении Васильевны Курбатовой. Ее муж, Иван Петрович, ныне уже умерший, всю жизнь отдал педагогической деятельности. К народному просвещению причастна и сама Ксения Васильевна, хотя у нее всего лишь трехклассное образование. После освобождения Севера от белых она окончила курсы работников ликбеза и два года обучала неграмотных по деревням.

Я познакомился с ее сыном — молодым учителем Николаем Ивановичем Курбатовым; преподаватель математики в одном из северных сел, он оказался хорошим партнером по шахматам. Жена Николая, Тамара Дмитриевна,— учитель географии.

Брат Николая Курбатова, Андрей, питомец Московского педагогического института,— преподаватель Лесотехнического института в Архангельске. Его жена, Александра Лукинична, окончила Ленинградский педагогический институт и преподает литературу в Архангельском техникуме советской торговли.

Так лишь в одной семье Курбатовых шесть педагогов. Тут и не хочешь, да удивишься: «Вот тебе и глухомань!»

4. Сельские артисты

В засушливые годы мелеют реки, пересыхают ручьи, иссякает вода в родниках. На месте былого ключа мы видим пустую, иссыхающую ложбинку, и только по редким пузырькам на самом ее дне можно догадаться, что здесь был родник, что он еще не умер, что он еще будет жить. А в новом году, когда на смену летней засухе и зимнему холоду придет вешняя пора, забьет, заклокочет ключевая струя, вода наполнит емкие чаши родников и через край перельется.

— Вздохнули родники,— говорят люди.

Нечто подобное произошло и в культурной жизни бшломорского села Нёноксы после Великого Октября.

За всю предыдущую историю здесь был поставлен только один спектакль — «Жизнь за царя». Старожилы вспоминают, что «артистами» были три дочки местного попа Павла Аркадова, дочь местного кабатчика да еще кто-то из местной знати. Это было в годы первой мировой войны. На том дело и заглохло.

Еще с дореволюционных лет в Нёноксе учительствовала молодая, передовая по тому времени, энергичная женщина — Ираида Павловна Попова. Старшее поколение нынешних жителей Нёноксы и по сей день хранит о ней благодарные воспоминания. Сразу же после революции Попова горячо взялась за сплочение всех самостоятельных сил вокруг своей школы. И вот в селе возник первый в Сюземской волости драматиче-

ский кружок. В него шли дети потомственной бедноты: сестры Жолобовы — Аня, Наташа и Катя, великовозрастный парень Павел из большой семьи Григория Бутикова, брат и сестра Бабкины — Гриша и Шура, жена салогрея Скребцова — Анна Александровна. Активистами кружка стали молодые учителя Михаил Викторович Шульман и его жена Мария Ивановна.

Неожиданно для всех способным комиком оказался нёнокский бедняк Павел Лыков, только что избранный председателем сельского Совета.

Ворвавшийся в жизнь села дух новизны расшевелил женщин и девушек. Посещение деревенского «театра» было для них радостным, хотя и не всегда доступным событием. Многие мужья не отпускали на «бесовские игрыща» своих жен, отцы — дочерей.

— Лицеден-то, они еще самим Христом прокляты,— твердили они.

— Пойдешь — вицей трехсаженной выстегаю! — грозил Екатерине Купцовой ее муж.

И все же Екатерина Васильевна поставила на своем. «Воровски от мужа» ухитрилась она сходить на первый в Нёноксе спектакль. Ставилась пьеса Островского «Бедность — не порок». Невиданная ранее игра «артистов», живое действие, исполненное напряжения и драматизма, заворожили ее. Договорившись с Ирандой Павловной, она «гайком да тишком» бегала в школу на репетиции очередной пьесы — «Свои люди — сочтемся». А когда пришел день спектакля, напоила мужа допьяна, замкнула дом и убежала в школу: она играла роль ключницы.

— Вернулась я домой. отомкнула замок,— рассказывает Купцова,— а дверь открыты не могу: муж изнутри заперся. Стучу, а он отвечает: «Откуда пришла, туда и иди...» Продрогла я вся. Впустил он меня только под утро. Ну, думаю, муженек, не прежняя тебе воля. Схватила я двух своих ребятишек, да и была такова. «Прощай, муженек, у меня поги зазябли...» Досыта он за мной находился, до земли кланялся — тогда только обратно вернулась.

С тех пор Екатерина Купцова не пропускала ни одной постановки: если сама не участвовала, то шла смотреть спектакль, научилась отличать хорошую пьесу от плохой, сравнивать и критиковать игру сельских артистов.

Самым юным в кружке был семилетний сын Поповой — Сережка, по прозвищу «Учительской», нынешний учитель Сергей Иванович. Первое время он сидел в насквозь промерзшей суфлерской будке и подавал артистам нетвердо заученные ими реплики, стуча зубами от холода. Но вскоре выполз из будки на сцену. Еще позже он объединил сельских ребят в пионерский отряд — первый во всей Сюземской волости.

Молодежь из драматического кружка росла и мужала, училась и находила свое место в жизни. Сережа Попов окончил педагогические курсы. Сельская артистка Таня Бабкина до восемнадцати лет не имела возможности ходить в школу, но Иранда Павловна и учитель Шульман потихоньку обучали ее. Велико было удивление непосвященных, когда Таня вдруг, уже взрослая, поступила в пятый класс и начала учиться только на пятерки. Сейчас Татьяна Михайловна — директор одной из школ в Москве.

Сергей Иванович Попов и жена его, тоже учительница, Любовь Филипповна работали во многих северных селениях: в Летополе и Шиндеме, в Пурнеме и Емецке — и нигде о самостоятельности не забывали. Теперь они снова в родной Нёноксе.

Вот и сейчас Любовь Филипповна отправляется на очередную репетицию в сельский клуб. По дороге она делится своими печальями:

— Кажется, вот уж все сделано: пьеса выбрана, артистов более чем достаточно, роли распределены — застольные репетиции начались. Проверяю я каждого, как он свою роль понимает, как будет себя на сцене вести. И вот все у меня затормозилось...

Оказалось, печалит ее кружковец-юноша Федя Турков. Выпросил он себе роль старичка почтальона в пьесе Афиногенова «Мать своих детей». На репетициях этот восемнадцатилетний колхозник лезет, как говорится, из кожи, а ничего путного у него не получается.

— Да вот он и сам идет...

Только что Попова была на грани отчаяния и вдруг просияла: ее осенила какая-то идея. Любовь Филипповна взяла Федю под руку и повела вдоль Нёноксы.

— Ты, Федя, поглядывай на наших старичков,— завела разговор Любовь Филипповна.— Смотри, как они ходят, оглядываются, поднимаются с места, садятся, говорят, покрываются, улыбаются. Смотри на них и перенимай. Иначе тебе со своей ролью не справиться...

— Да вы куда меня ведете? — спохватился наконец Федя.

— Веду к Павлу Акимовичу...

— Зачем?

— Так ведь он тоже старик и тоже почталён, как и тот, роль которого ты собираешься играть. И такой же остроумный мужик. Мы тебя под Павла Акимовича и заграницу, а все остальное ты уж сам дотягивай...

Павел Акимович Ермолин — своеобразная знаменитость в Нёноксе. Это известный по всему Беломорью балагурщик и шутник. «Шутки у него сыплются, как из кули навага», — говорят про него.

Но вот мы подошли к дому Ермолина. Маленький, щупленький, неказистый старичок колот дрова. Любовь Филипповна, видимо, не хотела выдавать настоящую цель своего прихода.

— Просьба к тебе, Павел Акимович: не продашь ли картошки?

Ермолин воткнул топор в чурку и забалагурил:

— Моя картошка росла у окошка, выросло немножко, набрал я лукошко, да съела кошка...

И улыбается открытой, нехитрой, какой-то мальчишечьей улыбкой.

— Если нет, не обесудим,— охотно согласилась Любовь Филипповна. И добавила, меняя тему разговора: — Дрова-то у тебя какие-то чудные: ни из лесу крижи, ни от моря бревна...

— Видишь, баня была ни велика, ни мала, да половина сгнила,— ни на секунду не задумываясь, отвечает Павел Акимович.

Любовь Филипповна заторопилась в клуб, вместе с ней пошел и Федя. Я не мог не воспользоваться случаем побеседовать с Ермолиным про его брата-героя, имя которого носит колхоз в Нёноксе, и остался.

Павел Акимович рассказывает про расстрел Григория Ермолина интервентами во время восстания солдат в Архангельске. Сам Павел Акимович тоже был там в то время и уцелел, быть может, лишь потому, что лежал в те дни в лазарете.

Я стараюсь запомнить складные присказульки Ермолина и ловлю их на лету:

«Видит генерал, что солдаты хмурятся,— боится выйти на улицу. Смекает, чем бы от них откупиться,— решил дать им напиток. И говорит полковнику:

— Дадим им виски!

— Будут ноги склизки...

— Дадим им водки!

— Раскроют глотки...

— Дадим им рому!

— Наведут много грому..

Дали солдатам квасу — и не было спасу...»

А когда зашла речь о том, что тело расстрелянного Григория Ермолина чуть не целый год лежало непогребенным на Мхах — окраине Архангельска, нахмурил Павел Акимович свои стариковские брови и обронил:

— За моего дорогого брата пришла белякам расплата!..

В Архангельске рядом с областным театром стоит величественный монумент — памятник жертвам интервенции. На одной из его мраморных граней золотыми буквами вырезано имя Григория Ермолина...

Распрошавшись с разговорчивым стариканом, иду в клуб. С пригорка, где стоит сельсовет, видно, как отовсюду к клубу направляются люди.

Сельский клуб в Нёноксе редко пустует. Достаточно оповестить через местный радиоузел об очередном киносеансе, и публика сюда валом валит. В кино ходят все.

Молодежь после сеанса танцует под гармонь, гоняет шары в бильярдной, ведет между собой неторопливые разговоры.

— Экий домще под клуб отгрохали! — Спиридон с завистливым удивлением оглядывает сцену и зрительный зал. — А ведь строил-то его мой знакомый — Игорь Степанович Мусников: он здесь колхозным техником-строителем работает.

Тут же мы узнаем всю историю строительства клуба. Пришло время, когда старый клуб обветшал. А типового проекта в Нёноксе не было. В Архангельск поехал тогдашний председатель сельсовета Трапезников — сравнительно молодой человек с длиннущей рыжей бородой. В областном управлении культуры такой проект оказался всего лишь в одном экземпляре.

— Найдите чертежника и снимите копию, — посоветовали ему.

Как известно, чертежники не ходят по Архангельску в поисках работы. А в учреждениях им надо платить по безналичному расчету. Вся эта процедура могла занять не одну неделю. И вот Трапезников хитростью получает проект в свои руки и увозит его в Нёноксу. Колхозный радист Гриша Коковин за одну ночь снимает копию типового проекта сельского клуба, и на завтра его отвозят обратно.

И дело выиграло, и управление культуры не пострадало.

Теперь нужны были строительные материалы, в первую очередь лес.

Подумал Ефим Васильевич и предложил:

— Сколько возле нас плавника море выбросило! Ведь это прекрасный строевой лес. Что же, разве у нас сил не хватит? Соберется актив клуба — горы свернет!..

По его слову и вышло. Вся общественность Нёноксы взялась за выкатку плавника на берег. На колхозных автомашинах вывезли в село столько леса, сколько потребовал колхозный техник-строитель Мусников. Клуб срубили на совесть, покрыли шифером.

Окна украсили белыми наличниками.

Открывали клуб пять лет назад.

После торжественной части сельские артисты показали пьесу «Дорогой подарок». Только что сформированный хор из тридцати человек устроил концерт.

Давно ли жителей Нёноксы вполне удовлетворяли наивные песенки их предков? Соберутся парни и девушки на вечеринку, попляшут под плясовые, утешат душу старинной песней, да с тем и расходятся. Иных песен и в старинных песенных сборниках не найдешь, а они их поют.

Нелюба, так не люби, милой, меня,
Ты далеко не ходи, милой, сюда:
Далеко-то делать нечего,
Одному ходить невесело.
Переулочками боязно.
Со товарищами совестно..

Теперь в Нёноксе живут люди, окончившие среднюю школу, мореходное и педагогическое училища, техникумы и институты. Зимами в родное село приезжают отпускники-мореходы — матросы и боцманы, штурманы и капитаны, засольщики и тралмейстеры. Бывалые, видавшие виды люди, все они хлопочут о подлинной культуре.

Простое знакомство с интеллигентами села Нёноксы, родившимися здесь и продолжающими здесь работать, обнаруживает необычайное разнообразие профессий. Перечень их удвоится, если мы приобщим сюда и тех людей, которые родились в других районах Севера, но впоследствии связали свою жизнь с этим приполярным селом, а также уроженцев Нёноксы, получивших специальность, но работающих в других районах и областях страны. Кого только здесь мы не встретим: и мореходы, и лесоводы, и учителя, и летчики, врачи и бухгалтеры, полярники и фармацевты, военные специалисты и счетоводы, метеорологи и железнодорожники, мотористы и маслоделы, кинемеханики и бульдозеристы, судостроители и медики, радисты и инженеры-консервщики, зоотехники и кулшары, агрономы и капитаны речных судов, топографы и инспекторы рыб-инспекции, техники и писатели.

Да, да, и писатели! В Нёноксе родился Евгений Коковин. Первая его повесть «Детство в Соломбале» получила широкую известность в нашей стране и переведена на многие языки за рубежом.

И художественная самодеятельность расцветает здесь полным цветом. Из той же

сельской интеллигенции выросли свои хормейстеры и певцы, режиссеры и артисты, костюмеры и декораторы, местные поэты-частушечники, декламаторы и плясуны.

А у учителя Сергея Ивановича Попова каждое лето появляется еще одна дополнительная обязанность: он экскурсовод. Сюда, в благодатный заповедник, объединяющий сосновые боры, живописные пригорки, у подножия которых расстилаются луга с речками и озерами, морское побережье с солеными брызгами прибоя во время купанья, — сюда тянутся все: отпускники из Архангельска, рабочий люд Северодвинска. Всестороннее знание истории, географии, экономики родных мест делает Попова незаменимым проводником.

Но экскурсии доступны не только приезжим. Редкое лето в Нёноксе обходится без ближних и дальних походов школьников. И снова предводителем их назначается испытанный педагог и экскурсовод Сергей Иванович Попов.

На всю жизнь запомнят ребята свой краеведческий поход, что совершили они три года назад. Маршрут был намечен редкостный: Нёнокса — Пертоминск — Уна — Онега — Обозерская — Архангельск — Северодвинск — Нёнокса. Ходить Сергею Ивановичу в дальние походы противоказано: разбитая на фронте нога болит, любая обувь для нее пытка. А тут только до Пертоминска больше полусотни километров! Нелегко было идти и ребятам — ждут не дождутся желанной команды: «Привал!» А выйдет на привале Сергей Иванович в круг своих питомцев, пустится в пляс — и у ребят всю усталость как рукой снимет...

Я отклонился от темы лишь для того, чтобы показать на этом примере, до какой степени заняты люди, тем не менее выкраивающие из напряженного бюджета времени долгие часы для своего любимого драматического коллектива. И Сергей Иванович далеко не единственный тому пример.

До сих пор не оставляет сцены Мария Ивановна Шульман. Еще год назад она выступала в пьесе «Чудесный мальчик» Е. Рысса в роли научного работника Александры Петровны. Старейшая участница драмкружка, пятидесятичетырехлетняя женщина, вырастившая шестерых детей, обремененная заботами о внуках, она и сейчас находит силы и время для благородного труда в самостоятельном сценическом искусстве.

На репетициях в клубе я вижу многих уже знакомых мне людей и, конечно же, здесь и телятница Лиля Непыгаева.

— Как только я получу роль в пьесе, — говорит Лиля, — хочется знать о своей героине все до последней малости. Что в ней главное? Что она чувствует, о чем думает? Как она ведет себя? Какое у нее выражение лица? Вот и читаю, и Любовь Филипповну выспрашиваю, и сама день и ночь думаю.

Играет в драматическом коллективе и лучшая доярка Лена Туркова. В своей игре Туркова идет от знания жизни, от личного опыта. Пожалуй, именно этим и объясняется ее шумный успех в роли доярки Рубакиной из сценки «Беспокойная». В игре Лены все было просто и естественно: доярка играла доярку.

В числе молодых участниц драмкружка оказались и уборщица Лира Капитонова, и бригадир-полевод Нина Феликсова, и продавщица магазина Лида Яреньгина, и бухгалтер Павел Николаевич Серков — один из самых опытных участников кружка, — и медицинская сестра Мария Демидко, и председатель сельсовета Александр Тякин.

Даже и в тех случаях, когда работа в кружке не приносит ощутимых результатов в овладении артистическим мастерством, увлечение сценой оказывает на участников кружка облагораживающее влияние.

В Нёнокском рыбокоопе работает молодой грузчик Саша Баранов. Поведение его никогда не было образцовым. Если где-то кто-то подрался — это Саша Баранов. Если где-то идет выпивка — и там Саша Баранов. Если в клубе разбили окно — и тут ищите Сашу Баранова. Если плачется мать на нерадивость сына — это мать Сашы Баранова.

Любовь Филипповна решила провести опыт. Она посоветовалась с коллективом, и Баранова вовлекли в драмкружок. Саша загорелся. Правда, особых сценических данных у него не было, но зато после нескольких постановок у него родилась настоящая страсть к сцене. Парня будто подменили. У него появилось то, чего ему недоставало всю его недолгую жизнь: уравновешенность и чувство собственного достоинства.

Однажды в клубе Любовь Филипповна встретила Сашину мать. Со слезами на глазах она благодарила Попову:

— Мой-то Сашка-то пить бросил. Да заботливый нынче такой стал, внимательный. Бывало, утром убежит, и до ночи его не увидишь. А теперь вечером, прежде чем к вам в клуб зайти, и дров наколет да наносит и воды принесет. Спасибо вам, Любовь Филипповна, за ваш кружок!..

В Нёноксу после окончания Холмогорского зооветеринарного техникума прехала на работу Лидия Кобылина. При первом взгляде на нее бросалась в глаза какая-то манерность и рисовка. «Воображуня!» — говорят обычно про таких.

Неожиданно она вызвалась участвовать в работе драматического коллектива. Предстояло играть пьесу Н. Кулина «Без грима». Любовь Филипповна, ознакомившись с ролями, решила дать Лиде роль девушки-кривляки, много мнящей о себе красавицы.

Лидя Кобылина сыграла эту роль прекрасно: она, по сути дела, играла самое себя. В зале дружно и часто смеялись.

Сразу после спектакля Попова побеседовала с Лидой:

— Знаешь, Лидя, почему тебя так хорошо принимали?

— Потому, что я хорошо играла?..

— Нет, Лидя, не поэтому. Героиня, роль которой ты так удачно сыграла, сама по себе смешна и в жизни и на сцене. Ей кажется, что она какая-то особенная, не похожая на других. Она манерничает, зазнается, рисуется. А ведь все эти черты характера смешны. Просто она гордится тем, чего надо ей стыдиться...

Лидя глубоко задумалась и резко изменила свое поведение. С тех пор она хороший товарищ, активная участница всех клубных начинаний, член совета клуба...

Все эти люди, разношерстные, различные по своим склонностям и вкусам, запросам и устремлениям, болеют одной и той же высокой болезнью «лицедейства». Сейчас в кружке более тридцати человек. Всего за последние пять лет в драматическом коллективе перебывало более ста пятидесяти человек. Их силами поставлено много десятков самых разных пьес.

Казалось бы, что теперь, в выросшем и окрепшем драматическом коллективе, должны были исчезнуть все былые трудности. Подобрать пьесу по силам уже легче. Не надо мучительно выискивать кандидатов на ту или иную роль. Можно поставить и многоактную пьесу. Но сколько энергии и изобретательности требуют такие постановки от сельских артистов!

Как легко драматургу вообразить, например, такой симпатичный пейзаж: «Тихие весенние сумерки в маленьком приволжском городке. Городок стоит на горе — отсюда и название его Верхнегорск. Внизу Волга, перекличка отдаленных голосов, гармонь, гудки пароходов. Здесь, в ряду других, стоит маленький дом в три окна. Перед домом сабитка, завалинка, одинокое деревцо...»

Невинные на первый взгляд, эти строчки приводят сельского режиссера в подлинный трепет. Любовь Филипповна отлично знает, что легче для нашей страны построить такой городок в натуре, чем для сельских артистов Нёноксы воспроизвести его в виде декораций.

Художника при клубе нет, и все рисуется самими участниками коллектива. Щитов здесь очень мало. С шутками и прибаутками переклеивают и перекрашивают их кружковцы сообразно требованиям постановщика. Но как щиты перекрашивать, если даже и красок в клубе нет?

К счастью или к несчастью, но и сейчас действует пословица: «Голь на выдумку хитра». Вместо красок сельские любители сцены додумались использовать продукцию фармакологии. Мы не будем выдавать сердобольных медиков, идущих навстречу требованиям искусства. Во всяком случае, установлено, что можно прекрасно одевать в чистую деревья (они «вырезаны» из обыкновенной бумаги!), пользуясь таблетками бриллиантовой зелени. Всякие красители, уголь и сажа — все идет в ход.

Вслед за сооружением нового клуба обнаружилось, что недостает гармошки, не говоря уже о баяне. А для хорового и драматического кружков, для вечеров досуга гармошка необходима. И вот ее «изобретает» Сергей Иванович Попов. На одном из

собранный пайщиков местного кооператива (благо, он председатель лавочной комиссии) он обращается к ним с несколько странным предложением:

— А что, если в этом году нам не получать свой пай от дивидендов? Давайте, товарищи, откажемся от них и купим на эти деньги гармошку для клуба. У каждого из вас сыновья и дочери туда ходят, да и сами вы любите повеселиться...

Дальше следовала зажигательная речь на тему: гармошка — огромная сила. И что же? Предложение Сергея Ивановича было принято! Так в клубе появилась гармонь...

Вокруг драматического коллектива собираются своеобразные болельщики театра. Елизавета Дмитриевна Прибыткова сама не играет, но в работе над каждой новой постановкой она незаменима.

Вначале она шила сама и собирала по домам необходимый реквизит: костюмы, обувь, головные уборы, женские платья и украшения. Сейчас она оформитель, костюмер и негласный староста коллектива. Елизавета Дмитриевна добровольно ходит по селу, оповещая людей о предстоящем занятии или репетиции. Стоит кому-либо из кружковцев опоздать на занятие или (упаси боже!) вовсе не прийти, стоит помять костюм или допустить изъясн в туалете, Прибыткова обрушивается на виновника со всей присущей ей энергией:

— Тебя что, ждать люди будут, что ли? Совсе не уважаешь своих товарищей. Смотри, парень, так и тебя уважать перестанут!

Или:

— Ты что это таким пугалом вырядился? Дай-ка я тебе костюмчик-то подошью да поглажу...

Любовь Филипповна Попова говорила с трибуны областного съезда работников культуры в Архангельске:

— Одновременно с работой нашего кружка и с ростом наших сельских артистов происходит рост и восприятие самих зрителей.

А вернувшись в Нёноксу со съезда, Любовь Филипповна писала своей однофамилице из Архангельского Дома народного творчества:

«Здравствуйте, Фелицата Анатольевна!

Сейчас уже ночь. Деревня спит — ни огонька. Допишу это письмо, и в моем окне погаснет свет. С воздуха даже не увидишь нашу Нёноксу — вся она белая, закутанная в снега. Сейчас она спит, но зато какой бурной жизнью живет днем! Кое-что об этой жизни я и расскажу Вам в этом письме.

Мы успели поставить спектакль «Павлик Морозов». Из-за недостатка декораций один акт выпустили. Репетициям не мешали ни вьюги, ни морозы: все шестнадцать участников спектакля готовились с большим увлечением. Зрители были довольны и говорили, что мы настоящие артисты: играли пьесу просто и естественно. А это для нас лучшая похвала.

С той поры все члены драматического кружка хотят прозверить свои силы на крупной работе, где были бы заняты все наши сельские артисты. А я страшно боюсь декораций: ведь, извините, ни черта нет — бери, где хочешь! Приходится мастерить самим: проклеиваем газеты, белим их мелом, натягиваем на сколоченные наскоро рамы, рисуем печи, пейзажи, деревья.

А времени у меня в обрез. На днях в Пертоминске будет проходить районное совещание директоров и завучей школ нашего Беломорского района. Мне поручено сделать доклад «О контроле и руководстве школой и о помощи молодым учителям».

Скоро в наши школы приедут студенты-практиканты. Придется мне помататься и самой уроки вести и сидеть на уроках практикантов. Надо втягивать их в педагогический процесс, прививать вкус к новой для них работе. А ведь еще просмотр дневников, журналов, тетрадей, методическая работа, контроль над внеклассными мероприятиями, работа кружков. И, конечно, студентам надо помочь изучить опыт работы лучших учителей нашей школы...

Что-то голова устала. В десятом часу пришла с совещания, проверила сочинения девятиклассников и решила с Вами поговорить тихо. За окном прижалась темная ночь. А завтра снова — здравствуй, новый день труда, дум, забот! Хорошо сознавать себя в колонне передовых. Прав был Л. Н. Толстой, когда говорил: «Счастье — это

ощущение полноты своих духовных и физических сил в их общественном применении...».

...Год за годом такой, казалось бы, разноликий и в то же время дружный и сплоченный коллектив сельских артистов Нёноксы делает свое благородное дело. Он обслуживает не только родное село, но и соседние населенные пункты: Солзу, Сюзьму, Пертоминск. В нынешнем году жители Нёноксы и общественность Архангельска и всей области будут отмечать сорокалетний юбилей коллектива. В связи с этим мне вновь вспоминаются слова Любови Филипповны, сказанные ею на съезде в Архангельске:

— Хочется сделать все, чтобы в Нёноксе хорошо работалось и весело жилось!

* * *

Спиридон проводил меня до Солзы. По совету Спиридона мы ссгновились на ночлег в огромном, хотя и одноэтажном доме супругов Морозовых: его зовут Игорь Афанасьевич, ее попросту (так она сама отрекомендовалась) Лидия. Он выходец из Лешуконья, работает на строительстве в Северодвинске, она колхозница. Сюда уже дошла «настоящая» электроэнергия, и Солза залита электрическим светом. В доме Морозовых электрические лампочки не только во всех комнатах, но и в сенях, в чуланах, в уборной и даже на повети. Мясо к ужину Лидия тушила в электрической жаровне, чай готовила в электричайнике, а на тумбочке стоял, ожидая своей ссреди, электрический утюг.

Игорь Афанасьевич заметил мое любопытство и подсказал:

— Солза вся была деревянная, домодельная вплоть до шайки в бане, до бороны в поле. А теперь почти в любом доме — я уж не говорю диваны, буфеты да гардеробы! — найдете и дорогие радиоприемники и радиолы. Так что деревянной ее никак не назовешь...

— Главное, что люди здесь не деревянные! — вставил слово Спиридон.

Назавтра нам предстояло расставание. На ночлег нам отвели просторную гостиную, чистую, богато обставленную, с комнатными цветами по углам и у окон.

И вот рядом со мной снова сидит давний мой знакомец. По складу ума он философ, по натуре — поэт, по многочисленным своим профессиям — такой же, как и я, бродяга, по речам — северный краснобай, или, как у нас называют таких людей, золотых слов мастер. По его сосредоточенному виду можно догадаться, что ему сейчас ничего не нужно, кроме чуткого уха собеседника. Что-то скажет он мне сейчас, этот многодумный и сердечный человек?

Когда хозяева дома улеглись спать, мы со Спиридоном долго беседовали. Собственно, как всегда в таких случаях, говорил он один. Он и никогда не был скуп на слово, а в этот раз, когда речь зашла о родном и близком, ему и вовсе не до скупости. Самые дорогие свои мысли одевает он в цветастые одежды милой ему печорской красной речи и выпускает ко мне в уши, как на праздник:

— Семилетье, оно у меня соловьями из крови поет. С новым планом семилетним человек себя на голову выше чувствует. И в наших холодных краях, сам видишь, горячие дела развернулись...

Я слушал Спиридона, и перед моим мысленным взором проплывали электрические созвездия — огни заповирных городов, новенькие кварталы бесчисленных рабочих поселков, мощные повостройки на пробужденных к жизни массах осушенных болот, благоустроенные колхозные села с домами культуры, подобными нёнокскому клубу, умная, чистая, светлая жизнь — вся озаренная человеческим счастьем шумливая молодость родного края..

с. Нёнокса, берег Белого моря,



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВАСИЛИЙ ГАЛАКТИОНОВ

★

ПЛОТИНА АСУАНА

1

В эту ночь невозможно было заснуть. Я ходил из угла в угол по комнате, выбегал на террасу, чтобы хлебнуть свежего воздуха, но и там не находил себе места. Теплый ветер нес из-за реки одуряющие запахи цветов и тяжкий гул падающей воды, но не приносил свежести.

Сто градусов по Фаренгейту, — бесстрастно свидетельствовал термометр. Вот она, тропическая Африка. Ее познаешь сразу всем своим существом: ложишься на кровать — и тебе кажется, будто ты лег на раскаленную сковородку, открываешь в душевой «холодную воду» — и тебя окатывает чуть ли не кипятком, включаешь английский «кондиционер» — тебя обжигает горячим воздухом. Дыхание Ливийской пустыни порой становится просто невыносимым.

Но, как говорят, ко всему привыкаешь. Уже на третий день пребывания в Асуане я почувствовал себя лучше. Научился спать, завертываясь в мокрую простыню. Мои товарищи, кажется, обходились и без этого. Но при всем том мы, русские инженеры, конечно, завидовали сухопарому, маленькому ростом, неугомонному доктору Хасану Заки.

Он словно не замечал жары и, не в пример нам, ходил в шерстяном костюме. В темных роговых очках, с неизменной сигаретой во рту и палкой в руке, он шагает впереди нас, карабкается на утесы, спускается в овраги. Трудно поверить, что доктору Хасану Заки за шестьдесят: сорокалетние за ним не очень-то поспевают.

— Вот это место. — Заки взмахнул палкой. — Американцы предлагали строить Садэль-Аали — нашу высотную плотину — именно здесь.

Мы смотрим на гранитные берега Нила. Массивные, будто вылитые из стали, отвесной стеной они уходят вниз, в бездонную пучину беспокойной воды. Подножие угловатых лижут взъерошенные нильские волны, отмечая белой пеной границу воды и берега. Поперек долины по темно-серым скалам пролегает прямая, ослепительной белизны линия — ось плотины. Под некоторым углом к ней белеег еще несколько линий — оси тоннелей.

Это английские инженеры так ярко разрисовали мрачные граниты, заверяя арабов, что они нашли самое лучшее техническое решение асуанской проблемы. Но арабы все же решили проверить англичан и передали английский проект Асуанской плотины на изучение советским специалистам.

Проект англичан рассматривал московский институт «Гидропроект» и внес в него ряд существенных изменений. Напрасно старались англичане, размазывая белыми скалы. Нам хорошо видно, что сооружения можно построят лучше; для этого, правда, их надо перенести на другое место.

— Вот видите? — улыбается Заки. — Плотина, можно сказать, уже в натуре выиссана, а вы нам все карты спутали: надо отсюда эвакуироваться.

Несколько дней тому назад на Каирском аэродроме опущился воздушный лайнер «ТУ-104», доставивший из Москвы группу советских специалистов. На аэродроме в числе других арабских инженеров нас встречал доктор Хасан Заки.

— Здравствуйте, мистер Комзин! — сказал по-русски Заки — Здравствуйте, мистер Малышев!

Остальных инженеров Заки еще не знал. Мы пожали друг другу руки, познакомились.

— Я должен был мчаться из Каира на аэродром со скоростью спутника, — пошутил Заки. — Боялся, что меня обгонит ваша ракета — «ТУ-104».

В Каире нам предстояло встретиться с американскими и французскими инженерами-экспертами, с египетскими инженерами и руководителями. Мы привезли из Москвы свои новые предложения, касающиеся строительства высотной Асуанской плотины. Предстояли серьезные технические бои, исход которых не рождался предсказать даже такой опытный гидротехник, каким был доктор Хасан Заки.

Машина остановилась на набережной Нила у большого отеля.

— Когда приезжают американцы? — поинтересовался Николай Александрович Малышев, выходя из машины.

— А они уже приехали, — ответил Заки.

— Можно ли с ними встретиться?

— Сегодня нельзя...

— А завтра?

— Тоже нельзя. С утра они идут молиться в церковь.

До встречи с иностранцами у нас оставалось некоторое время для генерального просмотра чертежей, проектных записок и подготовки к обсуждению проекта.

Но вот уже закончены все приготовления, мы собрались было ехать в министерство, как позвонил Заки и сообщил, что американцы и англичане все еще изучают проект и, кроме того, ждут из Западной Германии Прусса — крупного немецкого гидротехника. Только на другой день Заки пригласил нас к себе — в Министерство общественных работ; там арабские инженеры и работали над проектом высотной Асуанской плотины — крупнейшего сооружения на африканском континенте.

Кабинет Заки — огромный, просторный и немного сумрачный от надвинутых на окна жалюзи. Заки за большим столом показался мне очень маленьким, как бы уменьшенным. Увидев нас, он вскочил со стула, заулыбался и громко приветствовал каждого, пожимая руки, приглашая к столу и угощая сигаретами.

Тут же он кратко рассказал нам о состоянии дел и о тех противоречиях, которые возникли на предварительном обсуждении проекта. Оказывается, англичане и американцы сразу же взяли советский проект в штыки. Основные его положения были подвергнуты сомнению и жестокой критике. Арабские инженеры, много лет работавшие над проектом высотной Асуанской плотины под руководством английских и американских инженеров, ни разу не видели их в таком возбуждении и гневе. Кому же верить? Не верить англичанам, американцам? Не верить сиянию ярких звезд гидротехнической мысли Запада? Но с другой стороны, не верить смелому проекту русских? Это означало бы не верить собственным глазам, потому что по русским проектам построены величайшие в мире гидротехнические сооружения, а эти сооружения арабы видели в Куйбышеве и Сталинграде.

Я хорошо понимал тяжелое положение доктора Хасана Заки. Ему доверено правительством Объединенной Арабской Республики выбрать наилучшее решение. За свою многолетнюю практику Хасану Заки приходилось проводить не одну техническую экспертизу. И далеко не всегда это проходило объективно и беспристрастно. Давление заинтересованных компаний, конкуренция, коммерческие цели отдельных лиц — все это нередко являлось причиной, толкавшей в ту или иную сторону махину крупного проекта. Сколько известно примеров, когда техническая борьба перерастала в борьбу политическую, а в ее сферу явно и тайно втягивались значительные внутренние и внешние силы!

Проект высотной Асуанской плотины как раз и был таким проектом, вокруг которого могли разгореться политические страсти. Мы это хорошо понимали, понимал это и Заки. После разговора с ним мы почувствовали, что он будет поддерживать советский проект. Это прибавило нам сил. Однако к большому разговору с американцами и анг-

личанами мы подготовили некоторые новые предложения, на успех которых и сами не очень надеялись.

И снова мы в кабинете Хасана Заки. Здесь и египтяне и иностранные специалисты.

Первым заговорил американский профессор Лоренц Штрауб — высокий, сухой мужчина средних лет, с правильными чертами лица и острыми глазами, закрытыми большими модными очками. Он сообщил, что в Америке состоится конгресс, посвященный гидротехническому строительству, и что он надеется встретить там русских инженеров. В ответ на это профессор Комзин пригласил американца посетить СССР.

— В России есть на что посмотреть, — улыбаясь, сказал Штрауб, поблагодарив за приглашение.

В кабинет вошел французский инженер Андре Коин — седой, коротко стриженный человек лет шестидесяти. Андре Коин — владелец фирмы. В его творческом активе семьдесят плотин, выстроенных уже после второй мировой войны в разных странах мира. Только один этот факт говорил о многом и, разумеется, привлекал молодых арабских инженеров, учившихся по книгам профессора Коина.

Инженер Коин вел себя с достоинством.

— Недавно в Париже я встречался с вашим коллегой, — сказал он, обращаясь к Малышеву, которого хорошо знал по встречам в Америке, — фамилия его... Сео.. Сео..

— Севостьянов, — подсказал Малышев.

— Мерси! Так вот, мосье Севостьянов много и интересно рассказывал о гидротехнической лаборатории Гидропроекта. У вас ведь большая лаборатория?

— Я бы сказал, средняя, — засмеялся Малышев. — Мы думаем ее расширить.

— Очень, очень хорошо. Может быть, мне посчастливится когда-нибудь посмотреть ее.

— Всегда будем рады видеть вас в Москве.

Обмен любезностями закончен. Начинается деловой разговор. Николай Александрович Малышев делает краткий обзор советских предложений, улучшающих проект Асуанской плотины, составленный под руководством американских и западноевропейских инженеров. Уже по вопросам, которые задают иностранные эксперты, мы чувствуем, что это очень квалифицированные, знающие свое дело специалисты. Коин быстро нащупал самые сложные и самые ответственные места в нашем проекте.

— Как вы будете замывать песком каменную наброску? — спросил он. — Где гарантия того, что между глыбами камня не останутся опасные пустоты?

У многоопытного француза неожиданно не оказалось опыта строительства плотины такого типа. Мы видим, что Коин боится нашего смелого предложения и пытается найти в нем слабые стороны.

— Не будет ли песок выносить током воды вниз по течению? — беспокоится профессор Штрауб.

Малышев заранее знал, что Коин и Штрауб спросят его об этом.

— Когда мы на Волжской гидростанции, — сказал он, — перекрывали русло, то к каменному banquetу примывали речной песок. Песок быстро заполнил пустоты в камне, закупорил их и даже появился в нижнем бьефе.

— А какие еще есть у вас доказательства? — спрашивает Коин.

— Лабораторные опыты. Результаты замыва получаются очень хорошие. Мы теперь знаем природу проникновения песка в каменную наброску, знаем те силы, которые управляют этим процессом.

Профессор Коин задумался. Подвижные брови поползли вверх, потом снова стянулись к переносице.

— Лаборатория — это одно, а вот что на практике?

— Мы экспериментировали в трубе диаметром восемь метров, получилось абсолютное заполнение пор в каменной наброске.

Коин продолжает сомневаться и снова допрашивает нас:

— Раньше вы сказали, что при замыве banquetа на Волжской гидростанции в нижнем бьефе появился песок. Если он там появился — значит, в каменной наброске есть отверстия?

— Верно,— соглашается Малышев,— но они вскоре забиваются песком и полностью исчезают.

Французу, по-видимому, не очень нравится то спокойствие, с которым русский эксперт дает объяснения. Слабых мест в проекте еще не обнаружено, а их надо обязательно найти. Найти их надо, во-первых, потому, что речь идет о национальном престиже и приоритете проекта, и, во-вторых, потому, что представители Запада, увидев новый проект, не могли не заметить тех его реальных преимуществ, на которые уже обратили внимание арабские инженеры. Была ясна еще и третья причина: деловой авторитет западных гидротехнических фирм был брошен на египетские весы, стрелка заколебалась и не захотела склоняться в сторону Запада. А это оборачивалось для западных фирм потерей крупных заказов на проектирование и исследование асуанского объекта.

Но огорчения иностранных экспертов только начинались. Размеренным и внятным голосом, все с тем же спокойствием Николай Александрович заявил:

— Мы думаем, что на Асуанской плотине не следует строить тоннелей.

Тут уже не выдержал джентльменского тона профессор Штрауб. Он спросил резко и прямо:

— А что русские предлагают взамен тоннелей?

— Открытый канал,— коротко ответил Малышев.

Наступила длительная пауза. Ответ был настолько неожиданным, что иностранные эксперты не сразу решились продолжить разговор. Молчание прервал немецкий инженер Макс Прусс — представитель Федеративной Республики Германии. Он прокашлялся и обратился к переводчику:

— Передайте русским экспертам, что такой канал потребует вырубить в скале на глубине до ста метров. Это странно дорого! У нас на Западе любят считать деньги.

Малышев поправил седеющие волосы, еле заметная улыбка пробежала по его лицу.

— По нашим расчетам,— сказал он, обращаясь к Пруссу и Копну,— канал будет дешевле тоннелей приблизительно на десять миллионов египетских фунтов,— и тут же передал экспертам пояснительную записку, в которой содержалось подробное сравнение различных вариантов сооружения. В ней приводились и другие важные доводы в защиту канала. На открытом канале резко упрощается производство строительных работ. Выемка скалы пойдет обычным открытым способом. При этом не потребуется заказывать и поставлять в Египет уникальные и дорогие машины, а можно будет пользоваться стандартным строительным оборудованием. Камень, извлеченный из канала, пригодится на строительстве плотины. В результате всего этого будет достигнута большая экономия на строительных материалах. И, наконец, еще один довод — фактор времени. Работы по проходке канала можно начинать немедленно, не дожидаясь, пока будут спроектированы, построены и поставлены в ОАР строительные механизмы. А это тоже весьма существенно.

— Мы можем приступить к строительству через два месяца,— заявил профессор Комзин,— тотчас после поставки из СССР автомашин и экскаваторов. Замена тоннели каналом, мы выиграем целый год, самое малое. Только подумайте — год времени!

Это заявление Комзина — бывшего начальника строительства Волжской гидростанции — вконец затруднило положение американских и западноевропейских экспертов.

— А нельзя ли,— снова вклинулся Коин,— нельзя ли рассмотреть некоторый комбинационный вариант — часть тоннелей, а частично — канал?

— Это идея! — воскликнул Штрауб. — Так сказать, компромиссное решение.

Но идея эта не привела в восторг доктора Заки. Он заволновался. Ему надо быстрее строить плотину, а всякая новая идея в проекте, не подтвержденная исследованиями и расчетами, остается только идеей. Она сейчас опасна, ибо может затянуть строительство новыми исследованиями и экспериментами. Сколько же можно экспериментировать? Сколько можно тратить драгоценное время на разработку бесконечных вариантов?

Заки внимательно изучил все изменения, внесенные нами в проект, и убедился в разумности наших предложений. Старый египетский гидротехник в отличие от

своих западноевропейских коллег был чужд амбиции, он поднялся над нею, и это дало ему возможность увидеть главное. А главное заключалось в том, что наши предложения резко упрощали строительство, сокращали его сроки, приближали начало асуанской стройки.

Наблюдая за тем, как ведет экспертизу Заки, я невольно подумал о той огромной ответственности, которую он брал на себя в этом большом инженерном споре. В конечном счете многое зависело от арабской стороны. Можно было принимать предложения англичан и американцев, ничем не рискуя, бронируя себя опытом многолетней совместной работы и пользуясь поддержкой мировых светил и имен. Можно было, наконец, поискать другие компромиссные варианты проекта, но это был слишком большой риск, пойти на него доктор Заки не мог. Окончательное решение оставалось за Высшим комитетом по строительству Асуанской плотины.

Заседание комитета под председательством вице-президента Объединенной Арабской Республики маршала Амера состоялось в тот же вечер. И на другой день мы узнали, что комитет, в состав которого входят министры и видные политические деятели, одобрил советский проект. Вечерние египетские газеты заестрели экстренными сообщениями о блестящей победе русских гидротехников, о найденном ими способе удешевления и сокращения сроков строительства. Английское и американское радио разразилось воплями: «Русские будут строить высокую Асуанскую плотину! Эта плотина станет маяком коммунизма, воздвигнутым в самом сердце Африки...», «Советы финансируют гидротехническое строительство в Египте, осуществляя свои планы экономической экспансии в страны Ближнего Востока!». Но это уже были просто дешевая пропагандистская шумиха.

2

Западноевропейские эксперты арабы проводили по-хорошему: организовали большой банкет, угостили виски со льдом и даже показали на прощание темпераментную танцовщицу. На другой день эксперты разъехались. В Каире осталась наша небольшая группа, продолжавшая работу с арабскими инженерами. Срочно составлялись заявки на поставку из СССР строительной техники, обсуждались и уточнялись детали проекта, разрабатывались планы обмена специалистами и т. п.

Вскоре мы узнали, что президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер утвердил решение Высшего комитета о строительстве первой очереди Асуанской плотины и назначил дату начала строительства. Мы были приняты сначала вице-президентом маршалом Амером, а затем президентом Насером. Руководители арабского правительства благодарили нас за хороший проект и просили помочь в подготовительных работах к строительству.

Исполняя эту просьбу, мы выехали вместе с арабскими инженерами в Асуан.

Вагоны каирского экспресса отличаются от наших обычных пассажирских вагонов. Они значительно меньше, в купе тесновато и жарко, хотя к услугам пассажира умывальник, холодная вода и мощный вентилятор.

Было еще светло, когда африканский экспресс, набирая скорость, устремился на юг, к тропику Рака. Слева показались Нил и застроенная высокими домами набережная, затем на горизонте там и тут начали появляться силуэты египетских пирамид, различных по форме и высоте. Вот одна из них у селения Саккара — пирамида Джосера. Она имеет ступенчатый вид. Ее шесть уступов поднимаются на высоту шестидесяти метров.

Но пирамида Джосера кажется небольшой в сравнении со знаменитыми пирамидами в районе Гизе. Самая большая из них — пирамида Хеопса — имеет высоту сто сорок семь метров. В течение сорока пяти веков это гигантское сооружение было самым высоким зданием на земном шаре. Недаром древние греки причисляли египетские пирамиды к «семи чудесам света», а русские называли их «горами рукотворными».

Рассматривая в окно поезда эти циклопические сооружения древности, я невольно подумал о совершенно новом сооружении, о пирамиде двадцатого века, которую современные египтяне должны воздвигнуть в долине Нила близ Асуана. Даже по форме

высотная Асуанская плотина, в сущности, является каменно-песчаной пирамидой, только более высокой, чем пирамида Джосера. Она будет создана во имя блага и процветания египетского народа. Это благо принесет Нил — главная и единственная река Египта. Сейчас Нил неспешно идет навстречу нашему поезду, и его отлогие берега далеко на горизонте сливаются с песчаной равниной. Как-то не верится, что вот там, за желтой кромкой берега, за горбатыми холмами и застывшими грядами барханов, нет никакой жизни. Вот она, страна солнца и горячего ветра. Над нею раскинулось яркое синее небо. Ни тучки, ни облака. Дожди здесь — событие. Многие феллахи еще и сейчас помнят, как в долине Нила за четыре года, с 1901 по 1905-й, не выпало ни одной капли воды. И не удивительно, что в пустыне быстро иссякают водные источники, реки теряются в песках, оставляя после себя печальный след — сухие русла и дельты.

Страшный зной высасывает всю влагу из почвы, но воздух все-таки остается сухим. В течение года здесь мог бы испариться с поверхности пустыни водяной слой толщиной в четыре метра.

Нил — главное богатство Египта. Нил вдвое длиннее Волги. Каждый год с поразительной точностью он разливается в своей долине, увлажняет землю и покрывает ее слоем плодородного ила. Древние египтяне не знали причин этого удивительного явления. Поведение Нила им казалось разумным, и они принимали его за божество.

На плодородной почве Нильской долины под лучами яркого солнца хорошо растет египетский хлопок, рис, сахарный тростник. В дельте Нила, в зарослях и степях на границе с пустыней, обитают многочисленные представители животного мира. И, чтобы все это росло и жило, нужно только одно — вода. В долине Нила в настоящее время построено несколько небольших плотин. Они регулируют сток воды, накапливая ее в водохранилищах для орошения засушливых полей. Но экономика Объединенной Арабской Республики развивается настолько быстро, что этих плотин уже недостаточно. Они не могут удовлетворить огромного спроса на воду. Чтобы раз навсегда разрешить проблему водяного голода, египтяне и задумали построить на Ниле высотную плотину, скопить в искусственном водохранилище такое количество воды, которого хватило бы и для орошения и для крупной гидроэлектростанции.

Где же на Ниле лучше всего построить такую плотину? Исследования геологов показали, что самое лучшее место для такого сооружения находится в девятистах километрах от Каира, у небольшого городка Асуана. Река здесь зажата в узком гранитном ущелье, как бы созданном самой природой для гигантского гидротехнического сооружения.

В пыльном и тряском вагоне мы ехали по голой пустыне всю ночь, и всю ночь во всех купе без умолку гудели вентиляторы, спасая пассажиров от тропической жары. С рассветом в вагоне стало немного прохладнее. Проводник объявил, что поезд подходит к Асуану.

Я достал из чемодана немецкий путеводитель по Египту и стал читать.

«Асуан находится на восточном берегу Нила в 934 километрах южнее Каира по железной дороге, насчитывает 32 тысячи жителей — арабы, берберы, бишарины, суданцы — и является центром Асуанской провинции, самой южной и самой маленькой в Египте, лежащей на том месте, где Нил в теснинах Первого порога прорывается сквозь гранитные скалы. Асуан был с древнейших времен важным пунктом торговли с Суданом. В настоящее время — зимний курорт, привлекающий путешественников со всего света. Отели «Катаракт» и «Гранд-отель». Бюро путешествий «Томас Кук и Сыновья» и англо-американская нильская туристская компания. Виды в Асуане очаровательны. Удивительно здоровый и приемлемый климат без дождей и тумана, чистейший воздух пустыни. Можно легко понять, почему выздоравливающие больные и любители природы с рвением устремляются сюда».

Поезд остановился у небольшой, ничем не примечательной станции Асуан. Мы вышли на перрон, и сразу же солнце обрушило на нас все тепло сухих тропиков, весь жар раскаленной пустыни. Я не мог пробыть в пиджаке и пяти минут. Сорокаградусная жара гнала в тень. Но, к счастью, ждать долго не пришлось. Нас уже поджидали машины управления «Сад-эль-Аалн». Расчистив дорогу резкими и настойчивыми сигналами, они прошли по набережной Нила, усаженной пальмами, и вскоре свернули в узкие

улицы, которые привели на окраину города, к старой Асуанской плотине. Здесь, на правом берегу Нила, в небольшом парке размещается двухэтажная вилла — прежняя резиденция английского управителя, командовавшего распределением нильской воды. Теперь здесь гостиница управления «Сад-эль-Аали».

После обеда мы совместно с арабскими инженерами составили программу нашей работы в Асуане. Дел оказалось очень много. Надо было изучить район строительства плотины, пройти пешком по трассе будущего канала, осмотреть возможные участки размещения гидростанции, посетить действующие карьеры строительных материалов, осмотреть старую Асуанскую плотину.

Начали мы с осмотра плотины и водохранилища. Зажатое в узком гранитном ущелье, водохранилище кажется совсем небольшим, однако на том участке, где будет строиться новая высотная плотина, глубина его и сейчас достигает тридцати метров: это высота десятиэтажного здания.

Невольно возникает вопрос: зачем строить плотину в таком глубоком месте, не лучше ли сначала спустить водохранилище и поставить плотину на сухом дне Нила, как это обычно делают гидротехники?

Вопрос резонный — действительно, еще никто и никогда не строил крупные речные плотины столь необычным способом. А строить все-таки придется именно так — сквозь тридцатиметровую толщу воды, вопреки установившимся правилам и традициям.

Для того чтобы понять причину столь сложного решения инженерной задачи, необходимо еще раз вспомнить, что вряд ли можно найти на земле вторую такую страну, жизнь и благополучие которой зависели бы от реки и от ее разливов в такой мере, как зависит Египет от Нила.

Египетский район Объединенной Арабской Республики занимает площадь около одного миллиона квадратных километров. Освоено же человеком около тридцати пяти тысяч квадратных километров, то есть меньше четырех процентов общей территории страны. Население Египетского района ОАР составляет двадцать четыре миллиона жителей, а ежегодный прирост превышает полмиллиона человек. Земли, используемые для орошаемого земледелия, расположены в узкой полосе долины Нила в пределах Верхнего Египта и в дельте реки. Площадь этих земель не превышает двух с половиной миллионов гектаров. На остальной территории республики раскинулся бескрайний океан песчаной пустыни. Расчет получается простой: на каждого жителя республики приходится всего-навсего по одной десятой гектара обрабатываемой земли, и если учесть прирост населения, то и того меньше. Цифры весьма красноречивы, они ясно показывают, как остро стоит вопрос с орошаемым земледелием и как тесно он связан с Нилом.

Чтобы получить возможно больше воды для орошения, необходимо обуздать Нил, умерить его расточительный характер.

Можно ли это сделать? Можно. Выражаясь словами гидротехников, для этого необходимо зарегулировать сток Нила и перераспределить его во времени. Это означает, что на каком-то участке Нильской долины надо создать такие емкости (чашы), в которых можно было бы собирать и задерживать часть речного стока, а когда требуется полив земель — выпускать на поля нужное количество воды.

Известно, что резервные емкости воды, или, как их называют, водохранилища, можно создавать только одним путем — плотинами. Такая плотина — регулятор нильской воды была построена на Ниле в 1902 году близ Асуана. Но она плохо справлялась с поставленной задачей — водохранилище оказалось слишком маленьким. Плотину ренили надстроить, что и было сделано англичанами в 1907—1910 годах. Но и высота надстроенной плотины вскоре оказалась недостаточной. В 1932—1934 годах ее надстроили еще раз, после чего на Ниле было создано наконец водохранилище емкостью в пять миллиардов кубометров. Для сравнения укажем, что Цимлянское водохранилище на Дону имеет объем двадцать три миллиарда кубометров, Куйбышевское на Волге превосходит пятьдесят миллиардов кубометров. Ясно, что водохранилище старой Асуанской плотины, хотя бы и надстроенной, относится к числу небольших, не способных разрешить проблему ирригации в Нильской долине.

Но и в таком виде старая Асуанская плотина все же играет важную роль в сельскохозяйственном производстве Объединенной Арабской Республики. Она накапливает

воду зимой в период разлива Нила, а весной и летом, когда уровень воды в Ниле падает особенно низко, дает дополнительную воду на засушливые земли. Египетские инженеры подсчитали, что каждый лишний метр высоты уровня в старом Асуанском водохранилище оборачивается многими миллионами рублей на урожаях белого золота — египетского хлопка. Вот почему арабы не могут согласиться с предложением строить новую высотную плотину после опорожнения Асуанского водохранилища. Это принесло бы большие убытки, которые нельзя компенсировать экономией на удешевлении метода стройки. Новую плотину было решено строить, ничего не меняя на водохранилище, в шести километрах к югу от старой плотины, в гранитном каньоне Нила. На этом участке реки правый скальный берег почти под прямым углом к руслу прорезан глубоким оврагом — Кор Кулип. Из устья оврага в толще гранитов, вдоль берега, должен быть вырыт на глубину семидесяти метров водосбросный канал. Гранитные глыбы, извлеченные из канала, будут уложены на дно водохранилища, образуя как бы каменное ядро будущей гигантской плотины. Затем эти камни замоются песком, и, кроме того, к каменному ядру с верховой и низовой стороны примкнут песчаные призмы, увеличивающие устойчивость и надежность сооружения.

В русловой части Нила высота плотины достигнет ста десяти метров, а на береговых участках — сорока-пятидесяти метров. Длина плотины по гребню превысит пять километров, а ширина по основанию — 1,2 километра.

Высотная Асуанская плотина создаст небывалое по масштабу искусственное водохранилище. Длина его превысит пятьсот километров, из которых сто пятьдесят километров расположатся на землях Судана. Глубина водохранилища в головной части достигнет более ста метров! Это будет настоящее море, Асуанское море, самое крупное в мире искусственное водохранилище. В нем будет собрано сто тридцать миллиардов кубометров воды — в двадцать пять раз больше, чем в старом Асуанском водохранилище. Регулирующая способность вновь создаваемого искусственного моря станет исключительно высокой. Достаточно напомнить, что Нил в течение одного года проносит в Средиземное море около восьмидесяти пяти миллиардов кубометров воды, а водохранилище способно вместить воды в полтора раза больше. При такой емкости уже не страшны даже самые большие разливы реки. Нил может течь в Асуанское море весь год, и все равно он не наполнит его до краев. Таким образом, Асуанское море снимет с повестки дня вековую проблему египтян — угрозу ежегодных наводнений от зимних разливов Нила. Оно откроет огромные перспективы дальнейшего развития орошаемого земледелия. Площадь обрабатываемых земель в Египетском районе Объединенной Арабской Республики может быть увеличена на одну треть. Около двух миллионов феданов новых орошаемых полей получат феллахи. Кроме того, и старые земли не будут находиться в такой непосредственной зависимости от стихийных разливов Нила. Накопленных запасов воды хватит для поливов земель в самый засушливый год. Можно будет дополнительно перевести на круглогодичное орошение свыше трехсот тысяч гектаров земли, расширив бассейновое орошение, собирать не один урожай в год, а два и даже три.

В итоге сельское хозяйство Египетского района ОАР увеличит продукцию на пятьдесят процентов.

Значение Асуанского водохранилища этим не ограничивается. Сооружение высотной плотины предусматривает также и энергетическое использование водных ресурсов Нила. На восточном берегу реки, там, где в толщу гранитов врежется глубокий канал, будет построена крупная гидростанция. Мощность ее превысит два миллиона киловатт, а годовая выработка электроэнергии составит свыше десяти миллиардов киловатт-часов. В настоящее время все тепловые электростанции Египетского района ОАР имеют мощность немногим более полумиллиона киловатт, а максимальная годовая выработка электроэнергии составляет всего 1,4 миллиарда киловатт-часов. Значит, новая Асуанская гидроэлектростанция превысит современную выработку электрической энергии в семь с лишком раз. Такой прирост мощности и выработки энергии с полным основанием может быть назван энергетическим скачком, открывающим путь широкой индустриализации и комплексного развития народного хозяйства молодой республики.

Вернемся, однако, к первой поездке с Заки по району Асуана. В тот день нам пришлось с ним много походить и поездить. И Заки и нам было ясно, что в первую очередь нужна хорошая связь со строительной площадкой. Связь эта должна быть не только железнодорожная, но также водная, автомобильная, воздушная. Для этого на берегах Нила надо строить шоссевые дороги, речные порты, аэродромы.

Машина быстро идет по новой, только что законченной шоссевой дороге в глубь пустыни. Поемка крутит вихри мелкого желтоватого песка и на глазах заносит асфальт, может быть только вчера уложенный на шоссе. Когда смотришь на это своими глазами, уже не так трудно представить себе, как наступающая пустыня сравнивает с лицом земли целые города и реки, погребая их под мертвой толщей летучего песка и пыли. Оттого арабы внимательно следят за своими дорогами — важными питающими артериями — и освобождают их от песка, так же как мы очищаем свои дороги от снежных заносов.

Мы подъезжаем к обширной выравненной территории, на которой рабочие укладывают тяжелые бетонные плиты.

— Вот наш сугубо мирный Асуанский аэродром, — улыбаясь, говорит доктор Хасан Заки. — В следующий раз, — обращается он ко мне, — прилетайте прямо сюда. Из Каира в Асуан можно долететь за один час, и незачем будет грести в поезде целую ночь.

Через полчаса на западной окраине города мы уже осматриваем песчаный карьер.

Песок для приготовления бетона почти всегда является серьезной проблемой на крупных гидротехнических стройках. Во-первых, для бетона пригоден не всякий песок, а только крупный и чистый. А в пустыне обычно распространены очень мелкие летучие пески. Во-вторых, для бетонных сооружений нужно песка очень много — миллионы тонн. Месторождения таких песков удается найти не всякому счастливцу геологу. Когда нет природного песка, приходится строить специальный камнедробильный завод и перемалывать на нем каменные глыбы, превращая их в искусственный песок. Удовольствие, разумеется, дорогое, и я, глядя на пустыню, начинал уже подумывать, не придется ли в Асуане завозить подобное хозяйство. Мои сомнения развеял Ахмед Санд — рослый, очень сдержанный и немного хмурый человек с прокопченной кожей, еще совсем не старый, но опытный строитель.

— Вы знаете это месторождение? — спросил я у Ахмеда Санда, когда мы подъехали к песчаному карьере.

— Знаю, и очень хорошо, — ответил Санд.

— Как вы его оцениваете?

— Песку хватит на три Асуанских плотины, — твердо сказал он и тут же подкрепил свое заявление документом. — Вот здесь была пробурена скважина. Она прошла в хороших песках на глубину свыше ста метров.

Ахмед Санд достал из папки еще несколько разрезов буровых скважин, показал их мне.

— Ну как?

Я прикинул общие запасы карьера. Цифры получались огромные. Это была большая и приятная новость.

— А теперь посмотрите, какой он — Ахмед Санд наклонился и зачерпнул полные пригоршни крупного и чистого кварцевого песка. — Сам аллах ниспослал этот замечательный карьер для Сад-эль-Аали! Смеем вас заверить, что пески так же хороши, как и гранит, на котором мы будем строить плотину и гидроэлектростанцию.

После осмотра песчаного карьера наша группа направилась на старую Асуанскую плотину. Здесь работали немцы из ФРГ. Арабы пригласили их строить гидроэлектростанцию и ремонтировать старую плотину. Движком надстроения, плотина эта была похожа на кочан капусты. В пролетах бетонных бычков были хорошо видны английские и французские «одежды». Немцы старательно латали их, ибо «одежды» эти были дырявые, и плотина пропускала воду. Немским инженерам приходилось бурить в теле плотины большое количество скважин и нагнетать в них цемент, чтобы спасти сооружение от опасной фильтрации и разрушения. Мое внимание остановил портативный буровой станок, которым управлял светловолосый немец лет тридцати восьми. Как раз в этот момент из бурового снаряда извлекали керн — каменные столбики, высверленные

из тела плотины. Столбики были непрочные, трухлявые, свидетельствующие о том, что англичане, строившие плотину, не очень заботились о ее долговечности

— С какой глубины kern? — спросил я.

— С двенадцати метров, — ответил немец.

Ахмед Саид взял образец бетона, выбуренного из тела плотины, повертел его в руках, сказал с чувством горечи:

— Вот это не должно повториться на нашей новой плотине.

Затем он представил мне немца:

— Гаральд Локау, инженер, специалист по устройству цементационных завес.

Мы поздоровались.

Ахмед Саид рассказал Локау, что я приехал из Москвы в качестве эксперта. И по тому, как удивился немецкий инженер, я понял, что он очень заинтересован. Локау выразил желание встретиться и поговорить. Мы условились: как только уточнится наша программа, я дам знать о времени и месте нашей встречи.

Вечером вся группа советских и арабских специалистов была в полном сборе. Делились впечатлениями о районе строительства, о состоянии дел, о выбранных трассах сооружений и ближайших задачах. В конце совещания выяснилось, что основная часть нашей делегации должна выехать в Каир, а я с небольшой группой арабских специалистов остаюсь здесь, в Асуане, чтобы подробнее изучить геологические условия строительства.

Поздно вечером доктор Хасан Заки организовал прощальный ужин, а наутро мои товарищи уехали в столицу Объединенной Арабской Республики.

Я переехал на виллу Хасана Заки, в одноэтажный дом с несколькими комнатами и небольшим земельным участком, засаженным фруктовыми деревьями. Заки любил сад. Он с удовольствием разводил манго, апельсиновые и лимонные деревья. Хорошо было вечером, когда схлынет жара, побродить по этому саду, посидеть на веранде, поговорить с приятным собеседником.

Таким собеседником был Шемутти — египетский инженер, давно мечтавший о скорейшем развороте строительных работ. Шемутти располагал к себе добродушным, любовью к шутке и необычной солидностью. До сих пор мы считали, что самым «крупногабаритным» мужчиной в нашем русско-арабском обществе был, конечно, Комзин, особенно в сопоставлении с маленьким Заки, но когда в Асуане появился богатырь Шемутти, Комзин как-то сразу отодвинулся на второй план. Шемутти оказался шире в плечах, по виду грузнее. Когда заканчивался рабочий день, он приходил на виллу Заки, умывался, обливался холодной водой и выносил два стула в сад, подставляя их к небольшому столику. За чашкой кофе или прохладительным кока-кола шла мирная беседа о делах житейских. Шемутти интересовался буквально всем — и современными методами строительства плотин и гидростанций, и ирригацией, и тем, как мы живем в СССР вообще и как живу я в частности. Расспросил, сколько у меня детей, какого они возраста, где учатся и как их зовут. Сам он с большим удовольствием рассказал о своей семье, о жене и о пятерых детях, которые у него живут в другом городе, в трехстах километрах отсюда, и о том, что он скоро за ними поедет, привезет в Асуан, и они все вместе поселятся в отдельном домике, не таком, как у Хасана Заки, — поменьше, но все же здесь, поблизости от стройки. Вот тогда они заживут по-хорошему и пробудут здесь до самого конца стройки, обязательно до конца, потому что Шемутти хочет своими глазами увидеть, как зажгутся огни великой гидростанции, как нильская вода побегит по оросительным каналам на поля феллахов. Я с удовольствием слушал добродушного толстяка и обычно не хотел идти спать, потому что знал — заснуть не удастся. Шемутти показывал мне на часы, напоминая, что завтра рано вставать, и мы наконец шли в комнаты — он с наслаждением перед крепким сном, а я с ужасом перед предстоящей душной и бессонной ночью. А утром мы ехали в офис, чтобы продолжать работы по изучению скальных пород. К нашему приезду арабские рабочие подготавливали kern — столбики гранита, выбуренные алмазными коронками с различных глубин скального массива. По этим кернам-столбикам можно было судить о степени сохранности асуанских гранитов, а также об условиях их залегания в природной обстановке. Для меня эти материалы представляли большой интерес, они открывали глаза на

многие природные явления, знание которых было совершенно необходимо в моей дальнейшей работе.

Однажды, внимательно просматривая керн, я вдруг услышал знакомый голос:

— Привет русскому геологу!

Я обернулся и увидел перед собою Гаральда Локау. Он стоял лицом к солнцу, тонкий и рослый, в затемненных очках, чисто выбритый и улыбающийся.

— Не удивляйтесь моему появлению, меня попросили быть вашим переводчиком. А так как я сам хотел встретиться с вами, то, как говорится, желания совпали.

Переводчик мне действительно был нужен, разговаривать с арабами было трудно. Локау хорошо знал английский, давно работая в Асуане, неплохо изъяснялся на арабском языке. Вместе с ним и арабскими геологами мы просмотрели большое количество скважин, изучая метр за метром особенности гранита, на котором будут воздвигнуты высотная Асуанская плотина и гидростанция. Аккуратно обточенные скальные цилиндры — светло-серые, ярко-красные, голубоватые с ослепительно белыми прожилками кварца — лежали в длинных ящиках, выложенных на площадке. Некоторые образцы были раздроблены, но большинство их великолепно сохранилось, и это свидетельствовало о хорошем состоянии естественного гранитного массива. Как-то рабочий-араб извлек из ящика уникальный гранитный керн, длиной в два человеческих роста, и с удовольствием продемонстрировал его как неопровержимый признак надежности основания будущих гигантских сооружений.

— Клянусь аллахом, — сказал он, — на такой скале будет стоять плотина.

— А кто в этом сомневается? — спросил Локау.

— Всякие люди бывают, — уклонился от ответа рабочий. — Я вот этот керн показывал разным профессорам двадцать раз, не меньше. И все доказать не могу. Ученые люди чего-то боятся, в чем-то сомневаются.

— А в чем сомневаются? — снова спросил Локау.

— В том, что мы сможем построить свою плотину. Да и не только сомневаются, а откровенно пишут в газетах: мол, у них, у арабов, все равно ничего не получится, что без американцев или англичан им все равно не обойтись.

— А почему бы вам их и не привлечь? — Локау снял очки и уставился своими голубыми глазами на рассудительного араба, которым явно заинтересовался.

— По простой причине, — ответил араб. — Мы не только слышать — видеть их не можем.

Локау больше не задавал вопросов.

Стало совсем жарко. Солнце, как и полагается в тропической зоне, остановилось в зените, над самой головой. Ни тени, ни ветерка. В это время закрываются учреждения и магазины, люди торопятся домой, жизнь города замирает до вечера.

Гаральд Локау старательно помогал мне весь день, а теперь просил уделить лично ему хотя бы немного времени. Мы отправились на виллу доктора Заки, и только там я понял, почему Локау так добивался этой встречи.

Еще совсем молодым парнем, когда, как говорят, и молоко на губах не обсохло, его погнали на войну против русских. Локау подробно рассказал, как он воевал, с каким настроением и какому чуду обязан тем, что остался жив.

— ...А последнее время я воевал под Ржевом, — рассказывал Локау. — Служил в авиационной разведке... Мы перехватывали ваши шифрованные радиogramмы и передавали их в штаб. Но однажды мы почувствовали, что русские готовят большую операцию. Доложили командованию, а они смеются: чудаки, говорят, русская армия разбита и бежит по всему фронту... И вдруг — русское наступление. Полетели бомбы, ударили «катюши». И мы побежали. Очень быстро, чтобы успеть оторваться от противника. В одном месте я тонул. Переходили реку, а ваши устроили ловушку — взорвали плотину и сбросили на нас воду из водохранилища.

Я не выдержал.

— Коллега, — обратился я к Локау, — а ведь это мы вам устроили холодную баню под Ржевом.

— Вы были в Ржеве? — удивился Локау.

Я рассказал ему, как мы подготавливали для непрошенных гостей «холодную ванну».

— Ну и что же было дальше? — спросил я.

— Мы отступали, бросали технику, лишь бы выбраться живыми. Помню, сидим в одном деревенском доме. Два дня ничего не ели. Голодные, злые как волки. И вдруг — не верю своим глазам — открывается дверь и русская старушка несет буханку хлеба, отрезала кусочек детям, а всю буханку отдала солдатам. Стыдно было брать этот хлеб. «Вот, — сказала старушка, — подкрепитесь, да с богом — откуда пришли». И указала на дверь.

— Не могу этого забыть, — заключил Локау.

Гаральд Локау работал в германской строительной компании «Хохтиф Эссен», взявшей крупный подряд на строительство гидроэлектростанции и ремонт старой Асуанской плотины. Немцы с завистью смотрели на нас и тайне обдумывали, как бы перехватить инициативу, привлечь к себе арабов и заключить с ними контракт на строительство второй очереди высотной плотины.

По слухам, которые бродили в то время, немцы вели активную работу в деловых кругах, склоняя арабов к переговорам и к заключению контракта. Иногда мы чувствовали, что некоторые арабские инженеры уж слишком долго тянут решение простых, но важных вопросов. И поскольку такие затяжки были далеко не на пользу самим арабам, возникновение их трудно было объяснить обычной бюрократической волокитой. Кое-какое прояснение наступило значительно позже, когда вокруг асуанской проблемы разгорелись большие страсти и она стала центром внимания не только инженеров, но и политиков крупнейших капиталистических стран, в том числе и Америки. А пока все шло обычным порядком. Основная группа экспертов во главе с Комзиным и Малышевым продолжала работу в Каире, а я в Асуане занимался изучением природных условий строительства будущей плотины.

3

Закончив работу в Асуане, я выехал в Каир. Каир показался мне райским местом на земле. Резко чувствовалась разница в климате. Не было той испепеляющей жары, которая так досаждала в Асуане, в отеле исправно действовал «кондиционер», охлаждающий воздух, и самое главное, в Каире было много русских товарищей, с которыми можно было наконец поговорить на родном языке.

Русское посольство, торговое представительство и экономический советник помещались в одном районе города. Здесь же столовая, клуб, киноплощадка. После работы можно было посмотреть новую кинокартину, сразиться в шахматы или поиграть в городки. Постепенно мы перезнакомились, и нас уже знали почти все работники посольства и торгпредства. И посол, и консул, и экономический советник живо интересовались нашей работой, просили о ней рассказать возможно подробнее.

Среди сотрудников русской колонии оказались мои земляки, например, Федор Носов, сотрудник ТАСС, уроженец Брянска.

— Дружище, — обратился я как-то к Носову, — ну, а каков все же политический прогноз с Асуанской плотинной?

— Трудно сейчас сказать, — ответил Носов. — В Каире есть люди, которые усиленно тянут в объятия к федеральным немцам. Посживем — увидим.

— Вы думаете, арабы захотят иметь дело с немцами?

— Сомневаюсь. Впрочем, арабам виднее, с кем лучше иметь дело: они попробовали иметь дело с англичанами, хорошо узнали «добрую волю» французов.

Носов взял свежие номера английских и американских газет и прочитал выдержки из нескольких статей. Затем пробежал глазами последние сообщения египетских газет. Печать сообщала, что в Каир поступают все новые и новые предложения о финансировании стройки от западногерманских, английских, американских, итальянских и даже японских банков и компаний.

— Чем вызвана эта шумиха? — спросил инженер Василий Кузьмич Каратаев. — Насколько я понимаю, в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году Англия и Америка

аннулировали свое обещание финансировать строительство первой очереди Асуанской плотины, а теперь вдруг воспылали симпатией к арабам.

Малышев, сидевший за небольшим столиком и просматривавший подшивку русских газет, поднес Каратаеву газетную кипу. Ткнув пальцем в одну из статей, он громко сказал:

— Прочитайте это и сразу все поймете.

В газете была напечатана речь вице-президента Объединенной Арабской Республики маршала Абдель Хаким Амера, произнесенная им при отъезде из Москвы. Обращаясь к членам правительства СССР, маршал Амер говорил:

«Господа руководители Советского Союза! Покидая вашу великую страну, я увожу с собой самые прекрасные воспоминания о гостеприимстве в вашей стране и приношу огромную благодарность за ваше глубокое понимание борьбы, которую ведет народ Объединенной Арабской Республики за свою независимость, благодарю за вашу постоянную поддержку этой непрекращающейся борьбы.

Арабский народ восхищен дружественным советским народом и питает к нему глубокую благодарность за ту позицию, которую он занимает по отношению к нашим национальным проблемам. Он с энтузиазмом следит за укреплением отношений между нашими странами, поддерживает и радуется упрочению дружбы между нами.

Господа! Соглашение, которое мы заключили относительно строительства высотной плотины, является важным событием в отношениях между нашими странами. Оно является важным пунктом в укреплении национальной экономики, освободившейся от влияния империалистов, и является важным шагом на пути укрепления нашего сотрудничества в области экономики».

— Теперь ясно?— сказал Малышев.— Американцам хотелось бы вбить клин в дружбу между советским и арабским народами и помешать росту советского престижа на международной арене. Но ничего не получается. Злятся — и все же хотят соблазнить египтян.

Поздно вечером мы разошлись по домам, а на следующий день в Министерстве общественных работ продолжали свои обычные деловые встречи с арабами специалистами. Хасан Заки по-прежнему был таким же неистощимым говоруним и находчивым человеком, умеющим найти выход, казалось бы, из совершенно безвыходного положения. И только один раз я был свидетелем трудного положения даже у Хасана Заки. Это случилось, когда мы готовили большие материалы по поставкам строительного оборудования и когда одна мысль о приостановке столь важной работы могла показаться кощунственной. Но вот явился маленький, толстенький инженер Хасуна и радостно сообщил, что завтра байрам — национальный арабский праздник — и что он будет продолжаться пять дней, и пояснил, что байрам — это как штиль на море: все замирает, никто нигде не работает и даже не торгует. Все отдыхают и молятся.

Внезапный перерыв в работе наносил ущерб важному делу. Мы обратились к Заки, будучи уверенными, что он-то найдет выход. Но, к нашему удивлению, всемогущий Заки покорно сложил на груди руки и заявил, что он бессилен изменять законы, установленные еще предками, придется прервать работу ровно на пять дней.

— Что же мы будем делать в Каире? — спросил Василий Кузьмич.— Почти целую неделю!

— А мы уже об этом побеспокоились,— ответил Заки.— Ваша группа отправится в путешествие по стране. В Каире — жара, поезжайте к морю.

И на другой день в двух вместительных и быстросходных машинах мы отправились к южному побережью Средиземного моря.

Вскоре дорога повернула на юго-запад, и мы очутились в обширной дельте Нила.

О Нижнем Египте, расположенном в дельте Нила, можно было бы написать отдельный большой очерк. По могучей реке вверх и вниз идут парусники, изредка попадаются на глаза небольшие поселки, окруженные финиковыми пальмами. Когда мы остановились в Танте, чтобы немного закушать и попить воды, я разговорился с местным жителем — загорелым египтянином, мебельщиком по профессии.

— Как вам нравится у нас? — спросил он

— Чудесная страна, только вот жарковато.

— А нам хорошо, привыкли.— улыбнулся бронзовокожий египтянин.— У вас Сибирь— уф-ф, холодно! У каждого народа свое. У вас холод, у нас жара. У нас медведи, у нас крокодилы.

— Да где уж там! Крокодилы, наверно, давным-давно вывелись.

— Что вы, что вы! На Верхнем Ниле их полно сейчас. А совсем недавно застрелили гигантского крокодила здесь, у нас.

Я не поверил рассказчику, подумал с сожалением, что на этот раз мне попался не очень надежный собеседник типа стандартного ируна охотника. Я хорошо знал, что в Египте такие редкие животные, как бегемоты, жирафы и крокодилы, отнесены далеко на юг, в тропические дебри, где мало людей и где еще пока продолжает существовать девственная природа. Но египтянину очень хотелось, чтобы я ему поверил.

— Послушайте, мистер,— энергично заявил он,— тогда я вам расскажу подробности. В прошлом году недалеко отсюда, около Кафр эз-Заята, феллахи увидели, как из Нила вылез на берег крокодил. Прошел через плотины и шлюзы с Верхнего Нила. Вылез, полежал на песке, погрелся, а потом — цепным ходом в деревню. И утащил оттуда поросенка. Пока бегали за стрелками — ни поросенка, ни крокодила.

— Что, удрал?

— Куда ему деваться! Через несколько дней он снова появился, но в другой деревне, схватил на берегу двух зазевавшихся собак, а потом опять переключился на поросят. И не так-то легко было его поймать. Собрали местных охотников. Они и решили выманить крокодила из воды хитростью. Привязали к дереву поросенка, а сами пригнались поближе. Поросянок бегает вокруг дерева, визжит. Когда крокодил вылез из воды и стал приближаться к поросенку, охотники открыли ужасную пальбу. Двадцать шесть пуль всадили в хищника, прежде чем он перестал двигаться.

— Не сочиняет? — обратился я к переводчику.— Уж очень смахивает на охотничий рассказ.

— Об этом случае я сам читал в египетских газетах,— улыбнулся переводчик.— Гигантский крокодил действительно прошлюзовался с Верхнего Нила и был убит в нижнем течении реки.

Мы ехали все дальше на север, и вскоре на горизонте прозрачным миражем выплыли белые здания Александрии. Замечательный древний город! Большим амфитеатром припал он к песчаному берегу Средиземного моря. В западной гавани на острове Фарос на высоту в сто семьдесят метров поднимается над морем и гордом знаменитый маяк — самый древний в мире. Построен он в 299—283 годах до нашей эры архитектором Состратом. Восемь колонн маяка несут на себе купол, увенчанный статуей. Когда-то под куполом горел костер из смолистых поленьев. Свет его отбрасывался вогнутыми зеркалами на пятьдесят—шестьдесят километров. К «семи чудесам света» было причислено это необычайное произведение геники и искусства. Да и самый город — это живая история. До расцвета Рима он был самым большим в мире. К первому веку в нем жило до миллиона человек. Сюда съезжались купцы со всех концов света. На верфях строились торговые и военные корабли, в порту выгружались самые разнообразные грузы: серебро из Испании, жемчуг и шелк из Индии, олово из Британии, железо из Азии, лес из Ливана и с Кипра. А из Египта через Александрийский порт в средиземноморские страны шел встречный поток товаров: шерстяные ткани, пшеница, папирус, слоновая кость, драгоценный камень и даже асуанский розовый гранит.

Нынешняя Александрия — крупный торговый центр Египетского района ОАР. Через нее осуществляется почти вся внешняя торговля Египта. Это главный порт страны. Для нас это было особенно интересно. Ведь Александрийский морской порт будет принимать огромный поток тяжелых грузов, предназначенных для Асуанской стройки. Экскаваторы, мощные подъемные краны, строительное оборудование, небывалые по размерам и весу турбины и генераторы — все это должно здесь быстро разгружаться и направляться по Нилу в глубь страны, к тропикам.

Справится ли порт с такой грудной задачей? Чтобы ответить на этот вопрос, надо было побывать здесь, выяснить, в какой мере оснащен и приспособлен порт к принятию массовых и тяжелых грузов и что необходимо в нем переоборудовать, чтобы поток строительных материалов шел на стройку бесперебойно.

Осмотром портовых сооружений мы остались довольны: главные причальные линии содержались в полном порядке и были оборудованы подъемными механизмами. Можно было не беспокоиться — советские поставки первой очереди будут вовремя переработаны и перегружены с морских судов на речные. В будущем, пожалуй, следовало предусмотреть некоторое увеличение мощности подъемных кранов и другого оборудования порта, но для этого впереди еще есть время.

В порту нас совсем доконала жара, и мы решили направиться на ближайший пляж. Неожиданно эта поездка оказалась не только приятной, но и в чем-то поучительной.

Первое, что бросилось в глаза, — полукустарные, поставленные без всякого архитектурного замысла мелкие застройки частных, захвативших на берегу моря кусочки земли и превративших их в источник дохода. Эти застройки тянутся вдоль набережной на многие километры и отгораживают своими невзрачными стенами море. Всюду легкие будочки, душевые, заборы. К морю можно проникнуть только за определенную входную плату. Не имея в кармане денег, нигде не можешь искупаться: не пустит охрана пляжа.

Красивый песчаный берег Средиземного моря в пределах Александрии раньше находился в руках частных предпринимателей. Они эксплуатировали его, как только могли, и, конечно, ничего не хотели слышать о целесообразности общего переустройства побережья по единому архитектурному плану. В настоящее время пляжи принадлежат муниципалитету, и надо думать, что с течением времени будет осуществлена надлежащая реконструкция прибрежной части города.

На другой день мы двинулись через всю дельту Нила к Суэцкому каналу. Осмотр канала начался с Порт-Саида. На небольшом морском катере мы объехали всю гавань. Здесь стояли океанские торговые корабли всех стран мира. Обойдя крупные корабли, наш катер вышел к входной части Суэцкого канала, и тут я увидел нечто такое, что заставило меня вспомнить о совсем недавних грозных событиях. Памятник Лессепсу — французскому дельцу и строителю Суэцкого канала был низвергнут. Статуя Лессепса снята с пьедестала, сохранился лишь пьедестал и то, наверное, ненадолго.

В июле 1956 года, как известно, египетское правительство приняло закон о национализации Суэцкого канала, завершив этим полное освобождение страны от иностранной зависимости. Доходы от эксплуатации канала египетское правительство намеревалось использовать на развитие промышленности и, в частности, на строительство высотной Асуанской плотины. Но французские и английские империалисты, бывшие держатели акций компании Суэцкого канала, не захотели примириться с потерей канала. И вот в октябре 1956 года израильские и англо-французские войска вторглись на территорию молодой республики. Все население Порт-Саида поднялось на борьбу с оккупантами. Порт-саидская драма закончилась победой египтян.

Когда я ходил по городу и своими глазами увидел его еще не совсем зажившие раны, я отчетливо представил себе, почему жители Порт-Саида не захотели, чтобы у входа в Суэцкий канал стоял памятник Лессепсу — этому ловкому авантюристу, сумевшему обмануть египетского правителя Саид-Пашу, навязать ему кабальные условия строительства канала и погубить на этом строительстве десятки тысяч феллахов.

В глазах египтян Лессепс отнюдь не герой, проложивший путь в Красное море, как его пытаются преподнести французы, а колонизатор, принесший Египту много бед и горя.

Из Порт-Саида мы отправились по трассе канала. Длинной вереницей тянутся по нему корабли. По сторонам, насколько видит глаз, — песчаный океан, окрашенный то в желтый, то в белый, то в коричневый цвет. И лишь в северо-западной части озера Тимсах располагается небольшой, хорошо озелененный город Исмаилия. Через него проходит крупный пресноводный канал с таким же названием — Исмаилия. Он был построен египтянами одновременно с Суэцким каналом для снабжения питьевой водой проходящих по морскому каналу судов. Нильская вода, поступающая по каналу Исмаилия, частично используется для орошения расположенных вдоль него оазисов —

Эль-Махсама, Абу-Султан, Файд, Гимейфа, в которых раньше размещались главные гарнизоны и авиационные базы английской оккупационной армии.

Мы проследили всю столическидесятикилометровую трассу канала, от Порт-Саида до Суэца, и порядком устали. В Суэце после осмотра города сделали небольшой привал. Окна ресторана, в котором мы решили подкрепиться, выходили на канал. По нему вереницей шли океанские корабли. Зрелище это совершенно необычное. Матросы на самых разных языках кричат слова приветствия суэским жителям, машут им руками и бескозырками, смеются, приглашают на корабль. А суэцкая молодежь, разодетая в очень пестрые и яркие одежды, шутивно отвечает на эти приветствия и приглашает моряков бросать якорь в их солнечном и веселом городе.

Во второй половине дня мы выехали из Суэца в Каир. Кончался байрам, а вместе с ним и наше путешествие. Поздно вечером мы вернулись в столицу Объединенной Арабской Республики, в наш замечательный отель «Шеферд», с его прохладными комнатами, ваннами и душем. На следующее утро нас уже ожидал в офисе все тот же неутомимый Хасан Заки со своими помощниками. Работа наша продолжалась еще несколько дней. Когда она была завершена, мы возвратились в Москву, где к этому времени накопилось много срочных проектных дел, также связанных с подготовкой большой стройки в долине Нила.

4

Москва встретила нас хорошей летной погодой, многоголосым веселым шумом моторов на Внуковском аэродроме, радостными лицами встречающих.

— Гордимся и поздравляем! — Встречающие пожимали нам руки.

— С чем поздравляете?

— С победой над английскими гидротехниками. О ваших делах знаем не только мы, а все, кто читает газеты.

В Гидропроекте, откуда мы уехали несколько месяцев назад, работы шли своим чередом. Напористая и дружная семья геологов трудилась на многочисленных новых гидротехнических объектах. Проектировщики упорно работали над поставленной Н. С. Хрущевым проблемой резкого удешевления гидротехнического строительства. Речь, произнесенная им на открытии и пуске Волжской гидроэлектростанции, произвела на гидротехников института ошеломляющее впечатление. Гидропроект превратился в развороченный муравейник. Дело в том, что перед гидротехниками Советского Союза была в свое время поставлена задача небывалых масштабов: в кратчайший срок догнать Америку по производству электроэнергии. Для этого надо построить много новых и очень крупных электростанций. Теплотехники же заявили, что в создавшейся обстановке нельзя ориентироваться на гидроэлектростанции, потому что они долго строятся, а кроме того, дороги. Если верить теплотехникам, следовало строить почти исключительно тепловые станции, а с гидроэлектростанциями не горючиться, даже и попридержать их. Среди теплотехников нашлись горячие головы, утверждавшие вопреки очевидным фактам, что тепловая электроэнергия вообще получается не дороже гидравлической. Но такое утверждение явилось той каплей, которая переполнила чашу терпения гидротехников. Они выразили недоверие своим коллегам и занялись серьезной проверкой теоретических позиций теплотехников. Анализ фактов показал, что теплотехники погорячились, многого не поняли, недооценили ту исключительную роль, которую играют гидроэлектростанции в мощных объединенных электрических системах, а кроме того, выяснилось, что они еще не научились строить крупные теплотрассы так быстро и дешево, как обещали. Тепловая электроэнергия получалась дешевой только в тех редких случаях, когда крупные тепловые станции строились непосредственно на открытых естественных разрезах угля. Если же уголь для теплотрассы приходилось добывать под землей и рыть для этого шахты, да еще возить его на большие расстояния, то энергия получалась дорогой и не выдерживала конкуренции с белым углем.

Но при той же проверке выяснилось, что гидротехники все же строят свои гидроэлектростанции нетерпимо медленно, а добавок еще и дорого. И вот теперь проектировщики Гидропроекта старались изо всех сил найти новые пути, убыстряющие и удешевляющие строительство гидросиловых установок. Появилась идея сборного железобетона. При-

кинули, примерили, посчитали. Оказалось, что применение сборного железобетона в гидротехническом строительстве даст исключительный экономический эффект. Только на одной Саратовской гидроэлектростанции стоимость сооружений можно было бы уменьшить на один миллиард рублей. А сколько таких миллиардов можно сэкономить на других строящихся и проектируемых гидроэлектростанциях?

Речь Н. С. Хрущева заставила гидротехников внимательнее считать народную копейку и думать над новыми методами строительства. Эта волна поисков захватила в Гидропроекте и тех, кто работал над проектом высотной Асуанской плотины. А надо сказать, что в составлении этого проекта принимало участие много специализированных отделов, лабораторий и отдельных крупных специалистов.

Только в одном, например, научно-исследовательском секторе Гидропроекта, размещающемся в специальном городке в Тушине, к проблеме строительства Асуанской плотины было привлечено около пятидесяти человек. Здесь производились важнейшие гидравлические исследования: была построена крупная действующая модель Асуанской плотины, в точности воспроизводящая те природные условия и особенности эксплуатационного режима, в которых будут работать плотина и гидроэлектростанция. Модель Асуанского гидроузла испытывалась при самых неблагоприятных и невыгодных параметрах, контролирующихся аварийные случаи работы сооружений. Этими исследованиями руководил отдел, возглавляемый Ильей Алексеевичем Кузьминым. А рядом, в других корпусах городка, совершались сложнейшие эксперименты с замывом камня. Американские и французские эксперты все же посеяли у египтян сомнения в возможности сооружений с замывом камня, и это заставило тушинских экспериментаторов работать с удвоенной энергией. В лабораториях были построены специальные крупные лотки. Они заполнялись камнем, затем чистой водой, сквозь которую подавался мелкий подмосковный песок, близкий по составу и крупности к природным пескам Асуана.

Каждый лоток был уменьшенной копией долины Нила. Так же как в Тушине, в недалеком будущем и в Асуане в русло Нила будет сгружен камень и на него сквозь толщу воды мощные землесосы станут подавать массы песка. Как будет себя вести песок? Будет ли он проникать в пустоты между каменными глыбами или осядет плащом поверх камня? И вот лоток готов к испытаниям: загружен камнем, заполнен водой. По команде Анатолия Ильича Огурцова в него пошла песчаная пульпа — жидкая смесь песка с водой. Через прозрачную стенку лотка хорошо видно, как мелкие частицы желтоватого люберецкого песка опускаются вниз и, кружась в турбулентном потоке, легко проникают в пустоты между камнями и быстро их закупоривают. Опыт подтверждает идею, высказанную Малышевым: движущийся в воде песок, подчиняясь, пока еще никем не сформулированным законам гидродинамики, выполняет весьма полезную работу, забивая пустоты в каменной наброске. Чтобы окончательно убедиться в правоте этого закона, Николай Александрович заставляет Анатолия Ильича Огурцова еще и еще повторить опыты. Опыты повторяются, и всякий раз их результаты получаются одни и те же.

Как только арабские инженеры узнали об опытах Гидропроекта по замыву камня, они немедленно прилетели из Каира в Тушину. Возглавлял делегацию Муса Арафа — министр общественных работ. В ее состав входили крупнейшие инженеры-гидротехники, в том числе доктор Хасан Заки, инженеры Ахмед Саид, Хасуна и ряд других. Они с большим интересом осмотрели все помещения тушинского научно-исследовательского городка, побывали в лабораториях, мастерских, на различных опытных площадках. Но больше всего их интересовали эксперименты инженера Огурцова. С волеишем следили они за опытом, который был снова повторен специально для группы арабских специалистов.

Когда после осмотра тушинских лабораторий арабы сели в машины, чтобы ехать в Министерство по строительству электростанций, Ахмед Саид обратился к одному из своих коллег:

— Какое у вас впечатление от этих экспериментов?

Коллега — арабский инженер, — видимо, относился к безнадежным скептикам.

— Эксперименты интересные, но это все-таки только лабораторные опыты, — сказал он без энтузиазма.

— Вы принципиально не верите в замыв? — спросил Ахмед Саид.

— Нет, нет, вполне возможно, что в принципе все верно.

— Тогда в чем вопрос?

— В масштабах опытов. Трудно поверить, что такие эксперименты точно дублируют природу. Это сомнение и продолжает преследовать меня.

На приеме у министра строительства электростанций Игнатия Трофимовича Новикова выяснилось, что Петр Степанович Непорожний уже давно думает и работает над вопросом значительного расширения лабораторных экспериментов и переносом их в природу. Опытную площадку Непорожний предложил выбрать на Днестре, в районе строительства Кременчугского гидроузла. Здесь в производственных условиях можно проводить опыты любого масштаба и таким путем рассеять сомнения даже у самых закоренелых скептиков. Непорожний подробно рассказал арабам о своих намерениях, и Муса Арафа выразил ему за это глубокую благодарность, признавшись, что арабские специалисты относят решение вопроса о замыве к числу самых важных в общей проблеме предстоящего строительства. Все пришли к единодушному выводу, что чем больше будет проведено разнообразных экспериментов, тем меньше риска в большом деле строительства высотной плотины, где уже не будет времени для опытной проверки принятых в проекте решений. Эта точка зрения была абсолютно правильной, и ее разделили все советские и арабские специалисты.

Лабораторные исследования в Тушине дали новый материал для московских проектировщиков. И только мы, геологи, терпели бедствие. Совершенно неожиданно мы оказались без конкретных геологических материалов, которые можно было использовать при проектировании.

По ряду соображений ось Асуанской плотины решили перенести на шестьсот метров вверх по течению Нила, в район Кора Кунди. Только от одной этой операции проектировщиков геологи сразу же сели на мель и попали в затруднительное положение: новое местоположение плотины не было освещено в геологическом отношении. Если на старом месте англичане и немцы пробурили около десятка глубоких разведочных скважин, то на новом скважин пока не было совсем. Проектировщики же требовали от геологов нужный им материал. Как-то ко мне в кабинет заглянул заместитель главного инженера проекта Василий Николаевич Афанасьев.

— Пришел жаловаться на геологов, — сказал он серьезно, — мне нужно чертежи выпускать, а геологи отказываются давать геологию под плотной.

— Но ведь вы сами знаете, что под плотину еще не бурили ни одной скважины.

— Знаю.

— При чем же тут геологи?

— А каково мое положение? — Афанасьев развел руками.

Я понимал затруднения Афанасьева, но и не мог его обнадеживать.

— Геолог обязан дать в проект только конкретные данные, — заявил я. — Иначе сами знаете, что может получиться.

И Афанасьев и Малышев, конечно, понимали, что наше положение действительно не из легких. У нас нет новых данных для проектирования, а проект составлять нужно, потому что заказанное ОАР строительное оборудование уже находится в пути, а часть его уже прибыла в Александрию. Выход оставался единственный: составлять проект по предварительным данным и материалам геологической съемки, с расчетом последующего уточнения геологических данных на месте. На этом мы выигрывали время. Пока идет проектирование, геологи должны пробурить новые скважины и уточнить вместе с проектной группой, находящейся в Каире, природные условия строительства. Такое решение развязывало руки проектировщикам, находящимся в Москве.

Проектирование снова пошло полным ходом. Накоплялись новые предложения и новые идеи, все дальше и дальше отодвигающие основные положения проекта Асуанского гидроузла, выдвинутые англичанами. Теперь уже на основе новых обширных исследований и проработок, которые трудно было отвергнуть, вставал вопрос о том, что английский проект существенно устарел, что его необходимо пересмотреть не только в отдельных слабых звеньях, а в целом, и предложить более совершенные проектные решения.

Но для того, чтобы такие решения выдвинуть, необходимо было произвести многочисленные сопоставления различных вариантов сооружений и выбрать из них наилучший. Я хорошо знал, что для такой работы уже в самом ближайшем времени от геологов потребуются более точные и обстоятельные данные. А их еще не было. Особенно обидно было то, что, находясь в Каире, я несколько раз пытался разъяснить арабским инженерам необходимость срочной организации буровых работ в русле Нила, в том месте, где будет строиться плотина, а также на трассе обходного канала. Советские геологи с огромной практикой инженерной разведки, которую они получили на стройках в Советском Союзе, могли бы решить эту задачу в несколько месяцев. Я об этом сказал арабским специалистам. Но арабы захотели провести изыскания самостоятельно.

— У нас имеются английские буровые станки, — заявили они, — сами справимся с бурением, дайте только программу.

Посоветовавшись с Малышевым и Комзиным, мы решили тогда не настаивать на нашем варианте организации изысканий. Я составил программу геологических работ и передал ее Ахмеду Саиду и Хасуне.

И вот теперь, в Москве, я ругал себя за то, что не настоял в Каире на своем предложении. Сроки окончания бурения, заданные в программе, давно прошли, а геологические материалы не поступали. Срыву изысканий помогли английские фирмы. Они прекратили поставку в Каир дефицитных алмазных буровых коронок. Бурить было нечем. Арабы попали в тяжелое положение сами и создали нам, московским проектировщикам, исключительные трудности.

Василий Николаевич Афанасьев теперь уже все чаще и чаще заходил ко мне для «приятных» бесед о геологических проблемах Асуана. Мой ближайший помощник геолог Хачик Галустович Хачатурьян ходил как в воду опущенный. На него наступали проектировщики, ругались, требовали геологических материалов, обвиняли в том, что он не понимает исключительной ответственности, которую принял на себя Гидропроект, взявшись за проектирование такого заграничного объекта. Хачатурьян отбивался, как мог, но пришел однажды ко мне в кабинет и — не выдержал:

— Какое вы мне дело поручили? Что я, бог Саваоф? Откуда у меня материалы?

Примерно такой же разговор происходил в это время и в соседней комнате между геологом Надеждой Михайловной Покровской и проектировщиком Германом Дмитриевичем Петровым.

— Ну-с, Надежда Михайловна, — с ехидцей процедил Петров, — чем новеньким нас порадуете?

— Пока все старенькое, — сдержанно ответила Покровская.

— А когда будет новенькое?

— Как только пробурят скважины.

— А когда пробурят?

— Очень скоро. Я получила письмо от асуанских геологов: первые скважины уже закончены. На днях будет новый материал.

Герман Дмитриевич расплылся в довольной улыбке.

— Вот это уже ответ. Надо было мне давным-давно вас позвать.

Конечно, все мы понимали, что затруднения с изысканиями временные и что скоро все уладится: проектирование Асуанского гидроузла — дело серьезное и ответственное, в любом варианте проекта должна быть обеспечена высокая надежность всех его сооружений. Стена гигантской плотины будет держать Асуанское море, поднятое на стометровую высоту. Если такое море хлынет в Нильскую долину, то за одни сутки оно сметет с лица земли все деревни и города Египта, уничтожит плодородные земли, превратит Египет в пустыню.

Особое положение высотной Асуанской плотины заставляло меня снова и снова возвращаться к мысли о том, что в Асуане необходимо провести широкие исследования и изыскания. Не следует ли мне срочно съездить в Каир и поднять там на ноги арабских геологов?

За окном шумел ветер, на крышах домов, расположенных вдоль Москвы-реки по Софийской набережной, поблескивал чистый белый снег. «Сейчас в Асуане не так жарко, — подумал я. — Надо туда ехать».

В дверь кто-то постучал, торопливо и резко. В кабинет вошла Надежда Михайловна Покровская. Она была чем-то сильно возбуждена.

— Что случилось?— спросил я.

— Вот, прочитайте.

Покровская положила на стол свежий номер газеты. На третьей странице крупным шрифтом было набрано: «Катастрофа во Фрежюсе», а дальше шел текст небольшого сообщения о том, что в ночь на третье декабря, прорвав плотину Мальпассе высотой в шестьдесят метров, вода по узкой долине ринулась к французскому городу Фрежюсу. От плотины и водохранилища, в котором накопилось свыше пятидесяти миллионов кубометров воды, Фрежюс отделяли лишь несколько километров. Водяная лавина шириной в полторы тысячи метров, сметая все на своем пути, пошла к городу со скоростью курьерского поезда. В бурлящем потоке, под развалинами рухнувших строений погибло около трехсот жителей города. Несколько сот человек пропало без вести. В городе разрушены сотни домов, перестали существовать целые кварталы. В округе уничтожены все шоссе и железнодорожные пути. Сообщение с Италией и французскими городами по Лазурному берегу Средиземного моря прервано. Полагают, что обильные дожди на юге Франции вызвали такое скопление воды в водохранилище, на которое плотина Мальпассе якобы не была рассчитана. Многие газеты высказывают предположение, что при строительстве плотины (она закончена пять лет назад) не были соблюдены необходимые технические условия. Из-за недостатка кредитов она была построена неудовлетворительно.

Сообщение произвело на меня тяжелое впечатление.

Я позвонил Афанасьеву.

— Читал сегодняшнюю газету?— спросил я у него.

— Про Мальпассе? Читал. Какой ужас!

Позвонил телефон.

— Читали? — теперь уже спрашивал меня Малышев.— Зайдите ко мне.

Я зашел к Малышеву, и он показал мне «Юманите», в которой описывались подробности трагедии во Фрежюсе и разбирались причины катастрофы. Статью писал французский журналист Пьер Дюран, и называлась она так: «За 50 лет более тысячи аварий плотин в мире и ни одной в СССР». В этой статье автор приводил интересные примеры и, в частности, ссылался на меня как на главного геолога Сталинградской ГЭС.

Пьер Дюран писал:

«Швейцарский инженер Морис Люжон, умерший несколько лет назад, выпустил книгу «Плотины и геология», которая считается во всем мире авторитетом по вопросам строительства плотин.

В ней имеются следующие в высшей степени актуальные фразы: «Построить плотину — это значит произвести огромный опыт! Но одновременно надо быть уверенным, что этот опыт не окончится двумя бедствиями: финансовым крахом, который не является смертельным, или разрушением огромного сооружения... Однако история жизни плотин показывает, что те из них, которые рушились и в результате влекли за собой иногда крупные катастрофы, в большинстве своем упали не потому, что расчеты были ошибочными, не потому, что выбранные материалы оказались недоброкачественными, а потому, что ненадежными оказались основания, расположенные на плохих грунтах, насыщенных в большей или меньшей мере водой, оказывающей губительное давление, а также потому, что были недостаточно изучены геологические и гидрогеологические особенности грунтов основания».

Прорывы плотин, к сожалению, не являются исключительными явлениями. За последние пятьдесят лет их зарегистрировано более тысячи, из них восемьдесят процентов в США. Крайне примечателен тот факт, что в Советском Союзе не было ни одного прорыва плотин, а между тем строительство сооружений такого рода получило при Советской власти значительное развитие.

Совершенно очевидно, что американские инженеры, как и инженеры других стран, не строят плотины с преднамеренным желанием, чтобы они когда-нибудь обрушились...

Однако понятно, почему не всегда проводятся все «детальные, дорогостоящие» разведочные работы. «Кто оплатит эти работы? Кто согласится вложить капитал и ждать долгие годы, пока он не начнет давать доход? Кто, наконец, увидит выгоду в этих сотнях скважин, из которых никогда не забьет долларовый фонтан?»

Да, краткий вывод о постановке изысканий и проектирования в Америке и во Франции можно было сделать такой: «Там, где при проектировании не обязательны геологические изыскания, почти неминуемы аварии и катастрофы». Эта формула неоднократно подтверждалась многими сотнями аварий в капиталистических странах, а катастрофа во Фрежюсе была только еще одним новым подтверждением.

Поговорив с Малышевым, я тогда же сел за стол, чтобы написать письмо в Каир — Василию Кузьмичу Каратаеву, попросить его побыстрее воздействовать на арабов и ускорить геологическую разведку по основным сооружениям Асуанского гидроузла. И вскоре получил от него письмо, в котором он подробно излагал состояние дел в Асуане. Арабские инженеры по-серьезному взялись за изыскания и исследования, к которым они до сих пор относились с прохладцей. Теперь они словно очнулись от сна и готовы были выполнять любые указания советских геологов. Все это сулило успех в больших проектно-изыскательских работах, развернувшихся и в Москве и на берегах Нила.

5

А на берега Нила, в Асуан, уже прибывали первые партии строительных машин и оборудования. На железнодорожную станцию один за другим приходили товарные поезда, груженные самосвалами, экскаваторами, компрессорами, бульдозерами. На вагонах мелькала одна и та же надпись: «Сад-эль-Аали» — «Высотная плотина».

В короткий срок все железнодорожные пути небольшой станции были буквально забиты составами со строительной техникой, прибывшей из Советского Союза. Темпы поставки оборудования, сложность машин и агрегатов поражали воображение египтян. «Ничего подобного мы никогда не видели», — говорили они.

Одна железная дорога не могла справиться с потоком строительной техники. Египтянам пришлось обратиться за помощью к речникам и подключить к асуанскому строительству нильский водный путь. По Нилу с берегов Средиземного моря, из Александрийского порта пошли тяжелые баржи с буровыми станками, трубами, горнопроходческим оборудованием. На этих баржах были доставлены в Асуан первые советские двадцатипятитонные самосвалы. Их появление под тропиками было встречено с нескрываемой радостью. Рабочие, шоферы и такелажники с жадностью и любопытством осматривали небывалые по размерам автомашины, удивлялись и восхищались их богатырской силой. У гигантских самосвалов собирались толпы.

Подготовительные работы к строительству внесли большие изменения в пейзаж. Там, где недавно лежала мертвая каменная пустыня, по дну старого русла Нила пролегла новая железная дорога — ветка к строительной площадке. На земляных работах трудились сотни рабочих. И вместе с ними — наши советские специалисты. Они приехали сюда с Урала, из Сталинграда и Куйбышева, из Москвы, Ленинграда и многих других городов и строек, приехали, чтобы помочь арабским рабочим и инженерам овладеть советской строительной техникой, обучить их профессиям экскаваторщика, бульдозериста, багермейстера, передать опыт, накопленный на великих гидротехнических стройках. Здесь можно было встретить известных всей стране героев строительства Волго-Дона экскаваторщиков Дмитрия Слепуху и Ивана Елисеева, прославленного земляных дел мастера Василия Клементьева, чье имя было широко популярно среди строителей Волжской ГЭС, Николая Сычева и ряд других опытных специалистов.

Боевое крещение на египетской земле нашим экскаваторщикам пришлось принять сразу же после прихода в Асуан строительного оборудования.

Маленькая железнодорожная станция Асуан оказалась совершенно не приспособленной к принятию массовых и тяжелых грузов: не было запасных путей, платформ, разгрузочных механизмов. Как быть? Главный эксперт Комзип знал, что уж если пошел запланированный поток советского оборудования, то он будет нарастать, а если не

организовать его приемку в Асуане, неизбежно произойдет закупорка железнодорожных путей и парализация транспорта.

Арабские инженеры успокаивали Комзина:

— Напрасно тревожитесь. Здесь неподалеку немцы построили ветку к химическому комбинату, на ней и разгрузим оборудование.

Предложение арабов решало трудную задачу. Ветка сокращала почти вдвое путь к строительной площадке и избавляла строителей от конфликта с железнодорожниками.

Комзин приободрился.

— Тогда поехали к немцам договариваться о помощи.

Администрация фирмы «Хохтиф Эссен» встретила асуанских строителей очень любезно, угостила хорошим кофе, высказала теплые слова сочувствия.

— Конечно, по-моему, не сомневайтесь. Дадим краны для разгрузки оборудования, дадим все, что вам нужно.

Но это был всего лишь «отвлекающий» маневр.

Прошло семь дней. На станцию Асуан пришли новые составы со строительной техникой, и теперь уже на ветке скопилось и ждало разгрузки несколько десятков вагонов; немцы из «Хохтифа» по-прежнему обещали не сегодня-завтра начать разгрузку, по-прежнему были безукоризненно вежливы при переговорах, крепко пожимали руки при встречах, сыпали комплименты асуанским строителям. Комзин раньше других понял, что помогать они не будут, напротив, они очень довольны создавшимся затруднением и издевательски выжидают, когда на железнодорожной станции образуется «пробка».

Вот тогда они, наверно, активно включились бы в события: раструбили бы в газетах о первом провале русских в Асуане, о том, что советские строители не умеют строить, не умеют организовать простых вещей и теряют золотое время на монтаж оборудования. Этот «провал» был бы поводом для того, чтобы скомпрометировать советскую помощь и поставить под сомнение способность арабов построить такое уникальное сооружение, каким является высотная плотина. Нет сомнений и в том, что немецкие «коллеги» стали бы доказывать, что арабам без помощи немцев вообще не обойтись. И конечно же, они глубокомысленно умолчали бы о своих грехах, о том, что компания «Хохтиф Эссен» пыталась составить проект высотной Асуанской плотины и что этот проект был забракован в 1954 году Комиссией международных экспертов. Умолчала бы «Хохтиф Эссен» и о том, что они строят небольшую гидростанцию при старой Асуанской плотине вот уже восьмой год и до сих пор не известно, когда же они наконец дадут промышленный ток Объединенной Арабской Республике. Во всяком случае, предусмотренную планом подачу электроэнергии на стройплощадку высотной Асуанской плотины они уже сорвали.

Потеряв терпение, Ахмед Саид, исполняющий обязанности начальника строительства высотной плотины, созвал экстренное совещание.

— Что будем делать? — обратился он к Комзину.

— Надо самим строить ветку, — порекомендовал Комзин. — Другого выхода нет.

— Как — строить?

— Продолжим немецкую ветку за пределы химкомбината и начнем разгружать оборудование прямо в пустыне.

Ахмед Саид рассмеялся.

— Вы, конечно, шутите, мистер Комзин. Хорошо сказать — разгружать в пустыне. А где краны? Где склады?

— Это я беру на себя, — твердо сказал Комзин. — Будем разгружать при любых условиях.

Началось строительство ветки. Через три дня она была продолжена, вагоны были поданы под разгрузку. Комзин предполагал, что за то время, пока строится ветка, подъемные краны подойдут и напряжение разрядится. Но как нарочно баржи с кранами застряли где-то на Ниле, на расстоянии сотен километров от Асуана. Ждать было нельзя.

Вечером Комзин собрал экскаваторщиков, обрисовал положение. На путях продолженной ветки, сообщил он, стоят десятки вагонов с оборудованием и машинами, среди них тяжеловесы — три двадцатитонных экскаватора. Надо все это выгружать, а кра-

нов нет, специальных приспособлений также, но у каждого из присутствующих есть голова и опыт.

Неожиданный вывод Комзина поначалу был принят как шутка. Потом строители задумались. Слово взял Василий Клементьев.

— Я эту задачу попробую решить,— заявил он.— По разгрузке тяжеловесов у меня есть кое-какая практика.

— Что вам для этого нужно? — спросил Комзин, вспоминая, как Клементьев не раз его выручал на Волжской ГЭС своими смелыми и решительными действиями.

— Домкраты и шпалы,— ответил экскаваторщик.— А кроме того, наших ребят человек шесть да рабочих-аравов человек десять.

Выступил Дмитрий Слепуха.

— Я считаю,— сказал он,— что экскаваторы можно временно переоборудовать, и они будут работать, как краны при разгрузке вагонов.

Предложения экскаваторщиков были приняты, а на другой день немецкие инженеры из окон здания компании «Хохтиф» наблюдали, как русский экскаваторщик творил чудеса, орудуя восемью автомобильными домкратами и сотнями шпал. Когда первый экскаватор был выгружен, Магомед Мурен бросился к Клементьеву и стал изо всех сил трясти его руку.

— Василий, ты сделал невозможное!

К вечеру, как и обещал Клементьев, были разгружены все три экскаватора. После выгрузки этих тяжелых машин проблема разгрузки составов уже не представляла существенных трудностей. Роль механических грузчиков приняли на себя экскаваторы, превратившись, по рецепту Слепухи, в краны. Пробка на станции Асуан была быстро расчищена.

На продленном участке ветки были построены запасные пути, платформа, площадка для тяжеловесов и промежуточная станция. По предложению Ахмеда Саида эту станцию назвали по-арабски «Садакой», по-русски это означает «Дружба».

Подготовительные работы приближались к концу. Проложены дороги и подъездные пути к первоочередным объектам, смонтированы экскаваторы, стройплощадка насыщена всевозможными строительными машинами, станками, ремонтными мастерскими, базами — всем, что составляет глубокій тыл большой стройки. Арабы готовились к официальному открытию строительства первой очереди плотины. В истории экономического развития Объединенной Арабской Республики это было крупнейшим событием, с которым могло сравниться разве только открытие Суэцкого канала в 1869 году. Как известно, торжественная церемония открытия канала была организована с исключительной роскошью и небывалой расточительностью. За деньги египтян для приглашенных из многих стран гостей были построены великолепные дворцы и яхты. Празднества продолжались несколько недель. Все расходы были оплачены египетской казной. По заказу Исмаила-паша к открытию канала композитор Верди написал известную оперу «Аида». Она была поставлена приглашенной итальянской труппой в специально построенном и роскошно оборудованном театре в Каире.

При открытии Асуанской стройки арабы по вполне понятным причинам не могли себе позволить подобного расточительства. Они научились считать и беречь свои деньги, хорошо зная их цену. И тем не менее торжественная церемония начала строительных работ превратилась в большой национальный праздник. На торжества приехали представители многих стран. 9 января 1960 года на строительной площадке состоялся большой митинг, на котором выступил президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер. По поручению Советского правительства асуанских строителей приветствовал министр строительства электростанций Игнатий Трофимович Новиков.

— Высотная плотина,— сказал он,— является самой грандиозной на африканском континенте. Она будет построена совместными усилиями, и мы заставим природу служить человеку. Арабский народ может рассчитывать и в дальнейшем на бескорыстную помощь советского народа.

Участники митинга встретили эти слова советского министра возгласами одобрения. Затем состоялась торжественная закладка мемориальной доски с высеченной на

ней знаменательной датой начала строительства. Доска была огромная, массивная, изготовленная из асуанского розового гранита. Закладывалась она на века, как память о подвиге египетского народа. Наступила самая торжественная минута. Президент Абдель Насер подошел к щитку и включил рубильник. На правом берегу Нила будто раскололась скала, и к небу взвился гигантский фонтан каменных глыб и дыма Грохот, подобный раскатам весеннего грома, прокатился над Аравийской пустыней.

— Сад-эль-Аали! Сад-эль-Аали! — кричали феллахи, прихлопывая в ладоши.

— Русь арабы — сава, сава! Русские и арабы — друзья!

Так был произведен первый взрыв гранитов на трассе обходного канала. Стройка началась. С этого дня Асуан стал центром внимания всей египетской общественности. На автобусах и поездах, на машинах и телегах, на ослах и пешиком сюда устремились сотни и тысячи людей из различных городов и деревень страны. Шли и ехали, чтобы принять участие в строительстве, согласны были идти на любую работу.

— Еще только год назад, — сказал мне как-то шофер Муса Теймур, — мы считали Асуанскую плотину несбыточной мечтой — и вот строим своими руками. Даже как-то не верится.

— Сад-эль-Аали — давняя египетская идея, — сказал молодой инженер Анвар Салеб. — Ее выдвинули гидротехники-мелиораторы. Запад смеялся над нашей мечтой. «Утопия! — говорили они. — Фантазия! Нелепая затея!» Колонизаторы внушали нам, что арабы не способны на технический подвиг, что они могут только выращивать хлопок для английских текстильных фабрик.

А тем временем Запад стал раздувать страсти вокруг второй очереди строительства высотной Асуанской плотины. Англичане и французы, показавшие арабам свое истинное лицо в Суэцком конфликте, притаились, им неудобно было сейчас действовать открыто. И они придумали новый вариант экономической диверсии против Египта. Неожиданно западноевропейские фирмы стали усиленно предлагать финансирование строительства второй очереди Асуанской плотины. Правительство Аденауэра заявило о гарантии своим фирмам на сумму в двести миллионов марок. Западная пропаганда пустила слух о «предполагаемом участии» США в асуанском строительстве через Международный банк реконструкции и развития. Запад полагал, что арабы вместе с русскими проведут самые тяжелые и трудоемкие работы по первой очереди строительства, а они, англичане, американцы или западногерманцы, возведут крышу над построенным зданием, а потом раструют на весь мир, что вот-де арабы все же не обошлись без западноевропейских специалистов, что именно им пришлось завершать стройку.

Но египтяне вовремя разглядели эту новую политическую интригу. Каирская газета «Аль-Ахрам» откровенно высказалась: «Все разговоры о предложениях Запада были пустыми словами. О них шумели газеты, но в них не было даже намека на правду».

Министр общественных работ Муса Арафа, оценивая обстановку, созданную газетным бумом, заявил, что ни одна из западноевропейских стран, выразивших желание принять участие в финансировании строительства и технической помощи, ничего не сказала о том, на каких условиях должно осуществляться это участие и в какие формы сотрудничества должно вылиться. В то же время условия кредита по договору с Советским Союзом были предельно ясными и очень выгодными для Объединенной Арабской Республики. В Большом Кремлевском дворце на приеме в честь вице-президента ОАР маршала Абдель Хаким Амера Никита Сергеевич Хрущев еще раньше заявил: «Исходя из дружественных отношений, существующих между нашими странами, и стремясь к дальнейшему их укреплению, Советское правительство согласилось взять на себя обязательство участвовать в строительстве первой очереди Асуанской плотины, сооружения, имеющего столь большое народнохозяйственное значение для Объединенной Арабской Республики и укрепления ее национальной независимости». Советское правительство дало согласие на поставку необходимого строительного оборудования, машин и материалов и выдало кредит около четырехсот миллионов рублей для оплаты этих расходов.

Заявление Н. С. Хрущева в Кремле вызвало тогда горячие отклики в кругах арабской общественности. Теперь арабы вновь обратились за помощью к Советскому пра-

вительству, приглашая его принять участие в строительстве и второй очереди высотной Асуанской плотины, и получили согласие. Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрушев и Президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер обменялись по этому поводу посланиями. Новая добрая весть из Москвы о помощи арабам обошла все газеты арабского мира и перекочевала на страницы западноевропейской прессы.

Западная пропагандистская печать попала в трудное положение. В последнее время она усиленно распространяла версию о том, что египтяне будто бы боятся попасть в «зависимость» от Советского Союза и стремятся привлечь к работам по строительству Асуанской плотины Запад, чтобы противопоставить его Советам. Теперь было ясно всем, что Запад лгал. Даже реакционная пресса вынуждена была признать поражение. Английская «Дейли мейл» писала:

«В этой высотной плотине есть что-то внушающее благоговение. Больше, чем какое-либо другое творение человека, она провозглашает, что страна, ответственная за ее сооружение,— великая страна. Вот почему принятие предложения России об участии в строительстве второй очереди Асуанской плотины является такой большой победой Советского Союза и соответствующим поражением Запада... Эта плотина символизирует многое. Она служит выражением нового гордого национального самосознания Египта. Она служит признаком растущей мощи России и ее реальной победы в этой области над Западом. И прежде всего она послужит памятником ошибочной западной политике — могильным камнем над напрасными сожалениями».

Участие Советского Союза в строительстве второй очереди поставило новые задачи перед Министерством по строительству электростанций, перед институтом «Гидропроект» и его проектными, изыскательскими и исследовательскими подразделениями. Если раньше мы интересовались сравнительно ограниченным кругом вопросов, связанных с возведением плотины, то теперь нас стало интересовать буквально все: ведь ответственность за строительство всего гидроузла полностью возлагалась на Советский Союз.

Геологам Гидропроекта нужно было дать инженерно-геологическую оценку горным породам, на которых будут возводиться самые ответственные сооружения Асуанского гидроузла: плотина, гидростанция, канал, временные перемычки.

Проектировщиков и строителей прежде всего интересовал вопрос, на каких грунтах будет стоять временная дамба, отгораживающая глубокий овраг Кунди от Нила. Этот овраг, или, как его называют арабы, Кор, затоплен водой на глубину до двадцати метров. В овраге начинается глубокий обходной канал. Чтобы начать рыть канал, затопленный овраг надо отделить от Нила высокой дамбой, затем откачать воду, осушить дно оврага и приступить к земляным работам. Дамба в овраге Кунди представляет большой практический интерес. Она должна строиться в таких же условиях, как Асуанская плотина, то есть сквозь толщу воды. Это был как бы некоторый прообраз будущей большой плотины, а потому и возведение дамбы мы рассматривали как генеральную репетицию перед строительством высотного сооружения. Здесь снова представлялась возможность испробовать те методы производства работ и те строительные материалы и механизмы, которые будут применены при возведении высотной плотины, и уже в реальных условиях Асуана можно было окончательно проверить метод замыва камня песком. Так дамба в овраге Кунди превращалась в крупный научно-исследовательский опыт, имеющий огромное практическое значение. Проектировщики проявляли к ней повышенный интерес. И опять они затребовали данные у нас, геологов.

По данным бурения немецких «коллег», получалось, что скальные породы в овраге залегают совсем не глубоко. Но такое утверждение противоречило здравому смыслу. Если в русле Нила граниты находились на глубине двухсот метров, то и в овраге они не могли залегать близко. Будучи в Каире, я усомнился в правильности выводов немецких геологов и попросил арабских инженеров пробурить контрольные скважины.

— Зачем бурить? — протестовал Вильям. — Здесь немцы уже бурили, и мы им верим. Незачем зря тратить деньги.

Но первая же заданная нами контрольная скважина показала, что немцы исказили геологический разрез, перевали его и, попросту говоря, обманули арабов, не пробуриив скважин на нужную глубину. Скальные породы залегают гораздо глубже, толща песков почти вдвое больше. Это существенно повлияло на конструкцию дамбы и на выбор ее месторасположения в овраге Кунди.

По данным бурения советских геологов, выявилась возможность переместить дамбу в такое место, где объемы работ резко уменьшались, удешевляя строительство.

Работы у наших геологов появилось много и особенно теперь, когда фронт изысканий резко расширился. Но не меньше забот было и у проектировщиков. Перед ними снова встал большой вопрос о наиболее целесообразной компоновке сооружений Асуанского гидроузла.

По проекту английской фирмы «Александр Гибб и партнеры» основные сооружения гидроузла размещались на обоих берегах Нила: канал на правом, а гидростанция на левом. При такой компоновке на левом берегу Нила требовалось рыть в скале второй глубокий подводящий канал и пробивать длинный тоннель.

А если эту гидростанцию переместить на правый берег? Скажем, посадить в обходной канал, который уже сейчас роется? Не будет ли это разумнее и дешевле?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо и Малышеву и Афанасьеву со своими сотрудниками хорошо поработать, посчитать, сравнить, взвесить. Трудно представить, чтобы Александр Гибб — основатель солидной фирмы, известный английский инженер и член Королевского Общества — предложил вниманию Комиссии международных экспертов плохо продуманный проект. По всей вероятности, он был обоснован, поскольку был принят и утвержден. Но, как говорится, чем бес не шутит. В проекте первой очереди строительства проектировщики Гидропроекта предложили заменить тоннели каналом, и при строгой проверке оказалось, что канал дешевле и что его быстрее можно построить.

Не будем, однако, загадывать вперед. Пусть над этим сначала хорошенько подумают наши маститые проектировщики, а вместе с ними и наша молодежь, как правило, вносящая много нового даже в самые сложные проекты.

Можно не сомневаться в том, что огромный опыт проектирования и строительства, накопленный нами на многочисленных стройках СССР, будет успешно использован в Африке на строительстве Сад-эль-Аали.

Сотрудничество и деловая дружба, установившиеся между советскими и арабскими инженерами, полны творческих исканий. Совсем уже недалеко то время, когда над берегами Нила поднимется гигантская плотина, а на Нубийских скалах загорится сильный и яркий электрический свет. Он будет виден далеко за пределами Объединенной Арабской Республики, освещая путь, по которому должны идти другие страны Африки, чтобы навсегда освободиться от бедности и нищеты, от тяжелых оков колониализма.



ПУБЛИЦИСТИКА

А. ТАЛАНОВ

★

ТРИ ГОРОДА

СУЗДАЛЬ

Удивительный дом! Крыша его простая — тесовая, окна приземисты и заставлены самыми обыкновенными, прозаическими горшками с геранями и столетниками, которые принято считать атрибутами тихой, обывательской жизни. А все же от дома исходит какое-то колдовское очарование.

Надпись извещает, что это «памятник архитектуры». Однако белокаменная сводчатая постройка с просторной клетью внизу и веселой светлицей наверху сама говорит о своем происхождении. Вы сразу оцените мужественную простоту и строгость архитектурных линий, создающих гармоническую красоту. Так строили на Руси в далекую старину. Местные суздальские зодчие были в том особенные искусники. Дом Никиты Пустосвята — наглядное доказательство их великого мастерства.

Когда-то жил здесь протопоп-раскольник Никита Пустосвят. Тот самый, который дерзнул спорить о старой вере с царевной Софьей и был на следующий же день обезглавлен на Лобном месте. Писцовая книга города Суздаля свидетельствует, что в 1628 году тут находилось владение «монастырского портного Костьки, прозвище Добрынка Якимива» — отца протопопа Никиты.

Более трех веков минуло с тех пор. Монастырская слободка Скучилиха превратилась в центральную улицу Суздаля. Но белокаменный терем стоит здесь по-прежнему и все так же глядит писаным красавцем.

Впрочем, даже этот удивительный терем надо считать самым скромным, самым «невзрачным» из всех памятников суздальской архитектуры. Разве можно, например, равнять его с древнейшим величественным Богородице-Рождественским собором-некрополем, воздвигнутым еще в одиннадцатом столетии? А монументальная звонница этого собора с ее восьмерником, увенчанным гигантским шатром? А дивной красоты Успенская церковь, упоминаемая еще в грамоте Иоанна III в 1495 году? И сооруженные в семнадцатом и восемнадцатом веках десятки (да, десятки!) других пзумительных храмов, звонниц и монастырских ансамблей-кремлей. Описанию их посвящены многочисленные исследования историков, археологов, искусствоведов у нас и за рубежом.

Суздаль, пожалуй, единственный город в нашей стране, сохранивший столь великое множество великолепных памятников русского зодчества. Это наглядная каменная летопись нашей родины. Самая наидревнейшая летопись. Ведь Суздаль гораздо старше Москвы, история его уходит еще к девятому веку, здесь княжили Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Александр Невский и другие выдающиеся деятели старой Руси.

Однако есть и темная страница в истории Суздаля: с давнего времени здесь, в Спасо-Евфимиевском монастыре, находился рваелин, предназначенный для тех, кого сочли виновными против церкви и государства.

Кто были они?

Вот некогорые. Царь Петр заключил сюда свою первую жену — Евдокию Лопухину. Царица Екатерина упрягала тут до казни «бунтовщиков»-пугачевцев. Александр I заточил некоего актера Кочегорова, чтобы лишить его «возможности беседовать

и обращаться без разбора с людьми не просвещенными». Особенно широко пользовался монастырским рavelином Николай I. По его велению здесь был заключен декабрист Ф. Шаховской, а также штабс-капитан Березин, чтобы он «не токмо не мог иметь с кем сношения, или писать, но говорить какие-либо неурности». Оказался тут и старик, «начальник секты скопцов по имени неизвестный», и солдат Уткин — за неповиновение «установленной власти», и офицер Михайлов — «по причине некоторого заблуждения от чтения книг». И находились тут...

Нет, всех не перечесть. Имя им легион.

Стены суздальских кремлей, церковей-замков, монастырей-тюрем видели необычайные подвиги и кровавые преступления, жестокие заговоры и народный патриотизм — высокие взлеты и низменные падения человеческого духа, его неземную красоту и злые земные страсти.

Таково историческое прошлое Суздаля.

А какова его жизнь сегодня?

Прежде всего надо оговориться, что до самого последнего времени город жил, как отрезанный от остальной суши остров. Бездорожье... До ближайшей станции железной дороги — три десятка километров, но бездорожье делало это небольшое расстояние почти недолимым. Чтобы добраться до своего областного центра — Владимира, суздальцам приходилось преодолевать весной и осенью крошечные километры по вязкой, как смола, грязице. Только совсем недавно отличная автомагистраль соединила Суздаль с Владимиром, а через него — с Горьким и со столицей. «Автомагистраль», — говорят суздальцы, — открыла для нас новую эру.

И впрямь, решение транспортной проблемы определило широкие перспективы в развитии города. Захолустному, сонному существованию пришел конец. По ожившим городским улицам потоком помчались автобусы, легковые и грузовые автомашины. И даже замелькали лица гостей, дотоле невиданных в городе, — интуристов.

Ритм жизни стал иным. Если ранее на протяжении целых десятилетий в городе не было построено ни одного крупного здания, а старые ветшали и вовсе разрушались, то теперь картина резко изменилась. Город быстро прихорашивается и вновь отстраивается.

Суздальцы прежде всего принялись за реставрацию своих памятников древней культуры. Что греха таить, они являли вид весьма печальный. Большинство стояло без крыши, было захлавлено, превращалось в развалины. Хорошо еще, если их использовали под склады. А то бывало и так, что с попустительства нерадивых людей здания разбивались «для хозяйственных нужд».

Что же тогда говорить о таких бесценных богатствах, как иконы, писанные гениальными русскими мастерами, или церковная утварь художественной ювелирной работы? Их расхищали, или они просто погибали зря от дурного хранения. Рассказывают, например, — и это, как ни стыдно признать, сушая правда, — что уже в наше время некий градоправитель ухитрился даже уничтожить превосходный памятник над могилой князя Дмитрия Пожарского. К чести суздальцев, они исправили эту «ошибку», установив новый памятник своему прославленному земляку.

Ныне, после своего тысячелетнего существования, город получил водопровод и вскоре вступит в строй канализация. Запоздалые блага цивилизации! Что поделать, приходится утешаться пресловутым «лучше поздно, чем никогда». Зато Суздаль преуспел по другой очень важной коммунальной статье: недавно выстроенная первоклассная гостиница распахнула свои двери для приезжего люда.

Как на первый взгляд ни странно, уже на протяжении многих лет количество жителей в городе находится в стабильном состоянии. Почему? Причину следует искать в исключительном для советского города положении Суздаля — в его длительном экономическом застое. Тут нет крупных промышленных предприятий; да и мелких, как говорится, раз-два и обчелся: молочный и крахмальный заводики и кое-какие предприятия промкомбината. И все!

Руководители города мечтают:

— Нам бы хоть один настоящий завод или фабрику! Тогда мы заживем по-иному. Развернулись бы масштабно, индустриально, как другие...

Примечательно, что подобная точка зрения господствует не только в Суздале. Во многих других маленьких городах также считают, что их дальнейший рост невозможен без насаждения крупной промышленности. Мало того, к индустриализации даже стали относиться как к своего рода панацее для избавления от всех бед захолустного существования.

Пытаться разрешить все острые городские проблемы таким образом — в высшей степени наивно. Искусственное насаждение промышленности лишь ради оживления жизни города?.. В ряде же случаев, как, например, в Суздале, где вблизи нет никакой мало-мальски подходящей сырьевой базы, такая затея явно бессмысленна.

Каковы же дальнейшие пути развития Суздаля? Неужто надо примириться с бесперспективным положением города?

Судьба всякого города, как и судьба человеческая, прихотлива. Однако это отнюдь не означает, что участь его предопределяется фатально. Если человек — «купец своего счастья», то в равной мере это следует отнести к жизни города. Другими словами, его будущее надо планировать.

Как планировать дальнейшее развитие Суздаля?

Такой вопрос я задавал коренным суздальцам. И примечательно, что старожилы высказывались единодушно: необходимо возродить то, чем издавна славился наш город, — ремесла. Различные ремесла.

Наряду с этим, убежденно говорят суздальские жители, следует развивать туризм в наши места. Учитывая уникальную архитектурную ценность Суздаля, дело это могло бы привиться превосходно и дать не только большие прибыли, но и определить «профиль» города. Суздаль должен стать магнитом для туристов — наших и зарубежных.

Оба эти предложения надо признать заслуживающими самого пристального внимания.

Вспомним, что в прежние времена суздальцы славились своими художественными ремеслами. Местные кустики достигали высокого мастерства в чеканке серебра. Изделия чеканщика М. П. Шерстнева, например, демонстрировались на Международной выставке в Париже. Резчики по дереву выполняли самые сложные художественные работы. Процветало передававшееся из рода в род золотшвейное искусство, тканье узорчатых холстов и скатертей. Так называемая суздальская строчка до сей поры отличается своим тонким изяществом.

И пригороды Суздаля имели свои приметы. Возьмем, к примеру, садоводство. Кстати, занятие это характерно и для горожан. По преданию, еще в одиннадцатом веке Владимир Мономах привез сюда с юга Руси вишню, и с той поры она прочно прижилась на местной почве. Суздальские сорта вишни, так же как и знаменитая владимирка, известны во всей округе и далеко за ее пределами. Суздальцы сумели вывести превосходные сорта яблок: семеновку, зеленювку, антоновку, анис и другие.

Садоводы делили успех с огородниками. Ранние и сверххранные огурцы и помидоры выращивались в огромном количестве, славились своим вкусом и были выгоднейшим предметом вывоза.

Почему Суздаль со своей «периферией», когда-то утопавшей в зелени садов, оголился? Почему столь удобные для огородных культур берега неторопливо текущей реки Каменки заболотились, имеют заброшенный вид?

Ответ может быть только один: занятие садами и огородами стало здесь, мягко выражаясь, не в почете. Нет благоприятных условий для этого нелегкого труда. Никто не позаботился использовать силы и опыт здешних знатоков садоводства и овощеводства.

Помощи ждут и талантливые кустики, мастера художественных промыслов. Надо объединить их в артели, заинтересовать заработком, сделать работу выгодной. Да, именно так, ибо и высокое искусство требует достойной материальной награды. Об этом не следует забывать, возрождая былую славу суздальских кустарных промыслов.

И осуществима мысль — сделать город заманчивым для туристов.

Надо прямо сказать: пока Суздаль недостаточно для этого подготовлен. Вель его главная «приманка» — достопримечательности, имеющие огромную историческую и художественную ценность, — еще находится в запущенном состоянии.

Никак нельзя оправдать это недостатком средств. Напротив, на реставрацию памятников старины государство отпускает очень большие деньги. Реставрационная мастерская в Суздале даже не успевает «переварить» их полностью, и значительная часть ассигнований остается неиспользованной. К тому же работы ведутся беспланоно, разбросанно, недостаточно квалифицированно.

Однако не только страсть к познанию и эстетическому наслаждению предопределяет интерес туриста к чужому городу. Есть и другие немаловажные условия для привлечения гостей-путешественников.

Пусть не обижаются суздальские патриоты, но их городское хозяйство еще не имеет права называться культурным. Коммунальные удобства только начинают появляться в городе.

Бытовые неурядицы в значительной мере объясняются ограниченностью местного бюджета — столько хотелось бы сделать, а источников городских доходов маловато. В таком положении каждая копейка должна быть на счету. Потому особенно обидно, когда деньги тратятся заведомо без толку.

Вот хотя бы такие сразу бросающиеся в глаза частности. Вся центральная улица Суздаля «украшена» громоздкими, на мощных столбах, щитами с облезлыми надписями и стершимися диаграммами большой давности. Ну к чему подобная профанация наглядной агитации?

По городу там и сям расставлены гипсовые, с позволения сказать, скульптуры. И находятся-то они в оскорбительном соседстве с великими творениями гениальных русских зодчих. Вот, к примеру, в городском саду стоит болванчиком кургузый пионер с горном. Рядом, под стать ему, неуклюжая девочка с теннисной ракеткой. А дальше — кривоногий голый малыш, этакий купидон, переболевший рахитом.

За все эти изделия, отштампованные предприимчивыми ремесленниками, городские организации уплатили «большие тыщи». Дорогая расплата за безвкусицу!

Кстати, не только суздальцы повинны в этом грехе. Увы, уродцы с горнами и ракетками часто встречаются и в других городах, их ставят на обочинах автомобильных дорог, в парках и даже среди леса. Размноженные в огромном количестве, они преследуют путешественника на всех дорогах.

Разумеется, Суздаль одолеет стоящие перед ним трудности. Сейчас, когда этот древний город делает первые, робкие шаги в новом направлении, пульс его уже заметно оживился. Недаром день ото дня растет приток экскурсантов и туристов со всех концов нашей страны и из-за рубежа. В недалеком будущем Суздаль сумеет окончательно благоустроиться, он станет тем, чем должен стать, — городом-музеем, центром художественных промыслов.

ОСТРОВ И ВИЛЬЯНДИ

Когда я думаю о Суздале, то неизменно на память приходят два других районных города, где тоже мечтают: «Если бы построить у нас завод или фабрику! О, тогда бы мы...»

Города Остров и Вильянди — ровесники и недалекие соседи. Первый находится в Псковской области, второй — в Эстонской ССР. Возникли они еще в тринадцатом веке. Однако оба выглядят очень молодо для своих лет. И в том нет ничего странного: оба города по существу строятся заново. Остров — потому, что во время войны фашисты превратили его в руины. Вильянди — отчасти по той же причине, а главным образом из-за того, что в буржуазной Эстонии он находился на положении глухой провинции.

Когда-то оба города противостояли друг другу, как мощные крепости. От тех времен в Вильянди остались живописные руины замка с высокими бастionsами, глубокими рвами и всяким цепным переходом. Остров не может похвастать столь романтическими памятниками старины, зато островичи не без основания гордятся своеобразным, столетней давности, мостом. Перекинутый через реку Великую, он сначала устремляется к островку, на котором когда-то высилась грозная крепость, а ныне осталась

лишь старая церковь; затем мост перебегает на противоположный берег, к самому центру города.

Русские мостовики издавна славятся своим искусством, и тут они подтвердили исконное доброе имя. Сочетая ажурную легкость с капитальной солидностью, островский мост до сей поры является примечательным украшением города. И не стоит винить его за то, что он уже едва справляется с возросшими требованиями современности: рассчитывали его на движение исторопливых пешеходов и лошадей, а не на стремительный поток автомашин.

Впрочем, знакомство приезжего человека с чужим городом начинается обычно не с исторических достопримечательностей, а с учреждения более прозаического — гостиницы. Здесь невольно складывается то первое впечатление, о котором говорят, что оно наиболее сильно. Подобно тому, как вешалка в театре, по словам К. С. Станиславского, предопределяет отношение зрителя к театру, так в гостинице рождается самоощущение человека в новом городе.

В единственной небольшой гостинице Острова вас встречают радушно и даже не часто произносят пугающую фразу: «Свободных мест нет!» Однако не обольщайтесь надеждой, что вам здесь будет хорошо. Прежде всего оказывается, что небольшое число отдельных номеров занято, а свободное место имеется только в общежитии, где койки поставлены вприпрыжку одна к другой. С дороги вы хотите принять ванну? Но ванны нет и в помине. Душ? Его тоже нет. Имеется только тесное помещение, общее для мужчин и женщин, где можно кое-как поплескаться у ракумошника. Состояние закоулка, который принято обозначать под цифровым кодом «два нуля», вообще не стоит описывать...

Но вот вы приезжаете в Вильянди. До недавнего времени тут было три небольших пристанища для приезжих — удобных и чистых. А теперь открылся вдобавок образцовый большой отель.

Познакомимся поближе с обоими городами. Река Великая, та самая, которая так поэтично вьется в Пушкинских Горах, энергично катит свои воды через самый центр Острова. Вильянди же стоит возле озера, чье сверкающее зеркало достигает нескольких километров, а берега покрыты зеленым ворсом лесов.

До чего по-разному используются эти богатства! На берегах Великой, лысых, захламленных, прачки полощут белье, а всерьез в чюдеса рыболовы забрасывают мудреные спиннинги и простые удочки. Из воды торчат остатки разрушенной плотины, свидетельствуя о том, что когда-то островичи смиряли свою своенравную реку и поднимали ее обмелевшее русло. Если бы восстановить эту плотину, то, наверно, Великая вновь оправдала бы свое гордое имя.

А теперь представьте песчаный пляж, оживленную водную станцию с гребными, парусными и моторными лодками, площадки для спортивных игр. Все это к услугам юного и взрослого населения Вильянди. И не следует думать, что эта «водная погеха» потребовала для своего создания много времени и средств. Нет, возникла она не так давно по методу народной стройки.

Уж если разговор коснулся спортивной темы, то добавлю, что только за последние два-три года в этом скромном районном городке появились такие сооружения: великолепный спортивный зал, водная станция, четыре плавательных бассейна, несколько футбольных и гимнастических площадок и превосходных теннисных кортов. Кроме того, вступают в строй большой стадион и отличная туристская база.

Рассказ же о состоянии спорта в Осгрове, к сожалению, очень краток. Здесь еще только обсуждают, где лучше соорудить стадион — на берегу реки или подальше от нее, — и какой построить спортивный зал — размером поменьше или побольше. Пока к услугам местных любителей спорта только «дикое» футбольное поле.

На пути к Острову, в Пушкинских Горах, я видел старые липы, во время войны израненные осколками фашистских снарядов. С тех пор минуло почти два десятка лет, и металл в теле деревьев стал отравлять их своей ржавчиной. Пушкингорские садовники, чтобы спасти болеющие липы от гибели, с хирургической тщательностью извлекают из стволов вредные осколки.

В Пушкинских Горах можно видеть и старую-престарую «ель-шатер», вдохновившую поэта на такие строки:

Там и я свой след оставил,
Там, ветру в дар, на темну ель
Повесил звонкую свирель.

Слова эти выписаны возле чтимого дерева. Тем более стыдно видеть другую надпись, которую садовники были вынуждены сделать рядом: «Не ломайте деревья!» Эта унижительная надпись повсюду лезет в глаза посетителю Пушкинских Гор, она зловеще пялится даже у трехсотлетнего дуба, которому, по преданию, Пушкин посвятил строки: «Гляжу ль на дуб уединенный..» А возле раскидистой вековой липы, так называемого «дивана Онегина», надпись предупреждает: «Не трогайте историческое дерево — ему грозит гибель!»

Зато отрадны плакаты на улицах Вильянди: «Каждый должен посадить и вырастить одно дерево». Слова эти не осягаются невыполненным призывом. Горожане своими руками вырастили множество деревьев в парках, скверах и на бульварах. Смело можно утверждать, что никогда за долгие годы своего существования Вильянди не был так пышно озеленен.

А как в Острове? Там нет ни оборонительных надписей, ни предложений взяться за древонасаждение. Молодая зеленая поросль почти отсутствует. Видно, проблема озеленения не волнует городские власти.

И это вновь наводит на размышления.

У каждого города своя, неповторимая внешность и свой характер. Один — оживленный, веселый, в нем жизнь бьет ключом. Другой — мрачен, уныл и походит на человека, при виде которого киснет молоко. Есть и просто безликие, серые города, черты которых не впечатляют, их потом и не припомнишь. А у некоторых, как у подростка, выражение лица только-только становится устойчивым. Таков и Остров. Удивляться тому не приходится. Прежний облик искажен войной, а новый еще формируется.

Вильянди приветлив. Холмы его сравнительно невысоки, но полны своеобразной мужественной красоты. А озеро, на берегу которого расположен город, и другие озера поблизости глядятся в небо то с доброй улыбкой, когда берега обрамлены веселыми березками, то грозно, когда вокруг торчат зеленые пики тесно сомкнувшихся елей. А то вдруг голубое озерцо взглянет наивно, как милый девичий глаз.

Неподалеку Острова тоже светится озеро. Окруженное дремучими лесными зарослями — раздолье для охотников! — оно кажется почти необъятным с высоты своих крутых берегов.

Но почему оба города и окружающая их природа оставляют столь различное впечатление? Отчего они так не схожи по своему характеру?

Ответ опять-таки следует искать в различном отношении хозяев к своему достоянию. Природа не нуждается в приукрашивании. Но она требует заботы, ее нужно холить. Именно так поступают вильяндские жители, культивируя свои лесопарки и сливая с ними зеленые насаждения города.

В первозданной дикости природы есть своя неотразимая привлекательность. Однако совсем иное дело, когда запущенность образуется от небрежения.

Не надо думать, что островичи нелюбовно относятся к родному городу. Они большие его патриоты, гордятся историческим прошлым, вспоминают те времена, когда остров, подобно Великому Новгороду, имел свое вече и дружину, не раз мужественно отражавшую набег врагов.

Быть может, городские руководители равнодушно или халатно относятся к своим обязанностям? Огнюдь нет! Люди, которым доверено строительство нового Острова, отдают этому делу все свои силы. Мне довелось наблюдать, как рано поутру, до начала рабочего дня, секретарь райкома партии Ефимов и председатель горисполкома Семин осматривали строительство Дворца пионеров. Оба они прилагали все старания, чтобы поскорее предоставить ребятам нарядное, удобное помещение.

Чего не хватает, по-моему, — это широты предвидения, загляда в завтрашний день — а то и дальше — своего города. В стиле работы чувствуется довольство малым,

что, естественно, суживает перспективу. Даже такой насущный вопрос, как жилищное строительство, решается вяло. За последнее время здесь сумели соорудить всего-навсего несколько новых домов, а кредиты, отпущенные государством для индивидуального строительства, остались почти не использованными.

Говорят: со строительными материалами плохо. Утверждение явно неубедительное. Город окружен лесом, и заготовка его не представляет непреодолимых трудностей. Для индивидуального строительства, думается, смелее надо применять камень, его тоже в округе достаточно. Лишь косностью можно объяснить то, что каменные дома в Острове считаются роскошью. Если отнестись по-хозяйски, они не обойдутся много дороже деревянных. Опыт близких эстонских соседей (и не только их!) убедительно доказывает, что красивые, удобные коттеджи из камня во всех отношениях превосходят непривлекательные, недолговечные деревянные постройки.

Разумеется, у островичей есть и радующие достижения. Прежде всего это рост культурного уровня. От мала до велика здесь множество людей учится в общеобразовательных, специальных технических, музыкальных и прочих «очных» и заочных школах, техникумах, на курсах. Чтобы лучше оценить это важное дело, заглянем в историю города.

Существует книга-летопись об Острове, написанная неким протоиереем Пановым. Труд этот обстоятелен. Из него явствует, что первое учебное заведение было открыто в Острове при Екатерине II, когда местные жители «объявили свое усердие к спешествованию общему добру и желание содержать училище от себя». На торжестве открытия училища городничий произнес речь, в коей возблагодарил царицу за ее, по выражению городничего, «матерное попечение» о просвещении народном. Впрочем, тут же сообщает автор книги, содержание училища взял на себя служивый народ, который для этой цели собрал вдвое больше денег, чем купечество, хотя большинство учеников были купеческие сынки.

С того времени народное образование почти не развивалось. К началу нынешнего века в городе имелись лишь городское трехклассное училище и две церковно-приходские школы, а средних учебных заведений не было и в помине.

Трудно удержаться, чтобы еще кое-что не процитировать из книги летописца.

«В 1837 году 5 февраля через Остров было провезено тело умершего в С.-Петербурге камер-юнкера Александра Пушкина для предания в Святогорском монастыре земле...».

А вот любопытные цифры, собранные островским историком.

Мост через реку Великую, построенный в 1853 году (действующий поныне), стоил 295 915 рублей и сорок две с половиной копейки. Точная отчетность! В последнем году прошлого века в Острове было жителей: 1 201 мужчина и 995 женщин. И еще одно свидетельство статистика: в тот год родилось «законных» детей семьдесят пять, а внебрачных — тридцать один.

О масштабах промышленности говорят такие данные: кожевенный завод купца Шишковского насчитывал... пять рабочих. Они ежегодно выдывали пять тысяч кож.

Однако вернемся к начатому разговору. Итак, теперь Остров, как и вся страна наша, стал городом сплошной грамотности, значительная часть молодежи получила специальное образование. Но где могут применить островичи свои силы и знания, если тут имеется лишь несколько мелких, полукустарных предприятий? Неужели обязательно надо уезжать в другие места?

Да, возможен и такой выход, но это еще не лучшее решение вопроса.

— Нашему городу необходимо иметь свои промышленные предприятия! — утверждают островичи.

В данном случае мы тоже присоединяемся к их желанию. Из прочих районов Псковской области Остров, пожалуй, имеет больше предпосылок для развития промышленности. И первые шаги в этом направлении предпринимаются. В недалеком будущем в Острове возникнут новые предприятия.

Несомненно, они оживят город, вольют в его быт свежую струю. Однако напрасно надеяться, что жизнь изменится сама собой. Наоборот, не надо быть пророчком, чтобы предсказать: духовные запросы людей так шагнут вперед, что удовлетворить их будет

делом весьма сложным. Следовательно, к этому надо готовиться уже теперь; наверстываемая упущенное, необходимо всерьез заняться улучшением своего культурного хозяйства.

Ведь в городе нет своего театра, нет даже подходящего помещения, где приезжие артисты могли бы показывать спектакли и давать концерты.

А Дом культуры? Его неприглядное помещение не отвечает своему прямому назначению. И все же, несмотря на неподходящие условия для занятий, кружки художественной самодеятельности при Доме культуры работают весьма активно. Духовой и струнный оркестры привлекли многих участников разных возрастов и профессий. Драматический кружок показал несколько интересных спектаклей.

Но, бесспорно, местные таланты выявятся гораздо ярче, если Дом культуры сумеет лучше удовлетворять интеллектуальные запросы населения. Можно ли этого добиться?

Городские руководители оправдываются: «Где уж нам, у нас нет достаточно возможностей, чтобы наводить всякие красоты».

И опять опыт близкого соседа — Вильянди опровергает фаталистическую покорность островичей. Еще совсем недавно этот городишко был совсем плохоньким, в полном смысле заштатным. Однако смелые дерзания и добрые намерения движут горы, а в данном случае — целый город. По инициативе Вильяндиского райкома партии и его секретаря Порфирия Игнатьевича Мичурова, бесменно работающего на своем посту уже полтора десятка лет, горсовет решительно преобразует старый Вильянди. За последние годы здесь сделано особенно много — город неузнаваемо помолодел и похорошел.

В прежние времена Вильянди мог гордиться лишь известным в Эстонии народным хором «Кюйн». Теперь есть отличный театр с постоянной труппой, с успехом гастролирующей и в других районах. В великолепном помещении Дома культуры ведут занятия двадцать два самодеятельных кружка, в том числе драматический, кукольный, эстрадный, кинофотолюбителей.

Заметно влияет на культурную жизнь города краеведческий и художественный музей. Стараниями энтузиаста-директора Рейнгольда Эмилиевича Иоста музей постоянно пополняется ценными экспонатами. Не случайно здесь всегда толпятся посетители.

В райкоме мне рассказали, что ожидает Вильянди завтра. Ясность цели определяет программу. А задача поставлена так: город должен наиболее полно отвечать все более расширяющимся культурно-бытовым потребностям своих жителей.

Все намеченное непременно сбудется. Поручкой тому уже зримое. Куда девались пыльные улицы, которые еще недавно казались неизбежным злом! Асфальт победил пыль и грязь. Я уже говорил о пышных цветниках, украшающих площади, скверы, бульвары. Зелеными насаждениями здесь занимаются «всем миром», планомерно и, главное, страстно.

Вильянди стал красивым. И, что важно, достигнуто это не какими-либо украшательскими ухищрениями. Нет, тут строго придерживаются старого правила: «Чистота да простота — наилучшая лепота».

Вильяндиские руководители рассчитывают сделать свой город привлекательным и для приезжих гостей. Ведь тут отличный курорт. И в этом районном городке обычно проводятся республиканские соревнования по гимнастике, плаванию, лыжам. Самой природой уготованы тут отдыхающим и спортсменам обширное озеро, пологие горы, живописные леса.

Поистине, это рай для спортсменов, туристов, охотников, рыболовов и для любителей самой «скромной» охоты — грибников. А люди благоустроили и облегчили пользование щедрыми дарами природы.

Город развивается самобытно, имеет свой достойный, гордый лик, и пусть вильяндиские товарищи и дальше тем же уверенным шагом идут по избранному пути.

А что пожелать островичам? Смело дерзать, преобразуя свой город, — мечты должны помогать планам. Дела их добрых соседей могут служить наглядным примером



ОТКЛЫКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ЖИВОЕ ЧУВСТВО СОВРЕМЕННОСТИ

Чехословакия

«Пламен» («Пламя») — ежемесячный литературно-художественный журнал. №№ 10, 11. 1960. Год издания 2-й. Прага. Издательство «Чехословацки списователъ». Ответственный редактор Иржи Гаек.

★

На обложке этого журнала стоят три слова: литература, искусство, жизнь. Слово «жизнь» значилось и в заголовке того журнала, на смену которому в 1959 году пришел «Пламен». Тот журнал назывался «Новы живот» — «Новая жизнь». Однако каждый, кто следил за обоими журналами, должен признать, что «Пламен» гораздо дружнее с жизнью, с действительностью социалистической Чехословакии, чем его предшественник. Недаром «Пламен» быстро завоевал любовь читателя, и не так-то просто приобрести в Праге его приметные даже на первый взгляд книжки в ярких обложках.

Просто удивляешься, каким образом удастся людям, делающим его, поместить столько разнообразного материала в книжке с таким скромным объемом! Чего в нем только нет! Кроме обычных разделов «толстого» журнала — прозы, поэзии и критики, — множество фотографий (всегда оригинальных), репродукции новых работ художников и скульпторов, карикатуры, заметки, письма, беседы, юмористические афоризмы, фельетоны и многое другое. В предпоследних номерах истекшего года, о которых нам хочется рассказать советским читателям, рядом с научно-популярным очерком «Что вы знаете о своем мозге» — письма видных литераторов из Нью-Йорка и Вены о культурных новостях; на следующей странице — фотография Виктора Некрасова: публикуется беседа с ним.

А как многосторонне отражена на страницах журнала современная действительность Чехословакии — от очерков о новостройках до полемики по вопросам перестройки школы и заметки о программе телевидения.

Ноябрьский номер переносит читателя в 2017 год — когда мир будет отмечать столетие Великого Октября. Но и в то далекое будущее заглядывают люди, горячо заинтересованные в современности: Мариэтта Шагинниа стремится составить представление о психологии людей будущего, специалисты отвечают на вопросы о перспективах экологического развития, пожилой председатель сельхозкооператива скромно мечтает еще при жизни увидеть новые машины на родном поле. И, конечно, земными глазами смотрит на «лунную действительность» автор юмористического репортажа с Луны В. Лацина. На невидимой с Земли стороне Луны он обнаружил, например, «некоторые типы положительных героев, которые заняты там разоблачением вредителей, коварных по внешности и позволяющих себе реакционные выпады».

Вообще юмор, и в частности юмористическая фантастика, традиции которой так сильны в чешской литературе, встречается на многих страницах журнала. И в этом жанре журнал откликается на острые жизненные вопросы. Так, в остроумном фельетоне М. Скалы «Морж по-домашнему» (№ 10) фантастическое, противоречащее законам природы появление моржа в небольшом болотце возле одной из чешских деревушек вызвало довольно курьезное последствие: не зная, как реагировать на невероятное воплотившееся всех событие, редакция местной газеты решила не реагировать вовсе, признав появление моржа неактуальным в разгар уборочной кампании.

Между разделами «Жизнь», «Литература» и «Искусство» в журнале нет непроницаемых перегородок, хотя перед единственным «толстым» журналом Союза чехосло-

важких писателей, естественно, стоят и специальные литературные задачи. Одной из этих задач, а именно проблеме современной критики, посвящены многие страницы обоих комментируемых номеров «Пламена». Но рассматриваются эти проблемы отнюдь не схоластически. Даже самая «шапка», под которой печатаются материалы о состоянии критики, гласит: «Критика и жизнь».

Видно, состояние критического фронта вызывает у чехословацких литераторов серьезное беспокойство: «крылатым словом» в последние годы стало, особенно в писательских кругах, утверждение, что у нас «нет критики», что «критика — самое слабое звено культурной жизни» и т. д. Правда, и нам самим уже столько раз приходилось слышать подобные утверждения, что, конечно, безынтересно, чем объясняют это «роковое» отставание наши чехословацкие коллеги.

Известный чешский критик Ф. Бурианек считает, что одна из причин этого — частые недоразумения между критиком и читателем, вызванные тем, что читатель порой ждет от каждой критической статьи абсолютной истины. Отсюда факты недовольства и недоумения читателей в случае, если разные критики по-разному оценивают одно и то же произведение, а также «практические» вопросы: «А что будет с раскритикованным автором?» Бурианек видит два источника этих требований «железной правильности» критики. Первый заключается в массовой потребности спокойия, без размышлений довериться суждениям печатного органа. А второй — неправильное, догматическое понимание партийности, представление, что «партийность заключается в усвоении без размышлений готовых взглядов, которые будут преподнесены в разжеванном виде, причем раз и навсегда». Подобными неверными взглядами объясняет Ф. Бурианек и нетворческий, слишком осторожный подход некоторых критиков к своему делу.

Надо признать, что критический отдел «Пламена» нельзя упрекнуть в подобном подходе. Здесь много спорят. Особенно темпераментный полемист — главный редактор журнала Иржи Гаек. В том же одиннадцатом номере он выступил с полемической статьей под многообещающим заголовком «Пропаганда среднего уровня, или О неточности критериев в оценке некоторых вещей». Иржи Гаек связывает пропаганду литературной посредственностью с представлением о том, что произведение может иметь «познавательную ценность» без художественной. Все это, конечно, совершенно справедливо, как справедливы и замечания словацкого критика П. Штевчека (№ 10) по поводу того, что кое-кто до последнего времени воображал, будто «марксистская критика должна пересказать содержание художественного произведения и сравнить его, скажем, с «Капиталом» или с учением о классово-борьбе». Но вместе с тем, когда сам Гаек спорит с другими критиками по поводу оценки того или иного конкретного произведения, чувствуется, что и ему несколько недостает все той же ясности критериев.

Нам кажется, что в большинстве статей о критике в последних номерах журнала вместе со справедливым протестом против эстетического догматизма и академизма сквозит непонятное недоверие к теории, к эстетическим обобщениям. Может быть, именно этим и объясняется некоторая робость критического отдела «Пламена» в постановке острых и значительных теоретических проблем. Нередко авторы статей и рецензий, подойдя к какой-то невидимой грани, отделяющей не вполне изведанную область теоретических обобщений, почти автоматически останавливаются и отступают в более «безопасные» области. Это заметно и в статье самого П. Гаека. Она защищает то, что критик считает «художественно-прогрессивным», и осуждает «ненужные условия вчерашнего дня», почти совершенно не делает попыток разобраться, что служит критерием для определения того и другого ее качества. А ведь такой большой разговор о «новом» и «старом» в литературе и жизни важен еще и потому, что в своей практической деятельности, в отборе художественных произведений, журнал придерживается определенных критериев.

Прежде всего это касается прозы.

В чешской и словацкой прозе в последние годы наблюдался известный отход от современной темы. Отражение сегодняшней действительности читатель находил главным образом в репортаже и очерке, потому что и повесть и рассказ о современности,

увидевшие свет в последние годы, мало чем отличались, да и отличаются от очерка и репортажа. И тем не менее такие книги, как повесть «Зеленые дали» Я. Прохазки (кстати, опубликованная на русском языке в журнале «Иностранная литература»), привлекают к себе внимание свежестью и смелостью в отражении современной действительности.

«Пламен» печатает много хороших очерков и репортажей. Достаточно назвать очерк А. Бранальда «Опатовицкий клад» — о стройке большой электростанции, очерк Л. Мнячко «Дукельские легенды» — о местах кровопролитных боев с гитлеровцами и о судьбе человека, чье имя значит на одной из могил, а он вышел живым из «дукельского ада».

Да и большинство рассказов, которые появляются в последнее время в журнале, непосредственно откликается на события живой действительности. Они разны по своему характеру и по степени мастерства. По-настоящему талантлива психологическая новелла А. Люстига «Большая белая дорога» (№ 11), забавна остро сюжетная новелла М. Кундеры «Я — печальный бог» и другие.

То, что «Пламен» предоставляет свои страницы новым интересным явлениям литературы, вызывает всяческое сочувствие. Но вместе с тем читатель вправе ожидать от него глубокого разбора и объективной оценки этих явлений.

Кстати, очень верно, на наш взгляд, замечание сделал словацкий критик П. Штевчек в статье «Проблемы и перспективы критики» (№ 10). «Мы все еще пылаем любовью к нормам и канонам... но только старые нормативы заменяются новыми. Так, например, одно из самых обязательных требований догматической эстетики — требование идеального героя — было по молчаливому уговору отменено, но зато теперь для современного героя считается обязательной некая смесь скептицизма, пессимизма и веры в лучшее будущее».

Невольно вспоминаешь эти слова, когда читаешь опубликованный в той же книжке «Пламена» рассказ Я. Трефульки «Скверное воскресенье». Молодой тракторист Пепик, от имени которого ведется рассказ, чем-то напоминает молодого агронома Ондreja из «Зеленых далей» Прохазки, и оба близки к тому портрету, который нарисовал Штевчек. Обязательными становятся и конфликт «правильно» действующего героя с коллективом, и благополучное разрешение этого конфликта, и любовная неудача героя. Они повторяются из рассказа в рассказ, и это уже похоже на штамп. Подобное же опасение вызывает увлечение журнала прозой так называемого «непосредственного переживания», которое приводит к тому, что на его страницах появляются однообразные рассказы, посвященные порой вещам малозначительным или же просто незначительным (В. Тиле — «Хорошо, что у меня воспаление легких», Б. Грибал — «Дядюшкины похороны»). Может быть, речь еще не идет о штампах в полном смысле этого слова, но они уже намечаются. Именно поэтому серьезный разговор о том, что является действительно новым и ценным в литературе последнего времени, что идет от жизни, а что от незнания ее, хотелось бы найти на страницах журнала «Пламен». Потому что «Пламен» — журнал с живым чувством современности, и делается он с интересом и любовью.

И. БЕРНШТЕЙН.

«МЛАДШИЕ ПАРТНЕРЫ»

НА ПАРНАСЕ

Англия

«Таймс литерери саплемент» («Литературное приложение к «Таймс») от 9 сентября 1960 г. Год издания 59-й. Лондон.

Некоторые представители правящих кругов Англии явно решили избрать для себя роль «младших партнеров» США и не выходить ни на дюйм за пределы этой не только скромной, но и неприглядной роли. Печальную известность получило парламентское выступление английского премьера г-на Макмиллана, где он сообщил о предоставлении

★

Соединенным Штатам базы в Шотландии для размещения американских атомных подводных лодок, оснащенных ракетами «Поларис».

Комментируя недавние выступления премьера, английский журналист Аллан Уоткинс задал в своей статье, опубликованной в газете «Санди Экспресс», вопрос далеко не риторического характера. «Действительно ли, — спрашивал Уоткинс, — г-н Гарольд Макмиллан верит в дальнейшее существование Англии как независимого государства? Или же он решил, что в конечном счете Англия должна стать частью США? Это не пустые вопросы. Они ставятся серьезно. Дело в том, что, как бы фантастично это ни звучало, имеются доказательства того, что премьер-министр не верит в независимость Англии».

По словам Уоткинса, один из английских лордов сообщил, что при неофициальной встрече с американскими корреспондентами Макмиллан сказал: «Ничто не должно стоять на пути возможного слияния Соединенного Королевства с Соединенными Штатами».

Мы не знаем, насколько достоверно сенсационное сообщение Аллана Уоткинса. Но сторонники «теории» о том, будто англичанам надлежит довольствоваться ролью «младших партнеров», нашлись и в литературном мире Англии. Одним из подтверждений этого явился ряд статей в специальном номере литературного приложения к газете «Таймс», посвященном «британскому воображению».

О некоторых высказанных в этом номере любопытных суждениях по поводу современной английской прозы, поэзии и критики уже говорилось в нашей печати (см., например, «Литературную газету» от 29 октября 1960 года). Нам хотелось бы остановиться лишь на одной характерной особенности. Дело в том, что в ряде статей этого солидного, претендующего на академичность издания настойчиво и неприкрыто подчеркивается, что английская литература буквально во всем уступает американской, что по сравнению с ней она является и провинциальной, и второразрядной, и «островной». Зато всячески восхваляются достоинства литературы США.

В самом деле, уже в первой статье, озаглавленной «Мир труда, в который никогда не вступает романист», анонимный обозреватель начинает список английских писателей, чужавшихся «изображения своих героев в трудовой обстановке», именем Диккенса. Затем следуют Теккерей, Харди, Уэллс. И им всем противопоставлен в качестве положительного образца не кто иной, как современный американский писатель Сол Беллоу, якобы мастерски показавший человека в его труде. Но тут же автор статьи перечисляет профессии героя Беллоу — некоего «маленького человека» Огги Марча: тот был газетчиком, продавцом игрушек и цветов, «агентом и компаньоном парализованного владельца бассейна», профсоюзным чиновником (в «желтом» профсоюзе) и даже дрессировщиком орлов. Не надо располагать особой эрудицией, чтобы понять, что изображение разного рода походов этого персонажа, любой ценой старающегося «выкарабкаться», не очень-то связано с темой труда. В другом произведении Беллоу (не упоминаемой в приложении к «Таймс» повести «Лови день») главный герой — сын врача, по его собственным словам, «неудачник», тщетно пытавшийся стать киноактером и оказавшийся столь же неудачливым коммивояжером. Очувтившись не у дел, он пускается в биржевую аферу, но разоряется, обманутый своим приятелем — таким же «человеком воздуха». Тот поучает героя повести: «Живи только настоящим, лови час, момент, мгновение».

Для того чтобы выдавать картину лихорадочных метаний героев Беллоу за изображение людей, занятых полезным трудом, надо обладать сверхпылкой фантазией и микроскопическим чувством юмора.

В следующей статье, посвященной поэзии, мы читаем: «Английская поэзия находится в болезненном состоянии, но врачи расходятся во мнениях насчет диагноза. Молодой американский поэт м-р Дональд Холл, с недавних пор находящийся в Англии, ознакомившись с положением английской поэзии, формулирует диагноз ее недугов так: провинциализм и «островной» характер». Английские поэты и английские критики не сумели оценить таких крупных американских поэтов, как Уоллес Стивенс и Эзра Паунд, и не пытаются у них учиться.. Молодые английские поэты по сравнению с молодыми американскими поэтами недостаточно «профессиональны».

И это самоуверенное «поучение» американского литератора автор статьи оставляет непровергнутым. Итак, в прозе образец для подражания — Беллоу, а в поэзии — Паунд, этот автор заумных виршей, пресмыкавшийся перед Муссолини.

В третьей статье — о критике — аналогичное утверждение: «Трудно найти в английской критике что-либо приближающееся к работам... (далее следуют имена пятерки американских профессоров)».

И, наконец, когда заходит речь о женщинах-писательницах, «Таймс» снова вешает: «Горькая истина заключается в том, что у нас нет писательниц, которых можно было бы сравнить по уму и интеллекту с мисс Мэри Мак Карти...» (Надо ли указывать, что это американская писательница?)

Анонимные менторы из литературного приложения к «Таймс» зовут английских писателей «равняться на американцев», ограничиться ролью «младших партнеров» на Парнасе.

Разумеется, обозреватели из приложения к «Таймс» имеют не только право, но и немало реальных оснований для «самокритики»; некоторые их признания насчет отрыва от жизни многих современных английских писателей, погрузившихся в мир фантастики или настойчиво обращающихся к впечатлениям и переживаниям детства, весьма интересны и поучительны. Нельзя отрицать характерность, например, следующего наблюдения о том, как воспринимают многие писатели действительность сегодняшней Англии, а если говорить шире — всего буржуазного мира. Это высказывание заслуживает быть приведенным целиком: «Детство — пора не только невинности, но и непосредственного мировосприятия, и именно эту сторону многие современные романисты находят интересной для себя. Было бы неверно видеть в этом только эскепизм (бегство от действительности), хотя это нужно рассматривать как неприятие или уход из «реального» мира, в котором большинство людей отправляется по утрам из маленького ящика, где они живут, в другой ящик, где они работают весь день, чтобы вернуться затем в свой домашний ящик и там по вечерам смотреть демонстрируемые в еще меньшем ящичке картины вымышленной жизни. Большинство наших романистов не хочет писать об этом мире ни в реалистическом, ни в символическом плане, и они критикуют его примерно так же, как бежавший из тюрьмы заключенный критикует карательную систему».

Нельзя не заметить противоречивости многих положений, содержащихся в цитируемой статье. Когда автор ее пишет о своих сожалениях по поводу того, что «наши романисты считают столь трудным для себя делом убедительно показать детали обыкновенной жизни», он исходит, по-видимому, из вполне реальных, конкретных наблюдений. Но когда он тут же добавляет, что «все (разрядка моя.—В. Р.) наши писатели избегают этого», то он преднамеренно сужает поле своего зрения. Он как бы исключает из английской литературы тех ее представителей, которые с большим или меньшим успехом, с большим или меньшим проникновением в суть изображаемых явлений воссоздают реалистическую картину жизни простых людей, их радости и горести, их борьбу, их стремления и надежды. Такое искусственное обеднение никому не на пользу. И если оно о чем-нибудь и говорит, то уж никак не об объективности.

Всячески оговаривая, что он не намерен «призывать к окупнейшему виду социального реализма», автор статьи заключает ее весьма правильными словами: «Не меньше искусства, а больше жизни — вот что прежде всего нужно роману сегодня». Почему же — вправе спросить читатели — он делает вид, что не замечает многих книг, где дышит живая жизнь? Не понимает ли он и слово «жизнь» слишком своеобразно, если понятие труда он связывает с занятиями героев Беллоу? Призыв больше изображать людей в их труде может показаться очень радикальным, но разве является хоть сколько-нибудь прогрессивным изображение таких «людей труда», как те, что фигурируют, например, в романе Ангуса Уилсона «Позы англосаксов»: это лакен, экономки, моральный облик которых не имеет ничего общего с образом рабочего человека.

Повторяем, в статьях литературного приложения к газете «Таймс» есть интересные признания и убедительные констатации фактов. В статье о поэзии, например, говорится о некоторых распространенных чертах английской поэзии — о боязни эксперимента и красочности, о нарочитом самоограничении, о том, что поэты избегают взволнить в свои

стихи элементы «песни, оратории, взволнованного обращения к читателю». «Редко встречаешь стихотворение, которое было написано автором потому, что он не мог его не написать». А о положении поэта в обществе сказано хотя и немного витиевато, но все же достаточно выразительно: «Социальные позиции поэта — это позиции человека с реалистическим взглядом и доброй волей, который с горечью убеждается в изоляции даже самого здравомыслящего поэта в условиях неорганического общества».

Но отдельные верные наблюдения и выводы, рассеянные по статьям приложения, — это лишь маленькие островки в море произвольных суждений и искусственных умозаключений. И риторические призывы «обратиться к жизни» повисают в воздухе, ибо те, от кого эти призывы исходят, сами очень уж далеки от реальной жизни.

...Одна из статей в интересующем нас номере посвящена английскому юмору. В ней мы читаем: «Чувство юмора было издавна самым ценным из наших национальных богатств... Современный образованный британец снисходительно отнесется к заявлению о том, что страна, к которой он принадлежит, стала второразрядной державой, но было бы крайне неразумно намекнуть, что ему не хватает чувства юмора».

«Современные образованные британцы», выступающие в приложении к «Таймс», не скупятся на заявления о «второразрядности» своей литературы. А скучное однообразие приемов, с помощью которых они ищут «образцы для подражания» по ту сторону океана, побудило, вероятно, не одного читателя подумать об утрате почтенными редакторами столь традиционного для англичан чувства юмора.

Вл. РУБИН.



ШТРИХИ ИЗ ЖИЗНИ К. МАРКСА И ЕГО СЕМЬИ

Воспоминания людей, которые близко знали Карла Маркса в личной жизни и встречались с ним и его семьей, собираются тщательно и в течение долгого времени. Наиболее ценные из таких свидетельств составили объемистый и содержательный сборник «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», выпущенный в свет Госполитиздатом в 1956 году. Такой сборник не мог, конечно, обладать исчерпывающей полнотой. С Марксом и его семьей в той или иной мере были связаны сотни и даже тысячи людей. Немало из них попытались впоследствии набросать на бумаге черты портрета великого мыслителя, содержание бесед с ним, драгоценные для грядущих историков детали быта. Записи такого рода продолжают обнаруживаться до сих пор, в частности при тщательном изучении иностранной периодики давних лет.

Никогда еще не переводились на русский язык и отрывки из воспоминаний Белути и Колин, предлагаемые вниманию наших читателей в публикации кандидата исторических наук К. Селезнева. Эти отрывки, как предваряет свою публикацию и сам исследователь, почти не вносят каких-либо новых сведений об общественно-политической деятельности Карла Маркса или о круге духовных интересов его семьи. Но нам дорог каждый, даже самый маловажный штрих, характеризующий великого основоположника научного коммунизма. Вполне понятен и оправдан наш интерес к его повседневной жизни и быту, к его семье. Поэтому даже и эти отрывочные воспоминания случайных знакомых Маркса и его дочерей заслуживают, как нам кажется, внимания.

1

В сентябре—октябре 1862 года в лейпцигском журнале «Leipziger Sonntagsblatt zur Unterhaltung für alle Stände» появились статьи Б. Лукас (Б. Белути) «Воспоминания о Лондоне». В них содержится ряд упоминаний о Карле Марксе и его жене Женни Маркс-Вестфален. На русском языке этот текст до сих пор не публикуется.

Автор воспоминаний Б. Белути жила в молодости в Трире, была дружна с Женни фон Вестфален, которая и познакомила ее со своим женихом — К. Марксом. В 1853 году, будучи в Лондоне, Белути разыскала семью Маркса. Об этих двух встречах и идет речь в ее «Воспоминаниях».

Рассказывая об известной в свое время (главным образом благодаря переписке с Гёте) немецкой писательнице Беттине фон Арним (1785—1859), она пишет:

«Когда Карл Маркс и Женни фон Вестфален были еще женихом и невестой, мы, девушки, одно лето жили по соседству и были связаны друг с другом пламенной дружбой, свойственной шестнадцатилетнему возрасту... Я помню, как юная невеста жаловалась на то, что Беттина фон Арним похищала у нее жениха, который рано утром и вечером до поздней ночи должен был бродить с нею по окрестностям, хотя он после шестимесячной разлуки приехал погостить лишь на одну неделю». Однажды вечером Белути навестила Женни и встретила у нее с Беттиной. «В этот момент вошел Маркс, и она так настойчиво стала просить его сопроводить ее к Рейнскому камню, что он, несмотря на то, что было уже девять часов вечера, а до камня был час ходьбы, бросив печальный взгляд на свою невесту, последовал за «священной» особой...»

Избалованное и капризное создание, Беттина фон Арним отличалась неудержимым стремлением «коллекционировать знаменитостей» и привыкла пользоваться всеобщим вниманием. Врожденная деликатность Маркса вынуждала его оказывать знаки внимания Арним как знакомой его невесты.

Составители справочника «Карл Маркс. Даты жизни и деятельности. 1818—1883» датируют эту встречу 1839 годом, указывая в примечании: «Возможно, что приводимые здесь данные относятся к 1838 году». Однако новейшие исследования показывают, что, как видно из данных берлинского архива Беттины фон Арним, эта встреча могла иметь место лишь в 1842 году, и притом не в Трире, а в Крейцнахе, куда после смерти Людвига фон Вестфалена переехала его вдова с дочерью

Женни. Кстати, именно в окрестностях Крейцнаха находится величественный порфировый «Рейнграфенштейн» высотой в сто тридцать метров, который, несомненно, имсет в виду Белути, упоминая о «Рейнском камне».

Следующая встреча Белути с Марксами произошла в 1853 году.

Прибыв в Лондон, Белути узнала у поэта Ф. Фрейлиграта адрес Маркса — Сохо-сквер, Дин-стрит — и направилась туда. Первый раз ее постигла неудача: привратник объявил, что ни Маркса, ни его жены нет дома. Как выяснилось потом, это была «военная хитрость» Маркса, который, поглощенный работой, уклонялся таким образом от встреч с посетителями. Но, получив записку Белути, Женни отправилась к ней и привезла ее к себе.

«В течение многих лет,— пишет Белути,— мы ничего не знали друг о друге. Крепко обнявшись, мы рассказывали друг другу обо всем пережитом за эти годы, то со слезами вспоминая многих дорогих покойников, то с улыбкой радости от этой встречи. Когда мы выделись в последний раз, она была невестой. Теперь она уже похоронила двоих детей! (В 1850 году умер сын Маркса — Генрих Гвидо, а в 1852 году — дочь Франциска.— К. С.) Дрожащими устами она рассказывала о своем изгнании из родной страны, о разлуке с одинокой старой матерью, о бегстве в Бельгию, высылке и бегстве во Францию, откуда она была вновь изгнана. О том, как она, подобно Агасферу, каждый раз была вынуждена в течение 24 часов покидать с мужем и детьми свой дом, пока, наконец, после долгих страствований, они не нашли пристанища у берегов Англии. Но и здесь эти гордые духом, но несчастные испили до дна чашу горя и нужды: они голодали в буквальном смысле этого слова, они голодали вместе со своими детьми! Они спинали комнату с рваной мебелью, красноречиво свидетельствовавшей о пицете изгнанников, рассказывавшей во всеуслышание о том, что приходилось выносить этим свободолюбивым сердцам за их убеждения!»

Небезынтересно сопоставить эти слова Белути с донесением одного прусского полицейского осведомителя, побывавшего в 1851—1852 годах в Лондоне и сумевшего проникнуть под видом «революционного деятеля» в дом Маркса. Он указывал:

«Маркс живет в самом скверном и, следовательно, в самом дешевом квартале Лондона. Он занимает две комнаты: одна с видом на улицу — гостиная, задняя — спальня. Во всей квартире не найти ни одного предмета целой мебели... В середине гостиной стоит огромный старомодный стол, покрытый клеенкой, на нем лежат его рукописи, книги, газеты, а также игрушки детей, тряпье и швейные принадлежности жены; тут же несколько чайных чашек, ложки, ножи, вилки, подсвечники, чернильница, стаканы, голландская трубка».

Далее Белути продолжает: «Наконец луч света проник в этот мрак. Маркс, этот великий мыслитель, этот гордый орел, начал сотрудничать во многих газетах; кроме того, его труды получили доступ в Швейцарию, а г-жа Маркс переводила и писала повеллы; таким образом, эти энергичные люди получили возможность избавиться от голода и жить радостно в духовно удовлетворяющей их деятельности и в глубоком семейном счастье, насколько это было возможно для изгнанников, тоскующих по родине».

Белути по понятным причинам не знала о действительном материальном положении Маркса и его семьи в это время. Хотя Женни Маркс в своих автобиографических заметках «Беглый очерк о беспокойной жизни» отмечает, что в 1853 году в связи с начавшимся сотрудничеством Маркса в «New York Daily Tribune» «тяжелые, каждодневно грызущие нас заботы прекратились», семья Маркса продолжала находиться в крайне стесненных обстоятельствах. Печатание в Базеле «Разоблачений о Кельском процессе коммунистов», которое, очевидно, имеет в виду Белути, упоминая о Швейцарии, не принесло Марксу никакого заработка, и он продолжал сильно нуждаться и в эти годы.

Во второй статье Белути рассказывает о другом своем посещении дома Маркса и о детях Маркса — девятилетней Женни, восьмилетней Лауре и шестилетнем Эдгаре, которого в семье звали «Мушем». «Г-жа Маркс хотела обойти со мной западную часть города, чудеса которого были для нее еще сказкой, так как за годы ее пребывания в Лондоне серьезные обязанности не позволяли ей покинуть дом. Я зашла за ней. Маркс вышел из своей рабочей комнаты, любезно приветствовал меня, а

дети с радостными криками бросились ко мне навстречу. Дети Маркса были воспитаны во всех отношениях свободно. Сначала это меня испугало, однако, что бы ни говорили по этому поводу, результат оправдал метод. Родители должны были избавить детей от необходимости самим, своим разумом бороться против пережитков, и они росли натуралистами, даже материалистами. Некоторые их высказывания оскорбляли мое христианское сердце, однако их знания в столь молодом возрасте, их логика поражали меня. Их любовь и уважение к родителям, скромность и нравственность меня скоро покорили. Учебная была для них не насильственным принуждением со стороны родителей и учителей, как это воспринимает многие дети. Они понимали, что человек лишь тогда может быть крепким звеном в цепи человеческого общества, если он обладает основательными знаниями; они знали, что в здоровом теле — здоровый дух, и поэтому разумно делили свое время между учебной и пребыванием на воздухе, при соответствующем питании по Молешотту... Маркс был, — заключает Белути, — самым нежным отцом семейства. А как его подерживала и ободряла его жена!»

Отмечает Белути и постоянную внимательность Маркса по отношению ко всем окружающим людям. Однажды Белути повстречала Маркса и Женни у Фрейлинградов. Беседа затянулась до полуночи. Несмотря на проливной дождь, Маркс проводил Белути до омнибуса, усадил ее и заботливо предупредил кучера о том, где должна сойти эта не знающая города пассажирка.

2

В 1922 году в январском номере английского журнала «The Nineteenth Century and After» были помещены воспоминания о К. Марксе, принадлежащие перу Марианны Комиш и относящиеся к началу восьмидесятых годов прошлого века.

Подруга младшей дочери Маркса — Элеоноры, она в те годы часто бывала в их доме. Ее отец, С. Р. Скinner, жил в Ворчестере. В юности Марианна увлекалась театром и, видимо, на этой почве подружилась с Элеонорой, которая была старше ее на несколько лет. В 1884 году она вышла замуж за Генри Эрнеста Фи-

цульяма Комиш, чиновника казначейства. Как и Белути, ей были чужды взгляды и революционная деятельность К. Маркса, и она судит о них понаслышке. Следует также учесть, что в годы знакомства с Марксом ей было, очевидно, не более восемнадцати лет. Много позже, публикуя свои воспоминания уже в преклонном возрасте, она недвусмысленно выказала свое недружелюбие к Советской власти. Тем не менее в ее записях встречается ряд интересных штрихов.

М. Комиш рассказывает, что впервые она попала в дом Маркса на «заседание» своеобразного «клуба любителей Шекспира», одним из организаторов и ревностных участников которого был К. Маркс.

Любовь и восхищение, которые испытывал Маркс к великому английскому драматургу, известны. В своих воспоминаниях П. Лафарг рассказывает, что Шекспира, как и Эсхила, Маркс «любил как двух величайших драматических гениев, которых породило человечество. Шекспира, которого он особенно любил, он изучал специально».

«Эти шекспировские чтения, — вспоминает М. Комиш, — должны были происходить по очереди, раз в две недели, в домах различных членов клуба, но фактически они устраивались в доме Маркса чаще, чем где-либо в другом месте. Карл Маркс, вместе с жившими с ним членами его семьи, был страстным почитателем поэта и любил слушать его пьесы. Поскольку он очень редко выходил из дома по вечерам, единственным местом, где он мог их слушать, был его собственный дом. Он никогда не читал вслух сам отрывков из этих пьес, хотя его чтение и было, быть может, хорошим. Он обладал гортанным голосом и заметным немецким акцентом».

«Клуб» этот носил, как указывает М. Комиш, шутовское прозвище «Клуба Догберри» — по имени известного комического персонажа комедии Шекспира «Много шума из ничего» Догберри. Душой клуба была Элеонора Маркс, очень любившая театр. Одно время она думала даже посвятить себя сцене¹.

¹ В одном из писем К. Маркса к дочери Женни (от 11 апреля 1881 г.) мы читаем «Третьего дня здесь был Догберри-клуб» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 127). Это, насколько нам известно, — единственное упоминание Марксом данного «клуба». Оно подтверждает сообщение М. Ко-

Полных данных о «членах» клуба Комин не сообщает, но указывает, что среди них были: «Эдвард Роз, драматург, госпожа Теодора Райт, выступления которой в «Привидениях» Ибсена до сих пор помнят, хорошенькая Долли Рэдфорд, поэт сэр Генри Юта, Фридрих Энгельс и другие, имена которых приобрели некоторую долю славы». Этот перечень несколько расширяет наши знания о круге друзей и знакомых Маркса в те годы. Генри Юта, племянник Маркса (сын его сестры Луизы), по профессии был адвокатом. Эдвард Роз — американский драматург. Долли — приятельница Элеонора Маркс, дочь Майтленда, знакомого Маркса, позднее писательница. Она вышла замуж за юриста Рэдфорда, также принимавшего участие в деятельности «Клуба Догберри».

Участники клуба, рассказывает Комин, посещали шекспировские спектакли лондонских театров. Речь идет, видимо, прежде всего о театре «Лицеум», где главные роли исполнял знаменитый английский актер и режиссер Генри Ирвинг (1838—1905). Элеонора «хорошо разбиралась в старой и новой драматургии и редко пропускала премьеры в театрах. К Ирвингу она огиосилась с пылким восхищением, и наши взносы в «Клуб Догберри» употреблялись на покупку билетов на премьеры с его участием. Он обычно оставлял для клуба места в первом ряду бельэтажа — лучшие, на мой взгляд, места в театре». Однажды клуб преподнес Ирвингу лавровый венок. Этот венок вручила Элеонора Маркс.

На первом вечере клуба, на котором М. Комин присутствовала, она приняла участие в чтении пьесы Шекспира «Жизнь и смерть короля Джона». Маркс любил эту пьесу и иногда цитировал ее в своих произведениях. Воспоминания Комин — новое свидетельство интереса, который проявлял Маркс и к этому, сравнительно менее известному произведению Шекспира.

Попутно Комин приводит ряд высказываний Маркса и членов его семьи на литературные темы. «Я вспоминаю, — пишет она, — дискуссию за завтраком об авторах

викторианской поры и восхищение, высказанное всеми членами семьи по адресу Шарлотты и Эмили Бронте; их обеих ставили значительно выше, чем Джорджа Элиота». Шарлотта Бронте — это псевдоним известной английской писательницы-реалистки Каррер Белл; Эмили Бронте (Эллис Белл) — ее сестра, поэтесса. Джордж Элиот — псевдоним писательницы Мэри Анн Эванс.

Маркс продолжает Комин, «обладал широкими и многообразными познаниями в области английской литературы — в том числе и художественной». На его столе Комин видела последние книжные новинки — например, роман Булвера Литтона «Пелаг, или Приключения джентльмена».

Как мы уже говорили, Марианна Комин плохо представляла себе содержание научной и практической революционной деятельности Маркса. «Я мало знаю, — пишет она сама, — о книгах Карла Маркса, я даже не читала «Капитала», но я думаю, что ради справедливости к его памяти в сознании должно прочно запечатлеться, что он не был демагогическим лидером, борющимся одной рукой за интересы пролетариата, а другой — за свои собственные. Он не был человеком, который сберегает или наживает деньги с помощью своих взглядов. Напротив, ради своих убеждений он отказался от обычных благ, которые увенчивают блестящую университетскую карьеру, он вынес изгнание, и злобную молву, и сравнительную бедность, и он много трудился до конца своих дней».

Часто бывая в семье Маркса, Комин могла видеть, как упорно и неутомимо он продолжал свою напряженную научную работу, несмотря на преклонный возраст и частые приступы болезни. Маркс, вспоминает Комин, «беспрерывно работал в своем кабинете — выходящей на солнечную сторону и хорошо освещенной комнате на первом этаже дома, уставленной простыми деревянными книжными полками, с большим письменным столом, стоявшим сивава от окна под углом. Здесь он читал и писал все дни напролет и занимался вечерами, даже тогда, когда наступали сумерки». Затем Маркс отправлялся на прогулку. «Часто, когда Элеонора Маркс и я сидели на ковре перед каминном в гостиной, беседуя в полутьме, мы слышали, как входная дверь осторожно закрывалась, и сразу после этого фигура доктора, одетого

мин. В то же время ее сообщение позволяет пояснить приведенное выше и остававшееся темным для исследователей место в письме К. Маркса, раскрывая, какой характер носили собрания «Догберри-клуба». (См. об этом также «Новый мир», № 5, 1958, в статье Ф. Рябова «Маркс и его любимые авторы»).

в черный плащ и мягкую фетровую шляпу (и напоминавшая собой, как шутливо заметила его дочь, фигуру тигричного конспиратора), продвигалась перед окном и исчезала в темноте.

Сейчас я понимаю, что его работа возлагала на него огромные обязанности. Он держал в своих руках нити широкого социалистического движения в Европе, признанным вождем которого он был. Но, несмотря на это, он находил время и для изучения русского языка, заниматься которым он не перестал, даже перевалив за шестой десяток лет. Перед смертью, как я узнала от Элеоноры, он знал этот язык довольно хорошо».

Рассказывает Комин и о людях, приезжавших издалека и бывавших у Маркса. Если по своему внешнему виду дом Маркса ничем не отличался от других, то «обаяние, которое вызывал его внутренний уклад, было во всяком случае необыкновенным». Она отмечает, что «людси, приходивших сюда, было немало, и они являли собой чарующее классическое зрелище величайшего разнообразия. Было, впрочем, нечто, придававшее всем им сходство,— по большей части все они были людьми без средств. В потертых одеждах, пробиравшиеся украдкой, но интересные, всегда интересные люди». И всех их здесь встречало «широкое гостеприимство, очаровательное радушие по отношению к человеку, вступившему за ограду».

К сожалению, Комин не называет ни одного имени; возможно, что она их и не знала. Нетрудно, впрочем, догадаться, что «привлекательный молодой русский, который пытался с помощью взрыва убить царя и который безусловно являлся одним из людей самого краткого права среди тех, кто когда-либо покидал эту страну»,— это народоволец Л. Н. Гартман, участвовавший в 1879 году в покушении на Александра II, эмигрировавший затем во Францию и прибывший в марте 1880 года в Англию. Известно, что Маркс часто с ним встречался, познакомился при содействии Гартмана с Н. Морозовым, Н. Чайковским, послал через Гартмана свою фотографию русским народовольцам. Исполнительный комитет «Народной воли» обратился к Марксу с письмом, в котором просил Маркса помочь Гартману привлечь симпатии пролетариата Европы и Америки к революционному движению в России.

В своих воспоминаниях Комин отмечает, что, бывая у Маркса, Гартман рассказывал о тяжелых условиях тюремного быта в царской России, «восхитительно пел русские романсы».

Всего подробнее М. Комин описывает домашний быт семьи Маркса, образ ее жизни в часы отдыха. Она отзывается о Марксе, как о «человеке, ласковые слова и гостеприимство которого сохранила в своей памяти».

Уже при первом ее визите, на чтении «Короля Джона», внимание автора воспоминаний было поглощено не столько словами, которые она должна была произнести в роли принца, «сколько образом нашего хозяина, который сидел в конце длинной комнаты с шиней,— его исключительно сильной и всецело поглощающей личностью. Его большая голова была покрыта длинными седыми волосами, седыми были и пушистая борода и усы; взгляд его небольших черных глаз был пронзительным, пронизывающим, саркастическим, в них сверкала искра юмора. По внешнему виду Маркс был человеком среднего роста, но довольно плотным, широкоплечим. Позади него в углу на пьедестале стоял бюст Юпитера; считалось, что Маркс на него похож.

Рядом с ним сидела его жена — привлекательная и симпатичная женщина. Чувствовалось, что она хорошо воспитана и обладает законченностью манер. Говорили, что в молодости она была прекрасна, но слабое здоровье, а быть может, и пережитые ею беспокойные времена наложили свой отпечаток на ее внешность. Ее поблекшая кожа приобрела восковую бледность, под глазами были видны багрово-коричневые пятна...» Женни Маркс была к тому времени тяжело больна; вскоре ее не стало.

В доме Маркса М. Комин встречала и его старших дочерей, когда они приезжали в Лондон. О Женни Лонге она пишет: «Я видела ее однажды в доме на Майтланд-парк-роуд — полную, приятную женщину, которая казалась скорее французской, чем немкой, и сидела с детьми на коленях. Одним из них был «маленький Джонни». Вторая дочь доктора Маркса, Лаура, считалась в семье красавицей. Когда я встретила ее, ее красота уже начала блекнуть, но она все еще была хороша собой и обладала чарующими манерами».

Вспоминает Комин и о верном друге Маркса и Энгельса — Елене Демут («Ленхен»), жившей в семье Маркса с юных лет и делившей вместе с ней все радости и невзгоды. Если в семье возникал спор, Ленхен всегда высказывала свое мнение, и оно неизменно «выслушивалось с уважением и даже с кротостью».

Отношение доктора Маркса к семье было просто замечательным. По отношению к жене он был заботливым и внимательным, и ее смерть, я думаю, ускорила его собственную кончину. С Элеонорой он обращался с той снисходительной нежностью, какой награждают любимого, но изрядно своенравного ребенка».

«Непосвященного человека,— продолжает Комин,— могло поразить и показаться ему несколько неподобающим то, что после окончания серьезных чтений заседания «Клуба Догберри» завершались по вечерам играми и такими развлечениями, как шарады и шарады-пантомимы, которые больше всего доставляли особенное удовольствие, как это было видно из его веселого возбуждения, доктору Марксу. В компании он был симпатичнейшим человеком, никогда не ворчал, всегда прониклся духом той забавы, в которой участвовал, смеялся, когда что-нибудь казалось ему особенно смешным,— да так, что слезы текли у него по щекам,— самый старший среди всех присутствующих по годам, но такой же юный духом, как и каждый из нас. И его друг, верный Фридрих Энгельс, был таким же непосредственным человеком.

Энгельс выглядел гораздо моложе Маркса и, вероятно, был моложе его¹. Это был приятный человек, еще не седой, имевший привычку отбрасывать назад прядь гладких черных волос, иногда спадавших ему на лоб. У него был дом на Риджент-парк-роуд, где он жил с племянницей; он был, помнится, вдовцом. Для этой племянницы он однажды устроил вечеринку с танцами.

— Ты придешь? — обратился он к доктору.— Все они будут там,— добавил он, указывая на небольшую группу девушек, стоявших около него.

Доктор Маркс окинул ее лукавым взглядом и покачал головой.

— Нет, я не приду. Твои гости слишком взрослые люди.

— Слишком взрослые в семнадцать лет?

— Я люблю их маленькими, совсем маленькими,— сказал доктор серьезным тоном.

— О, понимаю! В возрасте твоих внуков?

Доктор Маркс кивнул, и оба расхохотались, как после в высшей степени забавной шутки. (Вечеринка состоялась и была очаровательной. Очаровательным был также Негг Энгельс в качестве хозяина.)»

Привыкший напряженно работать, Маркс всегда ценил время и был нетерпим ко всем проявлениям неаккуратности. М. Комин вспоминает, как она однажды опоздала к завтраку и заслужила в результате довольно строгий выговор со стороны хозяина. В ответ на ее извинения он неодобрительно покачал головой. «Что составляет,— спросил он у нее,— величайшее благо человека, самое драгоценное, что ему дано? Время. А посмотрите, как оно растрачивается! Ваше собственное время — ну ладно, оно не имеет значения. Но время других людей — мое — *Nimmell!*¹ Какая тяжелая ответственность!» Затем Маркс сменил гнев на милость и улыбнулся. «Ну идите, идите же, вас нужно простить. Садитесь, и я расскажу вам кое-что о тех днях, когда я был в Париже и не знал французского языка так хорошо, как знаю его теперь».

М. Комин передает рассказ Маркса о забавном случае, который произошел с ним в Париже (вероятно, в 1843—1844 годах). Выходя из omnibusа или поезда, он случайно наступил на ногу одной даме. Та сердито взглянула на него. Снимая шляпу, он поспешно произнес:

«— *Мадам, permettez-moi!*»²

Она побагровела еще более, а он «продолжил свой путь, проникшись банальным убеждением, что женщины все же весьма странные создания. Только позже его осенила мысль, что слова *permettez-moi!*»³ были бы, пожалуй, более уместны».

В семье ходила также шутка о том, как Женни Маркс, находясь в Париже, вышла из дому, намереваясь купить определенную книгу, но будто бы перепутала слова:

¹ «Силы небесные!» (нем.)

² «Разрешите!» (франц.).

³ «Извините!» (франц.).

¹ Он был на два года моложе Маркса.

«Livre»¹ и «Lièvre»². Она вернулась, торжествуя, с фаршированным зайцем.

Автор воспоминаний рассказывает, что Маркс любил собак и в минуты отдыха играл с ними. У него были три маленькие собачки. Одну звали Тодди, другую — Виски, а кличку третьей она забыла. «Это были три общительных маленьких создания, всегда готовых затеять возню и очень ласковых». Маркса поражала их общительность. Однажды, когда после шестинедельного пребывания в Шотландии М. Комин зашла навестить Элеонору, она застала ее с отцом в гостиной, играющими с Виски. Виски «приветствовал» Марианну, но вдруг помчался к двери и исчез. Он вернулся вместе с Тодди, которая также дружески помахала гостье хвостом. Виски стоял на ковре, помахивая горделиво поднятым хвостом и поглядывая то на одного, то на другого, как бы говоря: «Посмотрите, как я хорошо знаю, как надобно поступать!» Маркса очень умилила эта понятливость.

С Элеонорой М. Комин связывала дружба, и о ней в своих воспоминаниях Комин пишет больше, чем о других членах семьи Маркса.

Элеонора Маркс-Эвелинг, «Тусси», как ее звали в семье, была в детстве, по словам ее матери, «кумиром и баловнем всего дома». С детских лет она воспитывалась в духе любви к трудящимся, ненависти к эксплуататорам. Свое первое «боевое крещение» она получила еще в 1871 году, после падения Парижской коммуны, когда в возрасте шестнадцати лет подверглась на юге Франции аресту.

После выхода замуж старших сестер Элеонора жила с родителями, помогала отцу в его литературной работе, ухаживала за больной матерью. Живая и энергичная, она увлекалась художественной литературой, театром. Ей случалось и выступать в любительских спектаклях. Однако под влиянием отца она посвятила себя революционной деятельности и стала в дальнейшем видной участницей английского и международного социалистического и рабочего движения.

М. Комин рассказывает в своих воспоминаниях о чертах характера юной Элеоноры: «Либо она страстно восхищалась

чем-либо, либо беспредельно презирала, она пламенно любила или страстно ненавидела. Нечто среднее ее никогда не прельщало. Она обладала удивительной живостью, необычайной восприимчивостью и была самым веселым созданием на свете — когда не чувствовала себя самым несчастным. Замечательной была и ее внешность. Она не была красавицей, но все же производила впечатление красивой благодаря своим сверкающим глазам, выразительному лицу и темным вьющимся волосам.

Вполне естественно, что с отцом ее объединяло полное взаимопонимание; она разделяла его политические убеждения и была, пожалуй, несколько нетерпима к тем, чьи взгляды отличались от ее собственных. По адресу изысканных манер викторианской эры она изливала потоки презрительного гнева. «Вышиванье!» — восклицала она с презрением; простое питье от руки она считала излишним перед лицом швейной машины с ее прочностью. Я еще помню возмущение, которое она выразила, зайдя однажды ко мне, чтобы взять книгу, которую мне одолжила, и застав меня с иглой в руке, а незаконченную книгу на столе.

Рассказывает Комин о том, как Элеонора увлекалась театром. Некоторое время она училась актерскому мастерству у Джейн Элизабет Везин, известной артистки лондонского театра Дрюри Лейн, но затем прекратила занятия, когда ее руководительница пришла к выводу, что у нее недостаточных данных, чтобы «достигнуть истинного величия на подмостках». Вздвигнувшись, потрясенная этим выводом, Элеонора пришла к своей подруге. «Некоторое время она сидела в своей излюбленной позе на ковре, потирая колени и глядя в огонь», а затем воскликнула:

— Это просто ужасно — не иметь возможности добиться того, чего хочешь больше всего на свете!

Пробыв еще некоторое время в задумчивости, она оживилась и резко вскочила.

— Я скажу вам, что мы сделаем: мы возьмем кэб и поедем по Лондону. Мой милый, грязный Лондон! Он всегда меня как-то воодушевляет. Ну, пошли?

— Я не могу себе позволить потратить столько денег.

— Конечно, вы не можете. Я тоже не могу, но мы все равно это сделаем

¹ «Книга» (франц.).

² «Заяц» (франц.).

В те дни не было такси, были только старомодные тесные извозчичьи «колымаги» да милые, быстрые и уютные экипажи, которые были особенно привлекательными, поскольку считалось, что они несколько неподходящий способ передвижения для молодых дам. Мы рискнули нарушить обычай и тотчас покатались по Тотенхем-корт-роуд, Оксфорд-стрит, Риджент-стрип, Пикадилли, по набережной Темзы и не помню, где еще, с тем утешительным результатом, что Элеонора решила, что не все прелести жизни ей недоступны».

В последующие годы М. Комин, по-видимому, реже встречалась с Элеонорой Маркс. Закljučая свой рассказ о ней, она пишет: «Элеонора была необычайно яркой личностью, с ясным и логичным умом, с тонким знанием людей и замечательной памятью. Одно время она работала в Британском музее с ныне покойным доктором Фарнвалем над старинными изданиями Шекспира¹. Это была область, к которой она, как я уже указывала, проявляла огромный интерес. Но горячий интерес она проявляла к очень многим вещам. Она при-

¹ Фредерик Джеймс Фарнваль (1825—1910) — известный исследователь Шекспира.

надлежала к обществам любителей Бруннинга и Шелли, часто выступала на социалистических митингах».

М. Комин навестила Элеонору, когда узнала о кончине ее отца. «Последний раз я видела доктора Маркса,— пишет Комин,— когда он лежал в гробу, с руками, скрещенными на груди,— боец, доблестно сражавшийся до тех пор, пока оружие не было выбито из его рук силой, большей, чем его собственная. Замечательным было спокойствие его лица, морщины сгладились, старость, казалось, отступила, все следы перенесенных им страданий — стерты. Осталась спокойная и величественная мощь.

Я была одна в комнате с его дочерью и хотела выразить ей сочувствие, но она властно остановила меня. Она сказала:

— Я не хочу соболезнований. Если бы он медленно умирал после долгой болезни и на моих глазах постепенно разрушались его дух и тело, я нуждалась бы в сочувствии. Но этого не произошло. Он скончался в разгар работы, с незатронутым интеллектом. Он заслужил себе покой. Будем же благодарны за то, что это произошло именно так».

К. СЕЛЕЗНЕВ



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К. АЛЕКСЕЕВ

★

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

К семидесятилетию со дня рождения П. Г. Тычины

Он начинал молодо, звонкоголосо, и был этот голос еще и непримиримым, отважным. Именно так и заявляет о себе настоящая юность.

Молодой я, молодой,
В жилах удаць заиграю.
Злая жизнь, вставай на бой,—
Разомнемся для начала!

Злая жизнь, явись, дрожи!
Побежденной станет стыдно.
Кто из нас смелей, скажи,—
Будет видно, будет видно.

(Перевод Н. Асеева).

Сейчас поэту уже семьдесят лет, «возраст зимний, быстротечный». Но как удивительно молодо и ныне звучит его стих.

Пусть виски и поседели,
но душа
 не увядает!
И звучат в ней те же струны.
Чуть печально?—
 кто их знает!—
Ведь и в стужу ели
 юны.
зелены и юны..

(Перевод Л. Озерова).

Даже ритм, «походка» стиха та же!

Случайное совпадение? Нет. Тут видится большее: редкостное душевное здоровье, неиссякаемое жизнелюбие, та стойкая вера в жизнь и в свои силы, которая не убывает, а крепнет с годами и над которой годы просто не властны.

Таков Павло Тычина, только что переступивший порог своего семидесятилетия. Поэт. Академик. Депутат. Один из основоположников советской украинской и всей советской многонациональной литературы. Человек с удивительно молодым лицом, энергию которого лишь подчеркивает «седой иней» волос.

Завидная участь. И она дается только тем, кто никогда не отходил от народа, а жил с ним одной жизнью, одними радостями и страданиями и кто со взыскательной требовательностью относился к однажды избранному делу своей жизни.

Наградил народ поэта...
Что скажу ему на это?
Только то, что вместе с ним
я иду путем одним.

(Перевод Е. Влагининой).

В этом скромном, чуть ли не застенчивом признании — весь Тычина, поэт, чья жизнь полностью отдана родной литературе, родному народу.

В предисловии к недавно изданному двухтомнику сочинений Павло Тычины на русском языке академик А. Белецкий пишет о Тычине как о поэте «органического роста», имея в виду сложность и вместе с тем ясную устремленность идейных и поэтических поисков писателя. И в самом деле, в запутанной литературной обстановке предреволюционных и частично пореволюционных лет, когда не на одной Украине в моде были различные поэтические «школы» и «школки», на талант Тычины, только-только взявшегося за перо, влиял, например, символизм. Но блуждания молодости — это блуждания в поисках выбора, и тут все дело в том, что заложено в человеке, где лежат его самые глубокие, сокровенные привязанности, где его корни.

Есть духовная эстафета, передаваемая из поколения в поколение, — книга. На одной из школьных елок сын сельского дьячка и учителя «школы грамоты» Павло получил в подарок вместе с золочеными орехами две украинские книжечки: брошюру Марии Загирной «Под землю» — рас-

сказ о работе в шахтах — и басни «украинского Крылова» Л. Глибова. «С этого времени,— говорит поэт,— в нашей хате рядом со сказками Пушкина и Жуковского, рядом с «Тарасом Бульбой» Гоголя всегда читали и перечитывали вслух эти две украинские книжки».

Это бывает в детстве: на формирующееся сознание часто влияет далеко не лучшая по своим художественным достоинствам, но зато обязательно справедливая книга. Так было и на этот раз: произведения ныне полузабытых, но хорошо послуживших своему делу демократических писателей Загрой и Глибова посеяли семена любви к простому народу, к родному многозвучному украинскому языку. И тут же вошел мятежный гений Шевченко. Полюбилась вся русская поэзия от Пушкина до Блока. Открывались неведомые поэтические дали — от поэзии Армении до стихов французских поэтов XIX века.

И рядом шла жизнь. Она глубоко входила в сознание пытливого юноши. Жадно впитывал впечатления бурсак из Черниговской семинарии, молодой и всеяющий большие надежды поэт, с которым уже дружески, как с младшим братом, беседовал Михайло Коцюбинский.

«Знаю я вас давно,— писал в 1927 году Павло Тычине Максим Горький,— мне много и нежно,— как он изумительно умел говорить о людях,— рассказывал о вас М. М. Коцюбинский, читая некоторые ваши стихи».

Разразилась революция. Ясны и определены были привязанности молодого поэта. Он мог говорить только одним голосом — голосом своего народа:

Как на площади у церкви
революция идет.
— Будь, чабан, за командира!—
разом крикнул весь народ.

Гей, по коням! Ждите воли!
Ждите счастья и земли! —
Закипело, зашумело —
только флаги расцвели...

Как на площади у церкви
слезы душат матерей:
посвети ж им, ясный месяц,
на дорогу свет пролей!

Как на площади все стихло.
Пыль отходит прочь...
Вечер.
Ночь.

(Перевод П. Панченко).

Дата под этим стихотворением — 1918 год. От этой даты ведет свое летоисчисление советская украинская поэзия.

Павло Тычине было тогда двадцать семь лет. К этому времени придирчивый к себе поэт выпустил лишь один поэтический сборник — «Солнечные кларнеты». Стихотворение «На площади» — из второго, вскоре же появившегося сборника «Плуг». Магическая стрелка его таланта точно определила свое место, указывая на реализм, идейность, народность.

Революция!..

Она вошла в поэзию Тычины блоковским образом ветра. Но это не было заимствованием, не могло быть заимствованием: Блок написал свою поэму позднее. Очевидно, это был образ, подсказанный временем: ветер, сметающий прошлое, беспощадный ветер обновления.

«Солнечные кларнеты» заключает «Дума о трех ветрах» (1917). «Третий Ветер» в маленькой поэме Тычины говорит:

Вставайте... люди,
Солнце вам улыбается,
Вашего плуга земля дожидается.

Шла революция. Поэт шел навстречу ей. Влиться поэту в поток революции было совсем не трудно: жизнь подготовила его к этому.

«Солнечные кларнеты» появились в 1918 году. «Плуг» вышел в двадцатом. Годы, прошедшие от выхода одного сборника до другого, были заполнены не одними поэтическими исканиями — нет! — это были годы счастливого узнавания того, что несет революция. Если «Солнечные кларнеты» копилась в душе долго, ожидая своего выхода к читателю, то «Плуг», в сущности, начал создаваться сразу же после Октября. Минуем уже цитированное «На площади». Тогда же, в 1918 году, были написаны и трагическое, исполненное сочувствия к людям, павшим за революцию, стихотворение «Тут же за селом...» и стихи из цикла «Сотворение мира», в которых поэт возглашает:

Всем краям—
марсельеза!

Сборник «Плуг» выявил не только политическую, но и эстетическую программу поэта. Тычина писал:

...Россия, Россия, Россия моя!
...Стократ расширяемый Киев
и двести — растерзанный я.

Все обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь, стелая,
бьют,
песком заносится и пылью обдается,
земле сырой всего себя передает...

Переменяя ритмически сложный рисунок произведения, этот рефрен пройдет через все скорбное повествование, он как бы вклинивается в него, медленно, постепенно видоизменяясь, так же, как в жизни постепенно остывает жгучая боль горя, сменяясь мудрым спокойствием и пониманием неизбежности потерь и великой неизбежности наступления новой жизни и новой радости.

Все поднимается, встает, растет, смеется..

И поэт уже видит своего героя ожившим, бессмертным:

И видится -- Стенан поднялся, ходит
бок о бок с Ярославом. Жить нам! Жить!

(Перевод Л. Озерова).

Эта философская поэма стоит особого исследования: в ней мастерство Тычины достигло одного из своих высших взлетов, в ней выражена вся сущность ее создателя, все его мастерство, замечательное умение делать то, что остается надолго.

Стих Тычины не хочется называть виртуозным: есть в этом слове нечто предполагающее ловкую сноровку, которая, в общем-то, легко дается в руки людям способным, но далеким от настоящей поэзии. У Тычины это стих мастера, никогда не задумывающегося только над тем, как делать стих, потому что для него важнее другое: что ты можешь и что ты хочешь сказать людям, где ты — с ними или поодаль, в стороне от них.

Павлу Тычина всегда шел вровень со своим временем. Он был таким же работником, как строители Днепротэса или создатели первых колхозов. Вся разница лишь в том, что он занимался своим, ему предначиненным делом.

Потому-то, наверно, так сердечны его стихи о людях, шагавших с ним в одном ряду. В 1933 году поэт пишет две «Песни трактористки», лукавые, озорные; в них раскрылось еще одно свойство таланта Тычины — народный юмор.

Дым-дымок от машин,
как девичьи лета...
Не тот теперь Миргород,
Хорол-речка не та.

Летом -- вся работа в поле,
а как снег постлал постель,
я товарищей просила
записать меня в артель.

Ой, артель моя «Троянда»,
маркизет, мадаполам!
Вышивала и узоры
с тревогою пополам.

С тревогою -- ну и страшно!
С тревогою -- вот смешно!

(Перевод Н. Асеева).

И далее в том же разговорном ключе -- кстан, не очень свойственном до того времени Тычине, -- следует рассказ о том, как Олеся Кулик убежала на курсы трактористов и какое волнение по этому поводу произошло в селе...

Под «Песнями трактористки» стоят даты и место написания: в одном случае «Миргородская МТС. 1933 г.», в другом -- та же МТС и Харьков и тот же год. Не следует при этом думать, что «Песни» — плод быстрой поездки, злободневный «отклик» на события. Такие легкие «отклики» желтеют и вянут быстрее, чем газетные листы. А «Песни трактористки» и теперь волнуют читателей, они стали хрестоматийными. И это опять же по одной-единственной причине: в них поэт создал живой человеческий характер — задорной, смелой девушки, уверенно воюющей за новую жизнь. В ней столько же лукавства, сколько и непосредственности. Она --- сама юность.

Бойкая девичья шпонация... Ораторский стих... Эпическая уравновешенность стиля... Условность и иногда неожиданный гиперболизм образа...

Талант Павлу Тычины необычайно многогранен, но он обнаруживает при этом удивительную цельность. Каждый из его сборников, оставаясь чисто тычиновским, всегда галг неожиданность. Разнохарактерным, щедрым был вышедший вслед за «Плугом» сборник «Ветер с Украины». В нем рядом с программными стихами («Ответ землякам», «Великим ликецам», «За всех скажу...») был философский цикл «В космическом оркестре». И тут же несколько стилизованные «Плачи Ярославны», в которых разрабатывались мотивы древнерусского эпоса. Стихи о Фаусте и Прометее, Барбюссе и Роллане. Казалось, поэт продемонстрировал уже все, что может, --- от гекзаметра до вольного стиха, от фи-

лософского раздумья до бесхитросных детских народных сказок «Дударик» и «Ивасик-Телесик».

Но выходит книга «Чернигов», и за ней «Партия ведет», и мы видим нового Тычину — оратора, песенника, публициста. Чеканная, подчас маршевая поступь стиха соседствует здесь с мелодичностью, живо напоминающей фольклорные напевы. Не утратив ничего из своего своеобразия, поэзия Тычины обогатилась новыми достоинствами.

Тычина — поэт, крупно, широко мыслящий. Ему совсем не противопоказана интимность, доверительная лиричность, и все же не эти качества характерны для него. Он стремится обнять своим взором всю землю, его интересуют судьбы народов, их прошлое, будущее и, разумеется, настоящее. Стиху Тычины очень и очень не чужды политические категории, прямая, почти оголенная публицистичность, ему не чужд лозунг, призыв.

Именно потому такой органичной в развитии поэта явилась его предвоенная книга «Чувство семьи единой», в которой он славит трудовое братство людей. Тема дружбы народов трактуется поэтом по-своему, прежде всего как единство неповторимых и своеобразных культур, единая народная основа их литератур.

Пусть слово сказано иначе,
но суть в нем наша остается...

Сначала так: оно — подкова,
и не согнуть рукой металла.
И вдруг — разрядка: слово! слово!
Чужое — как родное стало.

Оно ж не просто слово, звуки,
из фольклора холодина, —
в нем слышны труд, и пот, и муки,
и чувство в нем семьи единой.

В нем шум лесной, и цвет весенний,
и радостей народных всплески,
в нем общности давнишней звенья
до наших дней доходят в блеске.

И ты берешь чужое слово
для речи собственной, богатой.
И чуда этого основа —
величье пролетарната.

(Перевод П. Панченко).

Обращаясь к этому чужому и вместе с тем родному слову, поэт создает яркие портреты выдающихся представителей братских культур. Он как бы присутствует при разговоре поэта и мудреца («Давид

Гурамишвили читает Григорию Сковороде «Витязя в тигровой шкуре»), отдает дань восхищения Горькому («Горький»), шлет братский привет в Казахстан («Привет Джамбулу»). И, внимая великому слову друзей, поэт нигде не забывает свою родную Украину.

Когда поэту пришлось во время войны покинуть Украину, любовь его к ней, умноженная разлукой, вылилась в строки, от которых шемит сердце:

Что, родина, струсилось с тобою?
Я головой к стеклу клонюсь.
Я не рыдаю, не молюсь,
своей немеркнувшей душою
о холод горя уколую.

О Украина! Украина!
Ведь это ты во тьме не спишь,
страдаешь, мучишься, горишь...

(Перевод В. Дынник).

Отделенный долгими верстами, огненным рубежом фронта от родной Украины, поэт неотрывным взглядом следит за ней, разящим оружием слова борется он за нее. Пожалуй, никогда поэзия Тычины не несла в себе такой заряд гнева. «Сталь и нежность, мой совет, сочetaй в себе, поэт!» — так еще до войны обращался к самому себе Тычина. Теперь в его поэзии чаще, чем раньше, слышен звон стали. Название его книги военных лет звучит как повелительный призыв — «Побеждать и жить».

Но не пропала и нежность: она возникает всякий раз, когда поэт обращается к Украине, к ее отважным сынам и дочерям, сражающимся на фронтах и во вражеском тылу, когда он думает о великом боевом братстве всех советских народов, отстаивающих свою Отчизну. В эту пору Павло Тычина создает ряд превосходных лирико-эпических стихотворений и поэм — о партизане Залиско и Зое Космодемьянской, о девочке-сиротке, которая приходит в партизанский отряд, и стойком борце-разведчике, молчащем под пытками врагов. И опять — в какой уже раз! — талант поэта поворачивается к читателю новой, не известной дотоле гранью — острым чувством трагизма. Весной в башкирской степи при виде пробуждающейся жизни поэт думает о занятой врагом земле:

Доколе там томиться мертвым стоном
землей забитым жизнью устам?

И. ДЕМЕНТЬЕВА

★

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Говорят, истинная зрелость в том и состоит, чтобы сберечь, не растерять, не обронить по дороге того ценного, чем наполнила жизнь. Жадный до ее даров, Александр Прокофьев не хочет терять ничего.

У Прокофьева есть тема, которая, возникнув однажды в его поэзии, осталась в ней навсегда. То она гремит во весь голос, встает в заглавие поэмы, то с неожиданной силой зазвенит вдруг в одной, казалось бы случайной, строке. Это тема Родины. Никогда не устанет поэт воспевать ее.

Считается порой, что рассказал о чем-либо — будто груз сбросил; и дальше идти легче. А Прокофьев не рассказывает — он живет, дышит, видит. И чем больше пройдено, чем обильнее опыт, тем полнее и богаче душа поэта. Читателю он несет ее не по частицам, а всю целиком — в каждой книге, в каждом цикле, в каждом стихотворении. Его творчество не поддается академическому делению на периоды. Привязанности поэта прочны, любовь верна, вера непоколебима.

Такова, пожалуй, главная особенность поэзии Прокофьева. Таков он и в новом, вышедшем накануне его шестидесятилетия сборнике «Приглашение к путешествию» («Советский писатель». Л. 1960).

В одном из своих стихотворений поэт желает самому себе:

Мне бы только песенку начать,
Чтоб на ней была моя печать,
Именная, друг, пойми,
Именная, черт возьми,
Именная, черт возьми!

«Именная печать» поэта — на каждой странице нового сборника.

У Прокофьева свой, особый строй образов. Он по-прежнему ищет «слова-самоцветы», слова, которые будто «дождем весен-

ним мыты», слова — «что молнии из глаз». Он их «ерошит» и «гладит». Он любит подержать их в горсти, прежде чем вывести на люди. Он не устаёт дивиться колдовским сочетаниям звуков:

Волна, волна — все буквы влажны...

Ему хочется,

Чтоб слова от слов зарделись,
Чтоб они, идя в полет,
Вились, бились, чтобы пелись,
Чтобы елись, будто мед!

И по сей день существует мнение, что поэзия Прокофьева, так сказать, вневременна и действительность выступает в его творчестве в самобытных, ярких, но несколько условных, стилизованных и навсегда установившихся формах.

Новый сборник Прокофьева, где так много прекрасных строк посвящено словам, родному языку, окончательно опровергает легенду о том, что все своеобразие поэта — в умелом использовании фольклора, в воссоздании приладожского колорита.

Вернее всего обратиться к самим стихам. Пусть стихотворение будет о Ладоге, где легче найти «колорит». Пусть это будет пейзаж, где нетрудно обнаружить фольклорную условность. Вот хоть этот:

Убегая за моря,
Уходя за скалы,
Золотые якоря
Солнце опускало.

За звеном веда звено,
Яркая, литая,
Опускалась цепь на дно,
Тоже золотая.

И горели дотемна
Золотые носы
Там, где хлынула волна
На седые плессы...

Кто читал Прокофьева, узнает на этих стихах «именную печать», даже если подпиши под ними не будет. Это его излюбленный образ уходящего солнца, опускающего в воду якоря. Это его цвет — золотой. Да и вся картина заката написана яркими, прокофьевскими красками. Но в то же время условность этих образов кажущаяся. Они конкретны, естественны, убедительны. Это сама природа в ее неподдельной красоте.

Можно только позавидовать поэтической зоркости Прокофьева, свежести, остроте, молодости его видения. Они как живые, его волна —

Под небо шапку кинула
И новую взяла!

и месяц, что низко-низко висит над озером —

Сам себе не верит: он двойной!

Такого не придумаешь. Такое можно только увидеть.

Прокофьев — отличный пейзажист. По редко встретишь у него просто картинку с натуры, пусть даже точно воспроизведенную.

Я как степняк, пою о том, что вижу,
Что мне в глаза попало в свой черед,
А сердце, дальше видя, строчки нижет,
Оно меня никак не подведет.

Сердце не подводит поэта. Земля Прокофьева не только «зеленая от лета и голубая от цветов», но и «береженная», и «от работы теплая»; она обвита лентами дорог, в нее накрепко впечатаны шаги современников; битая железом и все-таки цветущая вновь — бесконечно милая человеку земля. Да, сердце поэта видит далеко. В небольшом, простосердечном и очень искреннем стихотворении «Утром ранним» он любит ветер, лесом, зарей, и все восхитенные его выплескиваются вдруг в двух строчках:

Мне б два метра кумачу
На хороший флаг!..

Прокофьеву дорог и стяг, что «не поднят, а врезан, а взвит в небеса», и «полный флаг над сельсоветом». Флаги, «блеклые и горящие», осеяют дальний путь поколения, у которого «три войны остались за плечами...».

И как же можно сказать о таких стихах, что они вневременны и условны! Больше

того: сила поэзии Прокофьева в том-то и заключается, что и в стихах, лишенных на первый взгляд примет современности, — в стихах о природе, о любви, о дружбе — отражается духовный мир, моральное здоровье человека страны социализма, нашего советского современника.

Сама действительность живет в его творчестве. И в то же время для Прокофьева, «коль негу чуда — не стихи!». Однако свое «чудо» он несет читателю из жизни. Оно рождено вполне реальной, пристальной и внимательной любовью к своему краю.

И слово Прокофьева при всей его яркости не выдуманно, не сочинено:

Я не нырял за ним, как перна,
И не раскапывал бугра,
Я только черпал, только черпал
И не исчерпал серебра!

Дело тут и не в «цветном узорчье» его образов. Ведь и цветов у него не так-то много. Порой одними и теми же красками он пишет совершенно различные вещи: «лиловый венок», «лиловый ветер», «лиловый закат». Он не боится повторений и сознательно, из книги в книгу, утверждает свою приверженность к однажды найденным образам. «Золотой», «серебряный», «алый», «лазоревый» можно встретить не в одном и не в двух его стихотворениях. А вот двух абсолютно одинаковых по смыслу, по настроению картин вы у Прокофьева не найдете.

Словно утверждая связь его творчества с русской и современной советской литературой, живут в стихах поэта и растущий «среди долины ровныя» могучий дуб, и «липа вековая», и «дневные звезды», звучат ритмы Пушкина, Некрасова, Блока, а порой и Багрицкого, и Светлова...

И уж, конечно, он не скрывает своего пристрастия к ритмам народных «частых», «помпильных», «подблюдных» и «веснянок».

Но в стихотворении, которое называется «Веснянка», арханкой и не пахнет. Зато нарастающий, «проливной» лад деревенской веснянки как нельзя лучше передает живой шум весеннего дождя, о котором и идет речь.

Или «Приглашение к путешествию» — одно из лучших стихотворений сборника. Чем определен его стремительный ритм? Строчки словно набегают одна на другую, словно выбивают одна другую из привычной лунки, словно торопят, толкают вперед: в путь, в путь!

Вот она, в сверканьи новых дней!
 Вы слышали что-нибудь о ней?
 Вы слышали, как гремит она,
 Выбив из любого валуна
 Звон и гром, звон и гром?
 Вы видали, как своим добром,
 Золотом своим и серебром,
 Хвастается Ладога моя?
 Вы слышали близко соловья.
 На раките, над речной водой?..

Можно прервать цитату, но движения уже не остановить. Оно замедляется лишь к концу стихотворения, в самых последних строках, — и это тоже оправдано:

Пусть стихи мои помогут
 К нам прийти, в родимый край...
 Так что знайте,
 Так что знай...

«Знайте» и «знай» — не просто повтор, не просто замедление, а договор с читателем на дружбу: теперь можно и на ты.

Иногда стихия поэзии как бы захлестывает поэта, он задыхается, в ритмах появляются перебои, будто они, ритмы, следуют за неровным, взволнованным сердцебиением, а песенная вязь слов опережает мысль. Но читатель, подхваченный стремительным потоком лирической речи, не замечает этого. Такова сила подлинного искусства. Вот почему и Прокофьеву хуже удаются стихи преднамеренные, заранее «спланированные».

Цикл «Про Галю-Галинку» наименее удачен в сборнике, может быть, именно потому, что он неорганичен. Стихи выглядят не созданными для детей, а для детей приспособленными, будто писал их не поэт Прокофьев, а некий «дядя Прокофьев». В то же время в других, «взрослых», циклах есть стихи, которые, если издать их отдельной книжкой в Детгизе, могут стать любимым чтением детворы. Многие строки о России, о красоте родной земли по простоте, ясности, музыкальности могут поспорить с образцами хрестоматийной поэзии. Это еще раз доказывает популярную мысль о том, что поэт должен не четверть, не полсилы, а всю силу, всю душу вкладывать в творчество, не ограничивая таланта искусственно заданной целью.

Но иногда вредно не только ущемление поэзии во имя жанра, но и вторжение на чужую поэтическую территорию. Творчество Прокофьева, несомненно, не является творчеством аналитического склада. Он импрессионистичен. Его стихия — краски,

музыка, запахи. Даже в литературных боях он прибегал к аргументам не столько логическим, сколько поэтическим, защищая свою поэзию своей поэзией. Вряд ли кто помнит сейчас, что известные прокофьевские строки —

Товарищ, издевкой меня не позорь
 За ветер шелонник, за ярусы зорь,—

были написаны в порядке литературной полемики.

У Прокофьева самое сильное поэтическое оружие — его непосредственное чувство. Для иного поэта спады вдохновения болезненны, но не смертельны, он восполняет их «инерцией мастерства». Для Прокофьева они губительны: схлынет чувство, и на бумагу ложатся холодные, бесцветные, риторические строки, вроде следующих:

Года подсчитывают братьев,
 Когда плечом к плечу встаем,
 Когда идем великой ратью
 В великом мужестве своем.

Кто ж узнает здесь «именную печать» поэта?

Декларируя, поучая, наставляя, Прокофьев сразу проигрывает и в поэзии и в логике. Не пишите лесенкой! — предостерегает он «птенчиков»: «какой там лад в стихе расхристанном?..» Но ведь и самому Прокофьеву никогда не были чужды поиски в области ритма, разбивки строк и т. д.

Следует оговориться. Деление поэзии на различные «территории» условно. Не нужно понимать его буквально. В нем нет стремления как-либо ограничить творчество. Но у каждого поэта есть свои особенности таланта, позволяющие ему наиболее полно утвердиться в литературе. Это убедительно доказывает Александр Прокофьев своим новым сборником.

Больше всего в книге «Приглашение к путешествию» стихов о Ладогe. Ей посвящен целый цикл — «Земля отцов».

Здесь, в Приладожье, ему все знакомо и близко: и ветра меженцы и шелонники, и «вьюга белых черемух», и «вишни алый налив». Близки, знакомы по прежним стихам поэта они и читателю.

И все же в его нынешней Ладогe есть нечто новое:

А у нас туманы вьются
 Над водой и летом,
 И отнюдь не голубые —
 Белесого цвета,

Такое признание не часто встретишь у раннего Прокофьева, более склонного воспевать яркую, блестящую Ладогу, что громоздит на небе целые ярусы зорь, что «серебрист ситами» и «золотит сршом». А теперь:

Неясные рассветы,
Неяркий окоем...

Постепенно отдельные приметы сливаются в цельный образ:

Чем знаменита Ладога?
А собственно, водою
Холодную, крутую,
Прозрачную, сеюю!
А чем еще?
Волотами,
Цветными берегами
Да шукой большеротою,
Степенными ситами...
Плакучею, заплаканной
Березой над полями
Да всякой мелкой птахою:
Стрижами, соловьями...

Как видим, в таком контексте приутихли ладожские ветры, «остепенились» сити, посела волна, загрустила береза.

Впрочем, чуть ли не на следующей странице береза уже «пляшет и сережки отдает», и «солнце ходит каруселью», и озеро приветливо машет поэту гривой, и море играет с ветрами. Но читатель уже принял к сердцу и ту, другую Ладогу с ее неясными рассветами и белесыми туманами. Да и поэту она мила до боли.

Нет, Ладога не затуманилась и не поблекла. Она по-прежнему хороша, а может быть, еще краше. Но любовь к ней поэта стала глубже и проникновеннее. Она дорога ему не только в сверкании летнего дня, но и в непогоду и в ненастье. Это чувство не исключает того любования, которое было свойственно поэту в молодости, но по-настоящему оно созрело только с годами.

А с ним пришло стремление пристальнее взглянуть в большие и малые чудеса родной земли, подсмотреть, как травинка проклюнула лед, как выскочил подснежник и — «задрожал, затрелетал...». Родина всегда мнилась поэту «на синих, вся на очень синих, звезды отражающих реках». Встречаем похожий образ и в новой книге. Но здесь это просто поросшее осокой озеро, «где совсем не глубоко потонула звезда». Облик русской природы становится все «пронзительнее».

Однако не утрачивается ли при этом то, что составляло сильную сторону поэ-

зии Прокофьева, — романтическая обобщенность, одухотворенность, возвышенность, не бледнеет ли при таком «заземлении» ее пафос? Совсем нет.

Россия для поэта — страна, которой предначертана великая историческая судьба. Ее осеняют боевые знамена. Над ней красуется и горит солнце. Над ней не гаснет несказанный свет. Ее степи распаханы до курганов. Лучи ее пятиконечной звезды пробили путь к звездам.

Само слово Россия звучит для поэта, как гимн. А некоторые строки своей благоговейной верой в великую судьбу России перекликаются с мотивами патриотической лирики Блока:

Соловьи в садах отголосили,
Им недолог срок, в отлет пора.
Улетайте!

В мире есть Россия —
У нее слова из серебра!

Вот она идет в венке лиловом,
Неподкупна, пламенна, чиста,
И перед каким-то вечным словом
Тихо раскрываются уста.

Здесь образ лишен конкретных признаков, становится даже более возвышенным и торжественным, чем в прежних произведениях поэта.

Но вот что примечательно. Цикл о России в сборнике «Приглашение к путешествию» постепенно как бы вбирает в себя образы, характерные для его новой пейзажной лирики, образы, которые, казалось, носят частный, конкретный, мгновенный характер. В его представлении о большой России входит

И золотящий ярко окна
Поток лучей,
и синь морей,
И блеск зари на лапах мокрых
Поднятых в лодки якорей.

Годы, прожитые вместе со страной, годы, что «сердце беспокоили, порою раня, а порой, каким-то часом радуя», дали поэту право сказать:

Я полюбил родную землю
С ее суровой простотой.

Он по-новому пишет о себе, о своей родине, о своих земляках. Его произведения никогда не были автобиографичны в узком смысле слова, хотя подлинной биографии Прокофьева может позавидовать любой

герой его поэзии. Но так или иначе, судьба человека часто предстала перед читателем как обобщенная судьба современников: не спешащих умирать крепких дедов, «сосновых кряжей» — их сынов, гармонистов и песельников — внуков.

И в новом сборнике есть этот песенно-обобщенный образ народа, «где каждый парень — парень дельный, где что ни девушка — то клад!». Но рядом с таким изображением земляков появляется и более конкретное, лично касающееся поэта:

Это я прошу иметь в виду,
Все у нас рыбачили в роду:
Бабки, прабабки,
Прадеды, деды!
И те, что на лавках
Кучней за обедом!

Еще более личный характер носят стихи о деде Прокофии, который был хоть ростом мал, однако «мал, да удал, да фамилию дал» —

Дал, как поставил
Печать с гербом!
А что на печати?
Да дед с горбом!

Но вот постепенно, не утрачивая реальных очертаний, образ деда вырастает до символа:

А где о нем вести?
Вдали, вдали!
А где его песни?
Да с ним легли!

А где его слезы?
В морской волне.
А где его думы?
По всей стране!

А где его доля?
В руках бойцов.
А где его сердце?
В земле отцов!

В сущности, то же самое происходит у Прокофьева со всей его Ладогой. Чем ближе, роднее ему земля отцов, тем сильнее ощущает он ее частью большой страны. По мере того как вполне живое и современное содержание обретают некогда почти экзотические Пиргала, Митала, Кобона (было ведь: «Пиргала, Митала, Гавсарь, Выстав... Тырли-бутырли, — дуй тебя горой!», а нынче в этих селах «на машинах-пятитонках номера районные»). Ладога становится для него вроде той северной речки, что хоть и

невелика, зато «немало звезд России считает зеркалом ее».

Удивительная емкость свойственна многим стихам сборника. Если поэт видит пастуха, который трубит в горн, то тут же вспоминает о минувшей войне: «тот горн пехота подарила...» Если говорит об ивах, которые «вышли за Невку» и крепко схватились корнями за береговую землю, то и о себе и о Родине:

Ну, правильно, ивы:
Земля-то какая!

Так почти в каждом цикле и почти в каждом стихотворении сборника личное и конкретное содержание прокофьевских образов сближается с обобщенно-публицистическим. Чем проникновеннее и «избирательнее» личное, тем крепче и увереннее обобщение. Мироощущение поэта становится сложнее и богаче, оптимизм — глубже.

Первые его стихи кипели буйным, нескрываемым, несдержанным, почти пантеистическим жизнелюбием, словно человек, написавший их, весь мир получил в подарок и теперь вне себя от счастья. Человек был молод, как и его страна, чью революционную энергию, боевой задор и пытался он перелить в звонкие строки. С тех пор прошло немало трудных и победных лет. «Мы не нашли, а взяли нашу долю». Мы стали увереннее, сильнее и тверже. Страна растет, мужает. Дали ее ясны. Вот это ощущение спокойствия, уверенности, зрелое, хозяйское отношение к жизни и вместе с тем прежняя юношеская увлеченность происходящим вокруг и стали содержанием сегодняшней поэзии Александра Прокофьева.

Его талант человечен и подкупает своей ясностью, своей спокойной и цельной жизнерадостностью, верой в высокое назначение человека на Земле, и не только на Земле:

Уже в Зазвездье красный флаг огнистый...

В новом сборнике Прокофьева есть еще строки о Зазвездье. Хорошие строки. И все-таки не в них одних современность его поэзии! Она в самой природе его дарования — цельного и жизнеутверждающего, — в его строгой требовательности к своему таланту, в его готовности в дорогу.



ВЕРА СМЕРНОВА

★

КАК БЫЛА НАПИСАНА «ВОЕННАЯ ТАЙНА»

Имя и образ Аркадия Гайдара за те без малого двадцать лет, что прошли со дня его смерти на фронте Отечественной войны, стали уже легендарными.

Кажется, ни о ком другом из наших современников писателей не рассказывалось столько всяких историй. Необыкновенная его биография, недолгая жизнь (он погиб тридцати семи лет, в возрасте, который в наши дни считается молодым для писателя), его героический конец, вся его своеобразная, сильная и яркая личность породили много легенд, более или менее правдоподобных.

Книги его кажутся такими цельными, словно вылились сразу, словно написаны в один присест, без пометки. Может быть, поэтому создались уже и широко бытуют и легенды о том, как легко, весело, будто играя, на ходу импровизируя, сочинял он целые страницы, а иногда и всю повесть.

Вот как рассказывает об этом Константин Паустовский.

«Писал Гайдар совсем не так, как мы привыкли об этом думать. Он ходил по саду и бормотал, рассказывал вслух самому себе новую главу из начатой книги, тут же на ходу исправлял ее, менял слова, фразы, смеялся или хмурился, потом уходил в свою комнату и там записывал все, что уже прочно сложилось у него в сознании, в памяти. И затем уже редко менял написанное.

...Те фразы, которые я слышал в заглушенном и тенистом деревенском саду, я встретил, как старых и добрых друзей, на страницах «Судьбы барабанщика», когда Гайдар принес мне в Москве только что вышедшую эту книгу.

— Вот эту фразу,— напомнил я Гайдару,— ты говорил, когда дожевывал яблоко...

— А эту,— ответил мне Гайдар,— я придумал, когда синица висела вниз головой на ветке клена, заглядывала к тебе в окно и хотела своровать семена настурции. Они сушились у тебя на подоконнике. Помнишь?

Так мы вспоминали строка за строкой всю историю придумывания этой чудесной книги, и Гайдар был этим очень доволен.

Иногда Гайдар приходил и без всяких обиняков спрашивал:

— Хочешь, я прочту тебе новую повесть? Вчера окончил.

— Конечно, читай.

И тут происходило непонятное. Обычно в таких случаях писатель вытаскивает рукопись, кладет ее на стол, разглаживает ладонью, горюливо закуривает, причем наигриво у него тут же тухнет, говорит несколько невнятных и жалких слов о том, что он совсем не умеет читать и рукопись, к тому же, еще совершенно сырая, и только после этого хриплым и прерывающимся голосом начинает читать.

Гайдар никакой рукописи из кармана не вынимал. Он останавливался посреди комнаты, закладывал руки за спину и, покачиваясь, начинал спокойно и уверенно читать всю повесть наизусть, страница за страницей.

Он очень редко сбивался. Каждый раз при этом он краснел от гнева на себя и щелкал пальцами. В особенно удачных местах глаза его щурились и лукаво смеялись».

Конечно, это скорее повелла, чем воспоминания, и мы благодарны Паустовскому, создавшему для нас художнически яркий

образ писателя Гайдара. Не оспаривая и не умаляя ценности этого живого писательского свидетельства, я хочу, однако, сказать, что все это лишь праздничная, «игровая» сторона дела, которую Гайдар очень любил всю жизнь, как ребенок, которую он часто нарочно демонстрировал, втягивая в игру даже взрослых и серьезных своих товарищей.

Но была ведь — не могла не быть — и та внутренняя, глубоко скрытая от постороннего глаза лаборатория, где шла работа, шел упорный и совсем не простой и не легкий, именно для Гайдара, труд писателя. Проза не может быть импровизацией; проза в особенности требует от писателя волевого усилия, стойкости, культуры труда.

Гайдар был самоучкой в литературе. Тот интеллектуальный скачок, который он должен был сделать, пересев из красноармейского седла на капризного Пегаса, потребовал от молодого Гайдара невероятного напряжения сил и воли. Вспомним, что он в то время был болен, по болезни уволен из рядов Красной Армии и за литературу взялся как за возможность продолжить свою боевую службу революции.

По счастью, то было время самоучек в литературе, и Гайдару не пришлось терпеть поражений и неудач на первых порах своей литературной деятельности. Наоборот, даже горячая и довольно бесформенная еще повесть «В дни поражений и побед», которую он сам потом считал слабой и не переиздавал при жизни, была встречена с вниманием и интересом К. Фединыным и другими писателями и напечатана в ленинградском альманахе «Ковш». На литературном пути Гайдара почти не было внешних препятствий — недоброжелательной критики, помех в издании книг, непризнания писателями и читателями. Но было, очевидно, много трудностей внутренних — с самим собой, с овладением «технологией» литературной работы, с поисками своего пути. Гайдар был, несомненно, самолюбив и горд, и то мальчишеское стремление быть первым в бою, не уронить своего звания бойца, которое заставляло его преодолевать все тяготы и лишения военной жизни, было присуще ему и как писателю. Как в армии он не хотел обнаружить ни страха, ни усталости, ни сомнения, так и в литературе он не мог позволить себе отстать от товарищей, пожаловаться на мучительную работу мысли,

на недовольство собой, на трудность выработки своего языка, своей композиции, на необходимость восполнять недостаток систематического образования. Для большинства знавших его Гайдар казался ясным, точно знающим, чего он хочет, сильным, истинным «рыцарем без страха и упрека». Но это, я думаю теперь, была просто его писательская «военная хитрость» — и он умел обмануть даже близких своих друзей этой своей простотой и цельностью. Да, конечно, Гайдар был цельной личностью, но при всей цельности характера сложность жизни, которую он прожил, заставляет на многое в его работе смотреть иначе, чем это было принято до сих пор.

Мальчик, в четырнадцать лет ушедший из дома (а я смею думать, что мальчики так просто не покидают родного дома, и в семье Гайдара, вероятно, не все было гладко и благополучно — ведь отец и мать его жили порознь), мальчик, пошедший воевать «за светлое царство социализма» как за свою и общечеловеческую мечту, участвовавший в жестоких схватках с врагами революции, не раз, по собственному признанию, подвергавшийся взысканиям за нарушение дисциплины, порой с завистью глядевший на своих сверстников — ребят, игравших в лапту, принявший свою необычную судьбу как боевой долг, казалось, накрепко связавший свою жизнь с Красной Армией и вдруг болезненно-контузией вырванный из ее рядов, ничего не умеющий, не владеющий никаким другим ремеслом, кроме военного, — и вот он должен начать жизнь сначала. Литература стала для него спасением, другим боевым отрядом, куда он был словно переведен жизнью, и так же, как в первые дни в армии пришлось ему все обрабатывать самому, и о многом догадываться, и в бою приобретать опыт, — так и в литературной жизни он был брошен сразу в глубокое место и должен был напрячь все силы, чтобы выплыть.

Никто до сих пор не сказал о том, как свято-трогательно относился Гайдар к своему литературному делу. В то суровое время не принято было объясняться в любви к литературе. Но я не могу не рассказать здесь один эпизод, раскрывающий подлинную нежность Гайдара к этому роду оружия.

После Первого съезда писателей, в 1934 году, целая группа писателей, активно ра-

ботавших в литературе для детей, была сразу принята в Союз советских писателей. Но почему-то Гайдара не было с нами, когда мы получали членские билеты. И вот через некоторое время прохожу я как-то по коридору Союза писателей — тогда здание еще не было перестроено, и наверху, «на антресолях», была маленькая комнатка со столом и стареньким вычурным диванчиком, оставшимся, видимо, от прежней богатой обстановки дворянского дома: сюда забегали написать заявление или уединялись для интимных разговоров. Заглядываю в дверь: вижу, на диванчике сидит Аркадий Гайдар, с головой, склоненной на руки, в позе глупокой задумчивости. Так непривычно было увидеть Гайдара одного, без обычного его шумного окружения, в таком сосредоточенном молчании. Я испугалась: не болен ли? Вошла и спрашиваю:

— Аркадий Петрович, здравствуйте! Что это вы тут сидите один и так грустно?

Поднимает голову — глаза ясные, но и в самом деле грустные. Берет меня за руку и сажает рядом с собой.

— Сядь. — Он в свои хорошие минуты называл меня, как и всех, на ты. — Смотри — вот! — Протягивает руку, раскрывает: на ладони лежит маленькая коричневая кожаная книжечка — членский билет Союза писателей. — Сейчас получил, — говорит Гайдар с необычайной мягкостью в голосе. — Очень это дорогая для меня книжечка. Горжусь ею. Всю жизнь надо за нее отдать.

Признаться, я в первый раз тогда услышала эти проникновенные слова. Много слышала разговоров, волнений: примут или не примут в союз, опасений, чтоб не остаться «за бортом», — и все говорили о своем праве быть членом союза и требовали, спорили. А он первый сказал, что за это право надо отдать жизнь. Я даже смутилась, взяла с ладони его книжечку, раскрыла, посмотрела на портрет Гайдара, на подпись — факсимиле председателя союза: «М. Горький».

— Как хорошо, что здесь подпись Горького. Правда, Аркадий Петрович?

-- Да, он имеет право, -- сказал Гайдар.

-- С ним спокойно, он отвечает за всех, за всю литературу...

— Нет, — сказал Гайдар, — в литературе как в бою: каждый за себя и все за всех. Это дело и общее и глубоко личное. Сам отвечаешь за каждое слово — бьет ли оно в

цель. А в цель и метить-то трудно, не то что попасть. У некоторых, конечно, счастье. Завидую и учусь, но не хочу, как у других, хочу по-своему... А это трудно, Вера, трудней, чем с белыми биться.

Я стала говорить, что многие наши товарищи поражают меня своей самоуверенностью — будто все знают, все умеют, и довольны собой, а пишут ялохо, «темно и вяло». Гайдар оборвал меня, нахмурившись:

— Врут... Всякий мучится. В одиночку. Когда пишешь, тут никто не может помочь. Как в разведке, один, темной ночью. А потом, как благополучно вернулся, на людях, конечно, не показываешь, чего натерпелся, — не полагается бойцу. Да и к чему? Важен результат — что ты сделал... Мало ли что про Гайдара говорят! А он все-таки, пока другие разговаривают и умные думы думают, каждый год новую книжку дает... По ней и надо судить Гайдара.

Тридцатые годы — это время расцвета новой, молодой советской литературы для детей. Это время было характерно не только появлением многих новых замечательных книг, новых детских писателей, но и горячими дискуссиями по вопросам коммунистического воспитания детей, теоретическими спорами о роли, задачах и законах детской литературы. Гайдар бывал на многих таких дискуссиях, на широких обсуждениях новых книг, но выступал довольно редко. Известна его замечательная речь на совещании в ЦК ВЛКСМ, незадолго до начала Отечественной войны, речь, которую так часто цитировали и цитируют, что просто немислимо не повторить еще раз его слова: «Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснорядную крепкую гвардию». Так образно и очень в стиле своих книг высказал Гайдар свое понимание боевого назначения детского писателя в наше время.

Я запомнила еще одно его выступление.

Мы тогда много спорили с педагогами, часто не понимавшими того, что происходило в литературе, и изрядно мучившими писателей различными требованиями и запретами. Речь шла, помнится, о «Дальних странах» Гайдара. Какая-то учительница очень заносчиво, как мне казалось, говорила о том, что ей непонятно, зачем Гайдар написал то-то и то-то, почему писателю

пришло в голову, что это нужно детям... Эти всегдашние «зачем» и «почему» раздражали меня. Я почувствовала необходимость «встать на защиту» писателя и книги, взяла слово и стала спорить с учительницей, стараясь доказать, как она мало смыслит в литературе. В разгар речи я увидела, что вошел Гайдар, встал у двери и насмешливо улыбается. Я подумала: «Вот теперь-то он даст отпор ретивому педагогу» — и поскорее закончила свою речь. Попросили Гайдара сказать свое слово. Не проходя к трибуне, он стал говорить прямо от двери — и я изумилась. Исчезла насмешливая улыбка (я догадалась позже, что она относилась только ко мне, к моей горячей защите), с простодушным видом, глядя на учительницу ясными, детскими глазами, с подкупающе искренней интонацией, очень миролюбиво, даже несколько смиренно, Гайдар стал говорить, что учителям многое виднее, ибо они чаще имеют дело с детьми, что педагоги и должны быть требовательны к писателям, которые тоже хотят воспитывать детей, что он, как автор этой книги, конечно, хотел только хорошего для своих маленьких читателей, и что если многое непонятно было учительнице, то он очень жалеет об этом — значит, написал не так, как хотелось. Но, между прочим, ему кажется, что он все же написал, что хотел, а хотел он вот чего... И дальше Гайдар с видом простодушным и открытым, очень легко, с юмором ответил на все «зачем» и «почему» так убедительно, что все педагоги довольно закивали головами, а сама ярая оппонентка слушала раскрасневшаяся, убеждаемая гайдаровскими словами и все-таки почувствовавшая, что она в чем-то явно прошлая. Весь накал «дискуссии» пропал, заседание кончилось тем, что педагоги признали: «Писатель Гайдар в своей убедительной речи правильно разъяснил специфику художественного творчества для детей». Гайдару аплодировали, он был окружен восторженной толпой и весело посмеивался. Конечно, я поняла, что он не только учительницам сейчас все объяснил, как самый лучший агитатор, но и мне отличный дал урок. Я хотела сказать ему это, но он не стал слушать, промолвил только: «Вот так-то, Вера Смирнова». И это было обиднее всякого упрека.

У Гайдара и в самом деле было удивительное чутье агитатора — он великолепно чувствовал аудиторию, всегда точно знал, как с ней надо говорить. И в своих книгах

он всегда очень хорошо представлял себе своего читателя, знал его потребности и умел их удовлетворить. Необычайно ясный и здоровый ум — одно из первых достоинств писателя Гайдара. Ясность мышления, политически острая, прямая направленность, безупречная честность и сознание своей «текущей» задачи воспитателя — эти качества всегда видны в замыслах его книг, были прочной основой его литературной работы. «Выполнение» давалось ему большим трудом.

Передо мной драгоценный литературный документ — дальневосточный дневник Гайдара 1932 года (время, когда была написана повесть «Военная тайна»).

Осенью 1931 года Гайдар пережил большую горе — семья его распалась, он остался один, тосковал, не мог работать, и друзья помогли ему уехать из Москвы в длительную командировку: он отправился в Хабаровск работать в газете «Тихоокеанская звезда».

Дневник этот — пожелтевшая от времени, из плохой бумаги в одну линейку общая тетрадка с оторванным переплетом. Лиловые бледные чернила расплывались при письме и теперь выцвели. Есть страницы, написанные карандашом, иногда еле разборчиво. Много чисто гайдаровских пометок — подчеркнуты строчки и целые абзацы, обведены слова, иные отмечены пятиконечной звездочкой с расходящимися лучами.

Первая запись в дневнике:

«20 — январь 1932 года

Северный вокзал. 17 ч. 55 м. Я стою у ярко освещенного окна трансибирского поезда Москва — Владивосток. Гудок. Сквозь холодное толстое стекло — я вижу — как самый хороший мой товарищ, мой маленький командир — Тимур Гайдар улыбается и поднимает руку, отдавая прощальный салют».

Дальше в дневнике трехмесячный перерыв, и только в мае Гайдар записывает, что приехал в Хабаровск тридцатого января и за эти три месяца побывал уже в разных местах — в лесах на границе Маньчжурии, на берегах озера Ханка... «Не забыть: озеро Ханка, покрытое зеркальным льдом, и автомобили, скользящие по льду...»

В воспоминаниях работавшего тогда вместе с Гайдаром Б. Закса, напечатанных в «Знамени» в 1946 году, — «Встречи с Гайдаром» — говорится, что «Гайдар приехал

из Москвы веселый, бодрый и с первых же дней энергично взялся за работу... Первый очерк Гайдара, напечатанный в «Тихоокеанской звезде», назывался «Хотели прислать милиционера». Он вполне соответствовал тому, что газетчики называют «гвоздь». Это был первоклассный очерк».

Кстати, там же впервые упоминается о дневнике, который вел Гайдар, когда писал «Военную тайну».

В дневнике много заметок о политических событиях, бывших тогда злобой дня.

«В 11 часов вечера пришла телеграмма. Убит русским белогвардейцем Горгуловым президент Франции Думер. Тардые обвиняет III Интернационал. Переверстывали 4 полосу... ..Убит японский премьер-министр Инукай... Был я на Черной речке. Вечер. Рыба.

...Был на субботнике. Ворочал бревна и копал ямы. Очень важное постановление о мясозаготовках».

И через два дня:

«Написал большой очерк о мясной проблеме. Вернее, не очерк, а памфлет о кроликах... Писал и подклеивал листы, получилось три аршина.»

Со своей всегдашней манерой шутя говорить о серьезных вещах Гайдар, которого глубоко интересовали вопросы политики, который всегда умел незаметно чему-то учиться, отмечает:

«Мы с Титовым — не обращая ни на кого внимания — нахально разговариваем по-французски. Дело подвигается. Получаем Journal de Pékin, Journal de Changhaï, — понемногу разбираюсь».

Не могу не вспомнить здесь, что впоследствии Гайдар довольно бойко (хотя и всегда как будто шутя) говорил по-французски, даже писал письма — правда, нарочито русскими буквами французские слова. Конечно, он мог читать французские газеты, когда ему это было интересно.

«...За последние дни в Хабаровске спокойнее. Немного улеглись толки о возможности войны. А все-таки тревожно. Все чего-то ждут».

И, думается, не случайно сразу после этого идет такая запись:

«Надо собраться и написать для М. Г. («Молодой гвардии». — В. С.) книгу Крым, Владивосток, Тимур, Лиля, все это связать в один узел, все это перечувствовать

еще раз, но книгу написать совсем о другом (последние слова подчеркнуты Гайдаром, и вся запись отмечена скобой волнистой чертой. — В. С.)».

Это и есть первая запись о замысле «Военной тайны».

Через несколько дней рядом с замечанием: «Постановление ЦК о мясозаготовках и хлебозаготовках гораздо важнее, чем многим это кажется», — опять подчеркнутое и обведенное чертой: «Надо начать книгу...»

И дальше целых четыре страницы — коротенькие записи-воспоминания о крупных военных, которых он знал в годы гражданской войны:

«Во сне видел Котовского. В 1921 году на Антоновские банды, ночью в Бенкендорф-Сосновку он прискакал с бригадой. Я командовал тогда сводным отрядом. Странно теперь вспоминать. Все это давно-давно было... помнится мне, что это было как раз в конце мая 11 лет тому назад.

...Помню Тухачевского — осенью в Моршанске я командовал, а он принимал парад.

...Меженинов — поезд командующего О. В. О. — Я был дежурным и получил выговор. Он добродушный — огромный.

...Данилов, Ст. Ст., член Р.В.С. — он как медведь, он как-то косолапо добродушно похлопал меня по плечу и сказал улыбаясь: «Только в революции могут происходить такие вещи».

А я стоял худой и взволнованный, вытянувшись в струнку.

...Фрунзе. Я сидел в приемной Р.В.С. — он вошел, проходя к себе в кабинет. Все встали. Через 10 минут Медянец вышел из кабинета и сказал мне: — Ну, вот, — приказ подписан. Это было, кажется, 14 апреля 1924 года. Этим приказом я зачислялся в резерв при Г.У.Р.К.К.А.

...Все как-то стирается и расплывается. Все это очень давно».

Я не случайно привожу здесь такую большую выдержку из дневника: хотя страницы эти сами по себе интересны как записи Гайдара, но я убеждена, что память писателя в данном случае уже работала на новую книгу, и эти военные воспоминания возникли у Гайдара в связи с замыслом «Военной тайны».

Лейтмотивом проходит по всему дневнику мысль о сыне Тимуре, о жене.

«Вспоминаю смутно — Пермь, Голубой дом. Лильку — девочку в ярком сарафане. Тени смутные, далекие, далекие... Сапоги с крутым обрезом, воспная шинель, серый костюм...

...Получил дней пять тому назад письмо от Лили и фотографии Тимура Гайдара. Милый родной маленький командир. Он бережет мои «военные секретные письма» и крепко меня помнит.

...И получил письмо от Талки (от сестры.— В. С.). «Я принесла твое письмо Тимуру уже поздно, когда он спал, и мы не стали будить его. Твое письмо к Тимуру прочла Лили, и когда она читала его, то из глаз ее катились почему-то слезы. Очень странно». Ничего странного нет. Жили все-таки долго, и есть о чем вспомнить. А в общем дело прошлое.

...Только что узнал, что сегодня уезжаю во Владивосток и на Сучан. Отослал в М. Г. («Молодую гвардию». — В. С.) выправленный экземпляр «Школы». Купил для командировки огромные сапоги».

Эта поездка, очевидно, была очень интересной. Гайдар записывает коротко:

«Миллионка — китайские кварталы. Трепанги, матросская шутка. Судно «Совет» — Кангауз. Ночные переходы. Японское море. Буря. Перевал Сихотэ-Алинь. Татарский пролив. (И крупно, подчеркнуто.— В. С.) Впрочем, всего не перескажешь. А в общем вернулся из путешествия 29 июля».

И тут же примечание:

«...В бухте «Золотой Рог» — перед отправлением судна в экспедицию на остров Врангеля, был у Сельвинского. Говорил с ним о московских литературных новостях. Потом он перевел разговор на поэзию и наговорил что-то не очень толковое. Поэзия и проза смыкаются. Прозанки постепенно отомрут. Поэту... (неразб.) будет нечто среднее. Когда? Почему?...»

И вот знаменательный день — с новой страницы, крупными буквами:

«ПЕРВОЕ АВГУСТА
I/VIII
1932.

Сегодня даю телеграмму в Москву о том, что кончил писать книгу и через месяц приезжаю.

И только сегодня начинаю писать эту книгу. Она вся у меня в голове, и через месяц я ее окончу, тем более, что отступить теперь уже поздно. Это будет повесть. А назову я ее «Мальчиш-Кибальчиш» («Военная тайна» приписано позже, другими чернилами.— В. С.). Каждая строчка этой книжки будет (четыре слова густо замазаны чернилами.— В. С.) Марше Маргулис и моему любимому сынишке Тимуру Гайдару».

Дальше в дневнике несколько чистых страниц и много страниц вырвано и написано на обороте одной страницы: «Вырванные страницы это кусок из «Мальчиша-Кибальчиша», которые я сразу же выбросил», — и подписано «Гайдар», а после вырванных страниц запись:

«У меня из Мальчиша-Кибал. было написано 25 страниц и все шло хорошо. Я лег и стал перелистывать — а когда перечитал, то зачеркнул все, сел и снова написал всего 9 страниц — стало гораздо лучше. Но сначала зачеркивать было жаль и зачеркивал скрепя сердце».

Следующие страницы дневника можно назвать записками плана повести, схемами отдельных эпизодов, намеком сюжетных линий. Все эти страницы являются наглядным опровержением легенды о том, что книги «отливались» у Гайдара сразу. Ведь и в данном случае он писал сначала, что книга у него готова — «вся в голове». Однако только когда он взялся за перо и бумагу, и началась настоящая работа.

Началась она, как видно, попыткой написать все сразу, одним махом, но страницы эти были даже вырваны и уничтожены. А потом все пошло так, как обычно и бывает у писателя, — с «плапировки», с отбора самых важных и нужных линий, тем, происшествий. Несколько раз в дневнике повторяются такие «служебные» слова: «А между тем дело разворачивается в таком порядке — на третий день Натка встречает Бориса с сыном — они стоят у моря и кидают камни»; «а между тем дело разворачивается таким порядком — инженер опаздывает... потому что у него нелады на верхнем участке земляных работ, нелады с десятником». «Все это очень прекрасно, — сам себя останавливает Гайдар, — но не забывай Наткину огрядную работу».

Очень интересно, что Гайдар, оглядя и планируя свой материал, записывая отрыв-

ки разговоров, попутно в скобках отмечает возможные возражения педагогов и любопытно парирует их. «Что еще за сказка (о Мальчише-Кибальчише, которую рассказывает пионерам Натка), рассказала бы им про пионера, который предотвратил железнодорожное крушение.— Да не слушают... Ну что? Ну, шел, ну, увидел, что гайки развинтились... подумаешь, какое дело...»

Это удивительно точное жизненное изображение. В 1935 году летом я была по командировке газеты «За коммунистическое просвещение» на праздновании десятилетия Артека — пионерского лагеря в Крыму. Там было тогда много ребят, и маленьких и больших, которые получили путевки в Артек как награду за совершенные ими «героические дела». Среди них были пионеры, спасшие детей из горящего дома, выследившие и разоблачившие бандита, и почему-то особенно много было ребят с «железнодорожными подвигами». Я разговаривала с ними: они говорили о происшествии смущенно, рассеянно, будто извиняясь за незначительность своего поступка, буквально гайдаровскими словами: «Ну, шел, ну, увидел, ну, снял галстук с шеи и стал махать, ну, и ничего особенного» — и все старались отостать меня к другим ребятам с «настоящими» подвигами. И, конечно, таким ребятам нужно было рассказывать не «историю о том, как пионер спас поезд», а сказку, которая будила бы их воображение, давала исход их романтическим стремлениям.

Гайдар, я думаю, в те годы не читал работы Станиславского, но невольно он будто следовал «системе», озаглавивая «куски», которые должен был писать:

«1) Натке приводят Альку.

2) Инженер уходит в горы (указать на перебор в старом источнике)...»

Но в то же время он отмечал и какие-то большие вехи, одному ему зримые в разворачивающейся перед ним книге: на одной из страниц дневника каждый раз с новой строчкой и все подчеркнутые стоят слова с большой буквы:

«С м е р т ь
П р и к а з
Д о р о г а
Д а л е к и й п о е з д
К т о ж е б ы л М а л ь ч и ш - К и б а л ь ч и ш ?»

И почти следом, как подлинное воспоминание и как отзвук сказки в повести, голос то ли Тимура Гайдара, то ли Альки:

«сто батарей!», папка, я никогда еще не слышала...»

Запись, датированная 10 августа, потрясает до глубины души.

«Дела мои двигаются. Упорно работаю. Между прочим лежу я в психобольнице. Но это наплевать, все равно работаю. Настроение у меня очень хорошее и на все плохое мне наплевать, потому что голова моя занята только книгой.

Итак, что же сегодня дальше... Разговор о матери? — У тебя есть мама? — Нет. — Она умерла? — Нет. — Дальше Натка не спрашивает и поэтому правды не узнает.

И тут же внизу, на краю страницы — мелко: «Доверчиво. ИЗМЕНА! (в большом глубоком смысле)».

О том, что повесть «Военная тайна» была написана Гайдаром в больнице, рассказал Б. Закс в своих воспоминаниях о писателе: «Тяжелое наследие страшной контузии, которую он получил на гражданской войне», временами обострялось приступами болезни, которая «дала себя знать и в бытность Гайдара на Дальнем Востоке». Это случилось вскоре после возвращения Гайдара из командировки. И работа над книгой начата была именно в больнице. Гайдар пробыл там больше месяца и привез с собой первый вариант «Военной тайны» — «три общие ученические тетради, исписанные характерным — каждая буква в отдельности — почерком Гайдара... Вперемежку с текстом — обведенные рамочкой скупые дневниковые записи».

Одна из этих тетрадей сохранилась и сейчас находится у друга и товарища Гайдара — И. Халтурина.

Как удивительно читать такие скупые строчки:

«...работаю над «Мальчишем-Кибальчишем». Обстановка для работы не очень подходящая, ну, да наплевать».

Какую надо было иметь силу воли, какую внутреннюю мобилизованность, чтобы работать в такой поистине «неподходящей обстановке!» Эта поразительная собранность, сосредоточенность на другой, не на своей жизни, на жизни, о которой он рассказывал в своем произведении, была, конечно, и лучшим лекарством, могучим средством борьбы с болезнью.

«Сегодня в первый раз не выполнил нормы — то есть не написал шести страниц,— записывает Гайдар 17 августа.— Но зато у меня есть несколько страниц в запасе, это те, что я писал сверх нормы. Кроме того, сегодня я разрабатывал наметку... и вся повесть лежит теперь передо мной как на ладони. Стоят теплые солнечные дни. Может быть оттого, что именно в эти дни — ровно год назад — я был в Крыму, мне легко писать эту теплую и хорошую повесть. Но никто не знает, как мне до боли жаль, что он (Алька) в конце концов погибнет. И я ничего не могу изменить. Я могу только сделать, если это в моих силах, чтобы оставить крепкую память и горячую любовь к этому маленькому и Верному Человеку».

Дальше в дневнике перечисление точного плана повести до самого конца и 18 августа запись:

«Конец.

Солнце. Пишу быстро и уверенно. Удивляет молчание Молодой Гвардии. Впрочем и на это мне пока наплевать. Сейчас главное — это писать.

Как я сейчас живу:

Весь в книге — весь около тени — Марицы Маргулис, около Альки и Натки. И страшные бессмысленные рожи больных мне невидимы или безразличны.

Иногда подойдет какой-нибудь идиот — хуже всего, если из здоровых, фельдшер или фельдшерница...— Пишете? — Пишу.— Поди, стишки сочиняете? — Нет, не стишки...— А я, знаете, стихи люблю... У нас вот тоже один больной лежал, все пишет и пишет... Портной один: хорошие костюмы шил, нашему завхозу брюки и пиджак сшил... тоже, бывало, все пишет и пишет...

Очень хочется часто крикнуть: идите к чертовой матери! Но сдержись. А то переведут еще вниз, в третье буйное, а там много не напишешь. Там у меня за одну ночь украли папиросы и разорвали на раскурку спрятанную под матрац тетрадку. Хорошо еще, что тетрадка была чистая.

За свою жизнь я был в лечебницах, вероятно, раз 8 или 10. И это единственный раз — эту хабаровскую, сквернейшую из больниц,— я вспомню без озлобления, потому что здесь будет так неожиданно на-

писана повесть о «Мальчише-Кибальчише...»

И после этой записи нарисована гайдаровская пятиконечная звездочка с лучами.

«Самолечение» работой над книгой очень быстро дало свои результаты. Гайдар поправился — его уже стали отпускать в город.

«Сегодня ходил в отпуск в город,— пишет он уже 20 августа,— а то в этой больнице можно подохнуть с голоду. Дают только хлеб да вареную ячменную крупу. Вернулся, устал и потому написал мало.

Что на завтра? — Подготовка к костру. Иоська—Владик».

На другой день:

«Сегодня много работал. Доктор Харченко достал мне еще одну полную клеенчатую тетрадку. Пишется хорошо. Написал уже немало — и по ходу повести видно, что кое-что в целом надо изменить (перечислены изменения.— В. С.). А в общем я подряд еще не пересчитывал того, что написал,— все откладываю. Итак, что на завтра? Сцена с телеграммой... Сказка... Подслушанный разговор. Крепкая дружба».

23 августа знаменательная запись:

«Сегодня я неожиданно, но совершенно ясно понял, что повесть моя должна называться не «Мальчиш-Кибальчиш», а «Военная тайна». Мальчиш остается мальчишем,— но упор надо делать не на него, а на «военную тайну», которая вовсе не тайна».

Эта запись чрезвычайно важное свидетельство, как многое осмысливалось и преобразалось под пером Гайдара именно в процессе работы, в процессе выполнения первоначального замысла. Слова здесь относятся как будто к заглавию книги, но по существу речь идет не только о названии. На первый план выступает не герой сказки, не сама сказка, а мысль о «военной тайне», которая вовсе не тайна», идея нашей революционной силы, идея верности в самом широком смысле слова. А тут же рядом, но где-то в глубине сердца все время воспоминания, личная боль и тревога.

«Солнце. Золотая осень. Прошлый год — черкеска Тимура и его красная матросская бескозырка. С е в а с т о п о л ь. Тревога... нарастающая по часам, по мину-

там, грехога... не понятная никому, кроме моего родного мальчюныша Тимуреныша.

— Папка! Ну, что ты все молчишь? То говорил, а то молчишь? Ну, папочка! — На минуту вспомнил сейчас я этот Севастополь — и не хочу больше. Как хорошо, что все это уже прошло и все прошло.

Удивительный этот дневник Гайдара! Поистине это повесть о том, как писалась книга, повесть, открывающая самый процесс работы писателя с небывалой еще прямоотой и без всякого кокетства, без всякой игры с собой — какой-то поразительный самоконтроль, констатация всего, что происходит в момент работы. Вот подлинное доказательство сознательности творчества!

«Работаю — сделал за день семь страниц. Но не в этом ценность дня. Ценность в том, что уже под вечер я случайно натолкнулся на ружье — а это ружье и есть недостающее звено всей повести, в деле проведения второй параллельной линии — Владик — Толька — Дягилев...»

В другом месте — немного дальше — он пишет опять:

«Сегодня много написал, но очень много и зачеркивал. Дело в том, что неожиданно выплыл Гейка».

«Случайно натолкнулся на ружье», «неожиданно выплыл Гейка» — как это характерно для тех упорных поисков писателя, во время которых и являются всякие «счастливые находки», определяющие тот или иной поворот сюжета. Об этом хорошо сказано у Станиславского — о «потрясающей, оглушающей, осеняющей неожиданности! Она вырывает почву из-под ног и вдруг подводит другую, на которой смотрящий зритель никогда не стоял, но которую он отлично знает чутьем, предчувствием, догадкой...».

Так работает всякий художник. Но удивительно, что Гайдар, работая упорно и интенсивно над повестью, одновременно как бы сам следит за своей работой, как самый придирчивый и зоркий исследователь, отмечая все самые интересные моменты и даже находя им совершенно точные определения. «Это ружье и есть недостающее звено... второй параллельной линии» повести — как точно сказано!

И в то же время он все видит вокруг — все, что делается в больнице. С отвращением пишет он в дневнике об укрывающихся в больнице белых офицерах и всякой «сволочи», о паразитах-самоснабженцах, живущих «за счет бессловесных идиотов». «Стена высокая — никто не заглянет», — горько говорит он. «Выйду из больницы — шарахну по ним хорошенькую статью — поядовитей».

Наконец 28 августа коротенькая запись. «Сегодня у меня рекорд — написал 12 страниц, работал с обеда до позднего вечера» — и дальше идет целиком вся «сказка о Мальчише-Кибальчише» (двадцать одна страничка тетрадки).

Это единственный кусок книги, приведенный в дневнике не в виде схем, планов, кусков, заметок, а целиком, правда, со множеством помарок и исправлений. Кстати: эти исправления — почти все сокращения. Сначала написано: «Высунул голову Мальчиш-Кибальчиш. Видит сквозь окно — стоит у окна всадник» — «сквозь окно» потом вычеркнуто. «— Эй, вставайте! — сказал всадник. не слезая с коня: — Пришла беда, откуда не ждали!» — «не слезая с коня» вычеркнуто, а «сказал» — заменено «крикнул». Или: «Глянул мальчиш — вновь у окна всадник — только конь уже другой, плохой да усталый» — заменено «только конь худой да усталый». Видно, как Гайдар стремился убирать все лишнее в романтической ткани сказки «бытовые словечки», стремился передать пафос романтического звучания ее.

Сказка в дневнике не закончена. На середине последней страницы после фразы: «И стало нам страшно» — пропуск, чистые строчки, потом слова «как бури, как гром», опять пропуск, потом одно слово «флаг», опять пустые строчки и дальше что-то совсем неразборчивое.

И вот 30 августа последняя больничная запись:

«Написал только 2½ страницы. Очевидно, немного устал. Надо чуть отдохнуть. Сегодня выписываюсь из больницы. День хрустально-осенний — первые уже сухие листья. И так год прошел. С огромным облегчением думаю об этом. Это был тяжелый и странный год. Но в общем ничего особенного не случилось, жизнь идет своим чередом и в конце концов теперь видно, что не такое уж непоправимое было в меня горе.

— Москвы я больше не боюсь».

И дальше коротенькая запись карандашом:

«18 сентября. Восьмые сутки в курьерском поезде № 1 Владивосток—Москва. Запомнился Я б л о н о в ы й х р е б е т».

Проведена толстая лиловая черта — и дальше другими чернилами, более четкими, и более ясным и четким почерком:

«Ильинское. Дом отдыха под Москвой, 28 октября 1932 года.

Два месяца не притрагивался к повести «Военная тайна» — месяц в Москве прошел, как в чаду. Встречи, разговоры, знакомства, ссоры... Ночевки где придется. Деньги, безденежье, опять деньги. Относятся ко мне очень хорошо, но некому обо мне позаботиться, а сам я не умею. Оттого и выходит все как-то не по-людски и бестолково. Вчера отправили меня, наконец, в дом отдыха Огиза дорабатывать повесть.

«Сказка о военной тайне» выходит отменно.

...А вообще суматоха, вечеринки, пьянки и все оттого, что некуда девать себя, не к кому запросто пойти, негде даже ночевать... В сущности, у меня есть только — три пары белья, вещевого мешок, полевая сумка, полшубок, папаха — и больше ничего и никого — ни дома, ни места, ни друзей. И это в то время, когда я вовсе не бедный и вовсе уж никак не отверженный и никому не нужный. Просто — как-то так выходит.

...Солнце яркое, теплое. Под окном — серебристая елка».

И дальше запись от 31 октября, обведенная толстой чертой, как траурное извещение:

«К своему глубокому огорчению, перечитав в первые все то, что мною уже написано, я совершенно неожиданно увидел, что повесть «Военная тайна» — никуда не годится и надо переделывать ее с самого начала».

Это тоже очень непосредственная и такая правдивая реакция писателя, знакомая многим и многим, — огорчение от несоответствия написанного тому «идеальному представлению», тому замыслу, какой озаряет голову художника, в сравнении с чем создание всегда кажется жалким и несовершенным.

Но это первое разочарование не остановило Гайдара. Уже через две недели он опять записывает в дневнике:

«Насчет «Военной тайны» — это все паника. И откуда это я выдумал, что повесть «никуда не годится», — хорошая повесть».

И все-таки она далась ему с великим трудом. Разрешаю себе смелость сказать, что она так и осталась не вполне завершенной. Слишком много было вложено в эту повесть, слишком глубоко-подспудно присутствуют в ней мысли и чувства, может быть недостаточно выявленные. Понстине Гайдар «связал в один крепкий узел» все пережитое им, а книгу написал «совсем о другом». Жгучая боль от «измены» близкого человека вызвала мысли о верности и измене «в самом глубоком и широком смысле». Как все книги Гайдара, «Военная тайна» — книга о воспитании. Гайдар знал, что надо с малых лет учить человека быть верным, не изменять данному слову, другу, товарищу, памяти друга, общему делу, революции, самому себе, самому лучшему, что есть в человеке. Надо зорко следить, чтобы не прокралась измена ни в сердце человека, ни в стан борцов за счастливую жизнь для всех людей.

Так родилась тема бдительности. А эта тема сейчас же связалась с характерными для времени, когда писалась книга, явлениями действительности — с теми помехами, которые создавали враги революции широко разворачивавшемуся социалистическому строительству в нашей стране в годы первых пятилеток. А говоря о врагах революции, нельзя было не рассказать о жестокой классовой борьбе, о тайных врагах, оставшихся в стране от старого, и о наших врагах и друзьях за рубежом. Так возникла в повести тема интернациональная — тема дружбы народов и тема империалистической войны.

Несомненно, книга помогла Гайдару изжить свое личное горе — и замечательно, что из своего личного опыта он сделал выводы самого большого, глубокого и широкого общественного смысла.

Маленький Алька написан, конечно, с Тимура. Об этом прямо пишет Гайдар в своем дневнике:

«Интересно как будет читать и понимать он мою «Военную гайну». Ведь Алька — это он сам».

Смерть Альки в повести, против чего при появлении книги протестовали не только педагоги, но и сами маленькие читатели,— это кульминация, момент наиболее острого напряжения действия. Гайдар горячо отстаивал необходимость этого момента в книге, хотя сам — художнически и человечески — пережил эту выдуманную смерть почти как подлинную утрату своего ребенка. На одном обсуждении повести — в Доме пионеров в Ростове — ребята протестовали против того, что писатель «убил» Альку. Гайдар писал потом редактору своей книги С. Разумовской: «Посылаю Вам протокол обсуждения «Военной тайны», который мне прислали из Ростова,— это они без меня читали еще не правленную мной, оставленную им рукопись. Не правда ли, здорово? Насчет другого конца вы им не верьте. Это им не другой конец нужен — это им Альку жалко. А сделай я другой конец — и вся книга крепко потускнела бы. Мы-то с вами это хорошо понимаем».

Время, сама жизнь доказали всем, даже маленьким читателям, что Гайдар был прав. Бессмысленная, неоправданная, «случайная» гибель маленького героя «Военной тайны», так полюбившегося читателям, была необычайно сильным выражением несправедливости, жестокости враждебной силы, пытавшейся помешать мирной и радостной жизни в нашей стране. Ничто не могло бы больше взволновать читателя, чем эта жертва вражеской злобы...

Гайдар ответил ростовским пионерам замечательным письмом:

«Дорогие ребята!

Мне из Москвы переслали ваши письма и отзывы на мою повесть «Военная тайна».

...Я отвечаю вам на два главных вопроса: зачем в конце повести погиб Алька. И не лучше ли, чтобы он остался жив... Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, чтобы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев.

Но этого в жизни не бывает...

Вам жалко Альку. Некоторые ребята в своем отзыве пишут мне, что им даже «очень жалко». Ну, так я вам откровенно скажу, что мне, когда я писал, было и самому так жалко, что порою рука отказывалась дописывать последние главы.

И все таки это хорошо, что жалко. Это

значит, что вы вместе со мною, а я вместе с вами будем еще крепче любить и Советскую страну, в которой жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, которые брошены на каторгу и в тюрьмы.

И будем еще больше ненавидеть всех врагов: и своих, домашних, и чужих, иностранных,— всех тех, что стоят поперек нашего пути и в борьбе с которыми гибнут наши лучшие больше и часто — маленькие товарищи».

Интересна судьба этого гайдаровского письма. Библиотекарь ростовской детской библиотеки М. Жак сохранила это письмо в годы Великой Отечественной войны, когда Ростов был занят фашистами, увезла его с собой в эвакуацию и уже после войны переслала его И. Халтурину, который в 1934 году сопровождал Гайдара во время его поездки в Ростов и присутствовал на чтении «Военной тайны» в Доме пионеров. Халтурин передал это письмо в журнал «Пионер», где оно и было напечатано в 1949 году (№ 5).

Прошли годы. Прошла над миром страшная война, погубившая, искалечившая, осиротившая столько детей во всем мире! И вот разве не находим мы подтверждение Гайдару, когда в каждой статье, в каждом лозунге борьбы за мир во всем мире мы говорим о детях, чья жизнь и счастье в первую очередь под угрозой, в опасности?

С точки зрения литературной смерть Альки в «Военной тайне» в свое время рассматривалась некоторыми критиками как прием, традиционный для старой, «жалостливой», сентиментальной детской литературы. Это глубоко неверно — и не только по воздействию, но и по обстоятельствам, по мотивировкам случившегося. Гайдар вовсе не хотел «разжалобить» детей-читателей, он хотел, чтобы они пережили это сильное нравственное потрясение так, чтобы оно родило в них протест,— и этому протесту писатель ясно указал направление. Алька был убит бандитом «киз-за угла», в порыве ненависти ко всему советскому, светлому, светлостому,— тем самым он является как бы участником борьбы, которая идет в мире за эту самую ясную, счастливую, мирную человеческую жизнь.

Когда я думаю о смерти Альки в «Военной тайне», мне невольно приходят в голову два произведения замечательных писателей — две сказки, в которых показана

смерть ребенка: это «Девочка со спичками» Андерсена и «Мальчик у Христа на елке» Достоевского.

В обеих сказках с необыкновенной силой показана бедность, нищета, покинутость ребенка-сироты на шумном праздничном пире (причем эта бедность, холод, голод, заброшенность одинаковы и в большом датском городе и в трущобах старого Петербурга), и все это вызывает жалость к ребенку, но не вызывает никакого протеста, ибо нет виноватых, нет ничьей вины в смерти этих детей, напротив, сама смерть показана как избавление от тяжелой жизни, как уход с холодной и темной земли «к Христу на елку», где светло и радостно, «где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Да, эти дети были нищи, и голодны, и покинуты на земле, они страдали и мучились, они умерли наконец, бог взял их к себе — и теперь им хорошо и не надо о них тревожиться. Вот что говорят эти старые, проникнутые христианской моралью сказки. Так успокаивали, убаюкивали эти поистине «рождественские сказки» видения злых противоречий неустроенной человеческой жизни, тревогу человеческой совести, детское недоумение перед несправедливостью в мире.

Характерно, что смерть показана детям только в сказке, в обычных же реалистических «рождественских рассказах» старой литературы дело никогда не доходило до гибели сирот, обязательно являлся избавитель в лице какого-то прохожего, непременно богатого, почему-то в этот вечер одинокого и уводящего бедного малютку со снежной улицы в блестящий мир изобилия и довольства. В действительности все это более невероятно, чем замерзание «девочки со спичками» или смерть мальчика в ледяном подвале. Но, как и в сказках, тут тоже нужно было примирение с действительностью, хотя бы временное и эфемерное.

Реализм Гайдара даже в этой самой романтической его повести, даже во вводной сказке о Мальчише-Кибальчише не допускает такой общепринятой для старой детской литературы «полуправды». В «Военной тайне» — подлинная жизнь, наша действительность со всеми приметами начала тридцатых годов, со всеми острыми проблемами нашей внутренней и международной политики; подлинный пионерский лагерь на Черном море, подлинная стройка

в горах, подлинные вредители, подлинные военные тревоги, подлинные большие и светлые интернациональные революционные мечты и идеалы. А главное — подлинные советские люди и подлинные советские дети-пионеры, с обычными ребячьими проделками и желаниями, но и с совершенно новыми мыслями о настоящем и будущем, о своей стране и о своем назначении.

Когда в повести разговаривают два мальчика о возможности войны с капиталистическими странами, можно быть уверенным, что это разговаривают вместе с ними все вообще наши дети, так хорошо всегда понимаемые и слышимые Гайдаром.

«— Толька! — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели. — А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света и разбили бы они Красную Армию и поставили бы они все по-старому?.. Мы бы с тобой тогда как?»

— Еще что! — равнодушно ответил Толька, который уже привык к странностям фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию, — упрямо и дерзко продолжал Владик, — перевешали бы коммунистов, побросали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?»

— Еще что! — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. — Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам все ты знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает..

...— Ну, и пусть глупый! Пусть знаю, — спокойнее продолжал Владик. — Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?»

— Тогда бы и придумали, — вздохнул Толька.

— Что тут придумывать? — быстро заговорил Владик. — Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда!»

Этот разговор, уже цитировавшийся в статьях о «Военной тайне», чрезвычайно интересен как отражение действительных проблем жизни в разговорах ребят. Постоянное предчувствие новых и новых битв,

предстоящих Советской стране, требовало заранее решения — как быть, как поступать? — даже у детей, а может быть, именно у детей в такой прямой форме. Вера в революционную правду нашей жизни и, в особенности, нашего пути к будущему рождала уверенность в нашей силе (ведь для детей справедливость — сила), в нашей Красной Армии, в нашей конечной победе. И каждый малыш для себя уже решал: «— Тогда бы мы с тобой как?»

Решать этот вопрос помогала маленьким читателям и «сказка о военной тайне», рассказанная вожатой в отряде, и вся жизнь вокруг, и даже гибель маленького светлого мальчика, которого так полюбили пионеры.

Разговор Владика и Тольки интересен еще характерным для Гайдара построением диалога детской речи. Трижды, как в сказках, и каждый раз с особым оттенком звучит вопрос: «Тогда бы мы с тобой как?» Конечно, это услышано у детей, но сделано по-своему, по-гайдаровски, в своеобразном ключе романтической приподнятости, которую он так любил не только в своих книгах, но и в письмах и даже в повседневной речи.

Эта романтическая приподнятость в особенности присуща «Военной тайне», составляет стиль повести. Если не в речи, то в ритме происходящего мы все время ее ощущаем. Взять хотя бы короткий эпизод в вагоне, когда Натка впервые наблюдает Альку с отцом.

«Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон (ресторан.— В. С.) вошли еще двое: высокий, сероглазый, с крестобразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.

— Сюда,— сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа...— попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом,— ответил отец.

— Ладно, потом,— согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька,— попросил он,— я забыл спички. Пойди принеси.

— Где?— спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто,— повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче раскрыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, завистел кондуктор.

Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам принес,— спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю,— ответил отец.— Но я вспомнил, что позабыл другую газету».

Этот крошечный быстрый эпизод воспроизводит почти буквально подлинный случай из поездки Гайдара с маленьким Тимуром на юг в то знаменательное лето. Гайдар сам рассказывал мне, как волновался, выйдя из вагона и ожидая Тимура на платформе. Но когда мальчик появился со спичками в руках, Гайдар сделал вид, что вышел купить газету, и не торопясь вернулся с сыном в вагон.

Любовь к ребенку не мешала Гайдару правильно его воспитывать: он никогда не мог унижить маленького человека неверием в его силы, он учил ребенка смелости и ответственности с самых ранних лет.

Учить смелости? На первый взгляд кажется, что это парадокс, ведь часто говорят: вот этот ребенок растет смелым, а этот явный трус. Принято думать, что это черты характера, черты, присущие человеку чуть ли не от рождения. А между тем жизнь показывает, что детей можно и должно учить не только ходить, говорить, умываться, чистить зубы, читать, писать, но и любить и ненавидеть, быть смелым, быть честным, быть правдивым, учить даже чуткости к людям.

Развивать ум, упражнять волю, воспитывать чувства — эти три золотых правила педагогики Гайдар великолепно умел объединять в замыслах своих книг. Главное, чему он учил: не бояться жизни. Гайдар не прятал детей от жизни, как было в старые времена в буржуазной педагогике, не боялся, что детей испортит преждевременное знакомство с темными сторонами

жизни. В «Военной тайне» действие происходит в пионерском лагере, как будто в ребячьей среде, отделенной от взрослых. И тем не менее самые жгучие вопросы современности волнуют там детей, и они решают для себя самые важные и кардинальные вопросы — измены и верности, предательства и стойкости, интернациональной дружбы. И даже смерть своим страшным появлением омрачает жизнь пионерского лагеря — и все-таки она не ранит детские сердца ужасом и безнадежностью.

Письмо к ростовским пионерам является драгоценным авторским комментарием к повести «Военная тайна». С удивительной, именно ему присущей ясностью раскрывает Гайдар свою мысль, заложенную в книге.

«Почему «Военная тайна»? Конечно, по сказке. В сказке Буржуин задает три вопроса: первый из них — нет ли у побеждающей Красной Армии какого-нибудь особого военного секрета или тайны ее побед? Тайна, конечно, есть, но ее никогда не понять Главному Буржуину. Дело не только в вооружении, в орудиях, в танках и бомбовозах. Всего этого немало и у капиталистов. Дело в том, что наша Армия знает, за что она борется. Дело в том, что она глубоко убеждена в правоте своей борьбы. В том, что она окружена огромной любовью не только трудящихся Советской страны, но и любовью миллионов лучших пролетариев капиталистических стран. И, наконец, вспомните те строки из повести, где Натка задумывается над тем, что теперь она по-новому, по-иному поняла и спокойные глаза Альки и упрямую хватку Баранкина, и холодный, беспощадный взгляд Владки. Что же она, в сущности, поняла?

Да то, что в помощь Красной Армии подрастает такое поколение, которое поражений знать не может и не будет.

И это у Красной Армии — тоже своя военная тайна.

А каково это поколение — как оно пока живет, что делает, что думает, — обо всем этом я и написал, все это и попробовал я раскрыть в своей повести».

Надо сказать прямо, что этот комментарий нужен был детям. Аллегоричность вставной сказки затрудняла ее понимание для маленького читателя. Попытки Гайдара найти характерные, мальчишеские прозвища для героев сказки — Мальчиш-Кибальчиш, Главный Буржуин и другие — звучали выдуманными, особенно в устах Натки,

которую писатель сделал в повести рассказчицей сказки. Гайдар несколько раз переписывал «сказку о военной тайне», уже в дневнике видно, как много он вносил в нее поправок, тем не менее, чрезвычайно важная по замыслу, она кажется мне по ее словесному выполнению не вполне органичной в повести. Только огромная сила внутреннего пафоса, настоящей глубокой взволнованности самого писателя все же течет где-то подспудно в сказке и воздействует, несмотря на аллегоричность, которая всегда опасна для сказки.

Повесть «Военная тайна» — самое романтическое и, думается мне, самое заветное для самого писателя произведение Гайдара. Начатая в 1932 году, она появилась в печати (в журнале «Красная новь» и отдельной книгой в Детгизе) только в 1935 году. И даже для второго издания в 1936 году Гайдар еще дорабатывал ее, дописывал новые куски и исправлял отдельные места.

Зная теперь, как она была написана, как трудно она создавалась, мы можем свидетельствовать с глубоким уважением, что личная боль и тайные испытания сердца писателя вливаются здесь в большой и сильный поток жизни, очищаются и преобразуются в нем в большую думу о будущем страны, человечества, о новых поколениях советских людей, о воспитании больших и достойных нового человека чувств.

«В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек», — говорится в заключительной главе повести. И кажется, что вся повесть пропитана этими тревожными запахами — необычайно сильно воспроизведена в ней именно та бурная, и беспокойная, и радостная атмосфера времени. Этот «образ времени», видно, хотелось показать Гайдару больше всего в этой своей книге. Он искал каких-то обобщений, выводов, итогов. Отсюда та аллегоричность, которая есть и в самом конце повести.

Проводив в дальнюю дорогу Сергея, отца Альки, Натка идет по Москве, и смотрит вокруг, и думает.

«...Она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто... И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно..»

Мельком взглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидела,

как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице.

Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидела покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовой башни.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец.

У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у них дорогу.

Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал.

И эта бабка, слушающая радио, и эта разрушенная часовенка, и этот новый светлый дворец, который охраняют три товарища с винтовками, и играющие дети, и

даже этот дождь, которого не замечает Натка, и смеющийся мальчик — все это многозначительно, все это символы нашей жизни, тех бурных и веселых лет — тридцатых годов нашего века, — в которые жил и которые так остро чувствовал и любил писатель Гайдар.

Сама история создания повести «Военная тайна» есть история борьбы за жизнь и победы самых высоких и чистых чувств и идей, она вызывает законное уважение к упорному труду писателя, к тому великому напряжению всех сил, какого требует писательская работа; эта история открывает нам сокровенную лабораторию литературы, разбивает вдребезги очень распространенное, к сожалению, представление о «кабинетной», уютной и беззаботной деятельности писателя.

«Кабинет?» — спросил бы Гайдар и усмехнулся, как усмехается один из его героев, полковник Александров из повести «Тимур и его команда», открывая тяжелую стальную дверь бронепоезда и вспоминая вопрос дочери: «В мягком (вагоне.— В. С.)?»

— Да! В мягком...»

Вот почему я сочла нужным рассказать, как была написана «Военная тайна».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Гоффеншефер. Глазами народа.— **А. Кондратович.** «Лобастые мальчики революции». — **Е. Калмановский.** Рассказы о природе.— **С. Бабенышева.** Обыкновенное и необыкновенное чудо — **Г. Владимов.** Три дня из жизни Холдена.— **Н. Вильмонт.** Интересная книга.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. История гражданской войны завершена.— **А. Марьямов.** Североморец.— **И. Лунин.** Печать Советской Армии.— **В. Копылов,** кандидат исторических наук. Под знаменем пролетарского интернационализма — **Виктор Шкловский.** Что видит «Вокруг света». — **В. Базынин.** Путеводитель по Луне.

Литература и искусство

ГЛАЗАМИ НАРОДА

Борис Галин. Строитель нового мира. Очерки о Ленине. Редактор Д. Юферев. «Советский писатель». М. 1960. 320 стр.

Прелестивая «Беднота» за 1920 год, Борис Галин нашел в ней письмо, посланное Ленину четырнадцатилетним деревенским комсомольцем Сеней Ширяевым. Паренек сообщал Ленину, как проводилась у них в деревне «неделя фронта» и как открыли столовую для детей. А в конце письма просил: «Пришлите хотя весточку о Вашей работе, о чем Ваши мысли о будущем» («Письмо Ленину»).

В этом письме не чувствуется ни робости, ни панибратства. Юный участник великого дела обращается к «главному этого дела» с просьбой поделиться мыслями о будущем. И письмо трогает не только своей непосредственностью, но и тоном обращения. Может быть, именно благодаря этому в письме очень ярко сказалось отношение народа к Владимиру Ильичу, отношение, которое не могло не волновать самого Ленина. В другой очерке — «Встречи рабочих с Лениным» — Галин находит превосходные слова для характеристики чувств, возбуждаемых в великом революционере и скромном человеке отношением к нему тру-

дящихся. Рассказывая о том, как рабочие «Динамо» просили Ленина беречь себя, Галин пишет, что Ленина тронула эта «от всего сердца идущая забота рабочих о своем товарище» (разрядка моя.— В. Г.).

Хотя автор очерков нигде не полемизирует по поводу того, как нужно изображать Ленина, его очерки сами по себе полемичны: они воюют за ленинское понимание связи вождя социалистической революции с массами рабочих и крестьян и за ленинские принципы в изображении этой связи, противостоящие субъективно-историческим тенденциям культа личности.

И конечно, дело здесь не ограничивается областью эмоциональной, изображением тех чувств товарищества, любви и взаимного уважения, о которых говорилось выше. Галин рассматривает единство вождя и народа в самом широком разрезе — и философском, и политическом, и эмоциональном.

За последние годы в нашей прессе появилось немало статей и очерков, идущих по следам фактов и событий, упоминаемых

в сочинениях и выступлениях Ленина, по следам людей, о которых он говорил или с которыми встречался. ...Вот рассказывают нам очеркисты, как сегодня выглядит село, куда Ленин приезжал на открытие электростанции; вот описание встречи Ленина с деревенскими ходоками и рассказ об их дальнейшей судьбе; вот воспоминания о выступлениях Ленина на заводском митинге и рассказ о сегодняшнем дне предприятия, о его ветеранах и о новых поколениях рабочих... Такие описательные очерки полезны и тем, что восстанавливают в памяти народа эпизоды из жизни Ленина, показывают живые черточки его облика, и тем, что используют труды и речи Ленина и воспоминания о нем как материал для исторических сопоставлений — чтобы показать зачинателей великого дела и огромный путь, пройденный страной в строительстве новой жизни.

Но существует более глубокая вспашка материала. Ее показывает в своих очерках Борис Галин. Пытливое чтение ленинских строк — от больших теоретических работ до служебных записок Председателя Совнаркома и до пометок Ленина на полях книг и журналов, — поездки по ленинским местам и корреспондентские беседы с людьми, знавшими Ленина или причастными к ленинским начинаниям, — все это подчинено в очерках Галина освещению больших проблем ленинского мышления и ленинского стиля руководства.

В каждом произведении сборника — от небольшого наброска из цикла «Читая Ленина» до обширного очерка об энтузиастах Гидроторфа («Азарт юности») — писатель показывает нам живую жизнь, сгоявшую за строчками ленинских статей и теоретических обобщений, реальный опыт революционных масс, на который опирался Ленин, тесную связь теории с практикой. Каждое описание встречи Ленина с рабочими и крестьянами — а таких описаний в сборнике много — представляет собой рассказ об огромной вере Ленина в революционные силы и гворческую инициативу трудящихся, о той вере, которая позволяла ему говорить народу горькую правду о трудностях, стоящих перед строителями нового общества, и смело предлагаться на них — хозяев своей судьбы — при преодолении этих трудностей.

Галин рассказывает обо всем этом в форме несколько необычной и, по моему

мнению, иногда не совсем еще определенной. Его очерки — это своеобразная мозаика из цитат, живых эпизодов, портретов, личных впечатлений и размышлений, публицистики, лирики. Все это скреплено или сквозным сюжетом или единством мысли, позволяющим вводить материал и по близким связям и по далеким ассоциациям.

Чтобы понятно было, какие задачи ставит перед собой писатель и как он их решает, можно, например, взять хотя бы очерк под названием «Сим победиши!».

В «Великом почине» Ленин писал об инициативе рабочих, организовавших коммунистические субботники, о ростках коммунизма, о новом отношении к труду. История первых субботников широко известна. Но в поисках экономических, политических, психологических корней этого явления Галин вносит в известную историю новые черточки.

Он начинает очерк «Сим победиши!» с рассказа о том, какое огромное впечатление произвел на комиссара депо Москва-Сортировочная слесаря Буракова доклад, сделанный Лениным 3 апреля 1919 года на чрезвычайном заседании Моссовета. В этом докладе говорилось о трудностях, стоявших на пути к победе над белогвардейцами и Антантой, о разрухе на транспорте и необходимости скорее преодолеть ее и о рабочем классе как решающей силе в организации победы, которая не за горами.

Под впечатлением напряженной обстановки, обрисованной в этом докладе, и сознавая высокую ответственность и надежду, которую Ленин возлагает на рабочих, Бураков на заседании партийной ячейки предложил остаться после работы в депо и безвозмездно отремонтировать паровозы. В описании этой знаменательной субботы 5 апреля 1919 года, явившейся прообразом последующих коммунистических субботников, имеется ряд волнующих деталей — плакат, на котором было написано: «Победа начинается в мастерских, катится по рельсам и кончается на фронте ударом штыка!», работа под пение «Варшавянки», проводы воинских эшелонов — их везут на Восточный фронт только что отремонтированные паровозы, — эпические записи о проделанной работе в протоколах партийной ячейки...

Я не стану пересказывать дальнейшие события этого очерка. Важно было обра-

тить внимание хотя бы на первые эпизоды, в которых изображено, как правдивое слово Ленина вызвало действительную инициативу рабочих и как он в «Великом почине» высоко оценил эту инициативу, теоретически обобщил ее, показав ее принципиальное значение для развития коммунистического отношения к труду и повышения производительности труда. Оценил и показал не для отвлеченных выводов, а опять-таки ради практики революционного строительства, ради поддержки и развития ростков нового, ради ускорения победы над врагами и разрухой.

В изображении этого непрерывного процесса взаимного обогащения, при котором Ленин черпал из жизни народной опыт, силу и уверенность в победе, а сам вливал в нее свою неиссякаемую мудрость и энергию и на многие годы вперед освещал народу дорогу в будущее, в изображении этого процесса — большая удача Галина. Этот процесс стал как бы лейтмотивом книги. И в связи с этим очерки Галина о Ленине одновременно являются и произведениями на первом поколении строителей нового мира. Каждый из многочисленных героев сборника — от чернорабочей Кабановой, снаряжавшей песком воинские паровозы, до инженера Классона, «технические идеи которого получали громадный революционный размах благодаря ленинской поддержке», — озарен не только светом рядом стоящего образа Ленина, но и светом того дела — большого или малого, — которое он выполняет.

Среди этих героев имеются люди, профессионально близкие самому автору. Не потому ли Галин открывает сборник рассказом «Портрет», что мысли и чувства его героя, художника, стремившегося познать

Ленина в его глубокой сущности и в его общении с народом, могли бы стать декларацией самого автора!

Задача, которую поставил перед собой Галин, очень трудна. «...Говоря о Ленине, невольно хочется говорить обо всем», — писал Горький. Книга Бориса Галина не только густо населена людьми, но и изобилует изображением, а то и простым перечнем ленинских дел и конкретных интересов. Конечно, любая мелочь, связанная с Лениным, интересна. Но подчас кажется, что стремление «говорить обо всем» приводит к загромождению того или иного очерка фактами необязательными или повторяющимися материал соседнего очерка (такие повторения имеются, например, в очерках, связанных с «Трехгоркой»). При сведении очерков в одну книгу нужно было смелее разгрузить их от второстепенных фактов и повторений. Это пошло бы на пользу не только композиционной собранности очерков, но и их пропагандистской действительности.

Как и другие произведения Галина (а из-за предмета изображения еще больше, чем другие его произведения), «Строитель нового мира» — превосходный пропагандистский материал. Книга не только дает читателю возможность ощутить живой образ Ленина, но и учит видеть живую связь теории и практики, учит применять ленинские мысли и ленинский стиль работы к конкретным делам сегодняшнего строительства. Не зря один из эпизодов очерка, заключающего сборник, эпизод, в котором появляется любимый герой Галина — старый донбасский пропагандист Пантелеев, — назван «Действенное оружие».

В. ГОФФЕНШЕФЕР.



«ЛОБАСТЫЕ МАЛЬЧИКИ РЕВОЛЮЦИИ»

Павел Коган. Гроза. Стихи. Предисловие С. Наровчатова. Редактор В. Фогельсон. «Советский писатель». М. 1960. 94 стр.

Вышел сборник стихов Павла Когана, и вновь я услышал знакомые строки. Именно услышал, потому что я никогда раньше не читал их, а только слышал. Да и многие ли читали их? Разве лишь в рукописном виде: при жизни сам молодой поэт не увидел ни одного напечатанного стихотворения, подписанного его именем.

Удивительная судьба? Нет. Судьба горькая и далеко не единичная, судьба юношей, только-только начинающих свое жизненное дело и навсегда отнятых у жизни войной. При имени Павла Когана сразу же вспоминается и погибший в атаке, такой же молодой, как и он, поэт Николай Отрада. и другой поэт, Николай Майоров, и где-то про-

павший без вести Михаил Кульчицкий, и ленинградец Георгий Суворов, и воронежец Василий Кубанёв, сложившие свои головы на поле боя...

Юноши, погибшие за Родину,— поэты и токари, математки и комбайнеры, летчики и сталевары — все они прошли один печально короткий путь. А были людьми разными и обещали разное и очень многое. Живой голос одного из них мы слышим сегодня. Это к нам, ушедшим вперед, обращается наша же юность и через наши головы — к будущим поколениям, к «мальчишкам иных веков».

Есть в наших днях такая точность,
 Что мальчишки иных веков,
 Наверно, будут плакать ночью
 О времени большевиков.
 И будут жаловаться мылом,
 Что не родились в те года,
 Когда звенела и дымилась,
 На берег рухнувши, вода.
 Они нас выдумают снова —
 Косая сажень, твердый шаг —
 И верную найдут основу,
 Но не сумеют так дышать,
 Как мы дышали, как дружили,
 Как жили мы, как впопыхах
 Плохие песни мы сложили
 О поразительных делах.
 Мы были всякими, любыми,
 Не очень умными подчас.
 Мы наших девушек любили,
 Ревнуя, мучась, горячась.
 Мы были всякими. Но, мучась,
 Мы понимали: в наши дни
 Нам выпала такая участь,
 Что пусть завидуют они.

Так, чуть-чуть неуклюже, писал «мальчишка тридцатых годов», твердо убежденный, что прекраснее его времени нет и не будет. А когда он читал эти свои стихи, то убежденность молодого поэта становилась убежденностью слушавшей его аудитории: читал он с поразительной энергией, уверенно отсекая голосом строку от строки, крупно, размашисто жестикулнруя. Он вообще казался выше, крупнее, чем был на самом деле,— гонкий, немного угловатый юноша обычного, среднего роста,— и я уже не помню, отчего это так казалось: может, оттого, что он больше, чем многие другие, был на виду,— там, где он появлялся, всегда кипели страсти, споры и, конечно, читались стихи. Страсти не утихающие, споры только резкие, стихи, конечно, всякие.

В Московском институте истории, философии и литературы, где учился Павел Коган, писали все — если не стихи,

так прозу, если не прозу, так глубокомысленные исследования. Был юноша, который сочинял своей возлюбленной сонеты на италийском языке в стиле Петрарки. Лаура выглядела современно, он — не очень. Но этому никто не удивлялся, потому что между лекциями по тому же коридору ходил мрачный сочинитель трилогии (разумеется, так и не свершившейся), а у окна стоял тихий и незаметный студент, владевший шестнадцатью языками — от таджикского до норвежского (ныне он крупнейший языковед, член-корреспондент Академии наук СССР), а неподалеку от него яростно гвоздили бедного Потембу неистовые марристы, еще плохо владевшие одним русским... Все писали, все сочиняли, все создавали свои учения и теории — такой это был институт.

Среди писавших был коренастый студент, веснушчатый, тихий и неожиданно крутолобий,— Косня Лашенко. Выступал он на собраниях литкружка редко, писал еще реже и совсем коротенькие стихотворения. Родом он был с Украины, говорил мягко, с придыханием, и стихи у него были нежные, удивленно наивные и вместе с тем тоже неожиданные:

От молочных моих зубов
 Только нежность одна осталась...

Во всем Павел Коган был ему полной противоположностью.

Я с детства не любил овал,
 Я с детства угол рисовал,—

с юношеской прямолинейностью рубил он.

И, прочитав, часто настороженно, с опаской спрашивал у Кости: «Ну как? Получилось?» Но Костя, несмотря на свою мягкость, был человек прямой в суждениях, стихи Павла далеко не всегда ему нравились, он говорил Павлу об этом, и тот слушал очень внимательно и смущенно. И никогда не сердился, только вспыхивал с веселым недоумением: «Ну когда же я тебя добыю, когда напишу, чтобы и тебе понравилось?» И уходил расстроенный, злой — на одного себя.

А однажды я видел его почти оглушенным, онемевшим,— это было в тот день, когда в газетах появилось сообщение о том, что в заключенном договоре о ненападении с Германией и всюду на первых страницах улыбался хорошо отработанной улыб-

кой Риббентроп. Понять целесообразность такого дипломатического акта ребята того времени, пожалуй, могли, но улыбаться — нет уж...

К чему я все это говорю? К тому, что по выходе сборника Павла Когана сразу же появились рецензии и статьи, в которых рассказывалось о поэте, о его товарищах. Статьи хорошие, взволнованные, и мне хотелось бы добавить к ним лишь одно — не так-то уж были просты, прямолинейны эти «мальчишки тридцатых годов», как порой они сами о себе писали; все еще в них бродило, формировалось — и галант, и характер, и взгляды. Они были, если можно так выразиться, на подходе к самим себе, к своей зрелости; со всей энергией и пытливостью юности они стремились разобраться, понять и время и самих себя, и когда говорили «о времени и о себе», то голоса их были необычайно чисты и столь же ломки.

Для меня сборничек Павла Когана не просто еще одна задержавшаяся в пути книжка стихотворений, а человеческий документ, оборванная пулей исповедь юности, такая же, скажем, как исповедь Сергея Чекмарева, появившаяся несколько раньше и тоже долго лежавшая в немоте.

У Чекмарева был больший опыт, у Когана — меньший: школа, первые курсы института, и все. Оттого у Чекмарева больше конкретных деталей, жизненных наблюдений, а стих Когана еще так «нематериален». Но это не риторика и не декламация: и то и другое предполагает наигрыш, холодную рассудочность. А Коган в той же степени, как и Чекмарев, был предельно искренен — в этом они были равны. Даже когда он говорит:

Двух пятилеток суровый огонь
Нам никогда не забыть.
Уже начинают сносить дома,
Построенные в те года,—
Прямолинейные, как приказ.
Суровые, как черствый хлеб.
Мы их снесем, мы построим дворцы,
Мы разобьем сады...
Мы научились платить сполна
Нервами и кровью своей
За право жить в такие года.
За ненависть и любовь,—

даже когда он говорит это, а с фотографии, открывающей сборник, на нас смотрит московский мальчишка с расстегнутым воротом юнгштурмовки, с милым открытым лицом, совсем не «суровый» и не «прямоли-

нейный», мы не видим в этом никакой позы, а лишь искренний порыв быть сопричисленным к рядовым революции и строителям новой эпохи, дышать с ними одним воздухом, жить с ними одной романтикой трудных побед. Таким воспитывало его время, жизнь. И он, как те ребята, которые серьезно и сосредоточенно шагают по улице рядом с настоящей колонной бойцов, был уже беспрдельно уверен, что он шагает в этой колонне. Поэтому он часто говорил «мы» даже о тех делах, в которых не участвовал, поэтому само время, сама эпоха была для него слитной, нераздельной, как одно непрекращающееся движение революции. Он мечтал написать поэму «Щорс» и написал только одно вступление к поэме, в котором говорит не о гражданской войне, а о будущем:

Я слушаю далекий грохот,
Подпочвенный, неясный гуд.
Там подымается эпоха,
И я патроны берегу.
Я крепко берегу их к бою.
Так дай мне мужество в боях.
Ведь если бой, так я с тобою,
Эпоха громная моя.

Как все — и молодые и старые, — он жил в конце тридцатых годов тревожным ожиданием надвигающейся войны, неминуемой схватки с фашизмом. Она не пугала его, он готовился к ней, ко всем ее трудностям и неисчислимым бедам. И этим молодой поэт был так непохож на многих поэтов той поры — и не только поэтов, — бодренько уверявших, что воевать мы будем легко и весело. Он видел путь к будущему другим, и думаю, что этот путь ему подсказывала не одна книжная романтика трудностей. В стихотворении «Ракета» он пишет об этом будущем как о реальности, которую «мы у мора отбили, отбили у крови, отбили у тупости и зимы». И он славит «принявших твердь и воду. Смерть. Холод. Бессонницу и бой».

Павел Коган говорил о «войне сорок пятого года». Он немного ошибся. Он не дожил целых три года до этой победной даты — даты не начала, а окончания войны. Он мало успел сделать, мало увидел. В 1939 году он поехал в Карелию и, весь переполненный стихами, — знал он их великое множество, — пожалуй, впервые столкнулся с реальным, некнижным миром. И увидел в нем настоящую поэзию. От поездки остались только два стихотворения: «Дорога на Тунгуду» и «Шуя-Ярви»;

наверно, больше он и не написал. Для меня, читателя, знавшего поэта, они особенно дороги. В них отчетливо видно, как книжная романтика охотно, «без боя», сдает свои позиции: открыто и радостно молодой поэт шел навстречу жизни. Там «тракторист зевал со сна. Мы закурили. Тени пали. Стояла плотная сосна, вполне пригодная на шпалы». Там «шофер курил, скрипел напильником. Дорогу в бога материл». Там «пили чай, пропахший хвоей. И целых три часа подряд я бредил наяву Москвою и станцией «Охотный ряд». Там юноша понял то, что приходит только от жизни:

Была ли в этой хвое сила,
Озерным ветром принесло,
Иль просто в воздухе носилось
И ждало настоящих слов,
Но только вдруг я понял сразу,
Какое счастье мне дано —
Простор
От Кеми до Кавказа
Считать родною стороною,
У черноморья по лиманам
Следить, как звезды проплывут.
И эту ясность пониманья
Обычно гордостью зовут.

И словно стесняясь высоких слов — подходила иная пора, пора зрелости, — поэт круто сворачивает к «прозе»:

Но чай допит.
Уже над ярами
В труде обычном проходил
Обычный день,
Он шел на Ярвы,
Как поседелый бригадир.

Подходила пора поэтической зрелости. Но ей уже не суждено было развернуться: война началась не в сорок пятом. Поэт стал бойцом. Он воевал не много, так же как не много и написал.

Он погиб под Новороссийском в 1942 году. Бр разведке. Там его и похоронили. Не найдешь теперь безымянный могильный холмик: от непогоды и знойной суши безжалостно быстро теряются никем не присматриваемые могилы Неизвестных солдат. Но память о них жива. И живой голос одного из них мы сейчас слышим. Он говорит с нами от имени «лобастых мальчишек невиданной революции». Так он называл свое поколение.

А. КОНДРАТОВИЧ.

★

РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ

Н. Сладков. Краешком глаза. Редактор Т. Боголепова. Лениздат. 1960. 214 стр.

Вот уже скоро десять лет, как Николай Сладков пишет о лесах, горах, реках и их обитателях. Первая его книжка вышла в свет в 1953 году. Последняя — «Краешком глаза» — появилась недавно и наиболее широко и полно открыла читателям ее автора.

«Краешком глаза» — название неточное, случайное: как раз Сладков смотрит на все вокруг очень пристально, во все глаза. Это книга неровная, есть в ней рассказы неудавшиеся, есть и как бы проходные, хорошо, казалось бы, написанные, но не характерные, не показательные для Сладкова. Здесь же речь пойдет именно о характерном, о наиболее интересном.

Сладков пишет короткие рассказы, но в отличие от некоторых, иногда талантливых, авторов, повествующих о природе и охоте, он не просто воспроизводит увлекательные эпизоды. Он хочет обнаружить в отдельном событии его внутреннюю логичность, пролить свет на общие законы природы. Оттого рассказы новой книги часто более емки, более насыщены и плотны, чем бывало прежде.

Первый рассказ — «Живая цепь» — произведение, для Сладкова характернейшее.

«Время идет. Плещет о тростники волна. Постукивают тростники. Засвистывают над головой тростниковые метелки.

Время идет, а ничего нового. Лысухи на плесах. Вороны на тростниках. Луни над тростниками. Орланы в небе, я в тростниковом кусту. Каждый сам по себе. Странен охотнику мир среди хищников.

А где-то слышны выстрелы. Кто-то придет с добычей...

Но вот над моим кустом потянула лысуха. Я не выдержал и выстрелил. Лысушка плюхнулась в воду, задрав вверх свои лягушечьи лапки.

И тут вдруг все перестало быть само по себе.

Все, как звено к звену, нанизалось в цепь. Рухнул неустойчивый мир.

Убитую лысуху заметили вороны. С карканьем они слетелись к ней и затеяли драку. Орущих ворон услышал лунь. Он кинулся на ворон, растопырив когти. Вороны не-

хотя взлетели и расселись по тростникам, обмакнув их метелки в воду.

Лунь стиснул лапками лысушку и, кланясь, стал выдирать перья.

И тут возню луня и ворон заметил с высоты орлан. Он упал вниз и над самым лунем и воронами распахнул свистящие крылья. Снизу, из подводных облаков, упал на луня второй орлан и тоже распахнул крылья. Лунь и вороны шарахнулись в стороны.

При виде мяса рушится у хищников самый крепкий мир.

Орлан потоптался на полегшем тростнике, неловко складывая крылья, потом неуклюже подскочил и сгреб лысушку когтями.

Но тут в эту живую цепь включился я. Грохнул выстрел.

Сладков открывает мир природы в его сложной слитности, в непрерывном движении. Жизнь природы не просто «протекает» — она полна активности, внутренней энергии, здесь всегда что-то завязывается, сталкивается, разрешается, и снова вспыхивают новые схватки, кипит новая бурная деятельность, не угасают борьба и тревоги.

В этом мире — свои правые и виноватые, своя солидарность и тупая жестокость, свое счастье и свое горе.

Страшна змея, которую встретил охотник и прирученный им волк Гель.

«Чувства Геля я узнавал по его глазам. Так же я поступил и с гадюкой: я присел и заглянул в ее глаза. Я ожидал увидеть в них боль, страх, злость. И не увидел ничего!

Пустые глаза. Желтые, с узкими черными щелками. Неподвижные. Холодные. Мой взгляд уперся в них, как в камень. В них не было глубины. По ним нельзя было узнать, почему змея свивает и завивает свое тело. Почему у нее мелко-мелко дрожит хвост. И что она чувствует».

«Мерещится мне всюду драма», — мог бы сказать Сладков, будь он хоть немного более склонен к декларациям. Драма — это и есть тот момент, когда особенно остро проявляется всегдашнее движение и беспокойство природы.

«На совершенно отвесной каменной стене — гнездо поползня. Будто кто взял и прикрепил к стене узкогорлый глиняный кувшин.

...а снизу ползет к нему, сокращая и вытягивая свое мутно-пятнистое тело, цепля-

ясь им за выступы камня, — гюрза — змея, толщиной в руку, чей яд способен убить лошадь или верблюда.

Юлой кружится вокруг нее поползень, — то вниз головой, то вверх, и кричит, и кричит, и крик его повторяет каждый камень, — и кажется: камни кричат от жалости.

Стена отвесная, а гюрза ползет. Опирается на хвост, поднимает голову — и шарит ею, шарит по камню. Нашупает новый уступ — и перельет на него свое тело, как ртуть.

Вот уж гюрза у самого кувшина — совсем рядом с теплой птичьей спаленкой, где давно проснулись встревоженные криком желторотые поползнята.

Стенки кувшина гладкие. Неужели вползет по ним гюрза?

Оперевшись хвостом о шероховатый выступ скалы, змея нацелилась на горлышко гнезда-кувшина — и начала подниматься к нему.

Вот треть, вот половина, вот две трети змеиного тела поднялись в воздух.

Поползень зашелся криком.

Гюрза качнулась к горлышку, но не достала до него — и, сдерживая равновесие, изогнула свое тело вопросительным знаком.

Сейчас пододвинется еще немножко — и заползет в гнездо...

Но тут случилось чудо: маленький поползень, вспорхнув, ударил гюрзу в затылок клювиком, лапками, всем своим легким птичьим тельцем.

И слабый удар грозен, если нанесен вовремя.

Не сдержав равновесия, змея сорвалась со скалы».

Сладков видит красоту природы. Тонко передает он, например, ее многоцветность: богатство, разнообразие цветов, составляющих картину. Но красота природы, которую он видит, опять-таки не «вечная». Эта красота подвижная, быстролетная, переменчивая, как, скажем, в отличном рассказе на одну страничку «Сам карусель». Даже совсем, казалось бы, бестревожных обитателей лесов и полей — растения, цветы да травы — Сладков умеет увидеть в часы переломов и перемен («Зимнее лето», «Бегство цветов», «Конь-великан»).

Описывая жизнь природы, Сладков нигде не претендует на аллгорию, он ни на что не намекает, ничего не подразумевает. Но рассказ о животных и цветах полон особого смысла, потому что Сладков говорит о природе, не отдаляясь от всех других душев-

ных волнений современника. Не в том дело, что, рассказывая историю про купленного по дешевке чижика («Цена песенки») или про сверчка, который сумел поддержать в тяжелом больному человеку надежду («Лёшева дудка»), — не в том дело, что, рассказывая об этом. Сладков напоминает другие, не связанные с природой случаи из жизни героя или заставляет его рассуждать об искусстве или космических полетах. Нет, в самом характере постижения природы, в особой его энергии, насыщенности, внутренней страстности узнается человек нынешнего времени. В каждом рассказе — глубина, за первым непосредственно сюжетным планом обнаруживаются как бы и второй и третий. Они основываются на широком, многостороннем и связном понимании жизни природы, жизни человека.

Закончим ссылкой на последний рассказ сборника — «Кружит». Человек плывет ночью по озеру и долго не может найти берега, дважды натывается вместо него на сплавину — «плавучий островок, зыбкий и ненадежный». Рассказ — не просто о риске и пытливости охотника-туриста. Все, что сказано здесь про страх и радость, нельзя привязать лишь к одному этому случаю. Герой думает о сегодняшнем и о будущем: «...именно темноту человек населяет тем, чего боится больше всего на свете. Страх темноты будет жить до тех пор, пока люди совсем не перестанут чего-либо бояться».

И радость его — очень сильная, в ней сплетаются вместе многие оттенки чувства:

«В светлую лунную ночь хорошо плыть прямо по зыбкой лунной дорожке. Удивительно очарование света! Кажется, что ты не плывешь, а поднимаешься по золотым ступеням все выше и выше — прямо на луну. И что из того, что страшно вокруг, что темно и непонятно, — дорога твоя ясна. И даже под водой, по темному дну, видна дорожка луны. Смело плыви и смело бросай в ночь полные пригоршни лунного света!»

Сладков пишет обо всем спокойно, сдержанно, просто. Отборность, отжатость, строгость придают речи особую силу и вескость.

Как и другими его товарищами по «природоведческому» темам, Сладковым владеет горячее желание разгадывать загадки природы. И он видит долг человека в том, чтобы добыть истину о ее жизни. И Сладков стоит не за слепой азарт охотника, а за справедливость и разумность в этом занятии. И его герой — по-настоящему мужественный, до дерзости смелый человек, искатель, следопыт. Но есть в книжке «Краешком глаза» такое, что и отличает ее, — живописуя природу, автор слышит время, ловит взгляд на нее сегодняшнего человека.

Е. КАЛМАНОВСКИЙ.

★

ОБЫКНОВЕННОЕ И НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Е. Шварц. Клад. Голый король. Снежная королева. Тень. Дракон. Два клена. Обыкновенное чудо. Повесть о молодых супругах. Золушка. Дон-Кихот. Редактор А. Нинов. «Советский писатель». Л. 1960. 686 стр.

Евгений Шварц — драматург-сказочник. Необычайный талант его — добрый и беспощадный — нашел себя в сказке. Не сразу, но нашел. Е. Шварц недолго попутал в других жанрах: он писал очерки, бытовые пьесы, но это было чужое, не его. И вместе с тем нет для него сказки без быта, нет обычной жизни без чудес, а в сказке ведь так славно «укладывается рядом обыкновенное и чудесное» (Шварц любит это слово «славно»).

Вот в шварцевском киносценарии «Золушка» принц и Золушка плывут по озеру, освещенному луной. «Легкая лодка скользит по спокойной воде не спеша, двигается сама собой, слегка покачиваясь под музыку.

— Не пугайтесь, — просит принц ласково.

— Я несколько не испугалась, — отвечает Золушка, — я от сегодняшнего вечера ждала чудес...»

И вдруг музыка затихает и в любовный разговор врывается фраза — будничная, сегодняшняя, словно вы не в сказочном царстве, а на телефонной станции:

«— Ваше время истекло, ваше время истекло, кончайте разговор, кончайте разговор!»

Исчезает озеро, лодка и луна».

Обычно реальность в сказке дана в каких-то бытовых подробностях. Е. Шварц расширяет эту область «обыкновенного» — она в характерах героев. Шварцев-

ская Золушка — в отличие от всех Золушек мира — весело трудолюбива, она не тяготится непосильными поручениями мачехи, и, конечно же, она сказочно мила и сказочно искренна. Разве ждали бы ее иначе чудеса?

Прелесть шварцевских выдумок, превращений в том, что волшебное для него — это возможное, это то доброе, что живет в человеческой душе и что в реальной жизни человеку не всегда удается проявить, в сказке он становится самим собой, больше собой, чем в жизни. Обыкновенное чудо — это и есть человек, только человек, умеющий любить.

Но чудо у Шварца не только обыкновенное — оно сегодняшнее. Сказка и современность... Может показаться странным соединение этих различных понятий. «В некотором царстве, в некотором государстве» — и пошел, покатился клубок сказаний, невесть в какие века и страны, где живут не люди, а явления и где господствуют свои законы — законы волшебства.

Но все дальше и дальше «сказывается сказка», и замечаешь, что «некоторое царство» — это поэтическая мистификация. Видимыми становятся его границы, как и время, к которому сказка относится. Только напрасно искать здесь точные указатели, верстовые столбы — сказка не терпит прямолинейности.

Настоящие сказки всегда принадлежат своему времени, они растут из действительности, как андерсеновский благоуханный куст — из чайника.

Данню, да и весь мир, обошла сказка Андерсена «Новое платье императора». И лишь в России осторожные переводчики хитро превратили императора в короля, а то и впрямь читатели могли бы подумать, что «сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Не зря вспоминаешь об Андерсене. Шварц вошел в андерсеновскую страну сказки, как входят в собственную комнату: здесь все родное, знакомое. Те же герои, сходные ситуации и тот же необычайный дар одушевлять неодушевленное. Звери и деревья, стулья и башмаки заговорили у Е. Шварца понятным нам с детства андерсеновским языком.

В «Тени», одной из лучших шварцевских пьес, Ученый спрашивает у Аннунциаты:

«А скажите, мой друг Ганс-Христиан Андерсен, который жил здесь, в этой ком-

нате, до меня, знал о сказках?» — «Он сказал: «Я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду».

Е. Шварц принял в наследство от Андерсена сказку-правду с ее обитателями, и, словно окропленные живой водой, вновь зажили на страницах шварцевских пьес Кей и Герда, Мальчик с пальчик, Девочка, которая наступила на хлеб, чтобы сохранить башмачки, и Тень, еще с доандерсеновских времен пытавшаяся обойти своего господина.

Как изменился у Шварца этот мир старой сказки! Мальчик с пальчик женился на очень высокой женщине, по прозвищу Гренадер, он помогает ей торговать на рынке, а она у него под башмаком, Людоод работает оценщиком в городском ломбарде, а Ученый не только стал победителем, но и отдал свою любовь Аннунциате. (Правда, Аннунциата пришла не из сказки, но от того же Андерсена, из его романа «Импровизатор».)

Но главные превращения ждут нас в другом. Иной стала суть героев, их поступки, характеры. Шварц современен, современны и его герои. Стоит вспомнить нашего старого знакомого — доброго и наивного Ученого из андерсеновской «Тени». Дни и годы, много лет подряд, он пишет книгу об истине, добре и красоте, но книга эта не нужна людям, как и он сам, живущий отшельником в большом городе.

«Я — просто в отчаянии... Ну, это уже из рук вон», — говорит Ученый, протестуя против попыток тени стать его господином, но, сам того не замечая, он превращается в тень своей тени. Впрочем, он давно уже не ее господин: он сам себе не господин. Бесславно, гибелью Ученого, кончается его поединок с тенью, этот неравный бой таланта и бездарности, наивности и хитрости, прекрасноты и злой активности. Недаром, как говорит шварцевская Аннунциата, «Тень» — одна из самых печальных сказок на свете.

Герой Шварца не может себе позволить быть только добрым и наивным (хотя добр он обязательно, иначе ему не стать шварцевским героем). Ученому уже не успокоить свою совесть тем, что он скажет когда-нибудь слово о красоте и истине, ему надо принести эту красоту и истину людям сегодня, сейчас.

И все же не поэтому мы называем его шварцевским героем. Для того чтобы за-

служить это звание, он должен обладать волшебным умением найти в человеке «что-то живое». «Надо его за живое задеть — и все тут», — так формулирует эту мысль Ученый.

Разглядеть красоту в красивом, силу в сильном, как и бессилие в слабом — не просто. С этого обычно начинается искусство. Шварц вместе с героями совершает более сложный, как сказал бы Дон-Кихот, «рыцарский подвиг», он «видит человеческие лица под масками», обнаруживает силу в слабом, еще не погасшие чувства — в равнодушном.

В старой, доброй волшебной сказке все явления были чрезвычайно крупны и определены: баба-яга коварна и зла, а Иванушка-дурачок умен и добр; Василиса Прекрасная не только сверхъестественно красива, но и волшебна-умела. Все выпукло, почти безошибочно точно; микроскоп здесь не нужен.

Шварц пришел в сказку с микроскопом. Он уже не прибегает к понятиям укрупнения, он психологически исследует самые незаметные движения человеческих чувств, «капли» чувства, поэтому ему и необходим микроскоп. Человек для него проверяется тем, как он относится к людям (на этом, кстати, строится другая особенность шварцевской сказки — в ней много героев).

Ученый уже не может оставаться отшельником, он должен пробудить живые чувства и в тех, скажем, кого мы обычно называем равнодушными. Так появляются в шварцевской «Тени» Доктор и Юлия Джули.

Юлия Джули и есть та самая девочка, которая наступила на хлеб, чтобы не замочить башмачки. Из злой девочки выросла бессердечная женщина, и она наступает «на хороших людей, на лучших друзей, на самое себя», чтобы сохранить свои башмачки, платья, положение. Как легко и просто «разделаться» с таким характером, осудить его, как принято у нас говорить. Для Шварца все просто и — очень непросто!

Он не шадит Юлию Джули, издевается над ее уверенностью, что она и ей подобные и составляют «круг настоящих людей», где страдания презирают как нечто не принятое в хорошем обществе, как и всякую способность чувствовать. Но микроскоп поднесен, и обнаруживается: казня и кляня себя за сентиментальность, Юлия пытается спасти Ученого. Бонтя и помогает.

Таков и Доктор. Он щеголяет своим скептицизмом, пытается убедить Ученого и самого себя, что в совершенстве овладел искусством пожимать плечами, махать рукой, смотреть на все сквозь пальцы.

«Чем вы живете? Ради чего?» — спрашивает его Ученый. (Шварцу чрезвычайно важно, чтобы герой его знал, для чего он живет на земле.) «Ах, мало ли...» — отвечает Доктор. — Вот поправился больной. Вот жена уехала на два дня. Вот написали в газете, что я все-таки подаю надежды».

У Шварца нет случайно брошенных фраз, необязательных выражений. И если Доктор говорит смешную и грустную фразу: «Вот жена уехала на два дня...», то ему же и принадлежат слова: «Вот поправился больной». Значит, живо в нем желание спасти, и Шварц, как и его Ученый, не может «махнуть рукой».

Если в «Тени» побеждает умение найти «живое» в человеке, то в «Драконе» — любовь к человеку, пусть слабому. Шварц верит, что доброе и сильное победят в нем.

Дракон, презирающий людей, пугает Ланцелота: «Если бы ты увидел их души — ох, задрожал бы... Безрукие души, безногие души, глухонемые души, целные души, левые души, окаянные души». Но Ланцелот не страшится, не страшится и тогда, когда узнает, что дважды предан людьми, которых он спас от дракона. Ланцелоту доверил Шварц удивительные слова любви. Как это обычно у Шварца, они потрясают не словесной «броскостью», а меткостью мысли. Увидев, как Эльза, его любимая Эльза, тихо и покорно целует лапу дракону, Ланцелот говорит: «Потом, когда вы поцеловали лапу дракону, я не рассердился на вас, а только ужасно огорчился».

Шварц и его герои сердятся, когда не любят, и огорчаются, когда любят, огорчаются и вновь дарят доверием. Поэтому «Дракон», как, впрочем, и большинство пьес Шварца, кончается гимном любви к человеку. «Я люблю всех вас, друзья мои, — говорит Ланцелот. — Иначе чего бы ради я стал возиться с вами. А если уж люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!»

Наивным было бы представлять себе Шварца прекраснородным художником, обнимающим своей любовью все человечество. Нет, он очень определен как в своей

любви, так и в ненависти. Это видно тем отчетливее, что если стереть черты сказочной мистификации, то явно обнаружится, что пьесы «Дракон» (1943), «Голый король» (1934) и «Тень» (1940) — пьесы сатирические и сатира здесь направлена по точному адресу: это фашизм с его «системой» обезчеловечивания человека. Е. Шварц откровенно обнажает задачу. Пусть будет совершенно ясно, кого он имеет в виду. Появлению дракона сопутствует ремарка: «...В комнату входит пожилой, но крепкий, молодежавый, белобрысый человек, с солдатской выправкой». «Я — сын войны... — представляется он. — Кровь мертвых гуннов течет в моих жилах...»

И Шварц, добрый Шварц, становится злым, как только на страницах его пьес появляются драконы и их подручные — все эти людоеды, что нынче служат в ломбарде и газете.

Ирония, злая шутка, издевка сопровождают всех и всяческих людоедов в стране шварцевской сказки. Как самум, врывается на сцену шум улицы, ядовитые реплики сменяют одна другую, а все вместе создают картину тайного предательства и явного убийства, фальши и лжи — картину фашизма. Засады и ямы здесь на каждом шагу, в каждой фразе:

«— А вот — ножи для убийц! Кому ножи для убийц?!

— Цветы, цветы! Розы! Лилии! Тюльпаны!

— Дорогу ослу, дорогу ослу! Посторонитесь, люди: идет осел!

— Подайте бедному немому!

— Яды, яды, свежие яды!»

При всей многоликости шварцевского противника он вполне определен. Он ни во что не верит, а «не верить ничему — да ведь это смерть», он все понимает, а «все понимать — это тоже смерть», он, как советник в «Снежной королеве», знает, что дважды два — чегыре и мир прекрасен, если ему в этом мире прекрасно. Его поясница сгибается «при приближении высоких особ» как бы сама собой. «Я их еще не вижу и не слышу, а уже кланяюсь. Потому-то я и главный», — говорит Мажордом в «Тени». Он по-лакейски самовлюблен и пресыщен жизнью, поэтому и характерен для него «особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека». И как только эта

пресыщенность появится в человеке, «тут ему и конец».

Шварцу нелегко произнести эти слова: «тут ему и конец», но он не может их не сказать. Не поможет здесь ни микроскоп, ни живая вода, она же «воскрешает только хороших людей».

Но как ни хитер шварцевский противник, он всегда проигрывает. Герои Шварца побеждают. Побеждают обязательно.

Шварцу необходимо, чтобы победа пришла к людям, чтобы хорошие люди были счастливы, зло наказано и розовый куст расцвел зимой. Так обычно завершаются пьесы, и счастливые концовки в них естественны, органичны. Почему так необходимы Шварцу счастливые концовки? В «Снежной королеве» сказочник так отвечает на этот вопрос: «Я был... нескладен... ребята дразнили меня, а я, чтобы спастись, рассказывал им сказки. И если хороший человек в моей сказке попадал в беду, ребята кричали: «Спаси его сейчас же, длинноногий, а то мы тебя побьем». И я спасал его...»

Но совсем не для того, чтобы успокоить детей (а им по природе необходимо, чтобы в мире, где живут всемогущие взрослые люди, царствовала справедливость), Шварц кончает сказки победой. И меньше всего он заботится о том, чтобы утешить этот «осторожный народ» — взрослых. Шварц не утешитель, но в его стране сказки все кончается счастливо, сбываются все мечты и надежды потому, что герои его наделены волшебной силой превращения зла в добро. силой сопротивления: человек в его сказках не может не победить — «хорошие люди всегда побеждают в конце концов».

Даже Дон-Кихоту Шварц не дает умереть, как это положено ему испокон веков, — спокойно, в своей постели, отрекшись от самого себя и «высказав напоследок много дерзких осудительных слов по поводу рыцарских романов». Шварцевский Дон-Кихот не умирает в постели. Да он и вообще не умирает. И уж, конечно, не отказывается от рыцарства и рыцарских романов. Когда благонравный Карраско говорит ему: «Не для того я заставил сеньора Кехано вернуться домой, чтобы он умер, а для того, чтобы жил, как все», Дон-Кихот отвечает: «Вот этого-то я и не умею». Он верен рыцарским подвигам и знает, что где-то на свете живет заколдованная Дульсиня, поэтому и не может

умереть. В доспехах он перешагивает через подокозник и вместе со своим верным оруженосцем мчится под луной. И Санчо Панса говорит с пронзительной силой, как может сказать лишь шварцевский Санчо Панса: «Сеньор, сеньор, скажите мне хоть словечко на рыцарском языке — и счастливее меня не разыщется человека на всей земле».

Счастливая концовка для Е. Шварца — это не только победа над противником, это дорога в будущее. Мчится на Росинанте Дон-Кихот, в путь-дорогу идут Ученый с Аннунциатой, «прямо к счастью наконец» возвращаются в свои края свинопас и принцесса из «Голого короля». И только странствующий рыцарь Ланцелот со своей любимой Эльзой остаются дома — их дорога пролегает здесь, в стране побитого дракона, они должны помочь людям стать иными. И Ланцелот говорит Эльзе: «Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона».

И Шварц верит: обыкновенное чудо свершится — человек найдет самого себя.

Шварц принадлежит к тем писателям, перечислять которых — наслаждение: еще и еще раз открываешь для себя и новые повороты характеров и слова, которые запоминаешь, как стихи.

Шварц — поэт-драматург. Среди его поэтических чудес есть чудо, трудно поддающееся объяснению, как, впрочем, и всякое чудо. Попробуем приподнять над ним занавес. Почему, отталкиваясь от сюжетов Андерсена, Перро, Сервантеса, Шварц наиболее талантливо утверждает себя как художник, а в «Кладе» и в «Повести о молодых супругах» — пьесах, написанных без этого «отталкивания», — он менее своеобразен и интересен?

Чем объясняется эта необходимость кружить в чужом сюжете?

Есть писатели, которые так и не состоялись, потому что воображение отказывалось им служить. Есть особое искусство перевода, где в ходу должны быть все элементы писательского мастерства, и лишь для вымысла, быть может, здесь нет простора. Но к Шварцу все это не имеет никакого отношения. Вероятно, он потому и обрек себя в сказке, что вымыслу

здесь легко и свободно, для него нет здесь ни потолка, ни доньшка. И все же вымысел этот зажат в чужой сюжет, и все-таки эпиграфом к «Тени» стоят андерсеновские слова: «...Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет». Шварц действительно пересоздает до неузнаваемости, но зачем понадобилось ему пересоздавать, а не создавать заново из материала, еще не открытого другими?

Ю. Тынянов, говоря о пристрастии А. Блока к фразам почти романсовым, образам стершимся, приводит блоковские строки:

Тащитесь, траурные клячи,
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло.

Е. Шварцу необходимы «ходячие истины», «ходячие образы», общезвестность их его не пугает, напротив — привлекает. В «чужом сюжете» скрыто для него двойное очарование: зрители встречаются с прежними знакомыми — Кеем и Гердой, с Ланцелотом, в строй вступает запас связанных с ними эмоций, но разве это та Герда, которую мы знали с детства? Да и Ланцелот — лишь потомок странствующего рыцаря, его дальний родственник. Новая встреча со старыми знакомыми — вот что привлекало Шварца в чужом сюжете.

Но сюжет этот по существу лишь точка отталкивания, Шварц уходит от него, уходит в другие края, где все необычно и ни на кого не похоже. Шварц никого не повторяет. Поэтому ему и удается чудо второго рождения образа, и на этот раз — чудо необыкновенное.

Но если отвлечься от чудес и заговорить о явлениях не только обычных, но и прозаически обидных, нельзя не сказать, что книга вышла неслыханно малым тиражом — четыре тысячи экземпляров. Кто же сможет ее приобрести? А издана она прекрасно, с чудесными рисунками Н. Акимова, и в первые же дни своего появления в свет стала библиографической редкостью. Но если верить Шварцу (а ему можно верить), хорошие книги, как и люди, в конце концов побеждают.

С. БАБЕНЫШЕВА.

ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ ХОЛДЕНА

Дж. Д. Сэлинджера. Над пропастью во ржи. Роман. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой. «Иностранная литература», № 11, 1960.

Не тонкость отделки и не изящество архитектоники делают роман Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» тем, что он есть,— одной из беспощадных и гневных, остро жалающих книг. Книга эта идет к вам путем самым простым и бесхитростным и вместе с тем кратчайшим, «ходами» обнаженной, предельной, бьющей наотмашь откровенности. В этом весь ее секрет. И вся сила.

Шестнадцатилетний американец Холден Колфилд пишет вам, или рассказывает, из туберкулезного санатория, где ему, конечно, не придет в голову актерствовать, «выставляться напоказ» и сочинять педагогические сюжеты из своего «дурацкого детства». Ему бы исповедаться почестнее перед вами, а может быть, и перед самим собою, и потому он без дальних предисловий, без «всей этой давил-копперфильдовской мутн», просто рассказывает о трех днях своей жизни, очень суматошной, безалаберной и невыносимой для него, стараясь не упустить ни одной мелочи, называя все вещи их именами и меньше всего рассчитывая понравиться вам,— и больше всего он нравится вам за это. Его откровенность доходит порою до мучительства или до таких подробностей, которые можно назвать и натурализмом или еще каким-нибудь ругательным словом,— но, как ему кажется, без этого не обойтись, если хочешь, чтоб тебе поверили.

Эти три дня выбраны как будто совсем случайно, ничего особенного в эти дни как будто не происходит. А между тем перед вами полная история несчастья. Оно началось задолго до первой страницы и не кончается вместе с книгой. Его не объяснишь ни тем, что юного лодыря «выперли» из аристократической школы Пэнси, ни тем, что украли пальто, ни тем, что он забыл в метро «идиотское снаряжение» фехтовальной команды. Его несчастью вообще нет имени. Можно было бы назвать его строчкой из песенки Бернса: «Если кто-то звал кого-то вечером во ржи...», но там, где обходишься словом или фразой, нет надобности писать книгу.

В эти три дня случилась простая вещь. Случилось так, что Холден, покинув школу

и еще не придя домой, оказался внезапно вышибленным из привычной колеи, из своей respectable обыденщины, и остался наедине с собой. Даже не остался, а просто повис над гигантским, бурлящим и пустынным городом. В описаниях Сэлинджера Нью-Йорк поразительно бесцветен: мало того, что на всем протяжении романа вы не встретите слова «небоскреб», но вы не услышите шума и грохота, не увидите прыгающей световой рекламы — вещей, столь привычных нам по традиционным описаниям журналистов. Есть только жуткий холод «и кругом — ни души». А Холден еще не в таком возрасте, когда одиночество закаляет.

Несчастье стало предельным, оно достигло красной черты на шкале, которую Холден размечает по-своему, со всем пылом мальчишеского нетерпения и максимализма. Оссенбергер, оказывается, «отгрохал речь часов на десять» — вероятно, и десять минут послушать хвастливые разглагольствования этого хлюста, нажившегося на поставке гробов, для Холдена выше его сил. Экли врывается к нему в комнату «раз восемь — десять на дню» — нам, читателям, и одного раза достаточно, чтобы нас затопило от этого набожного тупицы, с его прыщами, обломанными ногтями и вечно каплющим носом; нам и один раз не по себе, когда он берет в руки карточку Салли, а ведь он держал ее в своих омерзительных лапах «по крайней мере пять тысяч раз». У кинотеатра мы видим: «миллион народу стоит в длиннющей очереди» — если так ненавидеть кино, как Холден, может вполне показаться, что в очереди стоит весь род людской. Вместе с Холденом мы смотрим спектакль «про каких-то старых супругов, которые прожили пятьсот тысяч лет вместе», — и, право же, больше ничего не нужно рассказывать про этот спектакль, потому что ничего убийственнее этой лапидарной рецензии не придумаешь. Больше не нужно рассказывать о квартире Колфилдов, если в спальне у них кровать «милль десять в ширину»; больше не нужно говорить о любви к родственникам и о них самих, если «у меня одних теток штук пятьдесят»; больше нельзя сказать о том, какой невыносимой вдруг сделалась жизнь Холдена, если он

слышит в холле «застоялый запах пятидесяти миллионов сигарных окурков».

Но безудержный в ненависти и отвращении, он так же не знает удержу и в своих привязанностях. У малышки Фиби «целая куча блокнотов — у нее их тысяч пять, если не больше», и в этом уже сквозит застенчивая и горячая нежность к сестренке, нетерпеливое желание, чтобы она и вам поскорее понравилась, потому что это самое любимое, что есть у Холдена. И когда она «отдвинулась от меня бог знает куда, на другой конец кровати, чуть ли не на сто миль» — это тоже можно понять, это действительно страшно, потому что, когда говоришь кому-то о самом наболевшем, нельзя, чтобы он отодвинулся от тебя даже на сантиметр.

Если меришь все такими масштабами и живешь такими крайностями, можно и в самом деле прожить за три дня целую жизнь. А в Холдене «уживаются» крайности самые несовместимые, противоречия самые раздражающие. Он не выносит и минуты одиночества, он все порывается кому-то звонить среди ночи, какой-то чужой женщине, которую он и в глаза не видел, приятелю, который «наизусть знал, кто педераст, а кто лесбиянка», и больше ни о чем не мог говорить, «старушке Джейн», которая уже побывала со Стрэдлейтером в машине «этого проклятого Эда Бэнки», он умоляет, напившись вдрызг: «Пжалста, пзовите Салли» — и зовет ее жить с ним «у ручья», он пытается заговорить с шоферами такси — о том, куда деваются утки с замерзшего пруда, с девицами в кафе, с музыкантами в оркестре, но «все эти смазливые ублюдки одинаковы. Причешутся, прилжнутся — и бросают тебя одного». И в то же время он сам мечтает лишь об одном — уехать куда-нибудь на Запад, подальше от «ненужных глупых разговоров», притвориться глухонемым несчастным дурачком, и пусть все «оставят меня в покое».

Холден паразитально откровенен, он говорит начистоту обо всех своих слабостях, неудачах, об ощущениях, в которых ему неловко и больно теперь признаться, — возьмите его разговор о лифчиках или о дешевых чемоданах, — и в то же время он беспардонно врет милой и доброй миссис Морроу насчет ее сына, расписывает ей удивительную чуткость этого «всеобщего любимца»; «а сын ее был самый что ни на есть последний гад во всей этой мерзкой

школе... В крышке от унитаза и то больше чуткости, чем в этом самом Эрнесте», да и вообще Холден дорого не возьмет соврать мимоходом какому-нибудь дураку.

У него очень верный, почти безукоризненный вкус — по отношению к театру, кино, литературе, к «идиотским рассказам в журналах» (рассказам «про всяких показных типов с квадратными челюстями по имени Дэвид и показных красоток, которых зовут Линда или Марсия, они еще всегда зажигают этим Дэвидам их дурацкие трубки»), он умеет различить, когда певица «свое дело знала», а когда «ничего там не было — одно актерство», он знает настоящую цену слезливой сентиментальности («Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит липовую картину и ревет в три ручья, так поручиться можно, что из них девять окажутся в душе самыми прожженными сволочами») — и в то же время он сам для себя придумывает сентиментальную сказочку о житие «у ручья», где-нибудь на далекой бензозаправочной станции, с «красивой глухонемой девушкой», куда все к нему будут приезжать и где у него «будет такое правило — никакой липы в моем доме не допускать. А чуть кто попробует разводиться липу, пусть лучше сразу уезжает; в то же время он сам признается: «Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров... Мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться... Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно».

Он знает о людях достаточно и многих из них ненавидит и презирает, а все-таки ищет встречи с ними — даже против их желания. Он бывает взрослым и пронизательным, необычайно зрелым для своих лет, и бывает милым дурашливым ребенком, который напяливает на себя красную охотничью шапку и непременно желает выяснять, куда же деваются утки, когда замерзает пруд в Центральном парке, у Южного входа.

Все это, казалось бы, странно, все это могло бы озадачить, но ведь ни одно движение Холдена не фальшиво, ни одна строчка в романе не покоробит вас неверно взятой интонацией. (И здесь нельзя не сказать о прекрасном переводе Р. Райт-Ковалевой, которая донесла до нас Холдена и роман о нем со всеми его интонациями и словечками, со всей сложной гаммой его

звучаний, без явных русизмов и в то же время так, что он совершенно входит в наш язык и наши понятия, точно он и написан по-русски.)

Несчастье Холдена родилось вместе с ним, с его невесть как сформировавшейся душой, чистой и бесконечно мягкой, нежной, легко ранимой, отзывчивой даже просто на человеческую улыбку,— несчастье естественного человека, принужденного жить неестественной жизнью, прилаживаясь к официальной морали преуспевающих дельцов, маклеров-«удавов», «хлюстов», «жульях», «смазливых ублюдков», «остроумных бодванов», «распутных сволочей», «всяких психов» и «двоюродных подонков», от которых нет спасения даже на кладбище, потому что страшно представить себе, «как миллион притворщиков явится на мои похороны... а вокруг одни мертвецы и памятники».

Он чувствует себя единственным нормальным среди психов и живых мертвецов, и, право, что может быть естественнее того, в чем он, стесняясь, признается Льюсу: «Но понимаешь, в чем беда? Не могу я испытать настоящее возбуждение — понимаешь, настоящее,— если девушка мне не нравится. Понимаешь, она должна мне нравиться. А если не нравится, так я ее и не хочу, понимаешь? Господи, вся моя личная жизнь из-за этого идет псу под хвост. Дрянь, а не жизнь!»

А что же Льюс? А Льюс говорит ему: «Ты запутался в сложностях»,— и предлагает сходить к психоаналитику.

Каждое движение Холдена непосредственно и естественно для данной минуты, потому что о следующей минуте он не задумывается. Он считает себя трусом, для него невыносимо ударить человека по лицу, видеть в эту минуту его глаза, и все-таки он первый бьет Стрэдлейтера, хотя тот сильнее его, потому что у Джейн «детство было страшное... но это его не интересовало, Стрэдлейтера». «У него совести нет ни капли». Холден стесняется сказать вору, что тот вор, и все-таки называет дураков и кретиннов дураками и кретинами, потому что нет сил не сказать им, кто они есть. Он отдает последние деньги двум монашенкам, потому что они напомнили ему добрую и славную миссис Морроу, а ей самой он расписывает ее сына, потому что у нее милая улыбка,— и все-таки он замечает сумку, которую она поставила в про-

ходе купе так, что кондуктор или еще кто-нибудь мог бы споткнуться. Он презирает Лилиан Симмонс, бывшую любовницу его старшего брата, за то, что она в ресторане «загораживала весь проход, и видно было, что ей нравится никого не пропускать», а в это время «официант стоял и ждал». Он замечает и славную гардеробщицу, которая не взяла у него, пьяного, доллар, и коридорного в отеле: «что за работа для такого старика — носить чужие чемоданы и ждать чаевых? Наверно, он ни на что больше не годился, но все-таки это было ужасно».

Сильнее всего и чаще он чувствует жалость — к дураку Экли, к старому Спенсеру, выжившему из ума, хотя он-то и вытурил его из школы, к некрасивым девушкам, которые должны выслушивать всяких дураков, рассказывающих им про свой «идиотский футбол». И при всем этом у него ни малейшего почтения к богатым, к сильным, к знаменитым, ко всем классным игрокам жестокой игры, которую они называют жизнью и в которую, как им кажется, играют по всем правилам. Холден среди них — явный мазила, поневоле или по призванию, но скорее всего добровольный мазила, которому все осточертело и вся игра кажется «сплошной липой».

Куда он идет, Холден, и что привязывает его к жизни? Это неясно ему самому, как туманно его собственное отношение к войне: с кем ему быть, он не знает, он знает лишь, что в американской армии «полю сволочей, не хуже, чем у фашистов», и потому, пожалуй, самое лучшее — сесть верхом на атомную бомбу. «Пропать, в которую ты летишь,— ужасная пропать, опасная... Я очень ясно вижу, как ты благородно жертвуешь жизнью за какое-нибудь пустое, несостоящее дело»,— говорит ему учитель мистер Антолини и читает Холдену длиннейшую нотацию о людях ученых и просто талантливых и об «академическом курсе», которому Холден должен себя посвятить. От этих нотаций Холдена берег зевота, и неспроста, конечно, потому что мистер Антолини предлагает ему такую же пропать, такое же патентованное средство забвения, как и все те, кого Холден ненавидит и презирает: в конце концов они только и делают, что всякими способами уходят от настоящей жизни.

Единственная неизменная, неспясаемая привязанность Холдена — это дети, и среди

них маленькая сестренка Фиби, в которой мы узнаем того же Холдена, только еще не дозревшего до его чудачеств и смятения. Речь его, обыкновенно хлесткая и мальчишески грубоватая, становится вдруг чистой и застенчиво-нежной, когда он говорит или думает о детях или разговаривает с ними. В парне его возраста это кажется даже странным, у него еще не может быть никаких отцовских чувств, но отношение Холдена к детям вовсе не отцовское, а куда более сложное. «С ребятишками все по-другому»,— говорит он, уже хлебнувший «взрослой» жизни и сразу отведавший в ней больше, чем ему хотелось бы. Он перерос эту жизнь и, пожалуй, вернулся бы обратно, если бы это было возможно. И это возможно отчасти, если придумаешь себе занятие, какое придумал Холден. «Понимаешь,— говорит он Фиби,— я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему».

Это иллюзия, конечно, но спасительная иллюзия. Она не позволит Холдену вернуться обратно к миру, который его породил и отверг. В конце концов это уже и призвание и цель, которой можно себя посвятить. Однако ведь и эта иллюзия потребует мужества. Хватит ли его у Холдена? Сэлинджер этого, пожалуй, не знает. Да и мы знаем лишь, что в свое время из самых чистых мечтателей порой формировались добродетельные буржуа, а закоренелые и отъявленные филистеры нередко происходили из безалаберных бунтарей. Вероятно, к тому же придут со временем «битники», «раггары» и «рассерженные молодые люди». Это так, но все дело в том, что Холден Колфилд — не «битник», не «раггар» и не «энгри мэн». Скорее в их компании представишь себе Стрэдлейтера, Экли, Салли, нежели Холдена, для которого все это — та же самая «сплошная липа», та же мода и которому глубочайше ненавистны все эти банды и шайки, все эти «хлопикки из ари-

стократических землячеств», клубов, компаний и спортивных обществ.

Ему суждено другое, суждено стать как бы отделившейся совестью всех этих людей, этого ненайденного поколения, — надорванной, отравленной и кровоточащей. Это хоть кому не дешево стоит, а Холдену, помимо всего, это стоит здоровья. Дыхание у Холдена короткое, нервы «совсем ни к черту», головная боль кончается обмороком, а три дня терзаний — туберкулезным санаторием. О какой уж тут говорить борьбе, если тому же Стрэдлейтеру ничего не стоит повалить его на обе лопатки и придавить грудь своей «вонючей коленкой», если лакей Морис, который в другое время шаркался бы перед ним и смиренно принял на чай, теперь, когда Холден одинок, сбивает его с ног и перепахивает через него, не опасаясь возмездия. И это еще, так сказать, «хэппи энд», мы ведь знаем, чем окончилась история с Джеймсом Каслом, над которым надругались шестеро юных фанштов и довели его до самоубийства.

Но интерес романа о Холдене вовсе не в авторском ответе на вопрос, сможет ли герой когда-нибудь бороться. Весь интерес его в том, что мы видим: вот жизнь привычно катится своим чередом, и мерзости ее становятся привычной обыденщиной, даже не слишком унылой, даже отчасти радующей глаз своим никелированным, нейлоновым, поливинилковым глянцем, и школа Пэнси доблестно выковывает благородных «стопроцентных американцев», — но внезапно, откуда ни возьмись, появляется вот такой парень, сам плоть от плоти этого мира, и криком своей души заставляет посмотреть на все другими глазами. И мы видим, что человеку жить в этом нейлоновом мире невозможно, что он задыхается в нем и не находит, куда себя деть. И мы видим другое: что этот мир не так прочен, каким самому себе кажется, и что безнадежное дело его проиграно, напряжение достигло красной черты. Многих читателей и критиков этой книги интересует будущее Холдена. Но разве не сам Холден отвечает на это: «По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать?» И разве для того он рассказал вам свою историю, чтобы вы задумались вместо него, как ему жить дальше? Я думаю, что как раз с самим Холденом все обстоит бо-

лее или менее благополучно. Что-то, разумеется, уйдет от него, уйдут наивность, порывистость, способность «балдеть» от девчонок без всякой влюбленности. Но человечность и непримиримость, пожалуй, останутся. А с этим можно не только умереть достойно, с этим можно и жить.

Однако что толку думать о тридцатилетнем, о сорокалетнем Холдене, если у него

не было юности? У поколения должно быть не только будущее, у него должно быть и настоящее. И вот когда его нет, тогда нужно бить тревогу. Нужно говорить во весь голос, нужно писать книги большого мужества, большой злости и большой любви. Книжки о юности, за которую почувствовали бы себя в ответе взрослые и сильные.

Г. ВЛАДИМОВ.

★

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА

Л. Копелев. Сердце всегда слева. Редактор Т. Мотылева. «Советский писатель». М. 1960. 520 стр.

Главное достоинство книги статей Л. Копелева о зарубежной литературе — ее своевременность в лучшем смысле этого слова.

Перед нами никак не учебник и не научный трактат. По собственному заявлению автора, в его сборник вошли «статьи и заметки о нескольких современных зарубежных писателях и о некоторых проблемах развития художественной литературы в странах Запада». Но и на такой ограниченной основе автору удалось завязать большой разговор об иностранной литературе наших дней, нужный не только литературоведам и малому числу знатоков, а и широкому кругу внимательных читателей, которыми так богата наша страна.

Книга Л. Копелева «Сердце всегда слева» хочет помочь советскому читателю разобраться в одном вопросе: почему многие книги зарубежных писателей так кровно нас интересуют, чем они нам полезны и для нас поучительны? Иными словами, перед нами остро публицистическая, популярная по своей задаче и выполнению книга.

Пусть не подумают, что я хочу провозгласить сборник Л. Копелева чуть ли не эталоном литературоведения и критики. В большом хозяйстве необходимы и самые специальные труды. Ведь и они могут служить и часто служат борьбе за торжество идей и нравственных принципов коммунизма. Да и книга Л. Копелева хороша не потому, что она популярна (бывает и никому не нужная популярность — бездыханное «повторение пройденного»), а верностью большинства критических оценок, умением автора теоретизировать не на пустом месте, разрешать проблемы, наме-

ченные развитием творческой мысли передовых зарубежных писателей, убедительным сопоставлением значительных явлений зарубежной литературы с идейно-художественными достижениями советских писателей — с искусством социалистического реализма.

Не все статьи Л. Копелева равноценны, не все его определения бесспорны. Но от этого его книга не теряет своей несомненной ценности. Там, где с автором нельзя согласиться, надо продолжить начатый им большой разговор, чтобы с помощью им же посеянных мыслей прийти к более четким и объективным выводам.

Особенно удачны страницы книги, посвященные драматургии Брехта, большая статья «Бессмертие бравого солдата Швейка», рассуждения о Кафке и о еще мало у нас известном Зигфриде Зоммере, прекрасный литературный портрет которого, несомненно, заинтересует и подготовит читателя для восприятия выходящего в ближайшее время на русском языке первого романа этого талантливого западногерманского беллетриста.

«Когда едины мысль и страсть» — так озаглавлен критический очерк, посвященный драматургии Бертольта Брехта. Л. Копелев не первый советский исследователь творчества этого крупнейшего немецкого драматурга; но он говорит о нем не с чужого голоса, а глубоко лично, то есть исходя из собственного эстетического опыта. Его комментирующие пересказы брехтовских пьес — «Мамаши Кураж», «Жизни Галилея» и «Доброго человека из Сычуаня» — живы и увлекательны, свидетельствуют о тонком понимании идейно-художественных замыслов писателя.

И если мне все же хочется немного поспорить здесь с автором, то только потому, что Л. Коппельс, как мне кажется, придает излишне большое значение теоретическим высказываниям Брехта, его противопоставлению собственного, «эпического», театра традиционному, «драматическому», хотя бы по той причине, что как теоретик Брехт не так уж неповторимо оригинален. Ведь и сам Л. Коппельс справедливо сближает «эпический метод» Брехта, его «теорию отчуждения» персонажей и драматических событий от зрителя (дабы они «не затемняли, а проясняли... воплощенные в них мысли») с понятием «драматической иронии» Вахтангова.

Но почему, собственно, только с теорией Вахтангова? Разве не почти о том же говорил А. Таиров, не того же добивался его антагонист Всеволод Мейерхольд или, скажем, Вера Федоровна Комиссаржевская? Когда Брехт говорит в своем «Малом Органоне для театра»: «Для того, чтобы добиться эффекта отстранения... актер должен забыть все, чему он учился тогда, когда стремился возбуждать своей игрой эмоциональное слияние публики с создаваемыми им образами... Даже изображая одержимого, актер сам не должен сглотнуть одержимым... Такой, например, отзыв: «Он не играл Лиры, он сам был Лиром», — является унизительным» и так далее, в памяти невольно всплывают сходные утверждения целого ряда представителей так называемого «левого искусства» начала века.

Хочу ли я этим сказать, что Брехт не новатор? Нисколько. Я только смею думать, что не в приверженности к идее «эпического театра» новаторство Брехта и что теоретические утверждения художника нередко лишь очень отдаленно передают подлинную суть его искусства.

Л. Коппельс, конечно, прав, усматривая у Брехта «то живое единство мировоззрения и мироощущения, которое в новейшее время можно обнаружить только у больших художников социализма» (у таких художников, как Горький и Маяковский). Но дело здесь, очевидно, не в «теориях» и даже не в том, что Брехт «в отличие от традиционных театров, которые стремятся, так сказать, влиять на разум через сердце... поступает наоборот и воздействует на сердце через разум». Разум и сердце — «сообщающиеся сосуды», и об этом прекрасно знали

большие художники прошлого. Вспомним хотя бы «Люцерн» Льва Толстого, с его прямым обращением к читателю, разъясняющим тот симптоматический факт, что седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергоф, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса цел лесни и играл на гитаре. «Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».

Брехт-художник тоже знает, что оба этих «сосуда» — разум и сердце — «сообщаются». Его театр насковзь тенденциозен, как то и показал в своей статье автор рецензируемой книги.

И это социалистическая тенденциозность.

Она более прямо и откровенно обращена к разуму зрителей и читателей, чем тенденциозность даже самых крупных представителей критического реализма XIX века. В этом легко убеждаешься, вернувшись к тому же толстовскому рассказу «Люцерн», где «автор записок», князь Д. Нехлюдов, хоть и не сомневается в том, что его «маленькое, пошленькое негодюваньице» есть один из ответов «на гармоническую потребность вечного и бесконечного», но вместе с тем не признает за собой, «ничтожным червяком», права дерзко и незаконно проникнуть в бесконечную «благость и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям».

Сомнительная «теория эпического отстранения», на первый взгляд сближающая Брехта с самыми различными представителями так называемого «левого искусства» начала века, на самом деле только условный лозунг, под которым он осуществлял свой подлинно новаторский, революционный театр. Каждая его реплика, падающая с театральных подмостков, разит, как отточенный кинжал.

Но в силу «сообщаемости сосудов» — разума и сердца — Брехт, конечно, вызывает, и притом непосредственно, и к чувству зрителя. Разве одичавшая от обрушившихся на нее бед «мамаша Кураж», отправляющаяся (в финальной картине драмы) на поиски мертвого сына, разве трогательная речь доброй Шен-Те, усомнившейся в божественной благодати, не апеллируют к на-

шему сердцу? Толстовский термин «ум сердца» отнюдь не парадоксален; напротив, он-то и проливает должный свет на неразрывное единство нашего сознания, наших восприятий. Полемизируя с Л. Копелевым, я, впрочем, скорее только дополняю и уточняю его же мысли...

В статье «Только правда, но не вся» привлекает прежде всего (как и в статье о Брехте) мастерский критический пересказ произведений писателя Зигфрида Зоммера, его бойких газетных и журнальных фельетонов с их «добрым, снисходительным и вместе с тем желчным, печальным юмором», а также двух его романов — «И никто мне не заплачет» (1955) и «99 моих невест» (1957), — в которых людские судьбы и происшествия «подобраны» на тротуарах и в трущобах мюнхенских окраин все с той же зоркостью, которая отличает и занимательные фельетоны Блазиуса (псевдоним Зоммера-фельетониста). Тут все достоверно, все «списано с натуры». И если Зигфрид Зоммер, по правильному замечанию Л. Копелева, ни в своих фельетонах, ни в обоих романах не дает «всей правды», тщательно обходя историческое объяснение и обобщение суровой и горькой жизни «маленьких людей», то все же, хочет он того или нет, громко оповещает о нравственном и житейском неблагополучии в «свободной» Германии Аденауэра. «Общественно-историческая близорукость» Зоммера, по мнению критика, определяет и художественную слабость, односторонность его творчества. Но и «не вся правда» по-своему правдивого художника дает нам возможность заглянуть в опустошенный душевный мир современных немцев, живущих по законам буржуазного общества.

Интересную критическую оценку творчества Ф. Кафки автор дает в рамках более общей статьи — «От горизонта одного к горизонту всех». Ее заглавие (цитата из французского поэта Поля Элюара): определяет и ее содержание: рассказ о том, как многие писатели Запада, начавшие свой творческий путь как художники крайнего субъективизма, становясь участниками массовых революционных и народно-освободительных движений, пришли (и приходят) к новой объективности, «к горизонту всех», то есть к ясному и целостному идейно-художественному восприятию реального. Таков путь Арагона, путь Элюара, Бехера, Брехта, Неруды, Незвала. Но Л. Копелев

не проследивает в своей статье творческого развития этих передовых писателей, не показывает на их примере, как протекает конкретный процесс «преодоления субъективизма»; а под «преодолением» автор понимает «диалектическое снятие», то есть «и подавление и вместе с тем поглощение, усвоение... эстетических форм, возникших под влиянием субъективизма...». Нельзя не пожалеть о том, что Л. Копелев не остановился на этом вопросе поподробнее. Ведь речь здесь, по сути, должна идти скорее о полемическом переосмыслении эстетики субъективистов, порожденной болезненной психикой буржуазного человека, чем об «усвоении» отдельных эстетических форм, «возникших под влиянием субъективизма». К сожалению, Л. Копелев этой творческой полемике художников «нового объективизма», «нового реализма» почти не касается (в частности, даже не знакомит нас с лишь бегло им упомянутой полемикой Брехта с немецким экспрессионизмом). А между тем только тщательный анализ такой полемики мог бы должным образом прояснить теоретическое рассуждение автора о «преодолении субъективизма» как «диалектическом снятии». Ведь обращаясь к творчеству таких писателей, как, скажем, Хемингуэй, автор столкнется не только с «поглощением» эстетических форм субъективизма, но и с непреодоленными рудиментами субъективизма, и притом не только эстетическими, но и с идеологическими, что, впрочем, Л. Копелевым и не оспаривается.

Но перейдем от пожеланий и сожалений к тому, что высказано в статье «От горизонта одного к горизонту всех». Л. Копелев хочет в ней прежде всего разобраться в общественно-исторических предпосылках крайнего субъективизма, а также в том, как целый ряд зарубежных писателей, отнюдь не сделавшись революционерами, в силу логики развития самого искусства и под влиянием общен исторического процесса по-своему преодолевают субъективное восприятие действительности и приобщается к «горизонту всех». Автор не «осуждает» писателей-субъективистов. Он «извне», исторически объясняет их творчество, а «изнутри», то есть переносясь на их «точку зрения» (на позицию их «идейно-творческого опыта»), описывает и характеризует его. Иногда для большей, так сказать, наглядности Л. Копелев с этой целью прибегает даже к

пародии как к средству критического разъяснения (например, для характеристики «ассоциативного» образного мышления Кафки).

Одинаково далекий как от того, чтобы провозглашать Кафку чуть ли не «стихийным материалистом» (на что решались некоторые зарубежные писатели и критики-коммунисты), так и от того, чтобы его третировать как «злонамеренного агента империализма» (раздавались и такие голоса), Л. Копелев справедливо видит в Кафке едва ли не самого одаренного выразителя того предельного одиночества, которое ощущает «маленький человек» и «маленький интеллигент» в пустынном многолюдье больших городов капитализма и в столь же грозной пустынной безысходности своих сомнений. У этой «пропасти одиночества» Ф. Кафка, автор «Процесса» и «Замка», простоял всю свою недолгую жизнь, так и не успев, подобно другим, социально более зорким художникам, понять борьбу светлых и темных сил современности. В его глазах растерянного интеллигента весь мир обаял одним стремлением поглотить и перемолоть хрупкие судьбы обреченных «маленьких людей».

Прав Л. Копелев: «Кафка не может иметь настоящих наследников» в наши дни, в дни, когда механизм перемалывания «маленьких людей» предельно обострился. Теперь и самый нерассуждающий человек знает те силы, что хотят поглотить и перемолоть человечество, не останавливаясь и перед уничтожением самой планеты, которую оно населяет, как знает и тех, кто борется за мир во всем мире, за счастливое будущее человека.

Мнимые наследники Кафки, упивающиеся «всаяческой мертвечиной», вовсе не одиноки; они не терзаются сомнениями, а повинны в прямом сообщничестве с потенциальными убийцами человечества. Этих соучастников в преступлении против человечности Л. Копелев беспощадно разоблачает в главке об

ультрамоdernистах типа Беккета — «Осторожно — трупный яд!»

Дальнейшие части этой интересной большой статьи посвящены творчеству Хемингуэя и Томаса Манна. (Рассуждения Л. Копелева о крупнейшем немецком писателе носят несколько поверхностный характер.) Кончается статья главой «К искусству большой правды», в которой автор в лапидарной форме воссоздает обобщенную картину литературы социалистического реализма, литературы, которая, по справедливому мнению автора, обладает принципиально «новым качеством изображения народа», кровно связана с его бытом и борьбой за лучшее будущее. К искусству социалистического реализма в его многообразных проявлениях у нас и за рубежом примыкает все передовое, правдивое и честное в современной мировой литературе, совершающее и уже совершившее переход «от горизонта одного к горизонту всех».

Повторяем—не со всеми мнениями автора книги можно согласиться, не все его формулировки безупречны, не все даже достаточно продуманы (как, например, сопоставление творческого метода Льва Толстого с творческим методом Леонгарда Франка: Толстой-де находил «обычное в необычном», а Франк, напротив, «в обычном необычайное». Кто-кто, а уж Лев Толстой умел возводить заурядное в ранг необычного! Ведь и самый термин «эстранение», которым Л. Копелев характеризует творчество Франка, возник впервые из наблюдений над повествовательным искусством Толстого)...

Но все эти замечания, как бы ни были они справедливы, несколько не мешают признать книгу Л. Копелева ценным вкладом в нашу критическую литературу. Это живая книга. Она увлекает каждого, кому дороги судьбы современной литературы у нас и за рубежами нашей родины. С ней интересно и соглашаться и спорить.

Н. ВИЛЬМОНТ.

Политика и наука

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ЗАВЕРШЕНА

История гражданской войны в СССР. Том пятый (февраль 1920 г.— октябрь 1922 г.). Редакционная комиссия тома: Буденный С. М., Кузьмин Н. Ф., Найдан С. Ф., Обичкин Г. Д., Софинов П. Г., Стручков А. А., Шатагин Н. И. Госполитиздат. М. 1960. 419 стр.

Не одно поколение советских людей воспитано на славных традициях гражданской войны. С детства — от отцов и старших братьев, в школе — узнавали мы о суровых и победных днях, решавших судьбу молодого государства с новым общественным строем, первого в мире государства рабочих и крестьян. История героического подвига советского народа запечатлена в бесчисленных книгах, статьях, очерках. Она вдохновляла поэтов, множество песен о ее героях сложил народ. Ее предстояло воплотить в серьезный научный труд. А. М. Горький стоял у колыбели этого замысла: была задумана многотомная «История гражданской войны в СССР».

С тех пор прошел ряд лет. Много и плодотворно поработали историки, чтобы создать правдивую картину войны. Двадцатый съезд партии открыл перед советской исторической наукой новые перспективы — отныне ничто не мешало объективному воссозданию минувших событий.

Первый том «Истории гражданской войны в СССР» был издан еще до войны, в 1935 году, и охватывал период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции. Второй том, появившийся в 1942 году, был посвящен Октябрьскому вооруженному восстанию и триумфальному шествию Советской власти. За последние годы вышли в свет три тома «Истории» — третий, четвертый и недавно пятый. Они выпущены Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Теперь многотомный труд завершен. Это большое событие в исторической науке.

Что нового дали последние три тома? Какой вклад внесли они в разработку истории гражданской войны?

Самым важным достоинством этого капитального издания является успешное раскрытие на конкретном материале марксистско-ленинского положения о народных массах как творцах истории.

В объемистых томах подробно изложены боевые операции, нет недостатка в схемах и картах. И за каждой красной стрелой,

нацеленной на врага, видишь, ощущаешь сомкнутые ряды плохо одетых, полуголых красноеармейцев, рвущихся в бой, решающих штыками судьбы революции.

Лучшие страницы многотомного труда повествуют о том, как Коммунистическая партия, великий Ленин вдохновляли и организовывали победы Красной Армии.

В декабре 1918 года ЦК РКП(б) в своем постановлении о политике военного ведомства записал, что вся военная политика «ведется на точном основании общих директив, даваемых партией в лице ее Центрального Комитета и под его непосредственным контролем». Этот принцип неукоснительно проводился в жизнь.

Автором многих руководящих военных документов был В. И. Ленин. Вождь партии, глава Советского правительства вникал в военные вопросы с мудростью пролетарского стратега. Изучение ленинского наследия периода гражданской войны показывает, какую огромную роль в победах Красной Армии сыграли указания, директивы, письма, речи Владимира Ильича. Стратегические планы, политическая работа в войсках, взаимоотношения армии с населением, снабжение армии, работа тыла — не было такого вопроса обороны Советской страны, которым не занимался бы В. И. Ленин.

Красноармеец, командир, комиссар — в знойном Туркестане, в дальневосточной тайге, в степях Украины — знал, что в Москве, в Кремле, работает штаб Коммунистической партии — ее ЦК во главе с Лениным; что в кремлевском кабинете у карты военных действий стоит человек, имя которого бесконечно дорого трудящимся, что оно — залог победы.

Лучших из лучших сынов и дочерей отдавала Коммунистическая партия фронту в годы гражданской войны. Когда в апреле 1919 года одна из коммунисток спросила В. И. Ленина, как понимать назначение ее начальником политотдела одной из армий Восточного фронта, Владимир Ильич ответил: «Понимать так, как есть: решение ЦК. Времени военные. Все на наиболее трудное».

Характерная особенность «Истории гражданской войны в СССР» в том, что это не безликое повествование о делах минувших. Каждый том насыщен именами. Среди них имена посланцев, соратников и учеников В. И. Ленина, таких, как А. А. Андреев, А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов, С. И. Гусев, Ф. Э. Дзержинский, А. А. Жданов, Р. С. Землячка, М. И. Калинин, С. М. Киров, С. В. Косиор, В. В. Куйбышев, Л. З. Мехлис, А. И. Микоян, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, П. П. Постышев, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. В. Фрунзе, Н. С. Хрушев, Н. М. Шверник, Е. А. Щаденко, Е. М. Ярославский.

На фронт стремились в те годы как молодые коммунисты, так и умудренные опытом бывшие подпольщики. Триста тысяч коммунистов — больше половины всех членов Коммунистической партии — насчитывалось в Красной Армии в августе 1920 года. Не менее пятидесяти тысяч из них пали смертью храбрых.

«...Когда наступал трудный момент в войне,— писал В. И. Ленин,— партия мобилизовала коммунистов, и в первую голову они гибли в первых рядах, тысячами они погибали на фронте Юденича и Колчака; гибли лучшие люди рабочего класса, которые жертвовали собой, понимая, что они погибнут, но они спасут поколения, спасут тысячи и тысячи рабочих и крестьян».

В «Истории» дан ряд новых оценок и характеристик. Возьмем, к примеру, военные события лета и осени 1918 года. Неправомысленное выпячивание одного лишь Царицынского участка Южного фронта в исторической литературе недавнего прошлого привело к тому, что главный фронт — Восточный — оставался в тени. Между тем именно на Восточном фронте решалась тогда судьба революции. Это было признано в специальном постановлении ЦК в конце июля 1918 года. Тогда же В. И. Ленин энергично призывал питерских рабочих организовывать отряды для направления на Восточный фронт. В августе 1918 года Владимир Ильич писал: «Считаю необходимым всячески усилить Восточный фронт».

Усилия ЦК партии, указания В. И. Ленина дали свои результаты — в сентябре 1918 года войска Восточного фронта перешли в наступление. Вся страна узнала имена народного героя В. И. Чапаева, балтийского матроса Н. Г. Маркина, рабочего

В. К. Блюхера, бесстрашного начдива В. М. Азина.

По-новому ставится и освещается в труде вопрос о разработке стратегического плана разгрома Деникина. Один из планов был составлен С. С. Каменевым, новым главкомом, назначенным по решению Пленума ЦК РКП(б), состоявшегося 3—4 июля 1919 года. Центральный Комитет одобрил этот план, и он стал директивной партией. Когда же осенью 1919 года обстановка на фронте изменилась, сентябрьский Пленум ЦК РКП(б) указал на необходимость перенесения центра тяжести борьбы с Деникиным на орловско-курское направление. Таким образом, единый стратегический план разгрома Деникина был поправлен самой жизнью.

Глава пятого тома «Разгром белогвардейской армии Врангеля» во всем объеме раскрывает перед читателем картину этой битвы. Советскими историками на большом конкретном материале полностью раскрыто значение победы под Перекопом. «Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии,— говорил В. И. Ленин на VIII Всероссийском съезде Советов,— есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем».

Полководческое искусство М. В. Фрунзе так ярко проявившееся в организации разгрома Врангеля, нашло в книге достойное отражение. Невиданный, поистине массовый героизм проявили бойцы, штурмовавшие укрепления Чонгара и Перекопа. Сотни красноармейцев, командиров и комиссаров были награждены орденом Красного Знамени.

Специальная глава посвящена укреплению Советского государства в 1920 году. Убедительно показано, как Коммунистическая партия использовала мирную передышку, организовав силы для отпора белополякам и Врангелю. Упрочение союза рабочего класса с крестьянством — ведущая тема повествования о работе советского тыла.

В книге достаточно полно представлено все многообразие экономической, политической и культурной жизни страны в этот период. Первомайский субботник 1920 года, в котором участвовал В. И. Ленин,— и критика Пролеткульта; ленинский план ГОЭЛРО — и краткий анализ творчества В. В. Маяковского и Демьяна Бедного,— обо всем читатель найдет интересные сведения.

О том, как в 1922 году «разгромили атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончили поход», рассказано в последней главе тома.

В заслугу авторам «Истории гражданской войны в СССР» следует поставить и то, что они достаточно подробно осветили сложнейшие вопросы борьбы с белогвардейщиной и иностранными интервентами в национальных районах Советской России. Гражданская война в Закавказье и Туркестане, на Украине и в Белоруссии показана в тесной взаимосвязи с общероссийскими событиями. Впервые названы многие имена героев борьбы с врагами Советской власти.

«История гражданской войны в СССР» пронизана духом пролетарского интернационализма.

Жестко просчитались главари всемирного империализма, послав против Советской России американских, английских, французских, немецких солдат. Не помогли иностранным захватчикам ни грозное вооружение, ни обильное снаряжение их войск. Лицом к лицу иностранные солдаты встретились с правдой о первом рабоче-крестьянском государстве. Эту правду несли большевистские агитаторы, газеты, листовки, сама жизнь. И случилось то, что В. И. Ленин, говоря о победе над Антантой, определил словами: «Мы у нее отняли ее солдат». В книге подробно раскрыт этот ленинский тезис.

Иностранные войска, разгромившие своих противников в ходе первой мировой войны, оказались бессильными перед советским народом, обретшим свободу. «Послушное оружие, действовавшее почти без осечки во всех самых напряженных схватках воюющих друг с другом наций, теперь неожиданно сломалось в руках тех, кто направил его на новое дело», — так написал о поражении войск Антанты не кто иной, как Уинстон Черчилль.

А в тылу империалистов ширилось движение под лозунгом «Руки прочь от Советской России!». Возглавил его революционный пролетариат Западной Европы.

Десятки и сотни бойцов-интернационалистов из разных стран героически сражались на фронтах гражданской войны плечом к плечу с воинами Красной Армии и партизанами. В «Истории» названы имена Бела Куна, Мате Залка, Ференца Мюнниха, Пау Ти-сана, Жен Фу-чена, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Славоюра Частека, Пет-

ра Боровича, Кароля Сверчевского, Игнация Грушковского и многих, многих других славных сынов народов Европы и Азии. Эти страницы читаются с неослабевающим интересом.

Литература — мемуарная, исследовательская — по истории гражданской войны начала накапливаться с двадцатых годов, едва закончилась война. Было сделано немало попыток серьезно разобратся в событиях, запечатлено немало интересного, характерного по свежим следам событий. Но историк начинается там, где начинается критика источников. Составители «Истории» сочетали бережное, вдумчивое отношение к литературе прошлого и критическое, партийное рассмотрение ее достоинств и недостатков, правильно определили ее место и роль в историографии темы.

Авторы не оставили без внимания множество книг и брошюр, изданных за рубежом, и подвергли беспощадному критическому разбору те мемуары и труды, в которых сделана бесплодная попытка оправдать, обелить иностранную военную интервенцию.

Развернутое, глубоко обоснованное заключение венчает многотомное издание. В нем дается оценка роли разгрома белогвардейщины и иностранных интервентов в истории советского общества. Точно сформулированы причины победы Красной Армии, подведены итоги работы советского тыла.

По-новому строится периодизация истории гражданской войны. Обосновывается тезис о том, что она прошла в своем развитии четыре периода. С начала войны до поздней осени 1918 года длился первый период. Второй период охватывает зиму 1918—1919 годов. Он ознаменовался провалом попыток Антанты задушить Советскую власть своими силами. Третий период гражданской войны продолжался с марта 1919 года по февраль 1920 года. Именно в это время были одержаны решающие победы Красной Армии над объединенными силами иностранных интервентов и внутренней контрреволюции. В апреле 1920 года начался четвертый период, продолжавшийся до конца 1920 года. Была бита последняя ставка империалистов Антанты на буржуазно-помещичью Польшу и Врангеля.

Борьба советского народа против иностранных военных интервентов, стремившихся помочь русской буржуазии ликви-

ровать завоевания Великого Октября, продолжалась три года. «Это был,— сказал товарищ Н. С. Хрущев,— самый демократический опрос персонально каждого живущего в России. за что он— за дело революции, за дело Ленина или же за помещичье-капиталистический строй. И народы России проголосовали за Ленина, за победу революции. Они на деле доказали, что хотят и могут сами решать вопрос о политическом и социальном устройстве своего государства».

Есть нечто знаменательное в том, что, когда была завершена «История гражданской войны в СССР», вышел первый том «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза». В этом томе детально и беспощадно, на основе неопровержимых фактов, раскрывается тайна подготовки

второй мировой войны, ее закулисная история. Через двадцать лет после провала иностранной военной интервенции в Советскую Россию была предпринята новая попытка сокрушить единственную в мире страну социализма. Началась Великая Отечественная война Советского Союза. Чем она закончилась,— известно всему миру.

В борьбе за мир уроки прошлого помогают воспитывать величайшую бдительность народов. Опыт героической борьбы советских людей в годы гражданской войны не стал лишь достоянием истории. Он поучителен и актуален. Об этом говорит каждая страница многотомной «Истории гражданской войны в СССР».

Ю. ШАРАПОВ,

кандидат исторических наук.

★

СЕВЕРОМОРЕЦ

Адмирал А. Г. Головкин. Вместе с флотом. Редактор Г. М. Игнатювич. Воениздат. М. 1960. 271 стр.

Бревенчатый Дом флота, с такой же бревенчатой башенкой радиоузла, лепился к скале, покрытой снегом. Там, где снег сдуло ветром, обнажился черный камень.

В полуподвале Дома флота просторный спортзал сплошь заставили койками, и там разместились командиры и политработники запаса, приехавшие на сбор, чтобы пройти положенную переподготовку.

Вечерами техник радиоузла ставил одну за другой пластинки Клавдии Шульженко, и ее голос слышался над апрельскими снегами Заполярья: в горбатой улочке, застроенной похожими, как близнецы, двухэтажными рублеными домами по восемь квартир, и у каменного дома, именуемого «циркульным», потому что он полукружием высился над незамерзающим скалистым фиордом, и в нашем спортзале — из черной тарелки, укрепленной на «шведской лестнице».

Спать укладывались рано, и всякий раз перед сном, разуваясь с кряхтением на краешке узенькой койки, политрук запаса Шведчиков обращался к соседу, раскатывая букву «о» звучными кругляшами:

— Политрук Разумов! А что вы сегодня сделали для Советской власти за те тридцать два рубля семьдесят копеек, которые она вам нынче начислила?

Кажущееся безделье сбора томило обо-

их. Но забегу вперед и скажу, что политрук Разумов погиб девять недель спустя в бою на Западной Лице, а политрук Шведчиков был убит в мае 1942 года, когда шел в атаку с десантниками морской пехоты у отрогов хребта Муста-Тунтури. А тогда, в конце апреля 1941 года, каждому из них казалось, что он ничего не делает за тридцать два рубля семьдесят копеек, положенных ему за день, и они язвили друг друга под томные придыхания Клавдии Шульженко: «Ваша записка, несколько строчек, та, что я нашла в тиши...»

На первомойском вечере запасники и кадровики сидели вместе. Из зрительного зала Дома флота были вынесены кресла; их заменили составленные буквой «П» столы. И, помнится, на редкость уютным и славным был этот последний предвоенный Первомай. Уже короткой стала северная ночь над поздним снегом, и будто стоял бревенчатый дом на причале у черной, обдутой ветром скалы.

В зале все было как в корабельной кают-компании, и во главе праздничного стола, как командир корабля, сидел командующий флотом Арсений Григорьевич Головкин. Мы, запасники на переподготовке, увидели его тогда впервые, и он оказался очень молодым человеком, не старше политрука Шведчикова — ему не исполни-

лось еще и тридцати пяти. Вся атмосфера непринужденного и непритязательного веселья исходила именно от него, от его умения объединять людей, не сковывая их, от собственной его искренней непринужденности и естественного дружелюбия.

Этот славный вечер запомнился во всех немудрящих подробностях не потому, что был последним праздничным вечером предвоенной мирной жизни, или, вернее, не только потому. Он часто вспоминался потом, во время войны, — на подводной лодке у чужих берегов; в кают-компании эсминца, идущего в высоких широтах на рандеву — сохранилось у моряков такое старосветское слово — с караваном транспортов; в землянке морской пехоты на полуострове Рыбачьем. На подводную лодку «Щ-401» немецкие катера-охотники сбрасывали тогда глубинные бомбы почти двое суток кряду, и лодка затаилась с выключенными моторами, чтобы обмануть преследователей. В отсеках создавалась та самая обстановка, какую любят выбирать драматурги, чтобы в предсмертном уже как бы поведении раскрыть различие человеческих характеров, обнажить несхожие людские души. Но на «Щ-401» опасность не развела людей, а сплотила. Никогда не приходилось мне видеть столь прочного, так тесно сдружившегося и такого мужественного коллектива. Это были люди одной судьбы, где каждый знает, что труд и подвиг, победа и смертельная опасность приходятся на всех поровну. Но кроме этого чувства одной судьбы, было в отсеках подводной лодки (так же как на эсминце, так же как в североморской пехотной землянке) и еще нечто: люди жили там в климате высокой духовной чистоты и бескорыстного товарищества, в том самом климате, какой ощутили уже и все участники предвоенного первомайского вечера.

Этот превосходный климат высокой гражданской нравственности присутствует и в книге адмирала А. Г. Головки «Вместе с флотом», изданной недавно в серии «Военные мемуары». Даже само название говорит все о том же боевом товариществе североморцев, об их выкованной в дни мира и закаленной в боях сплоченности.

Наивысшим выражением воинского подвига североморцев в Великой Отечественной войне — подвига, совершенного ими плечом к плечу с войсками Карельского фронта, — явился тот пограничный столб на

Рыбачьем, за который так и не удалось продвинуться гитлеровцам за все военное четырехлетие. А свидетельством всенародной популярности этого подвига остается хотя бы и то, что североморские песни военного времени, такие, как «Прощайте, скалистые горы», до сих пор поются во всех уголках нашей страны и поколением, какое родилось уже много лет спустя после того, как матросы-десантники прощались с землей Рыбачьего, чтобы отправиться на высадку во вражеский тыл.

Что до неприкосновенности пограничного столба в горах Заполярья, то после войны гитлеровские военные мемуаристы пытались оправдывать свои неудачи на Севере трудностью природных условий и ссылками на слабость своих сил, базировавшихся в Финляндии и Северной Норвегии. «Необходимое примечание», которым адмирал Головка заключил свою книгу, разбивает оба довода военных историков гитлеризма. Численно — как показывают неопровержимые цифры — нацисты на протяжении первых трех лет войны значительно превосходили противостоящие им силы Северного флота и Мурманской группировки Карельского фронта. А природные условия, якобы остановившие гитлеровцев в 1941-м, оставались точно такими же и в конце 1944 года, когда морякам и армейцам пришлось форсировать «непроходимую местность», столь жалостно описанную в книге бывшего нацистского флотоводца, а ныне вице-адмирала западногерманского флота Фридриха Руге, и выбивать гитлеровцев из Печенги, Киркенеса, Варде и Вадсе.

Записки адмирала А. Г. Головки заключаются такими словами:

«Война закончилась, но сквозь огни мирной жизни, искрящиеся на просторах нашей страны, все так же проступает передо мной чеканный образ североморца, несущего боевую вахту и на гранитных, повитых туманом берегах-скалах Заполярья, и на борту корабля среди необъятного, в снежных зарядах и плавучих льдах, исхоженного и родного студеного моря-океана».

Образ североморца возникает и из строк самой книги, хотя записки адмирала отнюдь не беллетристичны, — лексика заключительного абзаца является в них исключением, а деловой лаконизм стиля нередко составляет вспомнить сжатую краткость востановленного журнала на боевом корабле. Но в этих коротких записях упомянуто множе-

ство конкретных людей, охарактеризовано множество человеческих поступков, и эти гочные, немногословные характеристики рисуют обобщенный и вместе с тем живой и мужественно-прекрасный образ североморца в трудном бою.

Название книги — «Вместе с флотом» — органически связано со всем ее содержанием. А. Г. Головкин рассказывает вначале о своей жизни так же кратко, как говорит потом о других: в 1920-м, четырнадцатилетним подростком, вступил в комсомол; два года спустя уехал из станицы Прохладной в Ростов-на-Дону и поступил на рабфак. Чтобы иметь возможность учиться, работал грузчиком в речном порту. («Как большинство слушателей», — добавляет он тут же, чтобы слова о нелегкой учебе не были приняты за рисовку; любая рисовка претит ему, и он ее тщательно избегает.) Из Ростова он едет в Москву, поступает в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Но тут крутой поворот жизненного пути: комсомольский набор и — путевка на флот.

И снова старательно подчеркивается обыденность этого поворота, исключается какая бы то ни было патетика. «Ни с каким-либо призванием или родительским наказом, ни с романтическим стремлением к морю мое определение в моряки не было связано. Комсомол послал меня, как и тысячи других комсомольцев...»

Так начался путь «вместе с флотом», и кульминацией этого пути стали испытания Великой Отечественной войны. Дневники, которые вел автор на протяжении военных лет, и последующие размышления и дополнения, корректирующие и расширяющие то, что было отмечено первоначально по свежим следам событий, составили книгу записок.

Адмирал рассказывает своему читателю не только о победах, но и о неудачах, по-

казывает не только героев, но и трусов. Однако именно та удивленная — другого слова тут и не подберешь — пристальность, с какой рассматривает мемуарист уродливо-патологические черты, из каких складывается характер труса, а наряду с этим буднично-обыденная сухость повествования о подвиге ярче всего убеждают читателя, что в минувшей войне для советского воина мужество было правилом, а трусость — печальным и редким исключением.

Историю Великой Отечественной войны книга «Вместе с флотом» дополняет страницами умного и содержательного рассказа о событиях, которые происходили на крайнем северном фланге огромного фронта.

Прочитанную хорошую книгу всегда хочется пересказать собеседнику. Сложная и впервые столь всесторонне освещенная драматическая история морского конвоя «РQ-17», рассказ о подвиге экипажа «ТЦ-120», беспристрастное повествование о сложных и пестрых контактах с англо-американскими союзниками, описание сухопутных и морских операций сентября—декабря 1944 года так и просят пересказа и обширных цитат. Но надо устоять перед этим соблазном, чтобы не забежать вперед и не разрушить цельного впечатления, которое сможет получить сам читатель от книги «Вместе с флотом».

Надо прочитать эту книгу самому. Прочитать и увидеть североморца, который сражался на море, на суше и в воздухе, воевал в долгой и штормовой тьме полярной ночи и под светом незаходящего, не дающего укрытия и передышки солнца — в такой же долгой полярный день. Он был правофланговым великой войны — добрым и мужественным сыном Родины.

Д. МАРЬЯМОВ.

★

ПЕЧАТЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Советская военная печать (Исторический очерк). Под редакцией полковника И. А. Портяннина. Воениздат. М. 1960. 419 стр.

Когда знакомишься с книгой «Советская военная печать», вспоминаются рукописные боевые листки, дивизионные и фронтовые газеты, вспоминаются редакции — и в благоустроенных городских домах, и во фронтовых землянках...

Воссоздать историю советской военной печати — историю подчас героическую и

всегда поучительную — дело очень нужное.

Авторы широко использовали газетные и журнальные материалы многих лет, архивные источники. Им удалось показать огромную роль военной печати — одного из больших отрядов большевистской прессы — в создании, становлении и укреплении Советской Армии, в политическом воспитании

ее вонючих, в великих победах наших Вооруженных Сил.

«Советская военная печать, созданная Коммунистической партией одновременно с формированием первых частей и соединений Красной Армии,— говорится в введении к книге,— имеет не только свою историю, но и богатейшую предысторию». Первые страницы рассказывают о большевистских военных газетах, выходивших в период революции 1905—1907 годов и между Февралем и Октябрем 1917 года, об огромном значении, которое придавал В. И. Ленин этим газетам — предшественникам советской военной прессы.

Периодизация ее истории, данная в книге, соответствует основным этапам развития Вооруженных Сил СССР. Читатель узнает, какие задачи стояли перед армейской прессой на каждом из этих этапов и как эти задачи решались.

Свою первую боевую закалку советская военная печать получила в огне гражданской войны. Революционным духом, пафосом героической борьбы были проникнуты страницы красноармейских газет. Они доходили до сердец воинов, воодушевляли их, вели к победам.

В почетной грамоте, которой была удостоена газета 1-й Конной Армии, К. Е. Ворошилов писал: «Красный кавалерист» был не менее грозным оружием для врага, чем шашки красной конницы. Передвигаясь со своей типографией в поездах, грузовых автомобилях, а нередко и на пулеметных тачанках, неотступно следуя за частями, выполняя свою работу под огнем противника, газета находилась непрерывно вместе с красноармейской массой, была тесно связана с нею, жила ее жизнью, четко, большевистски, понятным языком внушала уверенность в победе красноармейской массе, метким сокрушающим словом поражала врага». Нужна ли более яркая характеристика роли советской военной печати!

После окончания гражданской войны Красная Армия была реорганизована в соответствии с новыми задачами, вставшими перед ней. Была перестроена и военная печать.

Центральное место в книге составляет рассказ о военной печати в дни Великой Отечественной войны, о той агитационно-пропагандистской, воспитательной и организаторской работе, которую вели военные газеты в разные периоды войны. Не обиде-

ны и газеты тыловых округов, готовивших резервы для фронта.

Единство армии и народа, нерушимая связь фронта и тыла были одним из решающих условий победы над врагом. Закономерно то большое внимание, которое уделено в книге этому вопросу.

Читая главу за главой, мы видим, как Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет, Главное политическое управление Советской Армии руководили и в мирное время и в годы войны военной печатью, заботились о кадрах армейских журналистов, их политической и военной подготовке. В годы войны в редакции военных газет пришли сотни работников советской печати. Около четверти всех членов Союза писателей СССР работало в военной прессе. Многие факты героизма военных журналистов, приводимые в книге, по-настоящему волнуют.

В неимоверно трудных условиях приходилось выпускать газету на полуострове Ханко. Но армейские газетчики мужественно выполняли свой долг. «Осажденная редакция,— рассказывается в книге,— не прекращала своей работы и в часы ураганного артиллерийского обстрела. Осколки снарядов попадали в типографию. Был смертельно ранен редактор газеты товарищ Зудинов, вышли из строя другие сотрудники газеты и работники типографии. Несмотря на это, героические защитники Ханко каждый день читали свою родную и близкую газету «Красный Гангут»...

Последняя глава книги посвящена деятельности печати в послевоенный период, период развернутого строительства коммунистического общества, в условиях коренного технического перевооружения армии.

При общей, безусловно положительной оценке книги следует указать на некоторые ее недостатки. Наряду со страницами, написанными живым, эмоциональным языком, встречаются и такие, на которых лежит печать штампа и трафарета. На странице 305 читаем: «Занятия в них (семинарах.— Н. Л.) проводились обычно один-два раза в месяц по определенному плану и включали ознакомление с тем, как и о чем писать в газету...» Есть и отдельные неточности. Укажу на одну из них. «Червоная армия» была продолжительное время газетой Украинского военного округа, а в книге выходит, что она была всегда газетой Киевского военного округа. Забытыми ока-

зались вопросы культурно-просветительной работы, которые всегда занимали и занимают на страницах военной прессы большое место. Название книги требовало, чтобы хотя бы вкратце было рассказано и о деятельности Военного издательства Министерства обороны Союза ССР.

Наконец, совершенно недостаточно показано в книге место художественной литературы в военных газетах, роль советских писателей, формы их выступлений во фронтовой печати. Между тем известно, что всегда — и в мирное время, и в годы гражданской войны, и, в еще большей степени, в годы Великой Отечественной войны — сотни наших писателей активно и

весьма плодотворно работали в военных газетах.

В своем выступлении в Кремле 14 ноября 1959 года Н. С. Хрущев, назвав советских журналистов подручными нашей партии, активными бойцами за ее великое дело, обратился к ним с призывом и впредь трудиться, трудиться и трудиться, чтобы наша печать была самой сильной, самой боевой печатью.

«Этот призыв Н. С. Хрущева имеет прямое отношение и к работникам военной печати». Такими словами завершается полезная и нужная книга «Советская военная печать».

И. ЛУНИН.

★

ПОД ЗНАМЕНЕМ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

А. Кладт, В. Кондратьев. Братья по оружию. Венгерские интернационалисты в борьбе за власть Советов в России. 1917—1922 гг. Редактор В. Антонов. Соцгиз. М. 1960. 224 стр.

Интернационалисты... Так в годы гражданской войны называли бойцов Красной Армии — венгров, китайцев, немцев, чехов, румын, корейцев, поляков, — которые плечом к плечу с красноармейцами защищали Советскую республику.

Путь венгерских интернационалистов в Россию прошел через поля сражений империалистической войны. Бывшие военнопленные, они стали братьями по оружию рабочих и крестьян Страны Советов. Переход власти в руки трудящихся, провозглашение мира, уничтожение частной собственности на землю, национализация заводов и фабрик — все это привлекло массы венгерских военнопленных на сторону Советской республики.

Многие интернационалисты-венгры вступили в РКП(б), стали последовательными борцами за коммунизм. Вот характерный пример. Из ста шести венгерских добровольцев, рабочих и крестьян, служивших в Ново-николаевском интернациональном батальоне в 1920 году, восемьдесят семь были членами и кандидатами РКП(б); при этом пятнадцать человек вступили в партию в 1918 году и активно участвовали в подпольной революционной работе при колчаковском режиме.

Советская Россия стала для венгерских интернационалистов страной, защиту которой они считали своим классовым долгом,

страной, озарившей путь родной им Венгрии в будущее.

Когда в апреле 1919 года правительство Советской Венгрии в обращении к венграм красноармейцам в РСФСР призвало их еще больше напрячь усилия в борьбе с русской контрреволюцией, В. И. Ленин, ознакомившись с документом, сделал на нем надпись о том, что полностью присоединяется к этому призыву. Обращение с ленинской пометкой было размножено в качестве листовки и получило широкое распространение на фронте.

За последнее время в исторической литературе появился целый ряд исследований, как советских, так и зарубежных, о боевом содружестве трудящихся в годы гражданской войны.

Работа А. Кладта и В. Кондратьева обогащает наши сведения о венгерских интернационалистах. Такие главы, как «Астраханские интернационалисты», «Винермановцы», имеют определенное научно-исследовательское значение. Авторам удалось обнаружить архивные документы и материалы, которые ранее не были известны.

В живой форме описан боевой путь интернациональных полков Красной Армии. Венгерские интернационалисты участвовали в боях в Поволжье, в лесах Урала, в сибирской тайге, сражались под командованием прославленных героев гражданской войны

Чапаева, Лазо, Котовского. Читатель найдет в книге немало свидетельств беззаветного героизма интернационалистов.

Газета «Социальная революция», орган венгерских коммунистов в Советской России, в октябре 1918 года опубликовала сообщение о героической гибели группы венгерских бойцов-коммунистов при защите города Петровск-Порт (Махачкала). Авторам книги удалось найти новые материалы, касающиеся этих событий. В августе 1918 года к столице Дагестана подошли банды Бичерахова. Против них был послан отряд астраханских рабочих и в их составе группа венгерских интернационалистов, в основном пулеметчиков и артиллеристов. Они мужественно дрались с контрреволюционными бандами, не раз обращая их в бегство. Озверевшие белобандиты жестоко расправились с ранеными красноармейцами-венграми — они были заживо погребены в ими же вырытых могилах. В 1920 году Петровск-Порт снова стал советским. Трудящиеся Дагестана установили памятник на брагской могиле венгерских героев.

Подвиги интернационалистов высоко отмечены правительством Советской страны. Туркестанский интернациональный полк, сражавшийся за власть Советов в Средней Азии, был награжден орденом Красного Знамени. Высокой награды удостоились десятки венгерских интернационалистов и среди них Бела Кун и Мате Залка. Командир прославленного 3-го интернационального полка Лайош Гавро получил два ордена Красного Знамени. За героизм и отвагу в боях с махновскими бандами кавалерами ордена Красного Знамени стали сто семьдесят шесть бойцов Заволжского стрелкового полка, в том числе девятнадцать уроженцев Венгрии.

Венгерские интернационалисты остались верны великим идеям марксизма-ленинизма. Мате Залка и Деже Фрид погибли, защищая республиканскую Испанию. В рядах Со-

ветской Армии в годы Великой Отечественной войны находились Ференц Мюннх и полковник Шандор Сиклаи, который в октябре 1956 года погиб в Венгрии от рук контрреволюционеров. Живут и трудятся на благо венгерского народа другие интернационалисты — участники Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в СССР.

Книга «Братья по оружию» содержит обширный и интересный материал. Однако авторов ее можно упрекнуть в том, что они слабо использовали партийную и советскую периодическую печать, например «Уральский рабочий» (Екатеринбург), «Вперед» (Уфа), газеты, издававшиеся в Пензе, Воронеже, Симбирске, Орле. Весьма многочисленные материалы о возникновении и деятельности организаций венгерских интернационалистов, опубликованные на страницах этих газет, остались вне поля зрения А. Кладта и В. Коидратьева.

В некоторых случаях некритически использованы сведения из неопубликованных воспоминаний. Авторы иногда преувеличивают численность вооруженных отрядов интернационалистов.

Из отдельных неточностей укажем на следующие. В книге говорится, что после антисоветского мятежа чехословацкого корпуса выступили белогвардейские банды генерала Каледина (стр. 16) — тогда как с ними было покончено раньше, в феврале 1918 года, — и что в начале августа 1918 года Колчак развернул наступление на Красную Армию (стр. 131); между тем в это время Колчак был еще за границей.

Хочется пожелать, чтобы славная история боевого содружества трудящихся зарубежных стран с народами Советской России в 1917—1922 годах вышла за рамки специальных и научно-популярных работ и стала темой произведений советской литературы.

В. КОПЫЛОВ,
кандидат исторических наук.

★

ЧТО ВИДИТ «ВОКРУГ СВЕТА»

«Вокруг света», № 1, январь, 1961. (Главный редактор В. С. Сапарин).

Первое сообщение о начале издания журнала «Вокруг света» появилось на страницах петербургской газеты «Северная пчела» в конце ноября 1860 года, и в декабре того же года вышел первый номер. Журнал издавался М. О. Вольфом, который хо-

рошо понимал, какая книга может пойти в его книжных магазинах, умел издать книгу вовремя, умел купить остатки непрошедших изданий, выдержать их на своем складе и все же продать.

В вольфовском журнале печатались опп-

сания путешествий, сообщения об открытиях и изобретениях, известия о новых книгах.

Это было время, когда географы смывали белые пятна с лица земли. Белые пятна окazyвались пустынями, девственными лесами. Очень скоро они обращались в пятна пожаров, войн, разорений. По следам доброго и ученого Дэвида Ливингстона шел безжалостный американец Стэнли, который уже тогда умел натравливать на берегах Конго одно племя на другое и через нужду и грабежи вел свой отряд от моря к морю, ища неиспользованные богатства.

Сто лет существует журнал «Вокруг света». Для меня это журнал моего детства. Я помню его номера, переплетенные в толстые тома. Бумага в тех томах уже пожелтела. Приходили новые номера и читались с жадностью. Но время как будто не двигалось. Печатались рассказы о переходах через пустыни, о пиратах и корсарах, абордажах, добыче. Это был свет, охваченный пламенем и насилем как будто навсегда.

Когда-то Белинский посетил Лермонтова на гауптвахте. Они говорили о литературе. Лермонтов поразил великого критика своим пониманием будущего. Они говорили о Вальтере Скотте и Купере. Лермонтов предпочитал Купера Вальтеру Скотту. Белинский этому был «без памяти рад».

Что же поразило в Купере глубокий и могучий дух Лермонтова?

Вспомните роман «Последний из могикан». Это роман о погибающем племени индейцев, о любви индейца к дочери генерала и индианки, о гибели прекрасной метиски и молодого могиканина. Это роман о ценности людей разных рас. Это роман, в котором сделаны попытки рассматривать людей, на нас не похожих, не как часть пейзажа, а как другую возможность жизни, другую возможность культуры и мировоззрения.

В. Г. Белинский в статье «Герой нашего времени» вспоминал, что сам Лермонтов мечтал о грандиозной эпопее; он хотел написать три романа из трех эпох русского общества: век Екатерины II, век Александра I, настоящее время,— имеющие между собой связь и некоторое единство по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями»

Купер тут оказывается одним из истоков критического реализма. Книги о дальних или новых странах и путешествиях часто бывали передовыми художественными произведениями

Есть разного рода путешествия. Есть путешествия, в которых чужие люди показываются только как элемент экзотики. Есть такие «путешествия», как книги Шатобриана, как «Путешествие в Арзрум» Пушкина и «В дебрях Уссурийского края» В. К. Арсеньева, в какой-то степени даже как «Герой нашего времени» Лермонтова¹. Человек едет по свету и, встречая разных людей, понимает их, как своих.

Журнал «Вокруг света» прожил сто лет пестро и по-разному. Его последние годы — это годы нового понимания света, и последний номер с выступлениями Тихонова, Маршака, Паустовского, со статьями, в которых разбиваются старые иллюзии об островах сокровищ, о кладах на необитаемых островах, и с новыми путешествиями, которые учат уважать обычаи народов и по-новому удивляться,— этот январский номер 1961 года хорошо сделан.

Существуют разные способы съемки. Можно снимать дальними планами, заставляя аппарат пожирать пространство, удивлять зрителя тем, что есть страны, в которых небо темнее по цвету, чем земля, удивлять странными деревьями, цветами, растущими прямо из земли, как будто отбросив стебель.

Есть способ близкого плана — рассмотрение прежде всего лица человека. Самое важное для нового нашего журнала «Вокруг света» — это действительная любовь к человеку разных стран, разных рас, сочувствие к человеку, боль за его боль, вера в культуру, в подвиг.

Кукуруза, которая растет на наших полях, табак, который мы курим, картофель, который мы едим,— все это создано трудом индейцев. Африка дала нам много растений, в том числе и арбуз, дала нам многое в металлургии. Когда мы пишем дату нашего нового года — года 1961-го, мы пишем его цифрами, созданными индусами и арабами. Когда мы кладем на карту очертания Земли, то пользуемся географической сеткой, созданной в Средней Азии.

¹ Лермонтов называл «Героя нашего времени» «путевыми записками», см главу «Бэла»

Пора начинать печатать не только описания путешествий европейцев по дальним странам, но и описания путешествий китайцев, негров, арабов и индонезийцев по Европе и Америке. Старые книги показывали нам, как эти редко печатавшиеся путешественники прекрасны по зоркому и беспристрастному видению.

Я читаю журнал «Вокруг света», мой интерес к журналу не постарел. Журнал хо-

роший, и я бы хотел, чтобы он учил нас тому, что Европа далеко не одна создала культуру, чтобы он учил чувству общечеловечности.

Труд общечеловечен и создан всем миром. Для того чтобы понять историю труда, надо посмотреть вокруг света.

Вот некоторые мысли читателя о журнале, который он любит.

Виктор ШКЛОВСКИЙ.

★

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛУНЕ

Н. П. Барабашов, В. А. Бронштэн, М. С. Зельцер, Н. Л. Кайдановский, А. В. Марков, К. П. Станюкович, Н. Н. Сытинская, А. В. Хабанов, Ш. Т. Хабибуллин, В. В. Шаронов, А. А. Яковкин. Луна. Под редакцией доктора физико-математических наук **А. В. Маркова.** Физматгиз. М. 1960.

384 стр.+ 2 карты.

Когда человек собирается совершить путешествие в далекую страну, он, естественно, стремится узнать о ней возможно больше и старается запастись путеводителем, если таковой имеется. В роли путешественника, готовящегося проделать трудный путь в неизведанную страну, в недалеком будущем окажутся первые космонавты. «Страна», которую они изберут для первого межпланетного перелета,— это Луна.

В какой мере ученые смогут помочь этим смелым людям ознакомиться с географией Луны, с ее ландшафтом, чтобы облегчить космонавтам первое знакомство с лунной поверхностью?

..На переплете книги «Луна» изображены горы и кратеры, как будто видимые в иллюминатор межпланетного корабля. Резкие тени падают на изборозженную извилистыми трещинами поверхность Моря Дождей. Здесь, среди безмолвия каменных утесов, то под палящим Солнцем, то в жестоком холоде ночи — всегда при ярком свете немерцающих звезд — ждут своих создателей вымпелы с гербом Советского Союза. Многие тайны, связанные с природой нашего вечного спутника, раскроют астронавты, прибывшие сюда. Но и сейчас о движении, строении, физической природе Луны ученые накопили множество сведений.

Одиннадцать астрономов, астрофизиков, геологов, целый ряд лет занимавшихся изучением Луны, собрали в этой книге все то ценное, что получено наукой о нашем спутнике. Объективно и критически изложили они результаты и методы наблюдений

И если новая фотографическая карта Луны, создаваемая в настоящее время по лучшим снимкам, сделанным на крупнейших обсерваториях мира, может сослужить хорошую службу будущему межпланетному путешественнику, то рекомендуемая монография представляет для него также большую ценность, являясь в некоторых своих разделах прекрасным путеводителем по общим полушариям Луны.

Первая глава сборника написана одним из старейших астрономов нашей страны А. А. Яковкиным и посвящена движению, вращению и фигуре Луны. Ни одно светило не потребовало столько труда для изучения его движения, как Луна, подверженная одновременно воздействию притяжения Земли, Солнца и других небесных тел Птоломеем и Тихо Браге, а позже Клеро, Лаплас, Делоне, Пуассон, Ньюкомб и многие другие занимались этой проблемой. Петербургский академик Эйлер создал принципиально новую теорию движения Луны, которая лежит в основе современных вычислений положения Луны в пространстве; без них не может быть речи о расчетах траекторий космических ракет, запускаемых в сторону Луны и на Луну.

Математическое уравнение движения Луны содержит тысячу шестьсот пятьдесят членов, каждый из которых сам по себе является сложной математической формулой.

Ненамного проще определяется масса Луны. Она должна быть уточнена, так как Луна воздействует на движение Земли, в результате чего изменяется продолжитель-

ность земных суток и года. А. А. Яковкин предлагает новый метод определения массы Луны — путем создания искусственного спутника Луны. По его положению можно будет также несравненно точнее определять ее перемещения; будет уточнено и расстояние Земли от Солнца.

Полная Луна кажется совершенно круглым диском. Между тем обнаружено, что Луна несимметрична ни относительно центрального меридиана, ни относительно экватора, хотя отклонение от шара ничтожно.

А. А. Яковкин рассказывает об использовании Луны в качестве ориентира при составлении карт Земли и даже для межпланетной навигации. Штурман космического корабля, удаленного от Земли на миллионы километров, по положению Луны и Земли на фоне звезд сможет точно определить свое место в межпланетном пространстве.

Крайне сложное движение Луны, ее постоянное «покачивание» на орбите позволяет видеть с Земли около шестидесяти процентов ее поверхности, но создает трудности для лунных картографов. Методы их преодоления описаны Ш. Т. Хабибуллинским во второй главе. Современные карты Луны включают все детали, превышающие по размерам полтора километра. Видимая поверхность Луны изучена не хуже, чем поверхность нашей родной Земли.

Фотографии обратной стороны Луны, полученные советскими учеными, кладут начало новой эпохе в лунной картографии. Для будущих космонавтов описывается астрономический способ определения местоположения на Луне. При отсутствии лунного магнитного поля, что было показано запуском Лунника-2, этот способ является единственно возможным.

Глава «Описание лунной поверхности» дает право называть сборник «Путеводителем по Луне». Она написана известным пулковским астрономом А. В. Марковым, который более сорока пяти лет изучает природу Луны и опубликовал за это время многие десятки научных работ. Нет ни одной серьезной книги о Луне без ссылки на открытия, сделанные А. В. Марковым.

Читая эту главу, мы как бы совершаем путешествие по Луне, двигаясь вслед за утренним Солнцем к западу и рассматривая подробности лунного терминатора — раздела дня и ночи. Здесь кратеры и гор-

ные цепи отбрасывают длинные тени, позволяющие видеть их особенно рельефно. Мы замечаем иногда странные и внезапные, еще не получившие объяснения перемены, происходящие на безжизненной Луне, лишенной воды, атмосферы, погоды. Хорошо известные астрономам кратеры вдруг увеличиваются за несколько часов, а над краями трещин временами появляется таинственная белая дымка. Лишь недавно советским астрономам Н. А. Козыреву и В. И. Езерскому удалось доказать, что из центральной горки кратера Альфонс происходит выделение светящегося газа.

В книге приводится гипотетическая карта обратной стороны Луны, составленная английским ученым Уилкинсом. Но после получения фотографий с борта советской автоматической межпланетной станции стало ясно, что эта карта имеет мало общего с действительностью. Несколько более близка к истине карта американского астронома И. Левитта, опубликованная им в начале 1959 года. В книге она, к сожалению, отсутствует.

К сборнику приложена большая цветная карта Луны диаметром в 39,5 сантиметра со списком четырехсот деталей. Подобные карты давно не издавались.

Есть ли на Луне атмосфера? На этот важнейший вопрос отвечает Н. Н. Сытинская. Она рассказывает о разнообразных попытках обнаружения атмосферы Луны, в большинстве безрезультатных. Это не случайно: плотность лунной атмосферы в двадцать триллионов раз меньше плотности воздуха, которым мы дышим, и примерно равна плотности земной атмосферы на высоте трехсот километров.

Подавляющее количество научных работ, раскрывающих физические свойства лунной поверхности, проделано советскими исследователями. Этому вопросу посвящается самая обширная глава сборника, написанная Н. П. Барабановым, А. В. Марковым и М. С. Зельцер.

Трудно поверить, что поверхность сияющего диска Луны гораздо темнее песчаника, гранита и базальта. Но измерения показывают, что в целом Луна отражает не больше света, чем чернозем или темная кора плавления метеоритов. Из каких же пород состоит лунная поверхность?

Исследования света, отраженного от многочисленных участков Луны, указывают, что на лунной поверхности имеются

породы сильно измельченные, а вследствие этого крайне плохо проводящие тепло. Диаметр зерен, покрывающих лунную поверхность, составляет примерно четверть миллиметра. В результате во время лунных затмений и с наступлением ночи температура поверхности Луны быстро и резко падает на двести градусов, тогда как на глубине пяти миллиметров, как показывают радионаблюдения, она изменяется значительно меньше, а на глубине в десять—двадцать сантиметров остается постоянной.

Замечательно, что во время лунных затмений яркость некоторых участков оказывается несколько большей, чем других. Не является ли это следствием радиоактивности лунной коры и не представляет ли это серьезной опасности для астронавтов? Попытки решения этих вопросов уже делаются советскими учеными с помощью космических ракет.

Один из авторов сборника, Н. Л. Кайдановский, рассказывает о новых методах исследования Луны посредством радиолокации и радиоастрономии.

Радиолокация позволяет уточнить расстояние до Луны, выяснить вопрос о минералогическом составе и структуре лунной поверхности, а радиоастрономия помогает измерить температуру разных ее участков, что дает возможность судить не только о поверхности Луны, но и о строении лунной коры на некоторой глубине. Радионаукометрические методы отвечают на вопрос о существовании лунной ионосферы. Наконец, эти методы используются для исследования распространения радиоволн в земной атмосфере, для земной дальней радиосвязи и радионавигации.

Различные гипотезы существуют насчет образования лунного рельефа (ведь и на происхождение земных гор имеются разные взгляды). Изучение поверхности Луны показывает, что одни образования на ней моложе, другие старше. На основе многолетних наблюдений Луны А. В. Хабакову удалось обнаружить семь периодов в ее истории и составить большую цветную карту (она приложена к сборнику). Небольшие части этой карты помещены в тексте и облегчают ее чтение.

А. В. Хабаков подробно описывает поверхность Луны с точки зрения геолога, нщущего в каждой формации ключ к пониманию ее возникновения и развития. Следует особо отметить, что А. В. Хабаков

является первым геологом, смело решающим вопросы формирования и эволюции Луны.

Появление кратеров объясняется действием внутренних (в частности — вулканических) сил или связывается с падением на Луну метеоритов. Так, американский ученый Юри полагает, что огромное Море Дождей, как и большинство морей на обращенной к нам стороне Луны, образовалось в результате падения огромного астероида диаметром в двести километров. Энергия удара была в сорок миллиардов раз большей, чем при падении Тунгусского метеорита.

Иного мнения придерживаются участники сборника К. П. Станюкович и В. А. Бронштэн. Они приходят к выводу, что лунные кратеры образовались в результате мощных взрывов. Подобный взгляд К. П. Станюкович отстаивает с 1937 года. По-видимому, на Луне действовали, формируя ее рельеф, и внутренние и внешние силы. Нельзя нацело отрицать метеоритную гипотезу лишь на основании недавнего наблюдения Н. А. Козыревым выделения газов в кратере Альфонс, что свидетельствует как будто о существовании на Луне вулканизма. Это было бы равносильно отрицанию метеоритного происхождения известного Аризонского кратера на основании существования земных вулканов. Но односторонне объяснять происхождение всех лунных кратеров и морей падением метеоритов и астероидов тоже неправильно. Ведь очаг взрыва может лежать и ниже уровня поверхности, и в этом случае, как показывает разработанная К. П. Станюковичем теория, кратер будет подобен возникшему от удара метеорита.

Каковы размеры нового лунного кратера, образованного падением на Луну советской космической ракеты? Оказывается, в случае ее падения в тонко раздробленную среду типа песка на Луне должен был появиться кратер диаметром около ста метров, причем масса выброшенного вещества составила бы десятки тысяч тонн. Возможно, что именно это пылевое облако наблюдали Ловаш в Будапеште и Эртель в Берлине в момент «прилунения» ракеты.

Вопрос о природе вещества, устилающего лунную поверхность, приобретет практическое значение в случае посылки автоматических станций на Луну. Этот вопрос рассматривается в заключительной главе

сборника. Ее автор, известный планетовед В. В. Шаронов, приходит к выводу о том, что наиболее близкой к истине является метеорно-шлаковая гипотеза, разработанная Н. Н. Сытинской. Согласно этой гипотезе Луна покрыта очень рыхлым, поздраватым шлаком, возникшим под влиянием ударов и взрывов метеоритов.

Работа над сборником проходила в то поистине историческое время, когда быстрый прогресс советской науки позволил приступить к исследованию природы Луны с помощью космических ракет. К сожалению, в сборник не включена отдельная глава о фотографировании обратной стороны Луны, а краткий обзор полученных фотографий дан лишь в заключении.

Недавно Академия наук СССР выпустила Атлас обратной стороны Луны. Он включает первую в мире карту невидимой части нашего вечного спутника, составленную по фотографиям, которые были переданы из космоса. Эти фотографии также вошли в Атлас. Коллектив, участвовавший в создании этого уникального научного издания, выдвинут на соискание Ленинской премии.

Легко представить себе трудности редактора, обязанного объединить в одном сборнике статьи разных авторов, имеющих вполне законченные и подчас различные

точки зрения. Однако противоречия и повторения в значительной степени устранены, хотя некоторые из них не остаются незамеченными. Выявились и различия в терминологии, которую разные ученые применяют к названиям лунных кратеров и цирков (стр. 77 и 261).

Нельзя согласиться с А. В. Хабаковым, утверждающим на странице 252, что фотографии обратной стороны Луны якобы подтверждают расположение лунных морей в виде пояса, находящегося неподалеку от лунного экватора, тем более что на странице 366 совершенно ясно говорится, что именно на основании анализа фотографий обратной стороны Луны подобные выводы оказались ошибочными.

Некоторое противоречие содержит четвертая глава: на страницах 104 и 107 категорически утверждается, что радиометоды показывают полное отсутствие на Луне атмосферы, а на странице 108 сказано, что в пользу существования лунной атмосферы говорят новейшие радиоастрономические работы.

Можно надеяться, что в одном из следующих изданий этого интересного и ценного сборника будет помещена новая глава, написанная участником первого полета на Луну.

В. БАЗЫКИН.



«РАБОЧИЙ БЫТ И КОММУНИЗМ»

В седьмой книге «Нового мира» за 1960 год была напечатана статья академика С. Г. Струмилина «Рабочий быт и коммунизм». Статья вызвала много откликов у читателей журнала. В связи с этим редакция обратилась к проф. В. Н. Колбановскому с просьбой обобщить суждения читателей, а также высказать свое мнение по проблемам семьи и быта

Интерес к проблемам коммунизма, проявляемый советскими людьми, вполне закономерен. Строители коммунизма хотят жить, имея перед собой ясную перспективу. Это тем более необходимо, что в настоящее время закладывается фундамент будущего общества.

Научный коммунизм опирается на открытые марксизмом-ленинизмом законы общественного развития. Он проектирует будущее, исходя из реальных элементов действительности и руководствуясь научным предвидением.

Такой подход важен как при создании материальных условий будущей жизни, так и при решении вопроса о ее нравственных устоях. Сохраняя и культивируя прогрессивные тенденции современности, мы отбрасываем прочь все реакционное, отжившее, что необходимо оставить за порогом коммунистического общества.

Мечтая о будущем, мы должны, однако, учитывать, что самая яркая творческая фантазия современности может оказаться тусклой и бесцветной в сравнении с предстоящими реальными достижениями. Строгую научную позицию в этом вопросе занимали классики марксизма. Набрасывая общие контуры будущего общественного устройства, они избегали говорить о его конкретных формах, предоставляя людям самим — в свое время — решать выдвинутые жизнью задачи.

Не все проблемы коммунизма можно осуществить с одинаковой скоростью и легкостью, в одни и те же сроки. Логично предположить, что, например, материально-техническая база коммунизма будет создана раньше, чем порожаемое ею изобилие материальных и культурных ценностей. Несколько позже человечество достигнет коммунистического уровня идейной сознательности и нравственного совершенства.

Было бы серьезной ошибкой предполагать, что известное отставание общественного сознания от несколько быстрее изменяющегося общественного бытия будет легко и сразу преодолено при коммунизме. Конечно, многое из того, с чем приходится бороться в наши дни, уже не будет волновать наших потомков. Но в будущей жизни возникнут, очевидно, свои противоречия. Правда, разрешаться они будут в плане содружественного их преодоления.

Эти мысли невольно приходят в голову при чтении статьи академика С. Г. Струмилина «Рабочий быт и коммунизм», опубликованной в седьмой книге журнала «Новый мир» за 1960 год.

Автор статьи, как марксист и один из крупнейших экономистов нашей страны, рассматривает поставленные проблемы будущего общественного устройства с научных позиций. Однако некоторые его положения сформулированы в статье недостаточно четко, что, кстати сказать, и дало повод к справедливым критическим замечаниям читателей.

Академик С. Г. Струмилин характеризует семью как элементарную общественную ячейку. «Семья — это наиболее естественный первичный союз, спаянный узами личных влечений и кровного родства, общим хозяйством и длительными заботами о воспитании

детей, отвечающий тем самым основной задаче самосохранения и дальнейшего воспроизводства всего человеческого рода». Это самая общая характеристика семьи, которую можно отнести к разным общественно-экономическим формациям. В то же время автор отмечает существенные отличия между буржуазной семьей, в которой «наблюдается глубокое разложение семейных нравов», и семьей в социалистическом обществе, отражающей его нравственное превосходство над капиталистическим миром.

Советская семья перестала быть ячейкой частной собственности, но хозяйственные функции в известном объеме у нее сохранились. Эти функции все еще ложатся тяжелым бременем на плечи женщины, и одна из важнейших задач, стоящих перед нами, — по мере возможности перевести домашнее хозяйство на общественное обслуживание. Рост учреждений общественного питания при том условии, что они будут снабжать население доброкачественной и вкусно приготовленной пищей с разнообразным ассортиментом, снимет значительную нагрузку с плеч женщины. Такова же роль и коммунальных учреждений — прачечных, пошивочных и починочных ателье, бюро по уборке квартиры и мастерских по ремонту мебели. В своей совокупности они могут избавить семью от бездны мелких, оупляющих и раздражающих забот.

В этом же направлении идет расширение сети детских воспитательных учреждений, призванных облегчить важнейшую воспитательную функцию семьи. Правда, мы говорим лишь об облегчении воспитательной работы семьи. Академик же Струмилин считает, что воспитание детей «может гораздо успешнее выполнить только само общество». Соображения его сводятся к тому, что не все родители умеют воспитывать детей, а те, кто способен это делать, могли бы использовать свой педагогический талант в детских воспитательных учреждениях.

Автор статьи полагает, что уже через пятнадцать—двадцать лет общественные формы воспитания станут доступными — от колыбели до аттестата зрелости — всему населению страны. Он пишет: «Каждый советский гражданин, уже выходя из родительного дома, получит направление в детские ясли, из них — в детский сад с круглосуточным содержанием или в детский дом; затем — в школу-интернат, а из нее уже отправится с путевкой в самостоятельную жизнь — на производство или на дальнейшую учебу по избранной специальности».

В этой перспективе отмечены все этапы на пути прохождения ребенка, упомянуты все учреждения, в которых он будет воспитываться, — все, кроме семьи. По-видимому, сам автор почувствовал неловкость от выпадения этого звена и поэтому спрашивает: «Не будет ли такой ранний отрыв детей от семьи слишком тяжким испытанием и для родительских чувств и для малышей, столь чутких к материнской ласке?»

Автор видит выход в том, что «детские учреждения должны быть организованы в каждом доме, под одной крышей со взрослыми, но в отдельных помещениях, со специальным обслуживающим штатом и на полном иждивении государства». Никто не должен мешать родителям навещать своих детей в свободное от работы время. Автор считает, что «витамины любви» нужны всем детишкам в равной мере, а тем из них, кто без отца или без матери, нужнее, чем другим.

Так ли это? Действительно ли дети могут довольствоваться «витаминами любви», вместо того чтобы получать ее полностью из щедрого родительского сердца? Нужно ли лишать семью того счастья, которое дают хорошо воспитанные дети?

В настоящее время общественные детские учреждения существенно облегчают воспитательную работу семьи, беря на себя заботу о детях на то время, пока родители трудятся. Для рабочих и служащих рабочее время в 1960 году сокращено до семи-шести часов в день. Но это не предел. При дальнейшем резком повышении производительности труда возможно будет сокращение необходимого рабочего времени и до четырех часов. Если учесть к тому же освобождение значительной части времени от хозяйственных забот, то семья получит больше возможностей для воспитания детей. Педагогическая неграмотность родителей, которой опасается С. Г. Струмилин, может быть также ликвидирована. Для этого в систему общего образования каждого будущего гражданина и семьянина надо включить комплекс знаний по воспитанию детей; к услугам родителей всегда и в любой мере будет консультативная помощь врачей и педагогов детских воспитательных учреждений.

Да и вряд ли столь уж необходимо, чтобы дети воспитывались только в общественных учреждениях. Семья обладает для этого широкими возможностями. В любви детей к родителям как естественном ответном чувстве на родительскую любовь воспитывается их любовь к родине, которую народный язык называет «матерью» или «отечеством». В братских и сестринских чувствах детей формируются их чувства товарищества и дружбы к сверстникам по учению и будущим сотрудникам по работе.

Было бы злейшей карикатурой на коммунизм представлять себе будущую семью без детей, которые являются естественной целью и высшим смыслом человеческой любви. А насколько обездоленными были бы дети, если бы они питались лишь скудными «витаминами любви», не отдавая ничего взамен!

Но дело в том, что из статьи в целом этого не вытекает. Такие выводы следуют лишь из приведенной нами формулировки о перспективах общественного воспитания детей в будущем. Однако автор имеет в виду и другое. Так, представляя строительные комплексы будущего, он пишет: «Отдельные корпуса и массивы такого комплекса, соединенные крытыми переходами, позволят детям попасть из дома в детское учреждение или школу и обратно в любую погоду без всяких приключений». По смыслу этой фразы автор допускает, что дети будут жить в семье и оттуда направляться в воспитательные учреждения и школу и возвращаться домой.

Противоречие между обеими формулировками в статье очевидное. Первая формулировка послужила поводом для многочисленных нападок на автора за его отношение к семье при коммунизме¹, второй же формулировки большинство критиков просто не заметило.

Мотивируя необходимость создания школ-интернатов и расширения сети детских воспитательных учреждений, Н. С. Хрущев в своем докладе на XX съезде КПСС сказал: «Конечно, семья и школа были и остаются важнейшими очагами социалистического воспитания детей. Но этим нельзя ограничиваться».

Партия всегда придавала решающее значение в этом деле общественному воспитанию. В детских воспитательных учреждениях и в школе работают педагоги и врачи, получившие специальную квалификацию. Они осуществляют государственную программу коммунистического воспитания. Детские учреждения с круглосуточным содержанием, школы-интернаты и школы продленного дня оказывают существенную помощь семьям, особенно тем, где родители заняты производительным трудом. Но это вовсе не означает отстранения семьи от воспитания детей. Расширяя сеть детских учреждений, государство ставит своей задачей лишь облегчение и улучшение воспитательной работы семьи, но партия никогда не считала возможным заменить семейное воспитание общественным.

В будущем обществе, обладая большим, чем теперь, количеством свободного времени и не неся современных семейных хозяйственных тягот, родители с радостью будут уделять свое внимание детям, их развитию, наслаждаться теми радостями, которые приносят сопереживания в детских играх, разумных занятиях и других формах общения с детьми.

¹ Придавшись к нечетким формулировкам в статье С. Г. Струмилина, австрийская газета «Дас клеине фольксблатт», в попытках обновить старый хлам клеветнических измышлений, извращает смысл ряда положений автора, доводя их до абсурда, а газета «Эстеррейхше неие тагесцейтунг» не остановилась даже и перед прямой фальсификацией текста. Обе газеты приписывают академику Струмину идею полного уничтожения семьи и ликвидации супружеских союзов, а также всеобъемлющее подчинение индивидуума обществу.

С. Г. Струминин видит прогресс в сокращении хозяйственных функций семьи, что оставляет людям больше свободного времени, в частности и для воспитания детей. Опуская эти «детали», австрийские авторы рисуют черной краской перспективы полного развала семьи при коммунизме. Заметим, кстати, что область половых взаимоотношений и семьи всегда была излюбленной темой для враждебной пропаганды против коммунизма. Вспомним несусветную чепуху о якобы осуществленной в Советском государстве национализации женщин и детей в начальный период революции или о «семидесятиметровом одеяле», под которым в колхозе спят вповалку мужчины, женщины и дети.

Редакция журнала «Новый мир» получила большое количество откликов читателей на статью академика С. Г. Струмилина.

Приведем некоторые из них, преимущественно тех авторов, которые в чем-либо не согласны с высказываниями С. Г. Струмилина.

Группа рабочих Медногорского медно-серного комбината—Б. Романов, Л. Найберг, А. Семенуша и другие — в своем письме в редакцию «Нового мира» сообщает, что при обсуждении статьи С. Г. Струмилина у них разгорелся спор. «Одни считают, что академик Струмилин прав, говоря о будущем нашего общества, в частности о воспитании детей и разрешении бытовой проблемы. Другие считают, что высказывания академика Струмилина для нас весьма неприемлемы, так как он предлагает фактически полный отрыв детей от семьи и весьма туманно высказывается о коммунах».

Наиболее обстоятельная критика ряда проблем, поднятых в статье «Рабочий быт и коммунизм», дана в двух объемистых откликах — кандидата исторических наук Г. Чигринова и кандидата технических наук Б. Линчевского.

Первый из критиков упрекает автора статьи за недооценку воспитательной роли семьи, за тенденцию к ее полному упразднению. Второй критикует С. Г. Струмилина за то, что в статье не сделано всех необходимых с его точки зрения выводов в отношении семьи, брачных отношений, родственных чувств и так далее.

Основные (и, на наш взгляд, справедливые) возражения Г. Чигринова направлены против предложения академика Струмилина о постепенном сужении семьи до семейной пары, против того, что эта пара может быть брачной и внебрачной, что она будет вместе лишь постольку, поскольку есть смысл вести хозяйство на двоих, а с отпадением этого смысла «семья вообще как хозяйственная ячейка, сливаясь с другими и перерастая в большой хозяйственный коллектив, растворяется в составе будущей бытовой коммуны».

Г. Чигринова интересует вопрос: «А как же дети? Ведь настоящая семья, основанная на истинно человеческой любви, создается для восполнения, продолжения человеческого рода, связана прежде всего с рождением и воспитанием детей». По мнению автора письма, «супружеская любовь, дополненная любовью родителей к детям и детей — к родителям, сделает семью счастливыми и расцветет при коммунизме. Предположения о внебрачной любви лишены всякого смысла, так как будут исключительно благоприятные возможности для того, чтобы любовь заканчивалась браком».

Своеобразную точку зрения высказывает Б. Линчевский. Без всяких доказательств он считает, что «в коммунистическом обществе неизбежно, но постепенно отпадут родственные взаимоотношения». На этом основании он расценивает как ошибочное утверждение академика Струмилина, что при коммунизме родственные чувства могут стать даже теплее и чище. Б. Линчевский утверждает, что «у будущего человека изменится и любовь к своим детям, а у детей, соответственно,— любовь к своим родителям; они будут относиться теплее к тем, кто их воспитывает», по-видимому, к няням и воспитательницам детских яслей и детских садов, а также к педагогам школ. Читаем далее: «Родственные отношения исчезнут со сцены общественной жизни, на смену им придут отношения товарищества и дружбы». Этот вывод не вытекает непосредственно из рассуждений С. Г. Струмилина и лежит всецело на ответственности Б. Линчевского.

Б. Линчевский упрощает и другое положение автора статьи: «Прежняя семья все суживается до наиболее, при всех условиях, прочной — брачной или внебрачной, но нерасторжимой до тех пор, пока ее связывают узы любви,— семейной пары». По мнению Линчевского, «брачный союз будет основан только на половом влечении друг к другу, скрепленном взаимным интересом в тех или иных областях деятельности, то есть основанном на индивидуальной половой любви и дружбе». Продолжительность такого союза — «до тех пор, пока существует половое влечение друг к другу; при возникновении сильного полового чувства к другому индивидууму союз будет расторгнут...» Так как, пишет Б. Линчевский, в будущем обществе условия транспорта дадут возможность людям много путешествовать, что способствует расширению знакомств, «старые брачные союзы чаще будут уступать место новым связям, новым союзам».

коммунисткой Кларой Цеткин и отраженные в ее воспоминаниях. Ленин отчетливо видел перспективу развития и укрепления семьи в будущем обществе, отвечающую требованиям нравственного прогресса.

В некоторых читательских откликах на статью «Рабочий быт и коммунизм» содержатся критические замечания по поводу высказанных в ней соображений о типовом устройстве будущих бытовых коммун.

Так, Н. Берсенева упрекает автора статьи в том, что он, критически отнесясь в начале своей статьи к социалистам-утопистам, сам последовал за ними в проектировке будущих бытовых коммун. То, «о чем пишет академик Струмилин, об этом писали многие столетия назад Томмазо Кампанелла и Шарль Фурье». Н. Берсенева считает, что при проектировке будущих бытовых коммун следовало бы использовать опыт строителей Комсомольска-на-Амуре, практику коммуны имени Ленина Кирсановского района, Тамбовской области, коммун «Пролетарская воля» и «Коммунистический маяк» Ставропольского края.

Правда, автор письма не разъясняет, в какой мере опыт этих коммун, созданных в начальный период развития социалистического общества, можно перенести в коммунизм. В отношении материально-бытовых условий эти первые коммуны стоят несравнимо ниже возможностей коммунистического общества. Единственно поучительными в них могут быть нравственные тенденции и идейные устремления их строителей.

Пенсионер М. Коган видит заслугу С. Г. Струмилина в самой постановке вопроса о проектировании будущих бытовых коммун, так как этим вопросом необходимо заниматься уже теперь, учитывая, что большие здания строятся на срок в пятьдесят—семьдесят лет и больше. Однако автор письма не соглашается с мнением С. Г. Струмилина о типовом проекте коммуны. М. Коган считает, что карликовые коммуны нерациональны. Все вспомогательные учреждения для таких коммун — столовые, учебные, медицинские, физкультурные, санитарные и другие — будут экономически нецелесообразными. К тому же помещения коммуны в четыре этажа будут занимать слишком большое пространство, что вызовет лишние путешествия жильцов по территории коммуны, затраты времени и энергии. М. Коган полагает, что целесообразнее строить дома-коммуны на десять тысяч человек, возводя их до десяти этажей. Легче «подняться лифтом на десятый этаж, чем взбираться по старинке на четвертый этаж, наживая при этом болезни».

М. Коган не согласен также с идеалом будущего города, рассчитанного на тридцать тысяч жителей, так как в таком городе или возле него нельзя организовать как следует промышленные предприятия, чтобы каждый житель города мог выбрать себе профессию по своим склонностям и способностям. «Иначе мы совершенно обедним жизнь. Труд из добровольного, дающего удовлетворение и счастье, станет вынужденным: будь текстильщиком, так как в нашем городе нет других предприятий».

Эти рассуждения кажутся нам примером той излишней, преждевременной конкретизации, о которой говорилось в начале статьи. Заметим, однако, что и в этом случае затронутые вопросы показывают, как неверно подходить к проблемам будущего бытового устройства с мерками нынешнего дня. Необходимо планирование, исходящее из реальных возможностей будущего общества, в том числе высоких, развитых и разнообразных потребностей. Равенство людей, которое с наибольшей полнотой будет достигнуто при коммунизме, вовсе не предполагает одинаковости в их вкусах, запросах и способностях. Напротив, у людей коммунистического общества будет возможности самого всестороннего развития.

Стандартизация производства значительно облегчает и удешевляет его процесс. В частности, в этом огромное преимущество индустриально-поточного метода строительства жилых домов по типовым проектам. Однако сооружение отдельных домов и архитектурных ансамблей необходимо варьировать по их местоположению, сооружать разнообразные архитектурные ансамбли.

Принцип варьирования стандарта следует применить и в производстве мебели и в изготовлении одежды, обуви, посуды и других принадлежностей общественного и домашнего обихода.

Не исключено при этом, что строительство больших многоквартирных домов будет сочетаться со строительством небольших двух- и одноэтажных домиков для индивидуального или совместного использования их отдельными семьями или группами семей. Это можно допустить, без риска быть обвиненным в индивидуализме. Потребность в такого типа жилищах с дополнительным оборудованием в них художественного ателье или студии может понадобиться работникам, посвятившим жизнь художественному творчеству. Всестороннее развитие личности отнюдь не исключает одновременной ее специализации в какой-нибудь из областей науки или искусства. А это может побудить работников такого типа поселаться вдали от шума городского, хотя, можно надеяться, что к тому времени городские шумы будут основательно приглушены.

Коммунизм — общество, которое создается для счастья всех людей. В нем не будет места обездоленным людям, так как в обществе найдется достаточно сил и средств, а также теплоты и внимания к окружающим, чтобы сделать радостным существование каждого человека.

Об этих могучих нравственных качествах грядущего общества должны помнить все, кто занимается планированием материальных условий жизни и всех будущих форм общественной организации и взаимоотношений людей.

Проф. В. Н. КОЛБАНОВСКИЙ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ГЕНЕРАЛ АРМИИ И. В. ТЮЛЕНЕВ. *Через три войны.* Воениздат. М. 1960. 256 стр. Цена 59 к.

Путь, пройденный Иваном Владимировичем Тюленевым — от царского драгуна до советского генерала армии, — пролегает через три войны: империалистическую, гражданскую и Великую Отечественную. Об этом пути повествует книга И. В. Тюленева, вышедшая в серии «Воспоминания мемуары».

Подробно рассказано в книге о грандиозной битве за Кавказ (И. В. Тюленев был командующим Закавказским фронтом). Во всем величии встает подвиг нашего народа и его армии в грозные дни, когда враг рвался к бакинской нефти.

В книге приведено много фактов, значимых широкому читателю. Таков, например, рассказ о таинственном «Зондерштабе Г», двигавшемся вслед за группой Клейста и не вступавшем в бой. Он оказался «африканским» корпусом и предназначался для соединения с войсками Роммеля, действовавшими в Египте.

Генерал армии И. В. Тюленев дает глубокую оценку событиям Великой Отечественной войны, вскрывает ряд грубых просчетов немецкого командования. Оно часто действовало по шаблону, питая приверженность к теории Шлиффена, «той» модернизированной пруссаками «теории Канна», которая легла в основу военной стратегии и тактики генштаба Третьего рейха.

А. ЛУКОВЕЦ. *В народной Польше.* Госполитиздат. М. 1960. 144 стр. Цена 17 к.

От прибугских лесов до берегов Одры, от Балтики до отрогов Судетских и Карпатских хребтов раскинулась Польская Народная Республика. Богатства польской земли велики и разнообразны — десятками миллиардов тонн исчисляются, например, запасы угля. Но полновластным хозяином этих богатств народ стал всего лишь полтора десятилетия назад. В результате хозяйничанья капиталистов — «своих» и иностранных — Польской Народной Республике досталось тяжелое наследие.

Об огромных переменах, которые произошли в жизни страны после установления социалистического строя, мы узнаем из книги «В народной Польше».

Еще не так давно вся территория Польши четко делилась по экономическому при-

знаку на две части — промышленную и сельскохозяйственную. Территории, богатые лесом, обозначались на старой карте страны изображениями зубра, охотника, сторожки лесника. Теперь в тех же воеводствах мы видим на карте новые рисунки: фабричный корпус, нефтяная вышка. Только в одном Краковском воеводстве сооружается свыше сорока крупных предприятий.

Книга А. Луковца знакомит также с новой польской деревней, с ростом благосостояния трудящихся.

РУДИ ГОГЮЛЬ И ГЕЙНЦ ПОЛЯ. *Одер — Нейссе — граница мира.* Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 200 стр. Цена 36 к.

Одной из основ послевоенного мирного урегулирования, утвержденного Потсдамским соглашением, было установление границы по Одере — Нейссе. Таким образом была устранена историческая несправедливость, и древние польские реки Одра и Ниса-Лужница стали «границей мира».

Прошло, однако, немного времени, и западногерманские реваншисты, поддерживаемые империалистами США, начали требовать пересмотра границы и «крестового похода» на Восток, в первую очередь для «поглощения» Германской Демократической Республики. Выношенная на протяжении столетий опасная идея «Дранг нах Остен» находит в ФРГ ярых приверженцев и продолжателей.

Книга Руди Гогюля и Гейнца Поля, сотрудников Немецкого института современной истории, всесторонне освещает важную проблему — историческую необходимость существования незыблемой границы по Одере — Нейссе. Авторы делают экскурс в историю польского народа, обосновывая право Польши на ее современную территорию, подробно знакомят с решениями Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, которые империалисты Запада склонны «забывать» и оскарживать. Значительное место уделено крепнувшей дружбе между ГДР и Польшей.

ЭНЦО РАВА. *Северная Африка на пути к независимости.* Перевод с итальянского. Соцэкгиз. М. 1960. 218 стр. Цена 42 к.

Прогрессивный итальянский публицист Энцо Рава недавно посетил страны Север-

пой Африки — Алжир, Тунис и Марокко. Результатом поездки явилась книга «Северная Африка на пути к независимости». На основе объективных данных автор пытается ответить на вопрос, «почему в течение последних десяти лет миллиард людей на земном шаре смог разорвать вековые оковы колониального рабства».

Энцо Рава построил свою книгу по хронологическому принципу. Он рассказывает о древнейшей африканской цивилизации, об истории порабощения североафриканских народов и их героическом сопротивлении колонизаторам. При этом автор подчеркивает огромное влияние, которое оказал на национально-освободительное движение в Африке, и особенно в Алжире, самый факт существования Советского Союза.

Автор собрал обильный и интересный материал. Меньше всего его можно назвать беспристрастным летописцем. Его симпатии — и он этого не скрывает — целиком на стороне закабаленных народов, борющихся за свою независимость. Книга Энцо Рава займет свое место среди документов, обличающих величайшее зло нашего времени — колониализм.

МИРОСЛАВ БЛАЖЕК. Экономическая география Чехословакии. Сокращенный перевод с чешского. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 478 стр. Цена 2 р. 27 к.

Книга М. Блажека — первый труд по экономической географии современной Чехословакии. Как пишет автор, «книга должна была решить две задачи: дать представление об экономике страны в целом и одновременно показать хозяйство ее отдельных областей». После краткого описания природных условий М. Блажек переходит к подробному обзору различных отраслей народного хозяйства — промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

До победы социалистического строя существовало большое различие между промышленной Чехией и отсталой аграрной Словакией. Сейчас и Словакия превращается в область развитой промышленности. Здесь будет производиться больше продукции, чем давала перед войной вся Чехословакия в целом.

Книгу заключает глава «Внешние экономические связи», из которой можно узнать, что Чехословакия торгует со ста двадцатью странами. Особенно успешно развивается торговля с Советским Союзом и странами народной демократии.

Обстоятельное предисловие к книге написано И. Маергойзом.

Д. Н. АНУЧИН. Люди зарубежной науки и культуры. Географиз. М. 1960. 232 стр. Цена 97 к.

Автор книги — крупный русский географ, антрополог, этнограф и археолог Д. Н. Анучин — был талантливым популяризатором. Ему принадлежат свыше тысячи печатных трудов, среди которых вы-

дающее место занимают работы о людях науки.

На страницах этого сборника читатель встретит имена прославленных ученых и исследователей.

В очерках, рассказывающих о жизни и деятельности таких первооткрывателей, как Коперник, Галилей, Дарвин и другие, автор дает не только объективную и глубокую оценку их вклада в науку, но и создает запоминающиеся образы этих людей.

Написанные в конце XIX — начале XX века очерки Д. Н. Анучина интересны и для современного читателя.

АЛЕКСАНДР ЛЮБОШ. Пешком поперек Африки. Детгиз. Л. 1960. 144 стр. Цена 35 к.

«Замечательный исследователь Южной и Центральной Африки, охотник-натуралист Эдуард Фоа, награжденный Большой золотой медалью Географического общества, погиб, растерзанный львами в устье реки Конго». Примерно такого содержания телеграмма полвека назад облетела весь мир.

Однако Э. Фоа мог бы повторить известную шутку Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Сенсационное сообщение о его гибели оказалось ложным. В действительности он благополучно завершил необычайную экспедицию — пешком прошел одиннадцать тысяч километров через всю Африку, от Индийского до Атлантического океана. Ценные зоологические коллекции, собранные им в труднейшем путешествии, поныне украшают многие европейские музеи.

Пытливый ученый и отважный охотник, Э. Фоа был также искренним другом угнетенных колониальных племен.

А. Любош написал о нем увлекательную повесть. Любопытна и личность самого автора книги. Юрист и математик по образованию, талантливый драматический актер, имевший звание заслуженного артиста республики, он был также одаренным литератором и выдающимся охотником-спортсменом.

Посмертно изданное произведение А. Любоша «Пешком поперек Африки» — ценный вклад в познавательную детскую литературу.

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ. Избранное. Гослитиздат. М. — Л. 1960. 324 стр. Цена 56 к.

Вышел сборник избранных стихотворений одного из старейших советских поэтов — Ильи Садофьева. В книгу включены лучшие из произведений поэта, созданные им на протяжении почти пятидесятилетней творческой деятельности.

И. Садофьев начал писать стихи за несколько лет до Великой Октябрьской революции. В 1913—1914 годах они появляются на страницах газеты «Правда». Тяжелый, изнурительный труд на заводе, борьба рабочих за свои права, за светлое будущее — таковы мотивы его дореволюционных сти-

хов, за которые И. Садофьев не раз подвергался преследованиям царских властей.

Мы разбили в прах оковы,
И разрушили преграды,
И победы громким словом
Возвещаем нашу радость,—

писал поэт в дни Октября.

С тех пор в произведения И. Садофьева прочно вошел образ любимой родины, образ советского человека — труженика и создателя. Немало глубоко патриотических стихов поэт создал во время Великой Отечественной войны.

В сборник вошли также стихи, написанные поэтом в самое последнее время. Среди них — «Стихи о молодости», проникнутые радостью, жизнелюбием, оптимизмом.

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ. Стихотворения. Перевод с грузинского. Гослитиздат. М. 1960. 240 стр. Цена 40 к.

Тициан Табидзе (1895—1937) стоял у истоков грузинской советской поэзии.

Человек высокой культуры и широких интересов, поэт огромной искренности, Тициан Табидзе откликнулся на разнообразные явления прошлого и настоящего. Его перу принадлежат стихи о Пушкине и Руставели, Маяковском и Важа Пшавеле, о героической борьбе испанского народа против фашистских мятежников, о мужестве Эрнста Тельмана, томящегося в гитлеровском застенке.

Но особенно проникновенно писал поэт о своей родной Грузии, о «гигантской работе советской власти, перестроившей жизнь на новых, социалистических основах, изменивших лицо страны», и о ее прекрасной природе:

И воздух в горах оглашает обвалы,
И дали теряются в снежной пыли,
И Терек было б на слезы мне мало,
Когда б от восторга они потекли.

В книге Т. Табидзе собраны его стихи разных лет.

М. ЧАРНЫЙ. Лейтенант Шмидт. Историческая повесть. Воениздат. М. 1960. 280 стр. Цена 58 к.

О легендарном лейтенанте Шмидте, возглавившем в 1905 году севастопольское восстание, созданы стихи и поэмы, повести и рассказы.

В основе исторической повести М. Чарного лежит обширный фактический материал — архивные документы, исторические исследования, воспоминания людей, близких знавших Шмидта.

Книга дает широкую картину событий в Черноморском флоте и революционного брожения в стране. Рядом с главным героем в ней выведены другие революционные руководители «Очакова» — Александр Гладков, Сергей Частник, Никита Антоненко. Автор убедительно показывает, что Петр Петрович Шмидт не был одинок, что его революционная деятельность опиралась на безраздельную поддержку матросов восставшего крейсера.

Со страниц повести встает образ лейтенанта Шмидта, образ мужественного, цельного, благородного человека, отдавшего себя освобождению своей страны и своего народа от ига самодержавия.

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ. Воспоминания детства. Нигилистка. Гослитиздат. М. 1960. 239 стр. Цена 49 к.

В одном из писем (незадолго до смерти) Софья Васильевна Ковалевская признавалась, что всю жизнь не могла решить, к чему у нее было «больше склонности — к математике или к литературе».

И действительно, огромный вклад, внесенный замечательной русской женщиной в науку, оставил в тени ее писательские опыты, которые, однако, принадлежат к интересным страницам русской литературы и свидетельствуют о большом художественном даровании автора.

В однотомник, выпущенный Гослитиздатом, вошло лучшее из литературного наследия С. Ковалевской: «Воспоминания детства» и повесть «Нигилистка».

С. Ковалевская воссоздает, казалось бы, обычные картины детства помещицкой дочки в тихом, уютном дворянском гнезде. Но острый глаз и яркий ум автора очень точно отмечают убогость, непрочность этой патриархальной идиллии.

Подъем освободительного движения в России на рубеже шестидесятых годов, волна крестьянских восстаний, волнения среди студенчества и разночинной интеллигенции — все это что еле слышными отголосками доносилось в провинциальное захолустье, не могло оставить равнодушной пытливую девочку. «Воспоминания детства» показывают формирование и мужание незаурядного характера.

С. В. Ковалевская — родная сестра А. В. Корвин-Круковской, писательницы и участницы Парижской коммуны, — была тесно связана с революционным движением в России. Именно революционерам, их героизму и самоотверженности она посвятила повесть «Нигилистка».

Оба произведения — литературные памятники общественного движения семидесятых — восьмидесятых годов — несомненно привлекут внимание широкого читателя.

М. П. ЧЕХОВА. Из далекого прошлого. Гослитиздат. М. 1960. 272 стр. Цена 65 к.

Книга эта — не биография и не исследование. О Чехове рассказывает его сестра, Мария Павловна, всю свою жизнь посвятившая брату — великому писателю.

Со страниц воспоминаний самого близкого к писателю человека встает живой образ Чехова. Мы видим его за работой, на отдыхе, в беседе с друзьями, в кругу большой и дружной чеховской семьи. В течение почти всего творческого пути писателя Мария Павловна находилась рядом с ним. В своих воспоминаниях она рассказывает об истории создания многих произведений Чехова, о прототипах героев его повестей, пьес.

Много интересного узнает читатель об отношениях между Чеховым и его выдающимися современниками: Левитаном, Чайковским, Короленко, Толстым, Григоровичем, Куприным, Бунным, Горьким. Со всеми этими людьми Мария Павловна была знакома лично.

В книге содержится большой документальный материал. Некоторые из документов, затерянные в редких изданиях, только здесь прочтет широкий читатель; другие публикуются впервые (письмо А. П. Чехова к сестре от 30 апреля 1889 года, письмо к ней Левитана и другие).

Рассказывает Мария Павловна и о первых постановках чеховских пьес, о художественном театре, с которым она поддерживала дружескую связь до конца своей жизни, о его артистах, о его основателях В. И. Немировиче-Данченко и К. С. Станиславском.

Запись воспоминаний Марии Павловны сделана Н. А. Сысоевым.

РИКАРДО ГУИРАЛЬДЕС. *Дон Сегундо Сомбра. Роман. Перевод с испанского.* Гослитиздат. М. 1960. 208 стр. Цена 55 к.

Этот роман уже тридцать лет одна из любимейших книг латиноамериканских читателей. Автор ее — аргентинец. Герои — потомки вольнолюбивых настухов, гаучо, населявших бассейн реки Ла Платы. В прежние бурные времена они были непримечательными участниками всех гражданских войн в Аргентине и Уругвае. Но к тому времени, когда Рикардо Гуиральдес принялся за свой роман, они уже стали мирными, жестоко эксплуатируемыми обездолженными и погонщиками скота.

Их жизнь проходит в пампах — бескрайних настищах, по которым свободно бродят огромные стада, принадлежащие богатым владельцам латифундий.

С большим мастерством рисует писатель природу пампы, трудный и своеобразный быт гаучо. Он рассказывает об их трудолюбии, честности, неподкупности и вольнолюбии. Дон Сегундо Сомбра — воплощение этих замечательных качеств, присущих простым людям Аргентины. Люди, подобные

ему, противопоставят миру богачей, к которым принадлежит другой герой книги, Фабио Касерас, незаконнорожденный сын крупного богача, унаследовавший затем его владения. Герой книги дон Сегундо Сомбра стал для латиноамериканцев именем нарицательным.

«Я хотел воскресить ту Аргентину, которая скоро исчезнет... Мне посчастливилось жить в ней в ту пору, воспоминания о которой не меркнут никогда».

Л. ОСПОВАТ. *Пабло Неруда. «Советский писатель».* М. 1960. 359 стр. Цена 58 к.

Когда сорок с лишним лет назад в газете города Темуко появились стихи, подписанные «Пабло Неруда», мало кто из читателей обратил на них внимание. Ныне чилийский поэт, один из крупнейших классиков социалистического реализма за рубежом, известен во всем мире.

Сорок лет — большой срок, за это время произошло в жизни народов Латинской Америки много серьезных изменений исторического, экономического и политического характера. Это не могло не сказаться на творчестве Пабло Неруды, в стихах которого выразилось все своеобразие жизни народов этого континента.

Всесторонне анализируя творчество поэта, Л. Осповат в своей книге показывает, как от первых, еще расплывчатых и неопределенных стихотворений (сборник «Сумеречное») Пабло Неруда приходит к подлинно народным традициям («Всеобщая песнь»). Каждая книга поэта, пишет автор, — это «смелая разведка неисследованных областей жизни, испытание новых поэтических средств», это этап в творчестве поэта. При всем своеобразии и неповторимости поэзии в сложном и противоречивом пути Неруды, в его исканиях и колебаниях, по словам автора, отразились общие закономерности эпохи.

Пабло Неруда находится сейчас в расцвете творческих сил. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные книги, переведенные еще на русский язык. О них говорит Л. Осповат в своей последней главе «Вместо заключения».

ПОПРАВКА

В 12-й книге «Нового мира» за 1960 год в разделе «Коротко о книгах» на стр. 277 следует читать: **Д. Дар, А. Ельянов.** 10.000 километров на велосипедах.

★

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Постановления январского Пленума ЦК КПСС 1961 года. 32 стр. Цена 3 к.

Н. С. Хрущев. Повышение благосостояния народа и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов. Речь на Пленуме ЦК КПСС 17 января 1961 года. 112 стр. Цена 12 к.

Н. С. Хрущев. За новые победы мирового коммунистического движения. К итогам Совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Доклад был сделан на общем собрании партийных организаций Высшей партийной школы, Академии общественных наук и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 6 января 1961 года. 64 стр. Цена 7 к.

Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм. Документы совещаний представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшихся в Москве в ноябре 1957 г., в Бухаресте в июне 1960 г., в Москве в ноябре 1960 г. 96 стр. Цена 10 к.

Программные документы коммунистических и рабочих партий капиталистических стран Европы. 468 стр. Цена 77 к.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Часть 3. 388 стр. Цена 1 р. 30 к.

Н. Бычкова, А. Лебедев. Первый нарком просвещения (О А. В. Луначарском). 40 стр. Цена 4 к.

Янош Кадар. Избранные статьи и речи (1957—1960 годы). 644 стр. Цена 1 р. 23 к.

Ю. Корнилов. Минн и Рейтер — прислужники монополий. 72 стр. Цена 9 к.

Международный политико-экономический ежегодник. 1960. 624 стр. Цена 1 р. 66 к.

Гарри Поллит. Марксизм и рабочее движение в Великобритании. 100 стр. Цена 12 к.

В. Ульбрихт. Основные вопросы политики СЕПГ. 288 стр. Цена 35 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Аксаков. Стихотворения и поэмы. 300 стр. Цена 64 к.

Ф. Балкарова. Капля солнца. Стихи. Перевод с кабардинского. 100 стр. Цена 10 к.

Пезт Валлак. За ольшаником. Рассказы. Перевод с эстонского. 232 стр. Цена 43 к.

В. Василевская. Встречи. Рассказы. Перевод с польского. 300 стр. Цена 52 к.

Д. Веневитинов. Полное собрание стихотворений. 204 стр. Цена 44 к.

В. Волков. Утро в степи. Роман. 462 стр. Цена 79 к.

С. Гехт. В гостях у молодости. Очерки и рассказы. 176 стр. Цена 35 к.

И. Гофф. Поэтом можешь ты не быть... Повесть. 250 стр. Цена 29 к.

Н. Грудинина. Дневник сердца. Стихи. 80 стр. Цена 10 к.

Н. Жапаков. На берегах Аму. Стихи. Перевод с каракалпакского. 80 стр. Цена 10 к.

Ф. Искандер. Зеленый дождь. Стихи. 100 стр. Цена 13 к.

В. Наверин. Неизвестный друг. Повесть. 248 стр. Цена 27 к.

М. Куприна-Иорданская. Годы молодости. Воспоминания о А. И. Куприне. 240 стр. Цена 46 к.

Р. Ованесян. Чудесный садовник. Стихи. Перевод с армянского. 144 стр. Цена 17 к.

А. Островский. Твоих друзей легион. Повесть. 252 стр. Цена 30 к.

Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). 854 стр. Цена 1 р. 54 к.

И. Франко. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. 780 стр. Цена 1 р. 33 к.

Э. Цюрупа. Ты слышишь меня? Повесть. 320 стр. Цена 57 к.

А. Чаковский. Дороги, которые мы выбрали. Роман. 336 стр. Цена 60 к.

ГОСЛИТЗДАТ

Алуизиу Азеведу. Трущобы. Роман. Перевод с португальского. 256 стр. Цена 85 к.

С. Д. Артамонов. Бомарше. Очерк жизни и творчества. 255 стр. Цена 52 к.

Мариано Асуэла. Те, кто внизу. Роман о мексиканской революции. Перевод с испанского. 127 стр. Цена 33 к.

Абдугагим Ахвердов. Письма из ада. Избранные произведения. Перевод с азербайджанского. 358 стр. Цена 53 к.

Б. Браинина. Валентин Катаев. Очерк творчества. 223 стр. Цена 32 к.

Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1891—1910. 918 стр. Цена 2 р. 26 к.

Йожеф Дарваш. В сентябре он вышел в путь. Роман. Перевод с венгерского. 391 стр. Цена 53 к.

Тацудзо Исинава. Тростник под ветром. Роман. Перевод с японского. 639 стр. Цена 1 р. 3 к.

С. Колар. Тела своего господина. Рассказы. Перевод с сербо-хорватского. 383 стр. Цена 76 к.

Литература и современность. Статьи 1959—1960 годов. 303 стр. Цена 1 р. 25 к.

Зофья Налковская. Граница. Роман. Перевод с польского. 267 стр. Цена 43 к.

Нурдин Музаев. Горсть земли. Стихотворения и поэмы. Перевод с чеченского. 215 стр. Цена 51 к.

От Ахиара до Джано. Перевод с сирийского. 416 стр. Цена 99 к.

Чезаре Павезе. Товарищи. Роман. Перевод с итальянского. 179 стр. Цена 47 к.

Мария Пуйманова. Сочинения. В пяти томах. Перевод с чешского. Том 1. 592 стр. Цена 75 к. Том 2. 399 стр. Цена 75 к.

Лазар Силичу. Песни не остаются неспетыми. Перевод с албанского. 135 стр. Цена 22 к.

А. Твардовский. Собрание сочинений. В четырех томах. Том 3. 359 стр. Цена 90 к. Том 4. 496 стр. Цена 90 к.

А. Турнов. Александр Твардовский. 191 стр. Цена 45 к.

Теодор Фонтане. Эффи Брист. Роман. Перевод с немецкого. 300 стр. Цена 57 к.

Цзэн Пу. Цветы в море зла. Исторический роман. Перевод с китайского. 478 стр. Цена 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Б. Азбукин. Восьмой бастион. Рассказы и повесть. 416 стр. Цена 85 к.

Яков Баш. Надежда. Роман. Перевод с украинского. 336 стр. Цена 64 к.

Григорий Боровиков. Ливень. Роман-хроника. В двух книгах. 496 стр. Цена 1 р. 7 к.
М. Галлай. Через невидимые барьеры. Из записок летчика-испытателя. 128 стр. Цена 18 к.

Бронислав Кежун. Веселая азбука (От «А» до «Я»). Сборник литературных пародий. 127 стр. Цена 16 к.

Остап Лысенко. Микола Лысенко. Воспоминания сына. 256 стр. Цена 56 к.

Леонид Пасенюк. Лед и пламень. Путевые записки. 206 стр. Цена 49 к.

Евг. Пермьяк. Сказка о сером волке. Роман. 224 стр. Цена 47 к.

Зденек Плагарж. Если покинешь меня... Роман. Перевод с чешского. 463 стр. Цена 1 р. 2 к.

С. Пророкова. Левитан. 239 стр. Цена 55 к.

Микола Руденко. Последняя сабля. Роман. 496 стр. Цена 1 р. 8 к.

М. Сизова. Из пламя и света. Роман о Лермонтове. 656 стр. Цена 1 р. 13 к.

А. Соловцов. Книга о русской опере. 224 стр. Цена 58 к.

А. Студитский. Капельки жизни. 320 стр. Цена 66 к.

Йонас Усачевас. Неман ломает лед. Роман. Перевод с литовского. 399 стр. Цена 75 к.

Б. Харчук. Цветы на перелогс. Повесть. 159 стр. Цена 23 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

И. А. Бодуэн де Куртенэ (к 30-летию со дня смерти). 120 стр. Цена 50 к.

В. П. Волгин. Французский утопический коммунизм. 376 стр. Цена 1 р. 57 к.

В. В. Воронский. Фельетоны. 376 стр. Цена 1 р. 35 к.

А. Я. Данилевский. Избранные труды. 520 стр. Цена 3 р. 20 к.

Исследование ранних реакций организма на радиационное воздействие. 223 стр. Цена 90 к.

Н. С. Курнаков. Избранные труды. Том I. 586 стр. Цена 3 р. 30 к.

И. К. Луппол. Дени Дидро. Очерки жизни и мировоззрения. 296 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. М. Майский. Путешествие в прошлое. (Воспоминания о русской эмиграции в Лондоне. 1912—1917 гг.). 327 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. А. Молчанов. Гидрологическая роль леса. 488 стр. Цена 2 р. 34 к.

О закономерностях возникновения и развития социалистического общества. 443 стр. Цена 1 р. 90 к.

Польские мыслители эпохи Возрождения. 319 стр. Цена 1 р. 37 к.

Развитие производительных сил Восточной Сибири. Общие вопросы развития производительных сил. 172 стр. Цена 95 к.

И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Том первый. 639 стр. Цена 1 р. 50 к.

ВОЕНИЗДАТ

Т. Гнедаш. Воля к жизни («Военные мемуары»). 183 стр. Цена 47 к.

Голоса друзей. Сборник. 308 стр. Цена 62 к.

Н. Гречанюк и другие. Балтийский флот. Исторический очерк. 376 стр. Цена 1 р. 3 к.

К. Еремин. Солдатские версты («Военные мемуары»). 175 стр. Цена 41 к.

Е. Жидилов. Мы отстаивали Севастополь («Военные мемуары»). 240 стр. Цена 59 к.

В. Зубаков. Невская твердыня. Битва за Ленинград в годы Великой Отечественной войны (1941—1944 гг.). 204 стр. Цена 22 к.

С. Курзенков. Под нами земля и море. («Военные мемуары»). 163 стр. Цена 44 к.

А. Лебеденко. Лицом к лицу. Роман. 614 стр. Цена 1 р. 19 к.

П. Манаров. Партизаны Таврии («Военные мемуары»). 384 стр. Цена 83 к.

А. Медведев. По долинам и по взгорьям («Военные мемуары»). 240 стр. Цена 39 к.

Повдиг Ленинграда. Документально-художественный сборник. 620 стр. Цена 1 р. 93 к.

Н. Попель. Танки повернули на Запад («Военные мемуары»). 392 стр. Цена 79 к.

Н. Равич. Молодость века («Военные мемуары»). 348 стр. Цена 68 к.

П. Ротмистров. Танковое сражение под Прохоровкой. 108 стр. Цена 12 к.

Тайны Сияньинских высот. Рассказы артиллеристов — участников Великой Отечественной войны. 175 стр. Цена 40 к.

Т. Шашло. Дороже жизни (Из воспоминаний танкиста). 253 стр. Цена 55 к.

ГЕОГРАФГИЗ

М. Горнунг. Гвинея республика. 88 стр. Цена 14 к.

Земля и люди. Географический календарь 1961 года. 264 стр. Цена 1 р. 16 к.

А. Меньчуков. В мире ориентиров. 206 стр. Цена 30 к.

С. Н. Рязанцев, В. Ф. Павленко. Киргизская ССР. 484 стр. Цена 1 р. 50 к.

Р. Хаггардт. Дочь Монтесумы. 344 стр. Цена 80 к.

З. Шокальская. Жизненный путь Ю. М. Шокальского. 128 стр. Цена 34 к.

А. Юдович. Под парусами в XX веке. 176 стр. Цена 27 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов,, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 24/III 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/II 1961 г.
Л 00758 Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 85.000.
Зак. 2501.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени Н. И. Скворцова-Степанова. Москва Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.